IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ

III

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

СБОРНИК СТАТЕЙ

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

III

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'URSS
Comité des Slavistes de l'URSS

IV CONGRÈS INTERNATIONAL
DES SLAVISTES

PHILOLOGIE SLAVE

RECUEIL

III

Éditions de l'Académie des Sciences de l'URSS
MOSCOU
1958

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Советский комитет славистов

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ

III

Издательство Академии Наук СССР
МОСКВА
1958

П. С. Кузнецов

Москва

О ПОВЕДЕНИИ СОНАНТОВ НА ГРАНИЦЕ ОСНОВ ГЛАГОЛОВ III И IV КЛАССОВ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Рассматривая образование основы настоящего времени глаголов III и IV общеславянских классов (с корнем, оканчивающимся на сонант), мы обнаруживаем своеобразные различия между теми и другими. Для 1-го лица единственного числа перед личным окончанием в глаголах того и другого класса на почве общеславянского языка, по крайней мере более раннего периода, выступает сочетание двух сонантов в положении между гласными в собственном смысле слова. Это сочетание в дальнейшем преобразуется, но по-разному для каждого из указанных классов, причем относительно этих различных путей развития встает вопрос, в какой мере они зависят от фонетических причин, представляют собой процессы фонетического характера, а в какой мере — обусловлены морфологическими отношениями. Выходить в объяснениях за пределы фонетики мы имеем право лишь в тех случаях, когда имеем дело с различным развитием подобных фонетических сочетаний, да и здесь может идти речь не о нефонетическом развитии, а о различных (исторически) эпохах изменения.

Прежде всего сами сонанты, т. е. звуки, выступающие в зависимости от позиции то в слогообразующей, то в неслогообразующей функции, неоднородны с точки зрения своей способности сближения с гласными или с согласными. Очевидно, что в большей степени способны быть слогообразующими *i* и *u*. Слоговые *i*, *u* мы находим едва ли не в большинстве языков мира (имею в виду лишь их слоговой вид, о различных градациях их будет сказано ниже). Реже встречается слоговое

r̥ (если исключить довольно часто наблюдающиеся случаи сонантизации *r* в результате редукции до нуля соседнего гласного в безударном слоге). Я не ставлю сейчас вопроса о том, где и при каких условиях это *r̥* выступает как особая фонема, отличная от *r*. Еще реже выступает слоговое *l̥* (сошлюсь на чешское и сербское диалектное *l̥*). Что же касается носовых сонантов, то они обычно выступают как слоговые лишь в особых позиционных условиях, в результате редукции соседнего с ними гласного в безударных слогах, да и то большей частью лишь в беглом стиле речи.

От возможности вообще наличия слоговой ступени сонантов следует отличать возможность использования их в качестве особых фонем. Возможность наличия слогового *r̥* под ударением, как это имеет место, например, в чешском языке, еще не говорит о том, что оно является особой фонемой, отличной от *ŕ* неслогового. С отличными друг от друга фонемами мы имеем дело лишь в том случае, если какие-то представляющие их звуки отличаются друг от друга в тождественных фонетических условиях. В данном же случае этого нет: *r* неслоговое всегда выступает в соседстве с гласным в собственном смысле слова, *r̥* слоговое лишь в соседстве с согласными (т. е. или в окружении согласных, или рядом с согласным на границе слова). Слоговое *r̥* и неслоговое *r* выступают как разные фонемы в таком языке, как сербский, где в одних и тех же условиях, именно рядом с гласным, возможны и слоговое и неслоговое *r* (ср., например, *gȑ̥oce* „горлышко“)[1]. Подобным же образом должны быть определены и фонематические отношения между, например, *i* и *i̯*, *u* и *u̯*.

Необходимо обратить внимание на несколько различные с чисто фонетической стороны отношения между слоговой и неслоговой ступенью сонантов разного типа. Эти различия имеют определенные последствия как для развития сонантов на почве отдельных языков, восходящих к общему языку-источнику, так и в известной мере для функционирования их в качестве фонем того или иного типа. С этой точки зрения различаются (обозначая сонанты по их слоговой ступени), с одной стороны, *i*, *u*, с другой — *r̥*, *l̥*, *n̥*, *m̥*. Различие состоит в том, что последние являются по своей ротовой артикуляции смычными, причем смык наличен как при слоговом, так и при неслоговом их функционировании, вследствие чего для

[1] См. J. Kuryłowicz. L'apophonie en indo-européen. Wrocław. 1956, стр. 118.

них возможны лишь две ступени — слоговая и неслоговая (если отвлечься от возможных дополнительных артикуляций, например палатализации). Первые же ни на какой ступени не представляют смыкания органов речи, сближение же может варьировать, при этом могут меняться даже органы, участвующие в этом движении, вследствие чего для одного и того же сонанта возможны более чем две ступени. Слоговая ступень для каждого из них будет одна (именно *i* и *u*). Неслоговых же ступеней может быть несколько. Так, для *i* мы находим по крайней мере две ступени *i̯* и *j* (в первом случае средняя часть языка поднята к переднему нёбу, но между языком и нёбом остаётся свободный проход для выдыхаемого воздуха, как и при слоговом *i*, во втором случае спинка языка сближается с нёбом, между ними образуется узкая щель, выдыхаемый воздух трётся о её края, получается в первом случае неслоговой гласный, во втором — фрикативный согласный).

Для *u* количество возможных ступеней еще многочисленнее. Так, может являться неслоговое *u̯* (по артикуляции гласный, но отличающийся неслоговым характером), билабиальное *w* (фрикативный согласный, щель образуется между двумя сближенными губами), губно-зубное *v* (также фрикативный согласный, но преграда образуется между другими органами, именно между нижней губой и верхними зубами). Наконец, при образовании преграды между двумя губами последние могут быть сближены в различной степени, благодаря чему возможно более близкое к сонорным (при меньшем сближении и напряжении) *w* и более близкое к шумным (при большем сближении и напряжении) *v*. При этом различные типы возможны в одном и том же языке, фонематически различаясь при этом (ср. в английском языке *w* и *v*, в языке ваи *w* или *u̯* — эти два звука при всем различии артикуляции трудно отличимы на слух — и *v̯*).

Существенные различия характеризуют по отдельным языкам и дальнейшее развитие *i*, *u*, с одной стороны, *r̥*, *l̥*, *n̥*, *m̥* — с другой. И эти различия, по-видимому, обусловлены их фонетическими свойствами. Неслоговые ступени всех указанных звуков, выступая после собственно слоговых, обычно трактуются как дифтонги (иногда различают собственно дифтонги, понимая под ними сочетания, оканчивающиеся на таутосиллабические *i̯* и *u̯*, и дифтонгические сочетания, понимая под ними остальные сонанты, сочетающиеся с предшествующим гласным). Отражение их в различных языках требует несколько различной трактовки. В литовском языке все указанные звукосочетания ведут себя как дифтонги.

В греческом же выступает различие между теми и другими как в акцентологическом отношении, так и в отношении слогоделения — эти два отношения между собой взаимно связаны. Образуют дифтонг, характеризующийся определенным акцентом, лишь сочетания с *i̯*, *u̯*, сочетания же собственных гласных с остальными сонантами ничем не отличаются от сочетаний собственно гласных с собственно согласными, в случае же следования за таким сочетанием гласного сонант отходит к следующему слогу[2].

Интересно проследить, не наблюдается ли какая-нибудь закономерность в развитии сочетаний двух различных сонантов в одном слоге с точки зрения того, какой из сонантов и в каких случаях принимает на себя слоговую функцию.

Не ставя в настоящее время целью исследовать вообще поведение сонантов в таких сочетаниях в целом, я остановлюсь лишь на различии поведения сонантов в некоторых категориях славянских глаголов, где эти различия не могут быть сведены к чисто фонетическим явлениям. Речь идет о сочетаниях сонантов на границе слога и именно о таких сочетаниях, которые могут быть разделены этой границей, причем поведение каждого из этих сонантов в пределах своего слога фонетически должно было бы регулироваться отношениями соответствующего слога, в действительности же мы наблюдаем отступления от общего правила, и сочетания одного типа могут вести себя по-разному в зависимости от того, к какому глагольному классу принадлежит тот глагол, в основе которого имеется соответствующее сочетание. Конкретно дело идет о сочетании различных неслоговых сонантов с последующим сонантом *i̯* или *j* (вопрос о возможном разграничении этих двух ступеней одного и того же сонанта будет рассмотрен ниже). Наличие неслоговой ступени второго сонанта

---

[2] На указанные различия обратил внимание А. Мартинэ в рецензии на „Proto-Indo-European Phonology“ Лемана — см. „Word“, т. 9 (1953), № 3, стр. 288—289. Интересно отметить, что на различие сонантов разного типа, именно *i*, *u*, с одной стороны, *r*, *l*, *n*, *m* — с другой, хотя и в ином отношении, чем А. Мартинэ, и притом на различие не только артикуляционное и акустическое, но и функциональное, еще в конце XIX века обратил внимание Иог. Шмидт (под функциональной стороной он понимает, конечно, не фонологические отклонения, а роль сонантов в качестве неслогового элемента дифтонга и отношение их к слоговому элементу того же дифтонга). Он обращает внимание, в частности, на то, что *r*, *l*, *n*, *m* являются чисто согласными, тогда как *i*, *u* никогда не сужаются до полного закрытия полости рта, а также на то, что при дифтонгах на *i*, *u* осуществляется непрерывный переход артикуляции от слоговой гласной к сонанту, чего нет в случае *r*, *l*, *n*, *m* (см. Joh. Schmidt, Kritik der Sonantentheorie, Weimar, 1895, стр. 6—8).

обусловлено нахождением непосредственно после него гласного в собственном смысле слова; наличие же неслоговой ступени первого сонанта в большей части также обусловлено нахождением перед ним гласного в собственном смысле слова, но здесь возможны и отступления, а именно наличие перед ним не гласного в собственном смысле слова, а сонанта же, но на слоговой ступени.

В определенный период развития общеславянского языка первый сонант должен был подвергнуться одному из следующих изменений: или он должен был остаться в пределах первого слога и в таком случае, образуя дифтонгическое сочетание с предшествующим гласным в собственном смысле слова, подвергнуться характерной для соответствующего сочетания монофтонгизации; или же он должен был, войдя в состав следующего слога, подвергнуться соответствующему изменению в сочетании с последующим *j*, последний же должен был исчезнуть. Мы фактически сталкиваемся и с тем и с другим явлением. Речь идет для всех рассматриваемых глаголов специально о 1-м лице единственного числа настоящего времени, для части же глаголов — также и обо всех остальных лицах всех чисел того же времени. Только о 1-м лице единственного числа речь идет применительно к глаголам общеславянского IV класса, где показатель *-i-* в 1-м лице единственного числа перед собственно гласным (*-ǫ* по происхождению представляет собой **-ōm*, **-ām*) является на неслоговой ступени *-i̯-* > *-j-*. Обо всех лицах речь идет применительно к глаголам общеславянского III класса, где неслоговая ступень *-i̯-*, *-j-* выступает на всем протяжении парадигмы настоящего времени перед тематическим гласным в собственном смысле слова *e/o* (в 1-м л. ед. ч., возможно, *-ǫ* < **-o-ōm*, **-o-ām*).

Зависит ли это от того, с каким гласным в собственном смысле и какой предшествующий сонант сочетается, и от того, как сочетается *j* с предшествующим сонантом? Первое из названных сочетаний этимологически является дифтонгом. При дальнейшем развитии первого сонанта с предшествующим гласным имеет место монофтонгизация дифтонгов. Как известно, эта монофтонгизация началась еще на общеславянской почве, а затем перешла в отдельные славянские языки, причем осуществлялась в определенной последовательности. Можно думать, что раньше монофтонгизация осуществлялась в однородных дифтонгах [3], т. е. ранее монофтонгизовались, например,

[3] В. А. Богородицкий. Сравнительная грамматика ариоевропейских языков, вып. 1. Казань, 1914, стр. 137.

оц, *ei̯* и лишь позднее разнородные дифтонги, например, *oi̯* (о позднем характере монофтонгизации *oi̯* или, по крайней мере, о превращении его в восходящий дифтонг говорит тот факт, что перед этим монофтонгом или восходящим дифтонгом осуществляется, как известно, на общеславянской почве вторая, а не первая палатализация).

Сравнение различных глаголов показывает, что в совершенно тождественных фонетических условиях наблюдается различное развитие указанных сочетаний двух сонантов. Сравним такие формы, как коуѭ и ловлѭ. Возможно, с бо́льшим основанием можно было для III класса взять другой глагол, поскольку в древнейшее время данный глагол на славянской почве засвидетельствован в форме I класса коути, ковѫ — ср. *млаты ковома* (Супр. рукоп., 123), *расковѫть меча своа* (Книга пророков с толк. Упыря Лихого, Ис. II, 4), *расковѫть оружіа своа* (там же, Мих. IV, 3). Но наблюдающиеся уже в древнейших русских памятниках церковного письма примеры оформления этого глагола по III классу, ср. *коуѭть грѣшьнии* (Панд. Антиоха XI в., л. 100), *коуѥть сѧ* (Новг. Минея 1096 г., сент. 139), а также наличие в литовском языке формы типа *káuju* позволяют предполагать наличие еще унаследованной от славянобалтийской эпохи параллельной формы с показателем *-j-*. Распространение формы с *-j-*, т. е. переход этого глагола в III класс, отмечается в различных славянских языках, что свидетельствует о древности этого процесса, даже если не предполагать, что форма с *-j-* как параллельная была унаследована общеславянским языком от более ранней эпохи. Ср. русск. *кова́ть*, *кую́*, сербск. *ко̀вати*, *ку̀jе̄м*, чешск. *kouti*, *kuju*. Указанные формы 1-го лица единственного числа настоящего времени строго фонетически восходят соответственно к формам **koui̯ōm* и **loui̯ōm* (в данном случае не существенно, к какой форме восходит конечное *-ǫ*, к **-ōm* или к **-ām*). Мы видим, что в обоих случаях на границе слога некогда были расположены совершенно одинаковые сочетания сонантов на неслоговой ступени *u̯* + *i̯*. Рядом с гласным в собственном смысле слова они и должны были явиться на неслоговой ступени (когда это произошло, об этом будет сказано ниже). Но дальнейшая судьба этих сочетаний была различна. В случае **koui̯ōm* *u̯* объединяется с предшествующим *o* и дает с ним монофтонг *u*, а *i̯* отходит к следующему слогу и, подвергаясь дальнейшей консонантизации, дает *j*. В случае **lou̯i̯ōm*, напротив, *u̯* отходит к сле-

дующему слогу, сочетание $\underset{\frown}{u}+\underset{\frown}{i}$, оказавшееся в начале слога перед гласным в собственном смысле, подвергается консонантизации, дает сочетание *vj*, а затем фонетически *vl'* (не касаюсь позднейших возможных по говорам случаев утраты *l'*). Между тем, фонетическое положение, в каком выступало указанное выше сочетание сонантов, было в обоих случаях совершенно тождественно. Одни и те же гласные предшествовали и последовали сочетанию сонантов, ударение в обоих случаях падало на окончание, причем такое ударение было характерно не только для формы 1-го лица единственного числа, но и для всей парадигмы (современное русское литературное *ловлю́ — лови́ть* относится к глаголам с подвижным ударением, но это явление позднейшее, на что указывает как возможное на севере *лови́ш*, так и *а* в южновеликорусском диалектном *ла́виш*; ср. южновеликорусское *са́лиш* „солишь", *во́риш* при северном и старом литературном *вари́шь*; наблюдающееся в южновеликорусских говорах прояснение подударных фонем *о* и *а* не в соответствии с этимологией в южновеликорусских говорах обычно наблюдается в глаголах с новым подвижным ударением).

Рассматривая различные глаголы, принадлежащие к соответствующим двум классам, мы наблюдаем для тех из них, основа настоящего времени которых в период до монофтонгизации дифтонгов оканчивалась на $\underset{\frown}{u}$, строгую закономерность: в глаголах III класса имела место монофтонгизация $\underset{\frown}{u}$-дифтонга, а в начале следующего слога выступает *j*; в глаголах IV класса $\underset{\frown}{u}$, напротив, отошло к следующему слогу, причем в результате фонетического изменения $v (< \underset{\frown}{u})$ в сочетании с *j* является сочетание *vl'* в 1-м лице единственного числа, *v* — в начале слога перед *i* в остальных лицах (3-е л. мн. ч. перед $ę < in$).

Речь идет в первую очередь именно об этом сочетании сонантов, так как при встрече других сонантов с последующим $i > \underset{\frown}{i} > j$ поведение сочетаний сонантов в обоих указанных классах одинаково (другие сонанты, помимо $\underset{\frown}{i}$ — *j*, не подлежат рассмотрению, так как $\underset{\frown}{u}$ — *v* и *r* не используются в качестве показателя настоящего времени, а о показателе II класса *-n-* будет сказано особо).

Для того чтобы убедиться, что для других сочетаний сонантов, помимо рассматриваемого, не играет никакой роли отнесение к различным классам, возьмем, например, глаголы, корень которых, предшествующий классному показателю, оканчивается на плавный согласный. Ср., например, др.-русск. *бороти — борю, бореши* и т. д. (такая форма настоящего

времени и при старославянской форме инфинитива брати), *колоти* — *колю*, *колеши* и т. д. (так же и при инфинитиве клати), *молоти* — *мелю*, *мелеши* и т. д. (так же и при инфинитиве млѣти) — глаголы III класса, *творити* — *творю*, *твориши* и т. д., *варити* — *варю*, *вариши* и т. д., *велѣти* — *велю*, *велиши* и т. д., *палити* — *палю*, *палиши* и т. д. — глаголы IV класса. В 1-м лице единственного числа в обоих случаях является в конце основы на общеславянской почве *r'*, *l'* < *rj*, *lj* < *ri̯*, *li̯*, тогда как сочетание гласного с плавным, обычно подвергающееся в положении между согласными по разным славянским языкам различным преобразованиям, приводящим к ликвидации закрытого слога (оставляю в стороне вопрос о сохранении в определенных условиях в отдельных языках в данном случае закрытого слога), остается как сочетание предшествующего гласного с последующим плавным, лишь со смягчением плавного в результате слияния с ним *j* и с иным распределением обоих элементов сочетания по слогам (принадлежавшие ранее к одному слогу, они отходят к разным слогам).

В этом нет ничего удивительного. Своеобразие развития дифтонгических сочетаний гласных с плавными в различных славянских группах и даже в отдельных языках, причем колебания в рефлексах соответствующих сочетаний отражаются еще в памятниках (именно в древнепольских), а также в говорах (польских, кашубских)[4], подчинение закономерному изменению групп типа **tort* в поздних заимствованиях, сделанных хотя частью и всеми славянскими языками, но уже заведомо не в общеславянский период (ср. хотя бы *король*, *краль*, *król*), — говорит о сравнительно позднем преобразовании сочетаний, которое, по-видимому, осуществлялось после изменения *rj*, *lj* > *r'*, *l'*; после же этого изменения фонетических оснований для изменения *or*, *ol* и т. д. уже не было, так как между двумя слоговыми звуками оказывался один неслоговой, который, естественно, и отходил к следующему слогу.

Точно так же в том случае, если корень (перед показателем класса) оканчивался носовым согласным, этот послед-

---

[4] Ср. А. М. Селищев. Славянское языкознание, т. I. М., 1941, стр. 305—307; Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. Grammatyka historiczna języka polskiego. Warszawa, 1955, стр. 124 и след.; R. Jakobson. On slavic diphtongs ending in a liquid. „Slavic Word“, vol. 8, 1952, № 4.

ний фонетически сливается с последующим $j < i$ независимо от принадлежности глагола к тому или другому классу. Ср. *стенати — стенѭ*, *стенеши* и т. д., также *стонати — стоню*, *стонеши* (например: *стоню съ сльзами*, Сл. Кирилла Туровского о росслабл., 46) — III класс, и *гонити — гонѭ*, *гониши* и т. д., *ранити — раню*, *раниши* и т. д. — IV класс; *имати — емлѭ*, *емлеши* (например: *въземлеши*, Мар. ев., Лук. XIX, 21, *въземлете*, там же, Лук. IX, 3, *възелѭтъ*, там же, Мр. VI, 8) и т. д. — III класс, и *томити — томлю*, *томиши* и т. д. — IV класс и т. п. В обоих случаях носовой согласный отходит ко второму слогу, причем $j < i̯$, ассимилируясь ему, в первом случае просто дает *n'*, во втором случае фонетически закономерно, как это бывает в сочетании „губной + *j*", развивается сочетание губного с *l'*epenthеticum.

Возможно, воздействие согласного на *j* относится к более раннему времени, чем образование носовых гласных. И это также понятно, принимая во внимание, по-видимому, позднее образование носовых гласных. Носовые согласные, являющиеся в определенных условиях между носовым гласным и последующим согласным, например в польском языке, могут являться результатом позднейшего разложения гласного, но затвор в полости рта при опущенной нёбной занавеске может отражать глубокую древность. По мнению Н. С. Трубецкого, носовые гласные старославянского языка первоначально (в эпоху „працерковнославянского языка" — Urkirchenslawische) представляли собой сочетание гласной фонемы с изолированной и по-разному реализующейся в различных фонетических условиях согласной носовой фонемой *N*[5]. При этом надо заметить, что согласный или сочетания согласных, образовавшиеся в результате слияния *n*, *m* с *j*, во всяком случае после их образования, относятся к последующему, а не к предшествующему слогу. Для *n'* иначе и быть не могло (один согласный между двумя гласными еще в раннем общеславянском языке, несомненно, всегда входил в последующий слог, а не в предыдущий). Но это вхождение в последующий слог вполне естественно и для сочетания *ml'*, как и для сочетаний *pl'*, *bl'* < *pj*, *bj*; во всех этих случаях второй элемент, несомненно, обладает большей звучностью (сонорностью) сравнительно с первым. Для *p*, *b*, принадлежащих к так называемым шумным согласным, это очевидно,

---

[5] См. N. S. Trubetzkoy. Altkirchenslawische Grammatik. Wien. 1954, стр. 81—82.

но второй элемент также сонорнее и в *ml'*, поскольку плавные по звучности выше носовых; тем более большей звучностью должно располагать палатализованное *l'*, артикулируемое с большим напряжением, чем непалатализованное. В таком случае, как др.-русск. *крьнути* — *крьню*, *крьнкши* (форма 1-го л. ед. ч., свидетельствующая о мягкости *-n-* перед личным окончанием, засвидетельствована в части списков Пандектов Никона Черногорца [6]), имеет место последовательность трех и даже четырех сонантов (*r*, *ь* < *i*, *n*, *j* < *i*, поскольку *n'* < *nj*), из них на слоговой спупени лишь один — *ь* < *i*. Другие индоевропейские языки указывают также на неслоговой первый сонант сочетаний (*r*) и на различные ступени чередования гласного, соответствующего нашему *ь* (ср. др.-инд. *krīṇā́ti*, *krītá-*, пали *kiṇāti* < **kri-n-*, др.-ирл. *crenim*). Второй сонант (*ь*) сохранял свою слоговую форму и на общеславянской почве и позднее (не касаюсь последующей возможной утраты его и образования слогового плавного — частью фонетического, частью аналогического — на почве отдельных славянских языков). Что же касается *-n-*, то оно первоначально являлось, по-видимому, классным показателем и расположено было на границе слога (образуя minimum звучности между двумя звуками более высокой звучности, вследствие чего и должно было отходить к последующему слогу). Этот глагол первоначально принадлежал, по-видимому, ко II классу, на что указывают как соответствия в других индоевропейских языках, так и форма инфинитива. Распространение посредством *-j-*, т. е. показателя III класса, этот глагол получает позднее, на славянской почве [7].

[6] Форма *крьню* приведена И. И. Срезневским („Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам", т. I. СПб., 1893, стр. 1341) — *идохъ въ градъ, крьню мѣсто ѡгражено добрѣ и създахъ црквь* (слово 34-е), по-видимому, из Ярославского списка XII—XIII вв.; в Синодальной рукописи 1381 (№ 193) в соответствующем месте аорист от глагола *купити* — *поидо*[х] *въ гра*[д]. *и купи*[х] *мѣсто огражено добро* (л. 190 об.); *креню* наряду с *куплю* в том же значении мы находим в Чудовской рукописи XIV в. (№ 16), например: *како креню мѧ*[с] (л. 138); наличие глагола *крьнути* в значении „купить", характерного специально для древнерусского языка, явилось для А. И. Соболевского одним из оснований отнести рассматриваемый памятник к переводам, сделанным на Руси (см. А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. „Сборник ОРЯС", т. LXXXVIII, № 3, стр. 167), вследствие этого данный глагол и отмечен выше специально как древнерусский, хотя соответствия ему, как видно, есть и в других индоевропейских языках.

[7] См. P. Tedesco. Slavic *n*-Presents from older *je*-Presents. „Language", vol. 24 (1948), № 4, стр. 348.

С последовательностью трех сонантов мы имеем дело в таких глаголах IV класса, как *испльнѭ — испльнити*, *напльнѭ — напльнити*; оба глагола употреблялись в древности в одном и том же значении, причем второй более распространен в древнерусских памятниках (в том числе и церковных), но встречается и в южнославянских (ср., например, *да напльнитьсѧ*, Савв. кн., Лук. XIV, 23). *n* в сочетании с $\underset{\frown}{i} > j$ также отходит к следующему слогу, предшествующее же *l* является на слоговой ступени не только на почве общеславянского языка, но и на почве отдельных славянских языков, по крайней мере в древнейшем их состоянии, в том числе, по-видимому, и в древнерусском, где сочетается со слоговым же предшествующим редуцированным — *напълнити*, фонетически, вероятно, *napъl̥niti*[8].

Особо следует остановиться, как уже сказано, на случаях, когда вторым элементом сочетания сонантов является *n*, образующее показатель II класса глаголов. Речь в данном случае не идет, конечно, о таких случаях, как **съхнѫти**, **съхнѫ** и т. д., так как здесь сонанты отделены друг от друга шумным согласным, что обусловливается отнесением их с самого начала развития соответствующих форм к разным слогам. К такому же типу должны быть отнесены и основы, содержавшие уже в общеславянском языке *n* непосредственно после корневого сонанта на слоговой ступени (например, *ь* < *i*), но лишь в результате утраты на общеславянской же почве между сонантами собственно согласного, т. е. такие случаи, как **(о)сльнѫти** < **(о)slьpnǫti*, **гынѫти**, **гыноути** < **gybnǫti*, *(по)вьрнути* (засвидетельствовано, между прочим, в западнорусской грамоте 1382 г., но, вероятно, в живом языке и раньше) < **pov(ь)r̥tnǫti*, ср. *вьртѣти* (о слоговости *r* см. выше), и т. д. Здесь еще в то время, когда рядом стоял согласный *p*, *b*, *t* и т. п., граница слога должна была падать в непосредственном соседстве с ним, так как именно на него падает безусловный minimum звучности, и, следовательно, оба сонанта уже тогда должны были отходить к разным слогам, причем неслоговость второго элемента зависела исключительно от последующего собственно гласного.

Если же на общеславянской почве (в ранний период развития общеславянского языка) выступало сочетание $\underset{\frown}{u}\underset{\frown}{i}$ между

---

[8] См. В. Н. Сидоров. Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI века. „Труды Института языкознания АН СССР“, т. II, 1953.

двумя гласными в собственном смысле, результат развития различен для двух указанных классов, никаких исключений здесь не наблюдается, а именно: в III классе, как уже было сказано, *i̯* > *j* отходит к последующему слогу, а *u̯* к предыдущему (в результате чего имеет место монофтонгизация сочетания предшествующего гласного с *u*); в IV классе оба сонанта отходят к последующему слогу, фактически преобразуясь так, как вообще преобразуется соответствующее сочетание.

Рассмотрим сначала глаголы III класса. Выше мы уже говорили о корневом глаголе коуѭ, распространенном лишь классным показателем *-j-* (< *i̯*). Эту форму, как уже было сказано, можно предполагать как параллельную к ковѫ и для древнейших времен. Глагол совати — соуѭ(*соую*) < < **sou̯jōm*, ср. лит. *šáuju* „стреляю", *сновати* и более раннее ст.-слав. сноути, словенск. *snuti*, чешск. *snouti*, польск. *snuć*||*snować*, настоящее время сновѫ, по I классу (в словаре Ф. Миклошича приведено *сновоуть* сѧ из сербского сборника проповедей XIII в.), однако в древнерусском, правда позднем, памятнике *снꙋют* (3-е л. мн. ч., Похвала Георгия Писида по рукоп. XVI в.). Точно так же в глаголах, содержащих в корне **eu̯* > **ju*, ср., например: бльвати — блюѭ, в древнерусских памятниках засвидетельствовано приставочное *избльвати*, ср., например, *изблюеть* (3-е л. ед. ч. Панд. Антиоха XI в.), но о наличии в древности и бесприставочной формы говорит встречающееся уже в древнейших памятниках образованное от бесприставочной основы отглагольное существительное *блъваниѥ* (XIII слов Григ. Богосл. XI в., 201), ср. лит. *bliáuti*. Так же *плъвати*, *плюѭ*, ср. др.-русск. *плюють* (3-е л. мн. ч., Написание на латыну митр. Никифора в списке в Макарьевских четьях минеях), лит. *spiáuti*, *spiáuju*.

На славянской почве, по-видимому, еще начиная с общеславянского периода, представлено большое количество отыменных глаголов III класса, которые в конце основы инфинитива — непосредственно перед инфинитивным суффиксом — имеют сочетание *-ova-*, в основе же настоящего времени — непосредственно перед показателем *-j-* — гласный *-u-*, т. е. обнаруживают те же звуковые отношения, которые мы находим в корневых глаголах (в случае наличия показателя *-a-* в основе инфинитива). В качестве примера можно привести глагол даровати, дароуѭ, встречающийся уже в древ-

нейших славянских памятниках, например в Мариинском евангелии — **дарова**, 3-е лицо единственного числа аориста (Лук. VII, 21), в Остромировом евангелии — *дароуи*, 2-е лицо единственного числа повелительного наклонения (запись), в Пандектах Антиохия XI в., в Сказании о Борисе и Глебе по списку XII в. и др.[9] На то, что это глагол, образованный от имени, указывает сохранение в основе именного словообразовательного суффикса *-r-* (ср. **даръ**, также представленное уже в древнейших славянских памятниках), возникшего еще на общеиндоевропейской почве, на что указывает, например, греч. δῶρον, но ставшего непродуктивным, вероятно, еще на общеславянской почве[10].

Глаголы этого типа в ряде случаев образованы от бессуфиксных имен, продолжающих наряду с порожденными ими глаголами функционировать в языке. Ср., например, **виновати, виноуѭ**, производное от **вина**, в значении „обвинять, признавать виновным", выступающее в древнейших памятниках, например, *иже такаꙗ вины виноуѭть в грѣсѣхъ своихъ* (Св. Изб. 1073 г.) — здесь, как это довольно обычно для старославянского языка, в плеонастическом сочетании с существительным, от которого образован глагол. Инфинитив при такой основе настоящего времени, как здесь, конечно, *виновати*, как его и дает И. И. Срезневский[11]. Это подтверждает и являющаяся результатом обобщения форма настоящего времени *виноваеть* в Хронике Георгия Амартола[12].

К тому же типу относится и **блаꙁовати**, производное от **блаꙁь**, которое в свою очередь является отглагольным к **блаꙁити**, о котором в дальнейшем придется говорить особо. Сюда же идет *тълковати*, образованное от *тълкъ* и представленное в древнерусских памятниках.

После мягких согласных в корне производящего имени рассматриваемые глаголы в основе инфинитива имеют *-eva-* (вместо *-ova-* после твердых), например, **врачевати, врачюѭ**, производное от **врачь**; ср., например, *не врачоуѥть* (Св. Изб. 1073 г., л. 48), *врачеватисѧ* (XIII слов Григ. Богосл. XI в.,

---

9 См. И. И. Срезневский. Материалы. . . , т. I, стр. 630.

10 Ср. А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 282. По его указанию, прилагательные с этим суффиксом еще довольно многочисленны на славянской почве, хотя новых образований и нет, существительные же изолированы.

11 См. И. И. Срезневский. Материалы. . . , т. I, стр. 250.

12 Там же.

л. 175), воиевати, воюѭ, например, *воеваше на печенѣги* (Радз. лет., л. 21), *на цркви воѭюще* (XIII слов Григ. Богосл. XI в., л. 62), от *вои*.

Отыменность рассматриваемого образования особенно ясно выступает в тех случаях, когда глагол в своей основе содержит словообразовательный элемент (обычно суффикс), принадлежащий производящему имени. Само имя при этом может быть и само производным от глагола, но непосредственно глагол на *-ovati*, *-ujǫ* образован был от имени, на что указывает именной суффикс. Таков, например, уже рассмотренный выше глагол даровати, образованный от имени даръ, в свою очередь образованного (по-видимому, еще на общеиндоевропейской почве) от глагольного корня (ср. ст.-слав. и др.-русск. дати, лат. *dare*, греч. δίδωμι, др.-инд. *dádāti*, в греческом и санскрите praesens с удвоением, впрочем, удвоение мы находим в этом глаголе и в латинском языке, в перфекте *dedī*, и в основе настоящего времени в славянских языках — ср. дастъ, *дасть* < **dadtь*, дадим).

В качестве примера явно отыменного образования можно привести такое образование, как враждовати, враждоуѭ, засвидетельствованное уже в русских памятниках XI в., списанных со старославянских оригиналов (например, в Пандектах Антиоха XI в., в Святославовом Изборнике 1073 г.), а также и в оригинальных древнерусских памятниках, например в комиссионной Новгородской летописи — *ни в вѣкы враждуеть* (л. 226 об.). Здесь явно выступает суффикс производного *вражьда*, образованного от имени врагъ (и в русских памятниках, как в современном русском языке, производное известно лишь от старославянской формы врагъ, а не от русской *ворогъ*) таким же образом, как правьда от правъ. В производном глаголе отсутствует лишь именной детерминатив *-а*. Различные глаголы рассматриваемого типа образованы также от прилагательных с суффиксом *-ьн-*, который также сохраняется и в глагольной основе. Ср., например, бѣсьновати (сѧ), бѣсьноуѭ (сѧ), образованное от прилагательного бѣсьнъ, бѣсьныи, в свою очередь производного от существительного бѣсъ. Глагол представлен уже в евангельском тексте, ср. *бѣсъноуеть сѧ* (Мар. ев., Мф. XV, 22), *како спсе сѧ бѣсьновавыи* (Остр. ев., Лук. XIII, 36), *сърѣтоста*

и дъва бѣсноужщаꙗ (там же, Мф. VIII 28), *на новъ мѣсѧць бѣсьноукть сѧ* (там же, Мф. XVII, 15). Прилагательное, от которого образован этот глагол, мы также находим уже в евангельском тексте: *се приведоша къ нѥмоу члкъ нѣмъ бѣсьнъ* (Остр. ев., Мф. IX, 32). Образования этого типа используются, по-видимому, как модель и в позднейшее время. Так, от прилагательного виновьнъ, виновьныи, засвидетельствованного в достаточно древних памятниках (ср., например *се ли въторое виновънок*, Св. Изб. 1073 г., вопр. Василия), мы находим в поздних церковнославянских памятниках *виновьновати*, *виновьную*, ср., например, в Пандектах Антиоха по списку XVI в. *себе самого виновнꙋи* [13]. Сохраняет суффикс именного происхождения и глагол *болѣзновати*, производный от существительного болѣзнь. Глагол, правда, представлен, судя по „Материалам" И. И. Срезневского, не в особенно древних памятниках — он приводит пример из памятников XIII в. (Триоди, жития Феодора Студита, Иоанна Лествичника [14], но образован он от существительного болѣзнь, засвидетельствованного в древнейших славянских памятниках — в евангельском тексте). Оно производное от глагола болѣти, но само образование сравнительно пóзднее, хотя и общеславянское. Происхождение суффикса *-зн(ь)* неясно, поскольку он не имеет точных соответствий за пределами славянских языков [15].

В качестве отыменных образований выступают различные приставочные глаголы рассматриваемого типа (я не имею в виду в данном случае приставочных образований от уже имеющихся в языке бесприставочных глаголов на *-ovati*, а обращаю внимание на такие, где приставка получена вместе с производящей основой). Поскольку на славянской почве приставки являются в основном принадлежностью глагольной основы, в именах же представлены, главным образом в отглагольных, в данном случае приставки этимологически являются обычно предлогами, находившимися в свободном сочетании с именами, и в качестве производящей основы использована была основа имени в сочетании с предлогом. Для примера можно привести глагол *бещиновати* < *безчиновати*, встречающийся уже в древнейших памятниках, ср.,

---

[13] И. И. Срезневский. Материалы..., т. I, стр. 260.
[14] Там же, стр. 149.
[15] См. А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 294.

например, в Пандектах Антиоха XI в. — *егда оузьрить бещиноужща своего сна* (л. 117), в Пандектах Никона Черногорца 1296 — *да не бещиноукть* (сл. 15). Этот глагол, по-видимому, происходит от сочетания предлога *безъ* с существительным *чинъ*, которое, возможно, в свою очередь является производным, но еще общеиндоевропейской эпохи (согласно А. Мейе, из образований на *-пй-* на славянской почве сохранились лишь **сынъ** и **чинъ**)[16]. Основой для образования явилось употребляющееся и в древнейших памятниках сочетание *бес чиноу* (в такой форме, возможно, **чинъ** принадлежало основам на *-й*), ср., например, *кони бес чиноу риштоуть* (Св. Изб. 1073 г., л. 60). Правда, существует еще производное существительное *безъчиние*, *бещиние*, *бечиние* — оно употребляется в памятниках, начиная с древнейших, во всех этих формах, ср. например: *не хвалю бо азъ неоукрашениꙗ ни безъчиниꙗ ѥже въ васъ* (XIII слов Григ. Богосл. XI в., 46), *да нь творѧть бещиньꙗ* (Лавр. лет. дог. Игоря с греками. 945 г.), *по нѣкоѥму бечинью* (Панд. Ник. Черног., сл. 63), но возможно, что отыменный глагол прямо образован от сочетания имени с предлогом, поскольку никаких следов суффикса *-ĭje* мы в глаголе не находим. Такого же типа и глагол *бестоудовати*, употребляющийся, судя по И. И. Срезневскому, уже в достаточно древних памятниках, например в Книге пророков с толкованиями Упыря Лихого (см. Иез. XVI, 22)[17]. Здесь также имеется существительное *бестоудиѥ* (отмечено в Святославовом Изборнике 1076 г., в Ефремовской Кормчей и в других памятниках), но поскольку суффикс *-ĭje* не оставил никаких следов в глагольной основе, то и здесь глагол, вероятно, образован от предложного сочетания **безъ стоуда**.

Сложнее обстоит дело с таким глаголом, как **бесѣдовати**, **бесѣдоуѭ**, вследствие недостаточной выясненности этимологии существительного **бесѣда**, от которого он образован. Рассматриваемый глагол выступает в древнейших памятниках уже в евангельском тексте (см., например, Мариинское и другие евангелия, Лук. VIII, 19, XXIV, 14, 15 и др.), также в древнейших памятниках мы находим и существительное **бесѣда**, ср., например, *почьто бесѣды моѥꙗ не разоумѣѥте*

[16] А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 280.
[17] См. И. И. Срезневский. Материалы..., т. I, стр. 77.

(Остр. ев., Ио. VIII, 43), в данном случае в значении „речь“, также в значении „наречие“: *бесѣда твоꙗ ꙗвѣ тѣ творить* (Мар. ев., Мф. XXVI, 73; ср. то же и в других евангелиях, как тетрах, так и апракосах); оба эти значения обусловлены одинаковым употреблением в обоих значениях в греческом существительного λαλία. В памятниках же мы находим еще одно значение этого слова, сохранившееся в современном русском литературном языке лишь в производном существительном *беседка*, именно значение „скамья“, ср., например: *а хеꙗную русь водиша ротѣ, в църкви стго ильи ꙗже есть надъ ручаемъ конецъ пасынъчѣ бесѣды* (Лавр. лет., л. 14—14 об.). Какое из значений — „разговор“ или „скамья“ — первоначально, сказать трудно, они могли получиться и независимо друг от друга, во всяком случае существительное связано этимологически с глаголом **сѣдѣти**, но образование с этимологической точки зрения недостаточно выяснено. Если верно предположение Э. Бернекера об образовании **бесѣда** от глагольного корня **сѣдѣти** — с добавлением приставки **бе** < **без** — в его первоначальном значении „снаружи“, т. е. первоначально **бесѣда** имело значение „сидение снаружи“, откуда значения и „разговор“ и „скамья“, то мы и здесь имеем дело с сохранением приставки (ранее предлога) в существительном, от которого образован глагол [18].

В ряде случаев мы находим отражение в глаголах рассматриваемого типа как суффикса именного, так и приставки, имеющей своим источником предлог. Ср. такой глагол, как *бестоудьствовати*, употреблявшийся наряду с *бестоудовати*, рассмотренным выше, например: *весь родъ члвчь да наказани боудоуть не бестоудьствовати* (Ефрем. Кормчая, Правила Василия Великого, 7). Этот глагол образован от существительного *бестоудьство*, также засвидетельствованного в древних славянских памятниках. Ср. также современное *безумствовать*, *безумствую*, образованное таким же способом и, по-видимому, книжное, хотя и не известно, насколько древнее — Срезневский его не приводит, он дает в таком значении лишь глагол без суффикса — *безоумовати* — с одним примером из Григория Богослова XI в. [19].

---

[18] См. А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. I, стр. 25.

[19] См. И. И. Срезневский, Материалы. . . , т. I, стр. 63—64.

Находим мы и многочисленные примеры глаголов рассматриваемого типа, образованных от сложных слов, как бессуффиксных, так и с именными суффиксами. Например, *воѥводовати*, *воѥводꙋю*, приводимое Срезневским со ссылкой на Востокова (из Псалтыри с толкованиями Феодорита)[20] и являющееся производным от *воѥвода*, а наряду с этим *воѥводьствовати*, ср. *чьто воѥводствовати начинаѥши* (Ефрем. Кормчая, Правила Трульск. собора, 64), производные — первое от бессуффиксного *воѥвода*, а второе от суффиксального *воѥводьство*, также представленного в древних памятниках. Много различных глаголов рассматриваемого типа образовано от сложений с *благо* в первой части (и здесь также мы находим как суффиксальные, так и бессуффиксные образования). Ср., например: благовѣстовати, благовѣстоуѭ — *ништии благовѣстоуѭтъ* (Мар. ев., Мф. XI, 5); благовѣствовати, благовѣствоуѭ — *црствие бжие благовѣствоуоутъ сѧ* (Мар. ев., Лук. XVI 16); *анѧлъ марі и матери хвѣ рожъство его благовѣствова* (Сборн. Клоца, 881); благодаровати, благодароуѭ — *благодароуимъ стго дха* (Панд. Антиоха XI в., гл. 117); благодарьствовати, благодарьствоуѭ — *могоуще братии блгдаръствовати быти* (Ефрем. Кормчая, 228); *благодаръствова ба* (Синайск. патерик XI в., 156); из более поздних — *блгодаръствую тѧ ги* (Мучение св. Курика, сборн. 1414 г.); благодатьствовати, благодатьствуѭ — *нѣции блгодатьствуѥми въ блгодарьствѣ ключаютьсѧ* (Панд. Ник. Черног., сл. 22); *себе оубо блгодатъствуѥмъ* (там же 26); благодѣиствовати, благодѣиствоуѭ — *ако паче сами себе блгодѣиствѫемъ* (XIII слов Григ. Богосл. XI в., 8); благословествовати, благословествуѭ — *блгословествѫѭ стыимъ дша* (Слово Ипполита об Антихристе, XII в., 26), и т. п. Все эти образования книжные, на что указывает, например, наличие в производящей именной основе существительного *слово* в русском списке Слова Ипполита об Антихристе основы *-s-*, живым древнерусским языком, по-видимому, утраченной еще в дописьменные времена[21]; калькированы они на славянской почве с греческого — они

---

[20] См. И. И. Срезневский. Материалы..., т. I, стр. 281.

[21] См. Н. Дурново. Очерк истории русского языка. М., 1924, стр. 277. По мнению Н. Н. Дурново, взаимодействие имен с основой на *-s-* и на *-o-* среднего рода началось еще на общеславянской почве.

являются в различных переводах с греческого, причем первая часть сложения соответствует греческому εὐ- в сложениях.

Образования на *-ovati*, *-ujǫ* сохраняются как живые и продуктивные на протяжении всей истории различных славянских языков, причем отчетливо выступают как образования отыменные. Так, например, в ряде русских говоров, именно северных, мы находим *бороновáть*, *боронýю* от существительного *боронá*. Этому образованию подчиняются и некоторые поздние отыменные заимствования. Ср., например, *презентовáть*, *презентýю* от *презент* в значении „подарок" (это, возможно, не без влияния польского языка, где образования на *-ować* широко распространены), *короновáть*, *коронýю* от *корóна*. О том, что формы являются продуктивными, свидетельствуют и совсем новые образования от существительных — как русских, так и заимствованных. Ср., например, такое образование, как *кольцевáть*, *кольцýю* от *кольцó* (кольцевание получило распространение, вероятно, в недавнее время). Ср. также образования от иноязычных собственных имен, как *линчевáть*, *линчýю* от *Линч* (суд Линча). В одном из переводов „Записок Пиквикского клуба" английский глагол *to borke*, образованный от имени преступника Борка, переведен формой *заборковали* (мн. ч. прошедшего времени), предполагающей глагол *борковáть*, *боркýю*.

По рассматриваемому типу пошли и глаголы на *-ировать*, первоисточником для которых послужили немецкие глаголы на *-ieren* (ударение они имеют различное, частью *-úровать*, *-úрую*, частью *-ировáть-*, *-ирýю*). Ср., например, *регулúровать*, *регулúрую*, *парúровать*, *парúрую*, *гравировáть*, *гравирýю* и т. д. Эти образования также частью отыменного образования, но сформировались еще на почве другого языка, частью же они соотносятся с определенным именем того же корня и на почве русского языка (правда, также заимствованного характера). Эти образования иногда используются и для глаголов, производных от собственных имен (и не немецкого происхождения), ср., например, *бойкотúровать*, *бойкотúрую* от имени английского капитана Бойкота. Подобные глаголы получили распространение и в других славянских языках, правда, в разных — в различной степени. Ср., например, сербск. *воjѐвати*, *годòвати*, *мӥловати*, *пирòвати;* чешск. *hodovati*, *kralovati*, *mordovati*, *panovati*, *věnovati;* польск. *godować*, *mordować*, *miłować*, *panować*, *spiżować*, *wianować*, *wojować*, *woskować;* также заимствованные типа чешск. *tancovati*, польск. *tańcować*, *prezentować*.

Точно так же, как рассмотренные выше образования

III класса, сохраняют свою продуктивность, начиная с общеславянского языка и кончая современным состоянием отдельных славянских языков, указанные выше глаголы IV класса, отличающиеся, однако, как уже было сказано, поведением сонантов и их рефлексов на конце основы.

Поскольку нас интересует сочетание однородных сонантов, мы рассмотрим в первую очередь случаи с *u после гласного в собственном смысле, непосредственно предшествующим показателю класса i — *j. Как уже было сказано, мы везде находим для 1-го лица единственного числа настоящего времени сочетание $vl' < {}^*vj$, для остальных же лиц vi (для 3-го л. мн. ч. — $ę < in$ после v).

Ср., например, давити, давлѭ, уже в евангельском тексте, например, *имъ давлѣюще и гла* (Мар. ев., Мф. XVIII 28) — в имперфекте у глаголов на *-i-* наблюдается в конце основы та же, ступень чередования, что в основе настоящего времени (так же, как и в настоящем времени, в результате консонантизации *i* перед собственно гласным). Различные приставочные глаголы, производные от давити, имеют те же чередования в конце основы. Для основы инфинитива — аориста ср., правда, из позднего памятника: *не да ся быхомъ давили имъ* (житие Андрея Юродивого по сп. XV—XVI вв., XXXI, 119). ловити, ловлѭ, ср. *идѫ ръбъ ловитъ* (Мар. и др. ев., Ио. XXI, 3), *ловлꙗшеть* (Ип. лет. под 1185 г.), в имперфекте v вместо vl', позднейшее в результате выравнивания основы; правити, правлѭ, ср. *правимъ есть ими* (Св. Изб. 1076 г., 2); *самъ же Изꙗславъ кънꙗзь правлꙗаше столъ оца своего Ꙗрослава Кыевѣ, а брата своего столъ поручи правити близокоу своемоу Остромироу Новѣгородѣ* (Остр. ев., запись); ставити, ставлѭ, ср., *ставивъи слъньце и рѣкѫ въспꙗтивъ* (XIII слов Григ. Богосл. XI в., 25); *а свободѣ ти ни мытъ на новгородьскои земли не ставити* (дог. грам. Новг. с Яросл. Яросл. 1270 г.); *Ꙗже не блгснъ Ꙗсть ѿ великаго сбора не ставленъ* (Новг. Синод. лет., л. 26); ꙗвити, ꙗвлѭ, ср. *и ꙗвлѭ сꙗ емоу самъ* (Мар. ев., Ио. XIV, 21); *да ꙗвꙗть сꙗ чловѣкомъ* (там же, Мф. VI, 5); *словеса... могоущаꙗ оживити и бесъмьртьна ꙗвити тꙗ* (Св. Изб. 1076 г., л. 5); *ꙗвлꙗемомъ же быти подобьныимъ цркви* (Ефрем. Кормчая, Ант. 24).

От указанных глаголов мы находим в древних памятниках и приставочные образования. Частью приставочные образова-

ния представлены и от таких основ, бесприставочные образования которых не засвидетельствованы или же представлены лишь в поздних памятниках или в современных славянских языках. В части таких случаев могло быть, что эти бесприставочные образования просто не засвидетельствованы случайно (вследствие того, что от древнейших времен до нас дошло лишь ограниченное количество памятников), частью же, возможно, таких бесприставочных форм в древности и не было, особенно если речь идет о глаголах, образованных от других частей речи — ведь они прямо могли явиться в приставочной форме. Так, например, в современном русском языке мы находим такие глаголы, как *прибáвить*, *убáвить*, *избáвить*, как будто образованные от бесприставочного **бавить*, которого, однако, мы не находим в современном русском языке, так же как не находим и глагола **бавити* в бесприставочной форме в древних памятниках (конечно, трудно сказать, что его не было вообще, и даже нет гарантии относительно того, что он вообще в каких-либо памятниках не встречается). Между тем, и в древних памятниках мы находим приставочные образования от этого корня, например, *избавити*, *избавлѩ*, ср. *избави ны от неприꙗзни* (Мар. ев., Мф. VI, 4, Лук. XI, 4), *в пеши огньнѣ избавлии* (Новг. Минея 1097 г., 92) — архаическая форма действительного причастия прошедшего времени имела в глаголах IV класса в конце основы то же сочетание согласных, что и основа настоящего времени; в более поздних русских памятниках находим приставочное образование того же типа *прибавити*, например: *прибавиша псковичи зобници* (I Псковск. лет. под 1458 г.).

Из глаголов с *i*, восходящим к общеиндоевропейскому долгому сонанту на слоговой ступени и предшествующим сонанту *v* (*u̯*), можно указать еще глагол *живити* (*живлѩ*) и производный от него глагол III класса *живлꙗти*. У Срезневского глагола *живлꙗти* нет[22], а есть лишь приставочный глагол *оживлꙗти*, с примерами из Лаврентьевской летописи и других памятников[23], так же как и в современном русском языке есть глагол *оживля́ть*, но нет бесприставочного *живля́ть*. Однако, по-видимому, от этого глагола образована одна форма в Мариинском евангелии — *дх҃ъ естъ иже живлѣатъ* (Ио. VI, 58) — в соответствующем месте в Остромировом евангелии *живить*, в Зографском и Ассеманиевом — *живетъ*,

[22] См. И. И. Срезневский. Материалы. . ., т. I, стр. 865.
[23] Там же, т. II, стр. 632.

а следующий пример из Новгородской Минеи 1096 г. говорит как будто за наличие и в древнерусских церковно-книжных памятниках глагола *живлıати*: *бжствъмь живлıакмы дхмь къ хоу оустрьмишасѧ* (л. 149). Здесь также мы находим *vl'* < < *vj* < *vi̯* в положении после *i*, восходящего в данном случае не к дифтонгу *ei̯*, как в случае (*ис*)*кривити*, а к *ī* долгому, на что указывают соответствия в других индоевропейских языках: глагол *живити* этимологически связан с прилагательным *живъ*, соответствующим лит. *gývas*, лат. *vīvus*, др.-инд. *jīváh*; не касаюсь вопроса об отношении его к однокоренному глаголу I класса *жити*, *живѫ*, где также *i* < **ī*. Вопрос о возможном поведении сонантов *iu̯* перед согласным оставляю сейчас в стороне: по мнению некоторых лингвистов, в данном случае на общеславянской почве второй сонант просто утрачивается, результатом чего и является форма инфинитива *жити*[24], от которой (вторично) могла образоваться и общеславянская форма сигматического аориста *жихъ*; ср., например, *жиста девѧть сътъ и л҃ лѣтъ* (Супр. рукоп., л. 7); *вѣста бо како въ житии семь жихъ без лоукы* (Св. Изб. 1076 г., полул. 217).

Иначе обстоит дело в таком случае, как *кривити*. В современном русском языке есть глагол *криви́ть* (ср., например, фразеологическое сочетание *кривить душой*), производный от прилагательного *крив*, *кривой*. В древних памятниках мы находим приставочные глаголы *искривити*, *раскривити*, *съкривити*, которые не обязательно являются производными от *кривити* (которое, конечно, могло быть и в древности, но остаться не засвидетельствованным в памятниках, а может быть, и засвидетельствованным, поскольку не все материалы древних памятников описаны и даже приведены в известность), но могли быть образованы как приставочные формы и прямо от прилагательного *кривъ*. *Искривити* мы находим в позднем памятнике — ср. *кривое правило и праваѧ искриви*[т] (Дубенск. сборн. XVI в., 303), но в языке оно существовало и раньше, на что указывает наличие производного от него глагола III класса *искривлıати* уже в Пандектах Никона Черногорца — *искривлıаıа каноны* (сл. 29). Глагол же *раскривити*, *раскривлю* встречается уже в Книге пророков с толкованиями Упыря Лихого, именно в форме причастия *роскривлены* именительного падежа множественного числа женского рода (Ис., LIX, 8),

[24] См. F. Liewehr. Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen. Wien, 1955, стр. 53.

подлинник же этой книги восходит, как известно, к XI в. Впрочем, следует заметить, что этимологически в (*ис*)*кривити* сонант *v* < *u̯* является не после гласного в собственном смысле слова, а после сонанта на неслоговой ступени, поскольку производящее прилагательное *кривъ* восходит к **krei̯vos*, ср. лит. *kreĩvas*, следовательно, для формы 1-го лица единственного числа настоящего времени мы имеем дело этимологически с сочетанием трех сонантов: * *krei̯u̯i̯*(*ōm*).

С сочетанием же трех сонантов мы имеем дело и в таком случае, как др.-русск. *норовити* (совр. *норови́ть*) — *норовлю*, совр. *нравить*(*ся*) < **norviti*, по-видимому, отыменное, образованное от *норовъ*, *нравъ*, общеславянск. **norvъ*.

Рассмотренные выше факты приводят к тому, что рефлексы сочетания сонантов *u̯i* (и *u̯i̯*) на границе слога при отсутствии каких-либо еще сонантов в соседстве с ними, т. е. в тождественных фонетических условиях, имеют различную форму для разных морфологических образований, именно для глаголов III и IV классов. В то время как в III классе сонант *u̯*, образующий дифтонг с предшествующим гласным в собственном смысле, вместе с ним изменяется затем в *u* (долгота или краткость предшествующего гласного в данном случае не имеет значения), тогда как *i* отходит к следующему слогу и дает затем *j*, в IV классе, напротив, *u̯* отходит к следующему слогу, изменяется в *v* и с последующим *j* дает затем сочетание *vl'* с *l'* epentheticum (на возможной впоследствии утрате *l'* не останавливаюсь, так как это явление относится уже к самостоятельному развитию отдельных языков). О том, что это различие между глаголами III и IV классов не зависит от фонетических условий, свидетельствует и тот факт, что соответствующее развитие рассматриваемого сочетания наблюдается и в различных акцентных условиях. Ср., например, такие случаи, как ловлѭ, где старое ударение на окончании (этот глагол принадлежит к старым окситонам), и такие, как *став*лѭ, *слав*лѭ, *прав*лѭ, где старое ударение на основе (вследствие же того, что корневой гласный — старый долгий и, следовательно, еще в достаточно ранний период развития общеславянского языка получил акутовую интонацию, ударение с него не могло передвинуться в 1-м л. ед. ч. по закону Фортунатова—де Соссюра).

Отступление от вышеизложенных отношений составляет как будто глагол *струи́ть*. Ср., например, у Пушкина:

Ночной зефир
Струит эфир...

Согласно изложенным выше нормам мы ожидали бы для русского языка форм не *струйть — струю́ — струйишь*, а **стровить — *стровлю́ — *стровйишь* (т. е. такого же типа, как *ловить — ловлю́ — ловйшь* или позднейшее, современное русское, *ло́вишь*). Глагол *струить* по происхождению отыменный, как, впрочем, и многие глаголы IV класса, он образован от существительного *струя́* (ср. ст.-слав. и др.-русск. строуꙗ, сербск. *стру́ја*, словенск. *strúja*). Это именное образование этимологически тождественно лит. *straujà* „поток". Но русский отыменный глагол *струить* является по происхождению новым. Мы не находим его не только в словаре Миклошича и в „Материалах" Срезневского, но и в картотеке древнерусского словаря, хранящейся в Институте языкознания АН СССР, а в этой картотеке, весьма обширной, в отличие от „Материалов" Срезневского, сосредоточены преимущественно материалы, извлеченные из памятников с XV по XVIII в. включительно. По форме своей *строуꙗ* напоминает именное отглагольное образование. В других индоевропейских языках и даже в наиболее близких к славянским — балтийских мы находим и глагольное образование того же корня, свидетельствующее о древности соответствующих образований. Ср., например, лит. *sravēti* „тихо течь" („gelind fliessen", по М. Фасмеру[25]), греч. ῥέω „теку", др.-инд. *srávati* „течет". Литовский глагол, как видим, имеет ту же ступень чередования, что и соответствующее существительное (а также прилагательное, ср. *sraũjas* „быстрый"), но греческий содержит корневое *e*, как это обычно для первичных глагольных корней (при именных производных с *o*), скорее на *e* указывает и древнеиндийское *srávati*. Правда, на греческой почве ступень *e* содержит и производное отглагольное существительное ῥεῦμα „поток", „ручей" (с другой ступенью чередования происходящее от того же корня фракийское название реки Στρύμων). Есть основания думать, что и на славянской почве некогда существовал глагол того же корня и, вероятно, иного образования, чем позднейшее *струить*. На него указывает такое древнее образование, как *островъ*, которое трудно было бы объяснить как отыменное, но которое представляет совершенно такое же образование как синонимичное ему *отокъ*, *отока*, производное от глагола тєкѫ. Ср., например, *прѣидеть в ѡтокы* (Иер. II., 10, Книга пророков с толк.

---

[25] См. M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, вып. 19, Heidelberg, 1955, стр. 31.

Упыря Лихого); в данном случае *отокъ* выступает как синоним к слову *островъ*, но иногда, наряду с ним, в значении „мыс“, например, у Иоанна Экзарха Болгарского — и *островы* и *отокы*: ἀγκῶνας καὶ νήσους (Богословие Иоанна Дамаск., л. 75 об.); ср. также сербск. *ȍток* „остров“, *ȍтока* „рукав реки“, болг. *оток* „опухоль“, „отек“ (и в сербском также с таким значением). Интересно, что в русском языке от этого корня образовано существительное *отёк*, подобным же способом (с точки зрения последовательности морфем), но с сохранением того же гласного *е*, что в глагольном корне, с последующим фонетическим изменением его в *о* перед твердым согласным. По-видимому, утраченный на славянской почве глагол шел не по IV классу (судя по греческому и древнеиндийскому соответствию, скорее всего по I или по III).

Чем объясняются эти различия между глаголами III и IV классов в поведении одних и тех же сочетаний сонантов, независимых к тому же, по-видимому, и от акцентных отношений?

Высказывалось предположение, что здесь, может быть, идет речь о различии *j* и *i̯* на общеславянской почве, т. е. о том, что различное поведение сонантов на границе слога обусловлено тем, представляет ли второй сонант *j* или *i̯*[26]. Есть ли для этого достаточное основание? Вопрос о том, различались ли *j* и *i̯* на общеиндоевропейской почве, и вопрос об условиях их различения представляют большие сложности. Некоторые индоевропейские языки на такое различие как будто указывают — ср. греческий язык, где имеется два рефлекса соответствующего индоевропейского сонанта — ʽ и ζ. Не касаюсь сейчас вопроса, как выходящего за рамки настоящей работы, о том, как объясняется это различие на общеиндоевропейской почве[27]. Но на общеславянской почве во

---

[26] Такое предположение (нигде не опубликованное и не изложенное) в частной беседе со мной высказал В. Н. Сидоров.

[27] Исходя из общефонетических соображений, следует предполагать, что и на общеиндоевропейской почве это было различие, во всяком случае первоначально обусловленное позиционно. В последние годы, когда делаются попытки объяснить все большее количество явлений на основе ларингальной гипотезы, была предпринята попытка и эти различия объяснить таким путем. Так, Л. Хаммерих в своей интересной, но спорной книге выдвигает предположение, что предполагаемая некоторыми лингвистами для объяснения наличия в греческом языке ζ- вместо ʽ(spiritus asper) общеиндоевропейская фонема *j*, отличная от *i̯*, в действительности представляет собой сочетание *Hi̯-* (т. е. обычному неслоговому *i̯* предшествовал ларингальный), сочетание *Hi̯-* дало в греческом ζ-, тогда как одно i̯-ʽ (spiritus asper), в большинстве же индоевропейских языков

всяком случае старые индоевропейские различия *j* и *i̯* не устанавливаются. Различия эти, как предполагают многие лингвисты, были, но они были связаны с определенными позиционными условиями, а именно, подобно тому как в современном русском языке, *j* выступал в начале ударного слога, а *i̯* в начале безударного[28]. Речь идет именно о начале слога, так как в конце слога, по крайней мере в более позднюю эпоху развития общеславянского языка, ни *j* ни *i̯* быть не могло. С точки зрения общефонетической такое различие *j* и *i̯* вполне понятно.

Встает вопрос, какой именно из этих двух звуков и почему мог способствовать изменению предшествующего *u̯* в сочетании с ним в *vl'*? Вообще, казалось бы, в артикуляционном отношении палатализующее влияние на предшествующий согласный легче мог оказать *j*, чем *i̯* (при его произношении язык широкой поверхностью приближается в средней части к нёбу, представляя именно ту артикуляцию, которая характерна для смягченных или палатализованных согласных). Но ведь для того чтобы такое воздействие могло сказаться, необходимо было бы, чтобы предшествующее *u̯* перешло в последующий слог (т. е. в тот же, к какому принадлежало *j*). Обладал ли *j*, согласный, а не неслоговой гласный по своей артикуляции, способностью перетягивать в свой слог более сонорное *u̯* ? Мы видим, как в случае *струя* (ст.-сл. строуꙗ), где старое ударение на окончании (ср. лит. *srovẽ* в ином словообразовательном оформлении и диалектное *sraujà*, в точности соответствующее славянскому образованию, за исключением *t*, закономерно развившегося на славянской почве в сочетании согласных *sr*) и где на славянской почве, по крайней мере в дальнейшем, должно было развиться (в ударном слоге) *j*, а не *i̯*, такого передвижения *u̯* в последующий слог не было, оно осталось в предшествующем слоге, в результате чего имело место закономерное изменение *ou̯* > *u* в закрытом слоге. Что же касается *i̯*, то оно и не могло обладать таким палатализующим свойством, как *j* (если же обладало, то во всяком случае не больше, чем последнее, скорее же меньше), и вряд ли имело какие-нибудь основания к тому, чтобы перетягивать *u̯* из предшествующего слога

Hi̯- и *i̯*- совпали (см. L. Hammerich. Laryngal before sonant. København, 1948, стр. 14—15).

[28] На основе такого различия А. А. Шахматов объяснял переход и непереход в *a ě* < *ē* после исконного *j* (*i̯*) в славянских языках (см. „Очерк древнейшего периода истории русского языка". Пг., 1915, стр. 56).

в последующий. Что же касается общей судьбы *j* и *i̯* на славянской почве (если предположить, что они некогда различались), то, если отвлечься от рассматриваемых морфологических категорий, они в сочетании с предшествующими согласными вели себя совершенно одинаково. Таким образом, нет достаточных оснований предполагать, что различное поведение сочетания двух указанных сонантов в основах глаголов III и IV классов было обусловлено сохранением на славянской почве различия между *j* и *i̯*.

Дело скорее в морфологических отношениях, в распространении показателя глагольных классов по различным морфологическим категориям и во времени распространения соответствующих образований в языке.

Во-первых, в то время как глагольные основы на **-jo-/-je-*, лежащие в основе наших глаголов III класса, несомненно, представляют собой общеиндоевропейское образование и обнаруживают ясные соответствия в различных индоевропейских языках, и притом в том же первоначальном видовом значении, которое обнаруживается и на славянской почве, отношения для глаголов с основой на *-ī-* менее ясны. Согласно А. Мейе, за пределами славянских и балтийских языков *-ī-* основы настоящего времени, обозначающие состояние (между которыми к тому же наблюдается различие — славянские языки указывают на долгое *ī*, литовский — на краткое), ясно обнаруживаются лишь в армянском языке[29].

Правда, Мейе указывает далее также на латинский язык, приходя затем к выводу относительно того, что мы имеем дело в таких образованиях с диалектным индоевропейским явлением. Впрочем, рассматривая соответствия ст.-сл. **сѣдѣти** (а этот глагол, как известно, принадлежит к типу глаголов, образующих инфинитив на *-ěti* при основе настоящего времени на *-ī-*), лат. *sēdēre*, он указывает на тенденцию западных индоевропейских языков обобщать тип на *ē*, отражающийся в славянском инфинитиве (ведь латинский язык для этого глагола имеет и в настоящем времени основу на *ē*). Для итеративных и казуативных образований на *-ī-* он указывает, помимо латинского, также на германский и кельтский тип, ссылаясь при этом на то, что в индо-иранских языках и в греческом (а частью и в латинском) основы настоящего времени оканчиваются в данном случае на **-eje/o-*, т. е. принадлежат, как видим, к основам на *-je-/-jo-*[30].

---

29 См. А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 187.
30 Там же, стр. 190.

Показатель III класса *-j-* в большом количестве глаголов унаследован общеславянским языком от более раннего времени и продолжает сохранять продуктивность на славянской почве (к типу, соответствующему общеславянскому III классу, принадлежат, в частности, глаголы первых трех продуктивных классов современного русского языка). Показатель же IV класса *-i-*, хотя и был также унаследован от более раннего времени, но, по-видимому, сравнительно в небольшом количестве глаголов и получает особенно широкое развитие лишь на славянской почве, особенно в отыменных образованиях, где он сохраняет продуктивность в отдельных славянских языках до нашего времени, ср., например, русск. *бомби́ть*, *заземли́ть*, сербск. *зи̏мити*, „зимовать" и т. п. Возможно, принимая во внимание различие значений, русск. *трави́ть* и сербск. *тра́вити*, оба производные от общеславянск. **trava*/**treva* < **trōvā*/**trēvā*, образовалось уже не на общеславянской почве, а на почве отдельных славянских языков.

Можно поэтому думать, что отношения III класса отражают закономерное фонетическое развитие. Принимая во внимание возможно раннюю монофтонгизацию однородных дифтонгов типа *оu̯*, можно думать, что, например, коуѭ, соуѭ закономерно развилось из **kou̯jōm*, **sou̯jōm* (естественнее предположить, что из двух соседних сонантов один отходил к одному слогу, другой к другому). А если эта монофтонгизация осуществлялась до изменения сочетаний *v* с *j*, то соответствующего изменения в дальнейшем и не могло произойти (к тому же *v* из *u̯* должно было получиться в начале слога, условий для чего здесь не было).

У получивших значительное распространение в более позднее время глаголов IV класса, по-видимому, в широком объеме происходили обобщения, почва для которых, несомненно, была. Ее, в частности, могли составлять глаголы, содержавшие последовательность трех сонантов, о которых уже говорилось.

Во-вторых, глаголы IV класса в широком объеме, как уже говорилось, образуются от имен. В именах, от которых эти глаголы образованы, в ряде случаев уже прочно укрепилось *v* (в положении перед гласным). Так, например, в случае *травити* мы имеем дело с *трава*, которое, хотя и может быть в свою очередь отглагольным образованием от *троути*, *тровоу* < **trovǫ*, ср. сербск. *тро̀вати*, *тру̏jе̄м* „отравлять", греч. τράω „раню"[31], но образованным от глагола другого,

[31] См. M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, вып. 20, стр. 130—131.

именно III класса, является в свою очередь первообразной основой для отыменного глагола IV класса, в случае *ловити* мы имеем дело с именем *ловъ*, засвидетельствованным в древнерусском языке, в свою очередь отглагольным, но, вероятно, образованным от глагола другого (не IV) класса.

В-третьих, следует заметить, что в то время как показатель III класса *-j-* проходил по всем лицам еще на общеиндоевропейской почве, показатель IV класса в большинстве форм выступает на слоговой ступени (*-i-*), будучи окружен с обеих сторон согласными в собственном смысле. Это *-i-*, по-видимому, первоначально является и в первом лице единственного числа, но поскольку, вероятно, еще действует закон консонантизации сонантов в соседстве с гласными в собственном смысле, *i* в 1-м лице единственного числа изменяется в *i̯* и затем в *j*. Такое положение имело место лишь в 1-м лице единственного числа.

Образование такого глагола, как *струить* в русском языке, относится, по-видимому, к сравнительно позднему времени. Он образован от существительного *струя́*, которое имеет в конце основы *j* и в котором происхождение *u* < *ou̯* давно уже не играет никакой роли. Сочетание *-ji-* в тех формах, где является в эпоху образования этого глагола показатель *-i-*, дает фонетически *i*, а там, где показатель должен явиться в форме *j* (это имеет место как раз в 1-м л. ед. ч.), сочетание *j* с неслоговой ступенью *i* (*i̯*, *j*) дает *-j-*, что в действительности и получилось. Форма 3-го лица множественного числа оканчивалась некогда на *-ętь* < *-intĭ*. Но поскольку в эпоху образования глагола *струить* это окончание уже выступало в форме *-at*, перед ним является *-j-*, так же, как в форме 1-го лица единственного числа.

Помимо указанного, следует иметь в виду, что показатель *-i-*, в отличие от показателя III класса *-j-*, по крайней мере для большей части глаголов IV класса, характеризует не только настоящее время, но и другие образования (инфинитив, аорист, не говорю о причастиях и имперфекте, где отношения и по фонетическим условиям и по результату подобны отношениям 1-го л. ед. ч. настоящего времени). Правда, в пределах IV класса имеется и подкласс, характеризующийся основой инфинитива аориста на *-ě-* (*a* после шипящих) < **-ē-* (например, **сѣдѣти, лежати**), но этот подкласс на протяжении развития славянских языков так и не стал продуктивным.

Еще на общеславянской почве получили распространение глаголы III класса, производные от глаголов IV класса, и именно от того их подкласса, основа инфинитива — аориста

которых оканчивается на *-i-*. Эти глаголы содержат проходящий через все образования показатель *-a-*, за которым в основе настоящего времени следует обычный показатель III класса *-j-*. Основа этих глаголов сохраняет и показатель первообразных для них глаголов *-i-*, точнее рефлекс результатов изменения этого сонанта в соседстве с собственно гласными (а именно *i* дает *i̯*, затем *j*, который в сочетании с предшествующим согласным давал соответствующие фонетические изменения, затем выступающие как определенная ступень чередования в основе). Эти производные глаголы уже в достаточно раннюю эпоху функционировали как производные глаголы несовершенного вида, чаще они выступали с приставками лексического значения, но возможны и их бесприставочные образования. В случае наличия показателя *-i-* в положении после *v* (< *u̯*) здесь наблюдается тот же результат, что и в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени, т. е. *vl'* (с возможной утратой *l'* по диалектам). Ср., например, **ꙗвити (сѧ) — ꙗвлꙗти (сѧ)**, **оставити — оставлꙗти**, **исправити, — исправлꙗти**, *искривити*, *искривлꙗти* (ср. *поустити — поущати*).

По-видимому, соответствующий тип начинает распространяться еще на общеславянской почве и, несомненно, еще тогда, когда действует закон консонантизации сонанта в соседстве с собственно гласным. Впоследствии сюда вовлекаются все новые и новые образования и не только на общеславянской почве, но и на почве отдельных славянских языков, вплоть до последнего времени, причем здесь уже мы не имеем дела не только с консонантизацией *i* > *i̯* > *j*, но и с фонетическим изменением сочетания *j* с предшествующим согласным (в нашем случае губным): здесь просто является определенная ступень уже морфологизовавшегося чередования, на что указывают, например, такие случаи, как русские заимствования из немецкого — *графить* — *разграфлять*, — совершенно того же типа, который только что рассмотрен, но, конечно, не отражающие ни фонетического изменения *i* > *j*, ни фонетического изменения *fj* > *fl'*, тем более что в древнеславянских языках, как известно, вообще не было *f*[32].

Эта ступень чередования может наблюдаться и в таких категориях форм, где никогда не было согласной ступени сонанта *j*. Так, она наблюдается на протяжении истории рус-

---

[32] Об этом случае мне уже приходилось писать (ср. мою статью „О происхождении и развитии чередований в русском языке“. — „Изв. АН СССР“, ОЛЯ, т. XI, 1952, вып. 1).

ского языка в положении перед глагольным суффиксом *-iva-*, получившим распространение сначала в приставочных, а затем и бесприставочных образованиях. Ср., например, *приставливати* (Новг. грам. ок. 1307 г.), как в более раннем — *приставляти*, например, *приставляѥть* (Юрьевск. ев. ок. 1120 г., Лук. V, 36), *ставливати* — например, *ставливали* (Уставн. грам. вел. кн. Вас. Дмитр. 1392 г.). Подобные образования не являются общеславянскими, хотя и получили распространение на почве различных славянских языков, но в несколько различных формах. Ср., например, чешск. *nášivati*, так же как старорусск. *нашивати*, современное *нашивать* (при *носити, носить*), но *lovívati, nosívati, vodívati*[33], ср. русск. *вылáвливать* (редкое и диалектное *лáвливать*), *вывáживать, вáживать*. Глаголы на *-iva-* в русском языке получили ту же ступень чередования конечных согласных корня, какую имели производные глаголы III класса, образованные от глаголов IV класса посредством показателя *-a-*. Следует сказать, что указанные глаголы на *-iva-* также относятся к III классу, они в значительной мере вытесняют производные глаголы на *-a-*, частью же употребляются параллельно с ними. Конечно, принимая во внимание, например, имевшее место на протяжении развития славянских языков распространение в ряде случаев форм III класса (со старым корневым дифтонгом *ou̯*) за счет древних форм I класса, может быть, частью бытовавших издавна наряду с последними, можно предполагать, что в некоторых случаях и формы III класса являются аналогическими. Но предполагать это во всех случаях невозможно, так как тогда было бы непонятно, почему более древние формы с фонетически разложившимся по двум слогам дифтонгом *ov* сменялись формами с монофтонгизировавшимся дифтонгом (*ou̯* > *u*), а не вели себя так, как формы IV класса.

Наконец, несколько слов следует сказать об именах, производных от глаголов IV класса на *-i-*. От этих глаголов, и притом от отыменных, в свою очередь образуются производные имена, в которых в конце основы обнаруживается та же ступень чередования, что в 1-м лице единственного числа настоящего времени и в производных глаголах III класса. Я имею в виду имена женского рода на *-a*, где этот показатель типа склонения примыкает непосредственно к основе глагола, оканчивающейся на *-i-*. Так, например, если от существительного *трава* образован глагол *травити*, то от

[33] См. F. Trávníček. Mluvnice spisovné češtiny, ч. 1. Praha, 1951, стр. 387.

последнего в свою очередь образуется существительное *травля* (трудно сказать, насколько оно древнее, в „Материалах" И. И. Срезневского его нет, но оно совершенно подобно, например, такому существительному, как *купля*, имеющемуся в духовной грамоте вел. кн. Симеона Гордого 1353 г., ср.: „*а в перыѧславлѣ купля моꙗ*"). Ср. также *ловлꙗ*, впрочем, возможно также позднейшее, отмечено в русских памятниках XIV—XV вв. (например, Уставн. грам. митрополита Киприана 1391 г., Жалов. грам. Олега Рязанского 1402 г.) при более древнем, по-видимому, *ловъ*, встречающемся неоднократно в Лаврентьевской летописи, в том числе и в Поучении Владимира Мономаха.

Иные отношения, как мы уже видели, наблюдаются в старых именных образованиях ни *-ja*, *-i̯a* (не от глаголов IV класса). Как будто результат, подобный образованиям от глаголов IV класса, хотя они к этим образованиям и не принадлежат, представляют такие производные имена, как *кровлꙗ*, *търговлꙗ*. Но эти образования вряд ли являются древними. Наряду с ними имеются другие имена, несомненно засвидетельствованные в древнейших памятниках, основа которых оканчивается на *v* при той же ступени корневого гласного, что в приведенных выше производных. *Кровлꙗ* засвидетельствовано, например, в древнерусском языке в Псковской летописи (под 6941 г.) при довольно широко распространенном в древнейших памятниках *кровъ* (например, Остр. ев., Мф. VIII, 8, XVII, 4 и другие памятники церковно-книжного письма); ср. также сербск. *крôв*. Слово *торговлꙗ* засвидетельствовано в восточнославянских грамотах XIV в., например, *торговля* (грам. Галицкого старосты Оты 1315 г.), *оу торговли* (Грам. Витовта 1399 г.), в Псковской судной грамоте, в Судебнике Ивана III 1497 г. — *въ торговлю* (155), у Афанасия Никитина — *о торговлѣ* (336). В более древних памятниках (например, в Русской Правде, в Новгородской Синодальной летописи) представлено непроизводное имя *търгъ*, *торгъ*, ср. болг. *търг*, сербск. *тр̂г*, польск. *targ*, чешск. *trh*. Различные славянские языки указывают на иные образования от этого корня. Ср. болг. *търговѝя*, сербск. *тр̀гвина* в том же значении, что русск. *торговля*. Основой образования послужило прилагательное *търгов*(*ыи*), широко представленное в древних памятниках и частью в других славянских языках, ср. польск. *targówy*, чешск. *trhový*. Прилагательное, по-видимому, является производным от отыменного в свою очередь глагола III класса **тръгоуѭ, тръговати**, также широко представленного и в древних памятниках различных славянских языков и в современных

языках. Ср., например, *трьгȣюке* „торгующие“ (др. серб. грам. бана Кулина 1189 г.), *торговати* (Новг. грам. 1270 г.) и т. п., русск. *торговать*, болг. *търгувам*, сербск. *трго̀вати*, польск. *targować*.

Как видно из всего изложенного выше, развитие однородных сонантов и их рефлексов на границе производящей основы и показателя глагольного класса в тождественных фонетических условиях в глаголах III и IV классов представляет неоднородную картину и не может быть объяснено без обращения к имевшим здесь место обобщениям морфологического характера. Такие обобщения в широком объеме имели место именно в глаголах IV класса и различных образованиях от этих глаголов.

Не останавливаясь здесь детально на фонематических отношениях рассматриваемых сонантов, считаю необходимым отметить, что рассмотренные выше факты свидетельствуют об очень важном преобразовании этих отношений, происходящем частью на общеславянской почве, частью на почве отдельных славянских групп. Возможность различного развития в тождественной позиции сочетания сонантов *u̯i̯*, в особенности же возможность такого согласного, как *v* (не *u̯*) в срединном положении в сочетании трех сонантов (ср. др.-русск. и совр. просторечное и диалектное *норовлю́*, хотя, по-видимому, и представляющего собой позднее образование), свидетельствует о нарушении фонологической связи (т. е. принадлежности во всех случаях одной фонеме) слоговой и неслоговой (или различных неслоговых) ступени рассматриваемых сонантов.

Václav Machek

Brno

SUR L'ORIGINE DES ASPECTS VERBAUX EN SLAVE

Le système slave des aspects (on entend par là la corrélation perfectivité/imperfectivité)[1] éveillait depuis longtemps l'intérêt de la linguistique et beaucoup d'attention et d'ouvrages y furent consacrés. On peut, à bon droit, parler d'un système ou d'une structure — naturellement rien que pour l'époque moderne — vu que le slave est susceptible de former une contrepartie aspectale pour presque tous les verbes, c'est-à-dire qu'il peut former un verbe perfectif en face du verbe imperfectif et inversement. Il va sans dire qu'immédiatement surgit la question de l'ancienneté et de l'origine du phénomène et, par suite, la question de la continuité. N. van Wijk[2] a formulé le problème comme il suit: „Au fond, nous avons affaire à deux questions: 1° l'indo-européen a-t-il possédé deux catégories grammaticales employées à peu près de la même façon que les aspects du slave et occupant dans le système du verbe une place aussi centrale que ceux-ci?; 2° si, en effet, l'indo-européen a distingué rigoureusement l'aspect perfectif de l'aspect imperfectif, le système slave des aspects s'est-il développé du système indo-européen sans que jamais la distinction des deux aspects ait été interrompue?" En partant du slave, l'on interprète les phénomènes analogues des autres langues comme relevants d'aspects, soit comme amorce d'un système soit comme reste d'un système aboli. On croyait même que le verbe indo-européen était commandé par la notion d'aspect, non par celle de temps. S'il en était ainsi, le système slave serait quelque chose d'ancien et

---

[1] Les termes techniques *perfectivité* etc., employés ici, ne sont pas trop courants en français. Mais il y en a pourtant: *activité* (:actif), *productivité* (:productif), *transitivité* (Karcevski, v. la note 27, de *transitif*) et quelques autres.

[2] Revue des études slaves 9 (1929), 237.

les autres langues y auraient, plus ou moins, renoncé. Autrement il représenterait une innovation slave. D'où a-t-il donc tiré son origine et quelle en a été la cause? Pour l'historique de ces questions je renvoie l'aimable lecteur au livre de C. G. Regnéll, ainsi qu'au récent ouvrage d'A. Dostál[3].

Toute considération sur l'origine des aspects devrait préciser son point de vue envers les théories précédentes. Hélas! il n'y a point de place pour cela; du reste, mon attitude, quant à ces théories-là, se montrera dans les lignes suivantes. Il suffit de déclarer que le point de vue le plus proche au notre est celui de v. Wijk de 1927[4]. Mais, plus tard, v. Wijk quittait cette théorie-là. En 1935[5], il attira attention sur l'importance des verbes „indéterminés" du type φορέω, *nositi*, στρωφάω, πηδάω, *padati*, *lětati* ainsi que sur l'importance de la composition verbale. Or, nous allons essayer d'élucider le caractère des verbes en *ā* un peu autrement que v. Wijk ne l'avait fait, pour arriver — dans l'esprit de la première théorie de v. Wijk — au point de départ du système d'aspect.

Remarquons d'abord le nombre des verbes dans les cinq classes particulières. — 1° En premier lieu, il y a des verbes athématiques, peu nombreux: *jesmь*, *věmь*, *jěmь*, *damь*, *děmь*[6], *jьmamь*. Ils désignent les notions verbales les plus courantes, appartiennent au stock fondamental du lexique et sont tous les jours fréquemment usités. Cette circonstance-ci est la cause du fait qu'ils se sont maintenus jusqu'à nos jours comme athéma-

---

[3] Carl Göran Regnéll. Über den Ursprung des slavischen Verbalaspektes. Lund, 1944. — Antonín Dostál. Studie o vidovém systému v staro-slověnštině. Prague, 1954.

[4] Indogermanische Forschungen 45 (1927), 98 sq. Sa théorie est comme suit: «Wenn trotz des wenig umfangreichen Materials die Annahme richtig ist, daß die Unterscheidung der zwei Aspekte im älteren Urslavischen und im älteren Altbulgarischen hauptsächlich bei solchen Verben gefehlt hat, neben welchen Iterativa der *choditi-běgati*-Klasse vorkommen, so liegt die Vermutung nahe, daß sowohl der Gegensatz perfektiv: iterativ (z. B. *pasti: padati*, *pripasti: pripadati*) wie der Gegensatz imperfektiv (bzw. aspektlos): iterativ (z. B. *iti: choditi*) beide auf den älteren, der Entwicklung des slavischen Aspektsystemes vorangehenden Gegensatz nicht iterativ: iterativ zurückgehen; bei einigen Zeitwörtern wäre dieser Gegensatz vorläufig unverändert geblieben, während bei meisten die Entwicklung des Aktionsartsystemes eine Verengung von aspektlos zu perfektiv und eine Ausdehnung der Iterativklasse auf die Fälle, wo man kein perfektives Verbum brauchte, hervorrief, bis schließlich auch zu den aspektlos gebliebenen Verben spezielle Perfektiva gebildet wurden, weil man ja immer stärker den Gegensatz perfektiv-imperfektiv als das ganze Verbalsystem beherrschend empfand».

[5] Indogermanische Forschungen 53 (1935), 199 sq.

[6] Sur *děmь* 'je dis' et hitt. *temi* (même sens) v. notre exposé dans l'Archiv orientální 17 (1949), 136.

tiques. — 2° Dans la classe des verbes thématiques dont le suffixe n'est que *e/o* (*vedǫ vesti*), il y a à peu près 80 verbes pour les notions qui sont de même courantes pour chaque sujet parlant. — 3° La classe des verbes en *no/ne* constitue, on le sait, le produit d'une large évolution à l'époque historique; toutefois leur nombre en slave commun devait être assez faible. — 4° La classe des verbes en *jo/je* contient des verbes dérivés en nombre assez considérable. C'est ici que font leur apparition les thèmes d'infinitif en *a* (*tesati*, *dělati*, *bьrati*, *kupovati*); ils sont nombreux, tandis que les thèmes sans *a* (*piti*) ne sont qu'en petit nombre. — 5° La classe des verbes en *i* contient d'une part les verbes désignant l'état, à l'infinitif en **-ěti* (*viděti*, *slyšati*), d'autre part ceux à l'infinitif en *-iti*: les anciens factitifs (*buditi*) et itératifs (*nositi*), puis une quantité de dénominatifs (*gostiti*) et de déverbatifs (r. *taščit'*, dérivé de *taskat'*).

En regardant le thème d'infinitif, l'on se rend compte tout de suite du fait que la grande majorité des verbes se termine en *-ati* (y compris ceux en *-jati* et en *-ovati*). Et ce sont justement les verbes en *-ati* auxquels est lié l'aspect imperfectif. Il est vrais qu'il se trouve aussi dans les verbes à autres thèmes, néanmoins la plupart des imperfectifs ne sont logés que là, dans la classe en *-ati*.

Donc, les verbes en *ā*, en ce qui concerne leur aspect, sont imperfectifs. Or, il est important pour notre problème de savoir quel fut leur caractère quant aux autres traits, quel fut leur „mode d'action", c'est-à-dire il nous faut répondre à la question quelle nuance, quel caractère d'action devaient être exprimés par les premiers verbes de ce genre au moment où ils furent formés aux époques reculées: si, en formant ces verbes, le sujet parlant avait l'intention d'exprimer soit l'imperfectivité du procès soit la longue durée ou le caractère itératif soit enfin la force ou la faiblesse ou, en général, une valeur particulière de l'action verbale. Il n'y a pas de doute que l'aspectualité dans notre acception du mot ne fut point le but de la formation verbale en *-ati*. Les anciennes langues indo-européennes exprimaient la perfectivité ou l'imperfectivité là où il en était besoin, par les moyens lexicaux: à l'aide des adverbes (dont plusieurs sont devenus préverbes), des compléments circonstanciels (comme 'tout d'un coup', 'du coup', 'longtemps', 'longuement', 'souvent'). La catégorie d'aspect etait donc l e x i c a l e et elle l'est resté jusqu'à nos jours (non grammaticale, malgré l'opinion de la plupart des linguistes).

La clef pour apprécier justement le caractère des verbes en *-ati* doit être livré par l'a n a l y s e d e l e u r s t r u c t u r e:

il faut établir de quels suffixes il s'agit dans les cas donnés. Car ce n'est pas toujours le seul *a* qui constitue le suffixe. Il est vrai que l'*a* peut, à lui seul, constituer le suffixe (*pad-a-ti*); mais il s'agit très souvent des suffixes plus amples où l'*a* ne figure que comme dernier composant, comme élément vocalique du suffixe du thème de l'infinitif. J'ai déjà essayé antérieurement d'analyser à cet effet une série de verbes et j'ai constaté que les verbes en *ā* contiennent (à côté du suffixe représenté par le seul *ā*) aussi les anciens suffixes *s*, *t*, *st*, *sk*, donc les suffixes complexes *sā*, *tā*, *stā*, *skā*. Outre cela, il y a un nombre de verbes plus récents, terminés, à l'infinitif, en *-la-ti*, *-chla-ti*, *-chra-ti*, *-chna-ti* etc.[7]. Le travail n'est pas encore fini, mais il est possible de le résumer ici. Les certains suffixes slaves possèdent leurs correspondances dans les autres langues indo-européennes. Ces dites correspondances montrent clairement quel fut le caractère des verbes slaves formés par les suffixes analogues.

1° Suffixe *-ā-*. — Celui-ci fournit une grande quantité de verbes comme *kopati*, *klepati*, *grabati*, *sypati*, *běgati*, *plavati*, *vidati*. La formation de ceux-ci est claire, on n'éprouve pas le besoin de beaucoup en parler. On a déjà auparavant constaté que c'est à ce type que correspond le type duratif latin *occupāre* (en face de *cap-ere*) et puis le type grec στρωφάω (: στρέφω), lit. *lìndoju*, *lìndoti* 'hineingekrochen sein' (:*lendù*, *lį̃sti* 'kriechen'). Le vocalisme de la racine n'est pas d'un seul genre. Il y a des cas où il n'est pas changé en regard du vocalisme du verbe de base, mais on trouve aussi des cas où il est affaibli (ce qu'on peut comprendre devant le „lourd" suffixe *-ā-*); le type στρωφάω (: *grabati* en face de *grebǫ*, *greti*) possède un **ō* long apophonique en face de l'*e* de base. Un autre type montre encore un simple allongement (*sypati* en face de *sъpǫ*, *suti* du même sens). En regard du suffixe *-ā-* dans les types mentionnés des langues étrangères (*occupāre*, *lìndoti*, στρωφάω), le slave *ā* (les verbes se terminent au présent en *-ajǫ*, inf. *-ati*) montre une parfaite forme correspondante, et c'est J. Rozwadowski[8] qui, se basant sur le matériel balto-slave et latin, a déclaré à bon droit que les commencements de cette formation-là en *ā* devaient remonter à l'indo-européen. De l'indicatif présent, cet *ā* a pénétré bientôt aussi dans les noms verbaux (*occupā-tus*, *lìndo-ti*)[9].

---

[7] Sur de tels suffixes jeunes v. dans «Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi», Brno, 1948, p. 317 sq.

[8] Indogermanische Forschungen 4 (1894), 412.

[9] Selon Jos. Zubatý (České sloveso. Prague, 1915, 94) une source des formes en *a* se trouve dans les anciens adjectifs verbaux (participes) en *-āna-* le

Ceci vaut de même pour l'évolution de formes aussi en ce qui concerne les suffixes qui suivent.

2° Suffixe *-sā-*. Celui-ci fournit de même un nombre remarquable de verbes dont l'origine, la plupart du temps, est claire; le verbe d'où l'on part s'est maintenu d'ordinaire soit dans le slave, soit au moins dans le baltique. Par ex. tchèque *drásati* 'kratzen, ritzen, streichen', slovène *drasati* 'auflösen, auftrennen', provient de *drapati* 'kratzen, reißen', c'est-à-dire de sa forme primaire **drap-sa-ti*. Le sentiment linguistique des Tchèques accepte *drásati* décidément comme un verbe beaucoup plus fort que *drápati*; il signifie, en effet, un plus haut degré d'activité quand l'on gratte, griffe quelque chose d'une manière brusque, profonde, destructive; il en devrait être de même pour le slovène *drasati*[10]. De tels verbes se trouvent aussi en baltique: lit. *dilbsaũ*, *dilbsóti* 'glupend dastehen' dérivé de *dil̃bti*: ici aussi, le plus haut degré se voit d'une façon tout à fait évidente, étant exprimé dans les équivalents sémantiques allemands toujours par ce „dastehen, dasitzen, daliegen" (le sens propre s'exprime à l'aide du participe: 'glupend'). Heureusement, en baltique la structure de mots est tous à fait claire, parce que la consonne (*b*, *p* et d'autres) ne disparaît pas devant *s*.

L'*s* suffixal en slave devait, on le sait (c'est la règle de Pedersen), changer en *ch*: nous concevons donc *čuchati* 'flairer' comme un verbe intensif avec le suffixe *-sā-* le verbe-base est *čują*, *čuti* 'sentir (qch)'; de même *slušati* (racine **kleu-*), *strachati* (polon. dial. *strachać*, bas-sorabe *tšachaś*) 'faire peur' de **strōg-sati* (apparenté à all. *schrecken*). Tels ont été les cas d'où l'on a tiré le suffixe *-chati* qui a fait fortune et a trouvé, ce qui est curieux, une façon particulière pour former de nouveaux verbes affectifs: d'ordinaire on ne retient que la première syllabe du verbe primaire, à savoir ouverte, le reste du mot disparaît et c'est à sa place que vient ce *-chati*, p. ex. a côté de russe *pro-sit'* on a r. *pro-chát'*, ukr. *pro-cháty*, à côté du slovaque *balamutit'* on a *balá-chat'*. Ici aussi, le caractère inten-

---

participe passé *zъv-anъ* (de *zovą zъvati* 'appeler') gépond à ind. *huvāná-*; puisque ces formes-là étaient conçu, dans la conscience linguistique des sujets parlants, comme *zъva-nъ*, l'*a* s'est lié à la racine et pénétrait dans d'autres formes (*zъva-lъ*, *zъva-ti*, *zъva-vъ*, *zъva-tъ*). Ceci vaut, j'y crois toujours (Zeitschrift für slavische Philologie 14 (1937) 272 sq.), aussi pour la classe verbale en *-ova-* (*cel-ov-anъ*, ct. véd. *tak-av-ana-*).

[10] D'autres exemples (environ 40) se trouvent dans mes articles du Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 1 (1952), sér. A 82 sq. et de la Slavistična revija, Mélanges R. Nahtigal, v. la note 18.

sif de l' action est tout à fait évident: r. *prochat'* signifie 'prier importunément', tandis que *prosit'* est 'prier' tout court[11].

Jusqu'à présent, on croyait que cet *s* suffixal était identique à l'*s* „désideratif" que l'on rencontre en indo-iranien. En fait il est intensif[12] et l'on en trouve des formes correspondantes dans d'autres langues, p. ex. il existe all. *rapsen* de *raffen*, *gelsen* de *gellen*, de même en indo-iranien il y a un „déterminant radical" *s* à caractère intensif (J. B. Kuiper). C'est en latin que la chose est la plus évidente. Nous pensons ici au suffixe *-sā-*, p. ex. dans *cursāre*, *versāre*, *cessāre*, *mersāre*, *pulsāre*, *grassārī*. Examinons p. ex. *cursāre*: il signifie 'courir sans cesse ou vivement' (Ernout—Meillet), tandis que *currere* ne signifie que 'courir' tout court; *versāre* (de *vertere*) 'faire tourner avec force ou avec peine ou habituellement' (Ernout—Meillet). Dans cette définition, le caractère intensif du procès est hors de doute. Ernout lui-même désigne *pressō* (de *premō*) comme „intensif", *prēnsō* (de *prehendō*) est traduit chez lui par 's'efforcer de prendre, prendre avec force, serrer, presser'.

Tout le monde est d' accord que les verbes en *-sāre* (ainsi que ceux en *-tāre*) sont dérivés des adjectifs verbaux (part. perf. pass.) en *-sus* (et *-tus* respectivement). J'ai essayé de démontrer que ce n'était pas le cas[13]. D'une part, il y a une série de discordances dans leur formation (le part. perf. pass. a quelquefois une autre forme que le thème du verbe), rappelées dans la grammaire latine de Safarewicz et Otrębski[14]. D'autre part, ce type coïncide si parfaitement, quant au thème, avec le type balto-slave qu'on devrait pécher contre la prudente méthode de la linguistique comparée, si l'on ne rapprochait pas en ce cas le latin du balto-slave et si l'on ne concluait pas à l'ancienneté de la formation commune des verbes. Il va sans dire que les nomes comme lat. *cursus* 'cours' doivent être considérés comme postverbaux, mais rien n'empêche de le faire. Ernout appelle *cursāre* et *cessāre* „fréquentatifs", *pulsāre* et *grassārī* „itératifs", mais *versāre* est appelé „intensif". Vu ce 'vivement' en cas de *cursō*, nous allons employer de même en cas de celui-ci plutôt la dénomination „intensif" en nous rendant néanmoins

---

[11] Sur le *ch* suffixal (les verbes en *-chati*) v. Lingua Posnaniensis 4 (1953), 111 sq.

[12] La valeur intensive des thèmes verbaux en *s* est aussi reconnue par V. V. Ivanov. Вопросы славянского языкознания, вып. 2 (1957), 23.

[13] Lingua Posnaniensis 4 (1953), 130.

[14] J. Otrębski, J. Safarewicz. Gramatyka historyczna języka łacińskiego. Varsovie, 1937.

compte que nous avons affaire à une valeur itérative du procès envisagé. Or, non seulement en ce qui concerne leur suffixe, mais aussi pour leur nuance sémantique les formes latines et balto-slaves en *-sā-* concordent. Par conséquent, on peut croire de même pour le slave que les verbes formés à l'aide de *-sā-* ont été faits pour vivre et servir comme intensifs (itératifs), non pas comme imperfectifs tout court.

3° Suffixe *-tā-*. De même celui-ci fournit des intensifs, p. ex. *gъltati* 'gloutonner' (on connaît aussi une forme à métathèse, *glъtati*, Berneker I, 309) dérivé de la racine *gel-* 'manger ou boire en avalant gloutonnement'; *chytati* 'chercher à prendre, saisir ou attraper de façon réitéré' d'un verbe qui ne s'est pas maintenu en slave et qui correspondrait à lette *gūnu*, *gūt* 'fangen, haschen, greifen'; r. *petat'*, **pětati* 'battre' de *pai-* en gr. παίω (pousser, battre)[15]; tch. *vrtati* 'forer' de **v-ъrb-ta-ti*, cf. lit. *ur̃bti* qui a la même signification. Ces formations correspondent aux certaines formation latines. P. ex. *cap-tāre* (de *capere* 'saisir') qui est visiblement intensif (chez Ernout—Meillet *captāre* est qualifié comme itératif), *cantāre* 'chanter' („intensif" chez Ernout—Meillet) de *canere* du même sens, *hortārī*, archaique *hortāre* („fréquentatif-intensif", Ernout—Meillet) 'exhorter, encourager', de *horior* du même sens, *saltāre* 'sauter' („itératif-intensif") de *saliō*, *dictāre* („fréquentatif et intensif") de *dīcere*, *tentāre* („itératif-intensif"). On expliquait ces verbes latins en *-tāre* en partant des noms en *-tus* (p. ex. du nom *cantus* 'chant' ou du part. perf. pass. comme *captus*). Mais c'est bien inversement.

On comprend facilement les noms du type *cantus* — ainsi que les mots en *-sus* — comme postverbaux. Du reste, la dérivation, si elle provenait du participe perf. pass., serait difficile à comprendre: *captāre* ne signifie pas 'captum facere (une fois)', mais 'chercher à prendre, prendre à coups répétés'. Remarquons que, pour certains verbes, le latin peut posséder les formes secondaires de deux sortes, en *-sāre* et *-tāre*. P. ex. de *mergō* il existe „le fréquentatif archaique" *mertāre*, mais celui-ci a été remplacé par *mersāre*. Pareillement, de *pellō* 'pousser' il y avait *pultāre*, éliminé dans la suite par „l'itératif" *pulsāre*. On peut juger de cette duplicité que dans les paires *mertāre* et *mersāre* les deux membres ont été égaux en ce qui concerne leur caractère. L'existence de la forme *pultāre* contraint, jusqu'à nos jours, les savants à supposer l'existence d'un participe **pul-*

[15] Rapprochement évident, présenté dans le dictionnaire blanc-russe de Nosovič (Словарь бѣларусскаго нарѣчия. СПб., 1870).

tus et, de façon pareille, d'un participe **mertus* (A. Ernout est du même avis) quoiqu' ils ne soient attestés que *pulsus*, *mersus* uniquement. Il est évident que ces hypothèses supposant un **pultus* et un **mertus* sont extrêmement fragiles et par là aussi toute la théorie qui enseigne que les verbes en *-sāre/tāre* proviennent du participe perf. pass. et des substantifs. Par conséquent, le slave possède ici aussi une formation tout à fait analogue à celle du latin, et cela quant à la forme de même qu' au caractère, et on a de nouveau le droit de faire remonter le tout à l'époque ancienne. On a donc le droit de voir dans les verbes slaves en *-tati* es intensifs-itératifs originaires.

4° Suffixe *-stā-*. De même celui-ci est bien représenté et facile à constater[16], p. ex. *chrustati* 'croquer' se trouve à côté du *chrupati* qui a le même sens; il est donc évident qu'on peut concevoir *chrustati* comme **chrup-stati*. Mais dans plusieurs cas le verbe de départ ne s'est pas maintenu en slave, mais il existe ailleurs, p. ex. pour *svistati* 'siffler' on peut supposer un **svibati* originaire que nous considérons comme apparenté au lat. *sībilāre* de **svīb-ilāre*.

Le baltique possède ce suffixe dans nombre de mots: par ex. lit. *mìnstau*, inf. *mìnstyti* 'fouler aux pieds' à côté de *minù*, *mìnti* du même sens. Le baltique l'a employé abondamment, à savoir soit comme suffixe intensif — en ce cas le *st* se trouve dans toutes les formes — soit comme suffixe inchoatif — en ce cas le *st* n'existe qu'au présent. A propos du *st* inchoatif baltique, on se pose la question sur l'origine de cet emploi inchoatif[17]. On croit qu'il a existé un *sk* originaire, identique à *sk* inchoatif latin, et que *t* ait apparu au lieu de *k* dans certains verbes par voie de dissimilation. A mon avis, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'hypothèse mentionnée. On verra ci-dessous, à propos de *sk*, que le suffixe „intensif" peut revêtir la fonction inchoative, et cela par une évolution tout à fait naturelle. Étant donné que les choses se sont passé de telle façon en latin, pourquoi cela ne pourrait-il avoir lieu aussi en cas de *st* en baltique? Et ainsi qu'on trouve dans les inchoatifs latins le *sk* seulement au présent, de même le *st* inchoatif baltique ne se rencontre qu' au présent.

5° Suffixe *-skā-*. Celui-ci est bien représenté aussi dans d'autres langues indo-européennes. En slave, on peut trouver

---

[16] V. notre article dans le recueil Studie a práce linguistické, I (Mélanges B. Havránek), Prague, 1954, 248 sq.

[17] J. Endzelin. Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923, §. 619.

environ 50 verbes[18] de ce genre. W. Porzig a constaté[19] que le *sk* caractérise les verbes désignant une action qui procède „ruckweise“, à essais (actions, coups) répétés, „in einzelnen Absätzen“, par intervalles. Ceci vaut pour l'indo-iranien (v.-ind. *gaččhati*) et le grec (βάσκω, εὑρίσκω). En latin, le *sk*, on le sait, fournit des inchoatifs. Mais ceux-ci mêmes peuvent être compris de la même façon. Dans l'article de Slavistična revija (v. la note 18), j'ai essayé de l'expliquer sur l'exemple du lat. *senēscō* 'je vieillis': un jour, nous avons l'impression que la personne que nous avons considérée comme non vieille montre certaines traces de vieillesse, qu'elle n'est p l u s jeune; mais quelques temps après, elle nous apparaît de nouveau fraîche et non vieille, se trouvant en bonne santé, et après quelque temps de nouveau inversement, de sorte que ce flottement peut se répéter assez longtemps, donc, même dans ce cas-là, le procès se passe „ruckweise“: ceci a été ensuite généralisé en latin, le grec a de même γηράσκω[20]. Tandis qu'au commencement les verbes en *sk* avaient dans leur racine le degré zéro (*gačchati*, *iččhati*, *j-ьskati*), la formation productive slave ne respecte plus cette règle et ajoute le *sk* de façon toute mécanique; il en est de même pour *-sā-*, *-tā-*, *-stā-*: *luskati* 'claquer' se trouve à côté de *lupati* 'craqueter', il provient donc de **lup-skati*; r. *ulyskat'sja* 'sourire' (**lyb-skati*) se trouve à côté de *ulybat'sja* du même sens. Certains verbes peuvent se vanter d'un âge respectable: *taskat'* 'prendre clandestinement' n'a pas à côté de lui son verbe de départ sur le sol indigène, mais ce n'est qu'en hittite qu'on trouve un verbe de *dā-* qui a la même signification ('prendre') et possède un intensif respectif *dašk-*. Ce hittite est capable de former pratiquement pour chaque verbe un „itératif“ en *sk* (d'après la dénomination de Friedrich; auparavant, on l'appelait soit „duratif“, soit „itératif-duratif“). Sans aucun doute, l'état de choses slave ressemble à celui de l'hittite et il s'agit, au fond, d'i n t e n s i f s - i t é r a t i f s. Il se trouve encore un autre curieux accord avec l'hittite: à côté des verbes en *sk*, il y a des verbes avec l'*s* pur et simple, voir ci-dessus 2°, p. ex. tch. *já-*

---

[18] V. mon article Slavische Verba mit suffixalem *sk*, Slavistična revija (Mélanges R. Nahtigal), 10 (1957), 67 sq.

[19] Indogermanische Forschungen 45 (1927), 152 sq.

[20] Un cas spécial de changement de fonction se trouve en tokharien, où le *sk* sert à former les factitifs. C'est le résultat de l'affaiblissement de la même fonction dans les verbes en *-eio-*. Comme les verbes en *-eio-* furent anciennement itératifs et factitifs, ceux en *sk*, itératifs, prirent par surcroît, non seulement la fonction des verbes en *-eio-* itératifs, mais aussi celle des verbes en *-eio-* factitifs.

sati 'jubiler' et polon. *jaskać*, bulg. *drusam* et *druskam* 'secouer, branler'; même en hittite le *s* (écrit *šš*) apparaît souvent dans la même fonction comme le *sk*. Les verbes slaves en *sk* expriment aussi une plus grande intensité d'action que les verbes d'où ils sont nés. C'est-à-dire, ces verbes en *sk* eux aussi sont formés, à leur origine, comme intensifs-itératifs, non pas comme „imperfectifs".

6°. Il existe encore d'autres suffixes en *ā* caractérisant le verbe soit comme intensif, soit comme intensif-itératif, sur l'origine desquels on ne peut, pour le moment, émettre aucune opinion précise. L'un en est *-ъz-a-* (*gъmъzati*, *lobъzati*) et *-oz-* (*glomoziti*); chose curieuse, il apparaît ici une harmonie vocalique analogue (*ъz* après *ъ* radical; *oz* après *o* radical) à celle dans les suffixes *ot*/ *et*/ *ъt*/ *ьt* (*klopotati*, *trepetati*, *rъpъtati*, *šьpьtati*). D'autres suffixes de telle sorte sont *-lati*, *-rati* (cf. lit. *-lóti*, *-róti*). Ceux-ci, eux aussi, et les autres suffixes ont été intensifs-itératifs, non pas imperfectifs.

Il ressort des cas énumérés ci-dessus que les verbes en *ā* ont été formés comme variantes pour exprimer le caractère intensif du procès, non pas son imperfectivité. La preuve en est le caractère intensif des formations analogues en latin, germanique, baltique. *Cursāre*, *rapsen*, *dilbsóti* sont formés comme intensifs. La même chose doit être reconnue pour les formations slaves (bien entendu, pour l'époque ancienne dans laquelle naissaient les verbes). Ici, c'est ancienneté qui décide: on ne peut pas croire que l'intention d'exprimer l'imperfectivité de l'action pût être ancienne et primaire et qu'elle ait pu disparaître partout ailleurs excepté dans le slave ou qu'elle ait pu changer partout ailleurs en une autre qualité. Au contraire, les verbes en *-sati* etc. sont intensifs dès l'origine.

Donc nous avons vu que les intensifs slaves en *-ati*, *-sati*, *-tati*, *-stati*, *-skati* ont leurs formes correspondantes surtout en latin. Mais encore de plus: il possèdent en latin l'analogie de leurs emploi stilistique. Les itératifs et les intensifs latins sont usités souvent avec la valeur de simples verbes primaires, surtout dans le language vulgaire. „Die Iterativa oder Frequentativa und Intensiva treten bereits im Altlatein vielfach ganz im Sinne der Primitiva auf; dies ist auf die drastische Art der Volkssprache mit ihrem Bedürfnis nach Ausdrucksverstärkung zurückzuführen, z. T. auch darauf, daß manche solche Bildungen ihre intensive Bedeutung verloren, weil das zugehörige Grundwort ausgestorben war. Daß die niedere Umgangssprache den Iterativa mehr Raum gewährte als die gepflegtere,

zeigt die Zurückhaltung des Terentius gegenüber der freien Verwendung des Plautus, der oft unter dem Einfluß des Metrums Primitivum und Iterativum unterschiedslos nebeneinander gebraucht“ [21]. Certainement, un phénomène analogue a été tout à fait courant aussi en slave. Cette analogie latine prouve nettement que ce n'est pas l'aspect qui y a joué un rôle (la notion de la perfectivité du procès et de l'imperfectivité), mais la notion de l'intensivité par opposition à la valeur des verbes „primitifs“.

A ce moment, il convient de prendre en considération quel est le contenu de la notion de l'intensif. Cela peut être démontré dans les verbes en *-skati*. W. Porzig est arrivé, nous l'avons remarqué ci-dessus, à la conclusion que l'action ou l'activité qu'on exprime à l'aide des verbes en *sk* sont caractérisées en premier lieu par ce qu'elles sont exécutées „ruckweise“, c'est-à-dire par intervalles. La notion de „ruckweise“ signifie en même temps que l'action ou l'activité sont exécutées d'ordinaire avec une énergie et un effort, que les pauses représentent, en effet, un repos, une concentration des forces pour une nouvelle attaque ou pour un nouvel essai et que, par conséquent, le procès n'a pas lieu d'une façon normale, tranquille, mais que les essais se répétent et sont caractérisés par un effort. Vu le „ruckweise“, la notion de l'itérativité, de la répétition y est impliquée. Il est donc possible que les verbes de ce genre reçoivent leur désignation justement en vue de ce caractère, et, en effet, les formes hittites en *sk* sont appelées, dans les traités hittitologiques les plus récents, itératifs. Mais parce que nos verbes en *sk* sont de nets intensifs, je crois qu'il convient de désigner même les verbes hittites en *sk* plutôt comme intensifs. On peut dire la même chose en ce qui concerne les verbes latins en *-sāre*, *-tāre*; en faveur de cette affirmation on peut rappeler l'hésitation d'A. Ernout entre les dénominations „intensif“, „itératif“, „fréquentatif“.

Il va sans dire que la signification lexicale du verbe ou la tendance dans l'évolution de la langue respective peuvent, au cours de l'histoire, souligner dans ces verbes soit l'un côté de la notion (l'itérativité), soit l'autre côté (l'intensivité), éventuellement le troisième (le caractère inchoatif en cas de *sk* en latin et de *st* en baltique). (L'évolution vers le caractère factitif de *sk* en tokharien a une raison spéciale, v. la note 20). Ensuite, on

[21] M. Leumann — J. B. Hofmann. Lateinische Grammatik. München, 1928, 547.

suppose le caractère constaté en cas de *sk* aussi pour les autres verbes en *ā* (*sā* etc.). C'étaient des verbes exprimant un degré plus haut de l'intensité, ainsi que la circonstance que le procès attire notre attention d'une manière spéciale etc., et, par conséquence, ces verbes pouvaient servir soit d'intensifs, soit d'itératifs ou pouvaient être conçus comme tels. Ils évoluaient probablement vers l'itérativité, car les anciens itératifs en *-ŏ-eiō* (type *nositi*, φορέω) n'étaient possibles que dans un petit nombre de verbes. Pour les verbes où il n'y était pas possible de former les variantes apophoniques (*-ō-eiō-*), les langues se sont servi, pour obtenir les itératifs, des suffixes intensifs.

En slave commun, il existait donc des paires telles que p. ex. 1° **kop-jǫ*, *kopti* 'frapper du pied; ruer', 2° *kopajǫ*, *kopati* du même sens. Le verbe no 1° a sa forme correspondante dans gr. κόπτω (**kop-jō*), no 2° l'a dans lit. *kapóju*, *kapóti* 'frapper, battre'. Mais sl. **kopti* aurait dû passer à **koti*, il existerait donc une différence considérable entre les formes du thème du présent et celles du thème de l'infinitif. C'est pourquoi la langue a employé l'intensif *kopati* au lieu de **koti*, c'est-à-dire non seulement pour des motifs de style, mais aussi pour des motifs purement phonétiques. L'intensif en *-ati* a pu y être employé très bien aussi à la suite de ce que la valeur intensive est donnée par le sens même; ce mot signifie 'frapper du pied' comme on le fait en colère si l'on est énervé (d'ordinaire vraiment d'une manière répétée, „ruckweise"), ou il signifie 'ruer' en parlant du cheval, si ce représente sa qualité constante. Le **kop-jǫ* originaire n'était pas perfectif parce que gr. κόπτω, conforme à celui-là quant à la forme, n'a pas de valeur perfective. Mais l'infinitif *kopati* admettait nettement d'être conçu comme itératif, et cela toujours, et c'est par là qu'on est arrivé à concevoir *kop-jǫ*, lui aussi, toujours comme un procès répété, exécuté „ruckweise". Alors, puisqu'à la suite d'un certain changement phonétique (*bt*, *pt* > *t*) dans le thème d'infinitif, disparaîssait le membre non-intensif de la paire, la valeur intensive caractéristique de *kopati* récemment inséré commença à s'affaiblir en faveur de la valeur itérative. Une confusion dans l'infinitif a provoqué de même une promiscuité des formes en *-jǫ/ajǫ* dans le présent. Mais la langue connaissait dès l'époque ancienne l'opposition non-itérativité /itérativité; cela peut être affirmé parce qu'elle connaissait, à l'époque indo-européenne, les itératifs du type *voditi*. Il est donc tout à fait naturel qu'elle ait joint ultérieurement à *kopǫ*, *kopati*, conçu comme itératif, la forme correspondante

non itérative. À cet effet, elle a choisi le suffixe à *n*; à l'aide de celui-ci, elle a bâti un nouveau *kopnǫ*.

Or, nous affirmons qu'on a pu aux verbes en *-ati*, qui avaient été, à leur origine, intensifs, mais qui avaient été plus tard conçus comme itératifs, ajouter ultérieurement les verbes non itératifs et que telle est justement la direction de l'évolution que les verbes ont pris. C'est qu'on peut, croyons-nous, même démontrer. C'est le verbe *let'ǫ*, *letěti* 'voler (se mouvoir à l'aide d'ailes)' qui peut servir de preuve. Sa racine se terminait par *k* (lit. *lekiù*, *lė̃kti*, lett. *lecu*, *lekt*), mais *let'ǫ* et *letěti* ne peuvent être expliqués du point de vue phonétique qu'à travers l'intensif *lětati* (Berneker y a déjà songé): *kt* aboutit à *k* seulement devant les voyelles postérieures, non pas devant les antérieures et devant *j*; outre cela *t* dans *lek-t-* du présent représenterait en slave un phénomène tout à fait insolite, mais on comprend facilement *t*, à savoir *-tā-* (dans *lětati*), comme le suffixe intensif. *Lětati* est de *lēk-tā-* tout à fait en ordre. On peut s'imaginer qu'il y avait une fois **lečǫ*, **lekti* (= lit. *lekiù*, *lė̃kti*) et, à côté de lui, *lětajǫ lětati* (= **lēk-tā-jō*, *lēk-tā-tei*). La discordance phonétique entre *č*, *kt* et *t* a été la cause de ce que **lečǫ*,* *lekti* a succombé. Au lieu de **lečǫ*, un nouveau présent *let'ǫ* avec *t* de *lětati* a pris naissance; une cause extraordinaire a voulu que ce verbe ne soit pas resté dans le type *jo/je*, mais qu'il a été inséré au type *tьrpǫ*, *tьrpiši*, *tьrpěti*. La cause en a été que le slave commun bâtissait des verbes indiquant l'état à l'instar de *seděti*, *visěti*, *ležati*, *stojati*. C'est à cette place qu'il a inséré aussi *běžati* et ce *letěti*, c'est pourquoi il a bâti l'infinitif *letěti*.

Or, l'opposition non-itérativité/itérativité, cristallisée en slave commun, a été, toujours en slave commun, transposée en opposition perfectivité / imperfectivité. Quel fut le motif de ce changement quant à envisager les verbes? Il provenait probablement, on le sait, du fait que certains adverbes, déterminant de plus près le contenu du verbe et placés à l'origine dans la proposition d'une façon tout à fait indépendante n'importe où (ils pouvaient occuper même une place très éloignée du verbe, p. ex. ils pouvaient se trouver en tête même de la proposition, même si le verbe suivait après quelques mots), finissaient par se souder au verbe en devenant préverbes. Ceux-ci (tels **ambhi* > *ob*, **per*, **ant* > *ot*) fournissaient des données plus précises sur la situation du procès entier dans leur rapport local, p. ex. que la personne vient, s'en va, va à la rencontre; ils montraient une tendance évidente de s'approcher e plus près du verbe (en hittite, il est vrai, ils sont encore

indépendants, mais ils s'y trouvent, d'ordinaire, déjà immédiatement devant le verbe). En balto-slave, il est vrai, ils ont été tout d'abord indépendants (c'est l'aptitude du baltique d'insérer un pronom entre le préverbe et le verbe, *at-si-sė́sti* 's'asseoir', qui le démontre), mais en slave on les trouve soudés au verbe. Il est donc naturel que p. ex. *u-pasti*, quoiqu'il ait pu au commencement désigner une action sans aspect ('fallen weg von'), a fini par être conçu comme perfectif en face de *upadati*, et que celui-ci est devenu sa forme correspondante imperfective. Or, il est devenu „perfectif" d'une part en vertu du fait qu'il était une moitié de la paire d'opposition comme non itératif, d'autre part en même temps à cause de ceci qu'il reçu un préverbe lequel, par son sens originaire, indiquait le caractère momentané du procès.

Le slave commun, on l'a vu, a formé avec une extrême souplesse des intensifs verbaux puisqu'il avait plusieurs moyens à sa disposition; il en profitait davantage que le latin qui avait les mêmes moyens. Cette aptitude et productivité des verbes va de paire avec la productivité analogue des noms: rappelons, pour le slave, la grande quantité de suffixes nominaux augmentatifs, péjoratifs, diminutifs, hypocoristiques etc. Ainsi que le slave a, pour tous les noms, à sa disposition quelques dérivés de divers genres mentionnés, il en a été probablement aussi en ce qui concerne le verbe. Certaines langues slaves modernes, surtout leurs formes colloquialles populaires, gardent cette aptitude des verbes jusqu'à nos jours. De là on comprend que les intensifs en *ā* ont été disposés, pour ainsi dire, potentiellement dans l'esprit de chaque sujet parlant et qu'il se forma, de cette façon, une condition préalable pour un sentiment d'une corrélation et du système, à savoir pour une omniprésence de telles paires, pour une réelle ou déjà potentielle possibilité générale des aspects verbaux. C'est pourquoi nous croyons que, dans les cas des verbes composés avec les préverbes, il s'est produit un changement fondamental qui a eu lieu après la soudure définitive du préverbe avec le verbe et consistant en ceci que le verbe sans *ā*, désignant une action déterminée par le préverbe, commença à être accepté comme perfectif sitôt qu'il eût reçu le suffixe comme une partie soudée. Cela a été tout à fait naturel parce que la détermination de lieu et de temps y note une attention concentrée au commencement ou à la fin d'un procès ou d'une activité donnés.

Une fois les paires formées, conçues comme perfectives / imperfectives (*upasti—upadati*), il a apparu quelque part le

besoin d'autres changements de forme, à savoir dans les verbes sans préverbes. Lorsque p. ex. **kopǫ*, **koti* s'est montré en face du nouveau *kopajǫ kopati* malade, faiblement caractérisé, il était nécessaire de former ultérieurement, à *kopajǫ*, *kopati* accepté comme imperfectif, un nouveau verbe accepté comme perfectif, autrement dit, le vieux **kopǫ*, **koti* a dû être remplacé par une innovation plus claire, nettement différenciée de *kopajǫ kopati*. Et dans ce cas, la langue finit par choisir le suffixe *no/ne*. En vieux slave, on le sait, ce suffixe est loin d'être aussi important qu'il ne l'est dans les langues modernes. Ce qui veut dire qu'autrefois il ne représentait pas encore un élément constant du système, mais seulement qu'il tendait à y parvenir. Il a été excellent pour accomplir le rôle donné.

Le suffixe *no/ne* est la variante zéro du suffixe qui apparaît ailleurs comme *-ano-*, mais aussi comme *-eno-* et *-ino-*. Son rapport à ces formations-ci est, sans doute, tel qu'il représente le degré zéro en regard des formations où il y a devant *n* encore une voyelle soit pleine (*o*, *e*), soit réduite (*ъ*, *ь*). Ces suffixes en *n* sont disposés, dans les langues indo-européennes, d'une façon diverse et remplissent des fonctions différentes. Mais la circonstance que les suffixes à autres consonnes (*sk*), eux aussi, remplissent des fonctions pareilles ou les mêmes, nous permet d'accepter, en ce cas, un point de départ commun à l'origine, à savoir, ici aussi, la fonction intensive. Cependant, à la différence d'autres suffixes, ceux en *n* sont aptes à pervenir jusqu'à la valeur ponctuelle[22].

Je crois que *no/ne* appartiennent tout d'abord au gr. -άνω. Le suffixe *-ano-* remplit, en hittite, la fonction d'un renforçant et il est souvent combiné avec le suffixe *sk*[23] (*valh-* 'battre', *valhannešk-* 'frapper à coups réitérés'), pareillement en grec: ὀφλισκάνω. On a vu ci-dessus que les intensifs (les tokhariens en *sk*) peuvent recevoir la fonction des factitifs. „On trouve en arménien une combinaison fréquente du suffixe *-ske/o-* et du suffixe *-ane/o-* (dans *luçanem* 'j'allume', *harçanem* 'je demande' et dans les nombreux factitifs en *-uçanem*); c'est le cas du grec ἀλυσκάνω ou ὀφλισκάνω"[24]. Une seule différence intervient dans ce cas: ordre inverse des deux suffixes en regard de l'hittite. L' *-an-* pur et simple remplit de même la fonction intensive

[22] Je m'appuie sur l'article de J. Vendryes, Sur la valeur des présents grecs en -άνω. ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ (Mélanges Jacob Wackernagel), Göttingen, 1923, 265 sq.

[23] И. Фридрих. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952, стр. 83.

[24] Vendryes. Op. c., 267.

(en slave *-oniti*: tch. dial. *piskonit*, *blvonit*), mais ailleurs celle des factitifs: en lette, comme on le sait. Il en est de même quant au grec, «les présents en -άνω ont souvent le sens factitif, qui se concilie bien avec leur valeur ponctuelle; en arménien aussi le type en *-anem* a beaucoup servi pour les causatifs» [25]. D'autre part, le présent des verbes grecs en -άνω est susceptible, ce qui est «évidemment dû à la valeur expressive que le type possédait», de servir de ponctuel, «c'est à dire que tout en indiquant le développement d'un procès — ce qui est la valeur propre du présent — ils impliquent la considération spéciale d'un moment du procès: ce sont des présents ingressifs ('je me mets à...') ou, plus rarement, des présents terminatifs (,j'aboutis à...')» [26]. Or, l a v a l e u r i n g r e s s i v e e s t t o u t e p r o c h e d e l a v a l e u r i n c h o a t i v e; r. стынуть, tch. *stárnu*, *blednu* peuvent être traduits également bien à l'aide de 'je commence à me refroidir, à vieillir, à pâlir' que 'je me mets à être froid, vieux, pâle'. Avec le préverbe *sъ-*, ces verbes acceptent la forme terminative: tch. *zestárnouti* 'finir par être vieux'. De cette fonction terminative, on peut comprendre enfin le type tchèque *padnouti* désignant une chute momentanée. Par là on parvient déjà à la question qu'est ce qui peut être conçu comme perfectif. Il est important et il atteste la date récente de ce processus que la consonne ne change ici que rarement (tch. *padnu*, *lupnu*) et de même que *-nu* se joint aussi à d'autres suffixes: *tisknu*, *chytnu*. Cependant il est naturel qu'il ne se trouve pas après *l*, *r*: il n'y a pas de présent en *-nu* de tch. *pátrati*, *matlati*, *skuhrati*, *žebrati*, *žehrati*, *šišlati*, *piplati se* etc.

Si nous avons raison, il s'en suit de cette réflexion que les accidents phonétiques (*bt*, *pt* > *t*, *kta*, *gta* > *ta* etc.) représentent un motif fort dans l'évolution des systèmes morphologiques de langue. En slave, ils ont contraint la langue à bâtir une quantité énorme de verbes. En baltique, les accidents respectifs n'ont pas eu lieu, par suite il n'y existe pas un état de système correspondant au système slave.

Mais le présent en *n* (tch. *padnu* etc.) représente encore un autre pas, le dernier dans l'évolution: il désigne, dans certains cas, le f u t u r, *padnu* = 'je tomberai'. D'une façon générale, la forme du présent du verbe perfectif a, en slave, le sens de futur. Cette évolution est tout à fait naturelle; les commencements en apparaissent en grec. Citons J. Vendryes (268): „Si l'as-

[25] V e n d r y e s. Ibid., 266.
[26] M e i l l e t. Le slave commun. 2. éd., Paris, 1934, 283.

pect de la formation est ponctuel, ce caractère doit apparaître dans l'expression du présent proprement dit et surtout du passé (à l'imparfait). En fait, les présents en -άνω indiquant la considération spéciale du point initial du procès sont parfois assez voisins d'un futur. Ainsi le présent φυγγάνω joue en regard de φεύγω le rôle d'un présent perfectif; il a le sens d'un futur dans le Prométhée d'Eschyle (v. 513): δεσμὰ φυγγάνω 'je m'évaderai de mes liens'; cf. ἐκφυγγάνω 'je m'échapperai' (Prom. 525)".

A la lumière de ce que nous avons traité ici, on peut maintenant jeter un coup d'oeil rapide sur les autres langues. En premier lieu sur le baltique. Nombre de formes y correspondent, du point de vue phonétique, à celles du slave et de même quant au sens, de sorte que le locuteur slave tend à y trouver le même aspect que possède le verbe slave. Mais après avoir consulté les dictionnaires, il reconnaît toute suite sa faute. En un mot, le baltique n'a pas bâti un système analogue à celui du slave quoiqu'il ait possédé, à cet effet, les mêmes moyens et possibilités que le slave. Il possède un riche répertoire de divers intensifs, les préverbes y sont soudés, là aussi, aux verbes (à l'exception des restes du type lit. *at-si-sė̃sti*, voir ci-dessus; *pa-si-klõnioti* 's'incliner'). Et pourtant, il n'est pas parvenu au système des aspects du même ordre que possède le slave. La réponse vient de soi-même: dans son consonantisme, il n'y a pas de changements radicaux tels que les possède le slave; les groupes de consonnes se maintiennent, p. ex. *dilbsóti* (*b* n'a pas disparu devant *s*). Par suite, on n'éprouvait pas le besoin de transformer ni le thème du présent ni celui de l'infinitif. Le verbe est déterminé par son préverbe dans une mesure satisfaisante, son sens est aussi assez clair de sorte que la perfectivité ou l'imperfectivité resultent de la signification ou des circonstances, ou qu'elles n'aient pas besoin d'être exprimées, éventuellement elles peuvent être énoncées par d'autres moyens, à savoir à l'aide des moyens lexicaux. Bref, les langues baltiques d'une part n'éprouvent pas le besoin de changer l'opposition héritée „non itératif / itératif" (et l'opposition „non intensif / intensif") en opposition d'aspect, d'autre part elles ne possèdent pas d'éléments bouleversants qui pourraient finir par altérer la structure phonétique des verbes, et, en conséquence, par provoquer des corrections, des réfections. Cela vaut mutatis mutandis ailleurs. Prenons p. ex. le latin: il peut exprimer la perfectivité ou l'imperfectivité dans le passé, il a à sa disposition deux temps (l'imparfait et le parfait), ce qui lui suffit. De même l'allemand et les autres langues n'ont pas besoin d'un système d'aspect.

La possibilité d'exprimer l'aspect et l'évolution de formes aspectales apparaît, par là, comme une superstructure, spécifique pour le slave. Je ne me propose point d'analyser en détail de quelle façon bâtit le slave les diverses couples aspectifs, c'est-à-dire de construire une théorie sur le mécanisme d'aspect. A savoir, je suis d'accord avec van Wijk aussi en ce que la structure d'aspect est née et s'est perfectionnée au cours des temps. En vieux slave, beaucoup de verbes n'étaient pas encore, quant à l'aspect, cristallisés dans une direction, au contraire, ils étaient indifférents, neutres (certains savants l'expriment en disant que ces verbes pouvaient posséder un „aspect double" ou „deux aspects", ce qui n'est pas, à mon avis, une expression heureuse). En d'autres termes, le système des aspects, en slave commun, ne s'est pas encore formé complétement. La merveilleuse aptitude d'exprimer l'aspect n'existe donc pas dès l'origine. On peut même affirmer qu'elle n'aurait pas résulté d'un besoin nécessaire de système. On n'en a pas besoin, vu que les autres langues peuvent s'en passer. Elle résulta de l'ancienne aptitude de pouvoir former les itératifs, elle apparut comme un certain supplément, comme un perfectionnement bienvenu de l'ancienne façon d'exprimer de telles nuances sémantiques (répétons-le, il s'agit d'une catégorie lexicale et non pas grammaticale, ainsi que dans les noms les amplificatifs etc. ne sont que catégorie lexicale) de sorte que, pour celui qui n'est pas Slave, cette aptitude-là apparaît comme une merveille, comme une habileté inaccessible à un sujet parlant une autre langue.

Si notre argumentation est juste, il n'est pas nécessaire de partir de la prétendue „catégorie" du „déterminé / indéterminé", ni de la prétendue valeur aspective des racines et des temps indo-européens, de même il n'est pas nécessaire de croire (n'en déplaise à M. Senn) que le système des aspects slaves soit emprunté au gothique. Revenons, pour un moment, à la catégorie du „déterminé / indéterminé". Même ses auteurs (Meillet, van Wijk) et leurs partisans se rendent compte qu'il est difficile de la définir nettement comme une catégorie. En premier lieu, nous devons avertir le lecteur que les termes „déterminé / indéterminé" s'emploient dans un sens tout à fait spécial, qu'il n'a pas donc le droit de confondre le terme courant *déterminé* avec cette dénomination de catégorie. En traitant de cette catégorie, van Wijk dit: „Pour les actions déterminée et indéterminée, une définition si simple n'est pas possible. En général, on peut dire que les verbes déterminés désignent des actions

peu compliquées, menant directement à un but, tandis que les verbes indéterminés sont employés pour des actions se composant de plusieurs actes ou pour des actions prolongées ou répétées". On a constaté que la différence apparaît surtout dans les verbes désignant le mouvement. Ainsi *nesti* est déterminé, *nositi* indéterminé. En tel cas la différence coïnciderait avec le point de vue indo-européen qu'on peut exprimer par l'opposition du verbe pur et simple en face de l'ancien itératif hérité. Mais il existe aussi des cas où en est un peu autrement: on considère même *letěti* 'voler' comme déterminé en face de l'indéterminé *lětati*. Mais *letěti* n'est créé que secondairement à *lětati* (v. ci-dessus). Cela revient à dire que la catégorie „déterminé / indéterminé" ne possède aucune marque extérieure morphologique commune à tous les cas; ce qui nous surprend dans une certaine mesure: on a le droit d'attendre une telle marque commune, s'il s'agit vraiment d'une catégorie grammaticale. Et puis: il n'y a qu'un nombre très petit de ces verbes déterminés; pour le russe, Karcevski[27] n'en énumère que 14, à savoir *bežat'*, *bresti*, *vezti*, *vesti*, *gnat'*, *echat'*, *itti*, *katit'*, *lezt'*, *letet'*, *nesti*, *plyt'*, *polzti*, *taščit'*. Dans cet état de choses, il est difficile de croire que cette catégorie, peu claire et hypothétique de plus, ait été le germe de la genèse des aspects slaves. Dans les autres langues aussi, elle n'a abouti à rien dans ce genre.

Je considère comme juste l'opinion de van Wijk que le système des aspects en vieux slave n'a pas été encore élaboré parfaitement, que beaucoup de verbes en vieux slaves sont encore neutres en ce qui concerne leur aspect, sans aspect défini. Ceci est contraire à la théorie de J. Kuryłowicz qui accepte déjà pour le slave commun l'opposition des perfectifs en *-nǫ* en face des imperfectifs en *-ajǫ* (dans celle-ci, il voit la suite de ce que, selon lui, représentent les suffixes du vieil indien *-nā-* en face de *-āya-*).

Mon point de vue s'attache donc à celui de van Wijk qui part de l'opposition du „non itératif / itératif". Cependant van Wijk se rend compte de ce que „muß man diese Namen nicht allzu buchstäblich auffassen... Ob... im älteren Urslavischen die Bedeutung dieser *choditi*, *padati* u. a. ... iterativ oder intensiv oder etwa durativ gewesen ist, das können wir nicht wissen". Pour ma part, j'ai essayé de montrer que les verbes en *ā*, leur stock principal, peuvent être considérés comme intensifs primaires et que ces intensifs slaves ont leur for-

[27] Serge Karcevski. Système du verbe russe. Prague, 1927, 108.

mes correspondantes surtout en baltique et en latin (je conçois les verbes baltiques et latins appartenant dans cette catégorie de même comme intensifs), moins en grec, germanique, hittite. Et puis, que c'étaient surtout les raisons phonétiques qui ont provoqué la nécessité de transformer beaucoup de verbes primaires. Du moment qu'on a commencé, une fois, à les transformer et que les verbes ont été marqués, à l'aide des préverbes, comme perfectifs, on est arrivé à ce que la nouvelle manière de voir se fit valoir comme une conséquence naturelle de la préfixation, et cela comme une conséquence très vitale. Il est intéressant que l'ancienne catégorie „non itératif / itératif" n'ait pas péri au cours de ce changement. Cela est tout à fait naturel parce que la manière de considérer les actions comme perfectives ou imperfectives ne peut la remplacer. Celle-là („non itér. / itér.") continue à survivre et on doit la reconnaître comme quelque chose qui égale, par son importance, la catégorie des aspects. C'est pourquoi quelques-uns la considèrent comme le „troisième aspect". Cette persévérence et sa vitalité nous disent que cette catégorie („non itér. / itér.") est quelque chose de fondamental et que c'est elle qui aurait pu devenir le berceau des vastes possibilités qu'on résume sous la dénomination de „système d'aspect".

Résumons: le slave a introduit, par des motifs p h o n é t i q u e s, dans une plus grande mesure *-a-ti* (*kopti* → *kopati*) et a employé abondamment ce moyen, même dans les circonstances où ces motifs phonétiques faisaient défaut. Outre cela, désirant exprimer d'autres nuances d'action, il a créé les intensifs en *-sati* etc. Dans ces genres des verbes on trouve domiciliés non seulement un certain caractère d'intensité, mais aussi la multiplicité d'action, le caractère itératif. Ces traits sont anciens. La merveilleuse aptitude créatrice des langues slaves a surajouté à ces formes les processus exprimant le resserrement de l'action (soit ingressif, soit terminatif) pour en tirer finalement ce qu'on appelle „système d'aspects".

В. Махек

Брно

О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАТЕГОРИИ ВИДА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Резюме

Различные взгляды, высказанные в связи с этим до сих пор не решенным вопросом, глубоко отличаются друг от друга. В славянских языках возможности выражения видовых различий (совершенности и несовершенности) настолько богаты, что почти к каждому глаголу мы находим соответствующий ему глагол противоположного вида. Автор считает вид лексической категорией (в отличие от большинства ученых, считающих вид категорией грамматической).

В отношении происхождения категории вида автор предполагает, что она возникла не в индоевропейском праязыке, а позже, в славянском языке, причем становление категории продолжалось в течение сравнительно длительного периода. Автор согласен с теми исследователями, которые связывают возникновение категории вида с глаголами на *-a-ti*. Такой взгляд был впервые высказан Ван-Вейком в 1927 г. (однако позднее Ван-Вейк существенно изменил свои взгляды). Автор статьи исходит из прежнего, более старого взгляда Ван-Вейка, но разрабатывает и развивает его на основе своих недавних работ об усилительных (интенсивных) глаголах в славянских языках.

При этом автор обращается прежде всего к латинскому языку, в котором мы находим основы, параллельные основам в славянских языках, и который дает богатый материал для понимания стилистического использования глаголов на *-āre*. Славянским глаголам с основой на *-a-* (*kop-a-ti*) соответствуют латинские глаголы также с основой на *-ā-*; известно, что эти глаголы являются глаголами длительного повторяющегося действия и составляют

пары с основными глаголами (*capere* — *occupāre*). Автор считает, что у большинства славянских глаголов основообразующий суффикс можно определить с большей точностью. В некоторых суффиксах звуку *a* предшествуют согласные *s*, *t*, *st*, *sk* (иногда *ch* на месте *s*); этим суффиксам соответствуют суффиксы в других индоевропейских языках, и прежде всего — в балтийском и латинском. Глаголы, использующие данные суффиксы, автор называет „интенсивными" (усилительными). Они выражают определенное усилие в данной деятельности, что может быть связано с повторяющимися попытками. Отсюда возможность понимания этих глаголов и как усилительных и как глаголов длительного, повторяющегося действия.

Возможно понимание этих глаголов и как глаголов начала действия. Таким образом, „интенсивность" включает и повторность действия, попытки прерываемые и вновь возобновляемые.

Славянские языки обладают широкими словообразовательными и формообразовательными возможностями, это относится и к глаголам и к именам. Точно так же, как в латинском языке первичные глаголы часто замещались глаголами на *-āre* (*cantāre* в значении 'canere'), и в славянском языке, особенно когда фонетические изменения грозили чрезмерным искажением инфинитивной основы глагола, язык отдавал предпочтение форме *kop-a-ti*, сохранявшей p, перед формой **koti*, которая должна была возникнуть из **kop-ti*. При этом усилительный характер славянских глаголов часто ослаблялся, и они сохраняли за собой только значение длительности или повторяемости. Вновь образованные глаголы длительного повторяющегося действия на *-ati* ассоциировались с прежними глаголами длительного или повторяющегося действия типа *nositi*; так как образование глаголов на *-ati* было продуктивным, то возникали глагольные пары, в которых недлительные (неитеративные) глаголы противостояли длительным глаголам (интеративным). Одновременно с этим процессом проходила префиксация глаголов (некоторые наречия, утратившие свою прежнюю самостоятельность, срастались с глаголом и становились „приставками"). Приставки как бы „собирали" действие (как однократное, так и длительное и многократное) либо по отношению к его началу, либо по отношению к его окончанию.

Тогда возникла необходимость вместо глаголов типа *kopti*, подвергшихся значительному фонетическому искажению, использовать глаголы с ясным и устойчивым суффиксом. Был использован суффикс *no/ne*, удачность выбора которого подтверждается наличием родственного суффикса -άνω в греческом языке. Сочетание очень простого типа формообразования с тем, что

приставки как бы „собирают“ действие, создает предпосылку для выражения „собирания“ или „несобирания“ у **всех** глаголов — как длительных (итеративных), так и недлительных (неитеративных).

Так как в других языках фонетические изменения (в связи с употребительностью основных глаголов и их формальной ясностью в языковой системе) не привели к искажению звучания этих глаголов, то в них такая система не возникла.

Таким образом, нам легче понять развитие видовой системы, если мы обратимся к изучению усилительных (интенсивных) глаголов в балтийском и латинском языках (тех глаголов, суффиксы которых соответствуют суффиксам в славянских языках). Это более плодотворный путь, чем предположение о видовом значении основ аориста в индоевропейском праязыке. Точно так же индийские глагольные основы на *-nā-* или *-āya-* не дают данных для сравнения с развитием видовой системы в славянских языках. Приходится отказаться и от гипотезы А. Сенна о том, что происхождение видовой системы в славянских языках может быть понято из материалов готского языка.

Г. Тагамлицкая

София

СЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ КАК СРЕДСТВО ПОПОЛНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРЕДЛОГОВ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Первообразные предлоги, зафиксированные древнейшими памятниками славянской письменности (древнеболгарскими, а затем также и памятниками других славянских редакций), являются очень важным материалом для ряда лингвистических исследований и выводов, касающихся исторического развития и грамматического строя отдельных славянских языков, их родства и специфики. Предлоги эти не вполне ясного происхождения и все еще недостаточно исследованы, но, во всяком случае, признаны общими для всей группы славянских языков. Первообразные предлоги не только являются достоянием всех современных славянских языков, но и любая древняя славянская письменность одинаково свидетельствует об их существовании в составе соответствующего языка, об их применении в области синтаксических связей в любой зафиксированный письменностью период их существования. Поэтому и в наше время в каждом из существующих славянских языков в составе категории предлогов обособляется ядро первообразных предлогов, унаследованных от древнего славянского языка-основы. Это ядро первообразных предлогов является одним из звеньев, ярко иллюстрирующих и прочно поддерживающих родство славянских языков со времен глубокой древности до наших дней и сохраняющих те же тенденции и на будущее.

Некоторые из элементов, пополнивших и пополняющих категорию предлогов в различных славянских языках, как бы продолжают те же традиции сохранения родства славянских языков, так как содержат в себе указание на одинаковость языковых источников и вследствие этого — на значительную близость

совершающихся языковых процессов, как и на многие совпадения в охваченном этими процессами материале.

Вместе с тем категория предлогов в каждом из славянских языков содержит в себе и черты национальной специфики. Специфика эта выражается прежде всего в том, что категория предлогов довольно часто пополняется также и элементами, этимологически или структурно не совпадающими в различных славянских языках. Национальная специфика отразилась также и в самом ядре первообразных предлогов, которое продолжает свое существование во всех славянских языках и в основном является областью больших совпадений. Специфика в этом случае выражается преимущественно в семантическом развитии отдельных предлогов — различном в различных славянских языках.

Категория предлогов в отдельных славянских языках не сохранилась полностью в своем старом состоянии ни качественно, ни количественно. Имело место не только упомянутое нами разнообразное семантическое развитие, не всегда совпадающее в отдельных славянских языках. Различия выражаются также и в том, что употребительность некоторых предлогов укрепляется в одних славянских языках больше, чем в других, или же наблюдается исчезновение лишь в некоторых славянских языках одного или другого ранее общего предлога. Важным фактом является и то обстоятельство, что весьма характерная для всех индоевропейских языков тенденция расширения, умножения состава категории предлогов, в не меньшей мере проявила себя и в семье славянских языков. Выражается эта тенденция в том, что количество предлогов во всех этих языках увеличивается а) за счет перехода отдельных полнозначных слов или сочетаний слов (предложных или беспредложных оборотов и др.) в категорию предлогов и б) в результате словообразовательных процессов, характерных именно для категории предлогов. Мы имеем в виду процесс, при котором один первообразный предлог непосредственно соединяется с другим первообразным или вообще простым предлогом, хотя бы и более позднего происхождения. Таким образом создаются сочетания, всецело построенные на предлогах (вернее, всецело составленные из предлогов) и выполняющие функции предлогов.

Именно на этой части категории предлогов мы и предполагаем остановиться в данном исследовании, рассматривая характер соответствующих процессов в некоторых славянских языках, устанавливая в общих чертах объем и значение этих процессов для отдельных славянских языков, намечая материалы, используемые в отдельных языках при сложении предлогов, и

основные семантические особенности новообразованных предлогов. Образования, создавшиеся в результате упомянутых процессов, условно будут обозначаться термином предлог-сложение (если в результате словообразовательных процессов произошло и слияние составных частей, образовавшее новый единый предлог) или же термином предлоги-сочетания (если составные части продолжают восприниматься как самостоятельные предлоги и сохраняют раздельное написание, образуя лишь группу из двух или трех предлогов).

* * *

Сочетание и сложение, соединение предлогов как способ образования новых предлогов можно наблюдать во многих индоевропейских языках не только славянской семьи. Так, например, комбинации из нескольких предлогов можно отметить в немецком языке. Свидетельствует об этом и «Грамматика немецкого языка» Пауля [1].

Многие из подобных сочетаний предлогов имеют просторечный или диалектный характер. Таково сочетание *gegen bei*, например, в выражении *gegen bei uns*, или сочетания *für auf*, *für in* и др., как в примере из Гебеля (*für auf die Krönung*), или же оборот, помеченный Паулем как пример из южнонемецкого — *ein Säbel für in die Nähe zu fechten* [2]. Однако и в литературном немецком языке уже есть предлоги (например, *gegen*, *etwa* или *über* и *unter*), которые очень часто употребляются в комбинациях с другими предлогами, образуя широко распространенные сочетания предлогов (*mit gegen Hundert Arbeitern* [3]; *mit über Hundert Arbeitern, von über Hundert Arbeitern* [4] и др.). А предлог *bis*, например, уже вообще употребляется лишь в сочетании с другими предлогами [5].

В английском языке, который также относится к группе германских языков, как в языке с сильно развитой аналитической системой синтаксических связей, существуют еще более благоприятные условия для количественного расширения и функционального укрепления и развития категории предлогов. И действительно, область предлогов в английском языке расширяется очень интенсивно, а предлоги-сложения, как и соче-

---

[1] Hermann Paul. Deutsche Grammatik, Bd. 4. Syntax (Hälfte 2), 2 Aufl., Haale (Saale), 1955, стр. 3—64.

[2] Там же, стр. 56.

[3] Там же, стр. 63.

[4] Там же, стр. 64.

[5] Там же, стр. 54.

тания предлогов, прочно вошли в язык и получили права гражданства. Многие из предлогов-сложений, нередко оформившихся в качестве единых, уже установившихся слов, а в отдельных случаях и предлоги-сочетания упоминаются и иллюстрируются в грамматиках современного английского языка в числе производных предлогов других разрядов. Так, приводятся предлоги *before*[6], *within, without, about*[7]. Сюда же можно отнести *through out* и др. Однако явление не ограничивается пределами приведенных примеров. В грамматике Йесперсена[8] прямо указывается на то, что и несвязанные, т. е. не слившиеся воедино, предлоги-сочетания встречаются в английском языке очень часто, как явление вполне свойственное этому языку. В доказательство автор приводит многочисленные и разнообразные примеры из произведений английской художественной литературы. В качестве исходного примера указывается *from behind the tree* конструктивно и по значению приблизительно соответствующее русскому предлогу *из-за* (*дерева*), болгарскому *иззад* или *от зад* (*дървото*). Затем следуют сочетания *at past eleven, for above two years, for after eight o'clock*, сложения *from among* или *from amidst, from at, from below, from on, from in front of, from over against, of under, of over, till after, to behind, to beneath* и многие другие. Йесперсен утверждает, что такого типа конструкции, явившиеся, как он указывает, в результате постановки предлога перед предложной конструкцией, — продукт последнего времени, так как нельзя заметить, чтобы в более ранние периоды развития английского языка такие конструкции употреблялись очень часто[9].

В языках романской группы сложение предлогов получило не меньшее распространение. В отдельных случаях уже представлен как бы конечный результат: сочетание предлогов перешло в сложение, точнее произошло полное слияние, давшее новый предлог (ср. испанский предлог *desi* из латинских слов *de-ex-hic*, итальянский предлог *da* из латинских предлогов *de-ab*[10] и *davanti* из *de-ab-ante* или французские предлоги *des* из латинских *de-ex, avant* из *ab-ante, envers* из

---

[6] О процессах в этой области в древне- и среднеанглийском и отдельные примеры на сложные предлоги того времени (*before* и др.) см. Henry Sweet. A short historical English grammar. London, 1930, стр. 204.

[7] M. Minkov, V. Sharenkov. An English Grammar, p. II, III. Sofia, 1953, стр. 313.

[8] Otto Iespersen. A Modern English Grammar on historical principles, p. III, vol. 2. Heidelberg, 1927, стр. 4—9.

[9] Там же, стр. 7.

[10] Mélanges Linguistiques offerts à Charles Bally. Genève, 1939; Viggo Broendal. L'originalité des prépositions du français moderne, стр. 337.

in versus[11], ср. также *dedans, depuis, derrière, dessous* и др.)[12]. В частности, французский язык изобилует как слившимися предлогами, так и группами предлогов, т. е. предлогами-сочетаниями. На различных этапах развития языка многие из слившихся предлогов выходили из употребления, как, например, *delez, dalez*[13], *devers, detres*[14] и некоторые другие. Однако этот тип словообразования, типичный для всех[15] периодов развития французского языка, в наше время дает особенно обильные плоды, умножая комбинаторные возможности и семантику различных предложных оборотов. Таким образом, во французском языке стало возможным употребление выражений *dès avant l'aube* (наряду с *dès l'aube*) или *c'est pour dans vingt-huit jours*, где сочетаются предлоги *pour dans*, *à dans vingt-huit jours* с сочетанием предлогов *à dans*, *pour jusqu'à la mort, pour dans un laps de temps assez court*[16] и т. д.

Нюроп отмечает, что аналогичные конструкции нередко встречаются и в испанском языке, в произведениях художественной литературы нашего столетия[17]: *Se escurrio de entre los brazos de su amigo. Se escabullo por entre los dedos. Venie un hombre de hacia la cuidad. Su conducta para con sus hijos es muy paternal.* Подобные сочетания предлогов (однако без специального анализа и комментария) можно встретить и во французском языке, в примерах, приведенных Ле Бидуа (ср. *Aubiac, c'est la séparation d'avec lui, mais s'est aussi la séparation d'avec moi*, из М. Прево Homme vierge, III, 174[18] и др.). Множество примеров на употребление сочетающихся предлогов приводится Фердинандом Брюно (например, *les chapeaux de chez Paul, je viens d'avec lui, il ne retient pas volontiers ses mains de dedans de ses poches*, из романа «Госпожа Бовари» Флобера; *pour jusqu'à son retour*[19] и многие другие). Брюно недвусмысленно заявляет, что против этого способа пользования предлогами

---

[11] Georges Le Bidois et Robert Le Bidois. Syntaxe du français moderne. Ses fondements historiques et psychologiques,' t. II. Paris, 1938, стр. 671.

[12] Kr. Nyrop. Grammaire historique de la langue française, t. VI. Copenhague, 1930, стр. 66.

[13] Там же, стр. 125.

[14] Там же, стр. 141. См. также A. Darmesteter. Notes sur l'histoire des prépositions *en, dedans, dans*. — Reliques scient., II, стр 178.

[15] Kr. Nyrop, стр. 66.

[16] Там же, стр. 70.

[17] Там же, стр. 72.

[18] Там же, стр. 718.

[19] Ferdinand Brunot. La pensée et la langue. Méthode principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français. Paris, 1936, стр. 419.

нет основания возражать, так как многие из подобных сочетаний предлогов во французском языке уже получили права гражданства и в сущности делают язык богаче и разнообразнее формами выражения [20].

Процесс соединения или же слияния двух или более предлогов касается прежде всего некоторых предлогов старшего периода развития языков. В славянских языках в этом случае необходимо иметь в виду первичные, первообразные предлоги (ср. предлоги *из-за* и *из-под*, которые существуют почти во всех современных славянских языках). Затем процессы сложения (примыкания и даже слияния) охватывают предлоги более позднего образования (например, *между, ради*) или еще более поздние предлоги, как например, *край* или *сред*, оформившиеся главным образом из существительных в процессе исторического развития отдельных славянских языков и параллельно существующие во многих из этих языков на современном этапе их развития. В этом замечается значительная близость между славянскими языками, свидетельствующая не только об их родстве, но и о многих моментах совпадения на пути индивидуального развития каждого из них.

Черты близости и даже совпадений в славянских языках обнаруживаются и в самом характере, типах, семантике и употреблении многих предлогов-сложений и сочетаний, бытующих в современных славянских языках. Эти черты в области новообразованных предлогов-сложений выражаются в том, что сочетания, явившиеся в результате упомянутых выше процессов, в большинстве случаев сохранили значимость своих составных частей-предлогов. Поэтому характер и значение целого (самого предлога-сложения) содержат в себе немало тех совпадений, которыми ранее можно было отметить каждую из составных частей предлога-сложения в отдельности и которые нередко продолжают существовать в каждой из них и до наших дней. Для примера можно указать предлоги, составленные из старинных *изъ + за* или *изъ + подъ*, ср. русск. *из-за* и *из-под*, укр. *з-за* и *з-під*, белорусск. *з-за*, *з-пад*, польск. *z za*, *spod*, чешск. *z pod*, болг. *иззад* и *изпод*, сербск. и хорв. *ispod* (*испод*) и *iza* (*иза*), в которых основное значение (мы не имеем в виду вторично развившихся значений, как, например, каузальное в русском предлоге *из-за*) одинаково для всех упомянутых языков, как совпадало и совпадает в этих языках основное значение составляющих их предлогов: *из* в русском, бол-

[20] Ferdinand Brunot. La pensée et la langue. Méthode principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français. Paris, 1936, стр. 410.

гарском, сербском, *з*, *із* в украинском, *з*, *са* в белорусском, *z*, *ze* в чешском и польском языках + *за* или + *под* в русском; + *за или* + *під* в украинском; + *за* или + *пад* в белорусском; + *za* или + *pod* в польском; + *pod* в чешском; + *зад* или + *под* в болгарском; + *pod* (*под*) и + *za* (*за*) в сербохорватском.

Однако, несмотря на наличие таких ярких случаев полного совпадения, далеко не все полностью совпадает в славянских языках и в этой области. Языковая индивидуальность и национальная специфика может быть отмечена и здесь. В одних случаях эта специфика основывается на составе предлогов-сложений с определенным значением, в других случаях отражается на развитии семантики тех или иных предлогов. Некоторое основание для подобных явлений можно найти уже в том, что сам состав предлогов, однородный в основной массе для всех славянских языков, далеко не всегда совпадает в своих частностях. Это касается даже первообразных предлогов. Так, например, предлог *о*, столь употребительный в русском языке, в значительной степени сохранил свою древнюю многозначность и в западнославянских языках — чешском и польском, в немалой мере и в сербохорватском. В болгарском же языке предлог *о* не только значительно сократил свой семантический объем и свою употребительность (сохранилось только одно из его значений: *ударих се о камъка*), но и явно исчезает из языка, заменяясь в устной речи предлогами *от* и *в* (очень часто говорят: *ударих се от камъка* или в *камъка*), несмотря на упорное сопротивление болгарских грамматистов[21].

То же самое можно сказать и о предлоге *у*. Ослабление указанных предлогов в болгарском языке, тенденция к отмиранию установилась несмотря на то, что отсутствие падежной флексии в современном болгарском языке в значительной степени было поддержано употребительностью предлогов и вместе с тем способствовало переносу всей тяжести функции синтаксической связи с флексии на предлог. А это, в свою очередь, должно было бы не только еще больше увеличить употребительность предлогов, но и обеспечить сохранность состава категории предлогов. Однако в современном болгарском языке отмирает не только предлог *о*, но и предлог *у*, явно вытесняемый предлогом *в* (постоянно наблюдается в устной речи и проникает и в художественную литературу употребление *в мене* вместо *у мене*, *в нас* вместо *у нас* и т. п.), также наперекор

---

[21] Л. Андрейчин, Н. Костов, К. Мирчев, Е. Николов, Ст. Стойков. Български език. Учебник за педагогическите училища за начални учители. София, 1955, стр. 258 и др.

организованному противодействию болгарских грамматистов[22]. Это укрепление предлога *в* и расширение его употребительности в современном болгарском языке за счет предлога *у* интересно сопоставить с обратным процессом, например, в украинском и белорусском языках, в которых предлог *в*, вероятно, по фонетическим причинам, вытесняется вариантом *у* (в белорусском — *у* и *ў*).

По тем же причинам (фонетическим) и в польском языке предлоги *с* и *из* совпали в современном *z* (*ze*), и это также отразилось и качественно и количественно на составе предлогов в польском языке. Предлог *для* (ст.-сл. ДЛЯ или ДѢЛЯ), очень древний и очень употребительный, например, в русском, польском и других языках, существует далеко не во всех славянских языках. Например, нет и следов употребления этого предлога в современных болгарском и сербохорватском языках. Древний предлог *ради*, известный русскому, украинскому, сербохорватскому и другим, существовавший и в древнеболгарском, в современном болгарском языке сохранился только в составе предлогов-сложений *заради* и *поради* (ср. те же предлоги и в сербохорватском, *заради* в украинском и *за ради* в просторечном стилистическом слое русского языка), тогда как в чешском и польском не встречается ни сам предлог *ради*, ни его производные, так же как и в белорусском (ср. отдельно существующие там *для* — для и очень употребительный предлог *дзеля*, между прочим, и в значении «ради»). Еще большее разнообразие наблюдается и среди некоторых более поздних и позднейших предлогов.

Приведенные примеры немногочисленны. Однако они уже дают некоторое представление о том, что если не вполне однороден состав категории простых предлогов, то специфические различия будут наблюдаться и в предлогах-сложениях, составленных из комбинаций простых предлогов (независимо от состава комбинаций, в которые могут входить как первообразные, так и предлоги более позднего образования).

Так, например, только что приведенные образцы предлогов-сложений, столь ярко свидетельствующие о родстве славянских языков и о случаях совпадения в их развитии, дают материалы и для индивидуализации тех же языков и действующих в них процессов. А именно: из приведенных предлогов-сложений, используемых в большинстве славянских языков, в чешском языке

---

[22] Любомир Д. Андрейчин. Основна българска граматика. София, 1942, стр. 389—390; ср. также Л. Андрейчин, Н. Костов, К. Мирчев, Е. Николов, Ст. Стойков. Български език, стр. 257—258.

существует только *zpod*, в то время как в болгарском языке таким же образом, наряду с *изпод* и *иззад*, составлен предлог *измежду*, в сербохорватском языке по образцу тех же предлогов возникли и многие другие — не только *ispod*, *iza* и *između*, но и *ispred*, *iznad* и др. Немало сложений, в состав которых входит предлог *iz*, возникло и в польском языке. Такие же случаи языковой индивидуальности можно отметить и в области семантики тех же предлогов-сложений: каузальное значение, развившееся в русском сочетании *из-за* (*всё это случилось из-за него*), или значение непосредственного следования, существующее в сербохорватском предлоге *iza*, отсутствуют в болгарском предлоге *из-зад* или польском *z za* и др., имеющих лишь конкретное пространственное значение (в чешском языке, как было указано, вообще нет такого предлога или сочетания предлогов).

Таким образом, языковая индивидуальность и специфика в этом случае возникают не только на основании наличия или отсутствия простого предлога, который мог бы войти в состав предлога-сложения, но и в результате комбинаторных возможностей того или иного славянского языка.

* * *

Как по существу обстоит дело с предлогами-сложениями и сочетаниями предлогов типа русск. *из-под* или болг. *на към*, т. е. с такими предлогами, в состав которых входят два или более простых предлога (первообразных или же более позднего происхождения)? Сложность вопроса связывается, прежде всего, с тем обстоятельством, что в состав подобных предлогов входят очень разнообразные комбинации простых предлогов, создавая структурную пестроту и многообразие образований такого типа.

Во-вторых, рассмотрение материала осложняется и тем, что структурное состояние подобных предлогов-сложений весьма различно. В одних случаях они явно воспринимаются как единый предлог, хотя и составленный из двух или более простых предлогов (например, в русском языке: *мы опоздали из-за него*, или в болгарском: *откъм гората се чуваше шум*). Предлог такого типа условно мы будем обозначать термином п р е д л о г - с л о ж е н и е.

В других случаях предлоги — составные элементы — сохраняют значительную структурную и семантическую самостоятельность и воспринимаются как самостоятельные, со своим значением каждый, как, например, в болгарском языке: *Иванов и Петров заминаха по за два дена*. Именно такой случай мы будем иметь в виду, говоря о с о ч е т а н и я х предлогов.

Кроме того, в значительно большем количестве случаев наблюдается множество примеров промежуточного, переходного порядка, усложняющих понимание состава, характера и семантики употребленного структурно сложного предлога.

В-третьих, рассмотрение предлогов-сложений представляется затруднительным вследствие того, что структурное многообразие рассматриваемых предлогов-сложений и сочетаний влечет за собой осложнение системы грамматических значений в составе сложных образований с функцией предлогов.

И, наконец, в-четвертых, пестрота и многообразие структурных групп и выражаемых ими грамматических значений, проявляющаяся в пределах чуть ли не каждого из славянских языков, еще ярче и компактнее выступают на фоне сравнительного обзора, охватывающего несколько славянских языков.

Обзор этот начнем с русского языка.

* * *

Рассматривая предлоги-сложения и сочетания в русском языке, академик В. В. Виноградов устанавливает, что результат сложения предлогов выражается преимущественно в двух типах сочетаний. Первый тип — это сочетание предлогов-синонимов. Применительно к русскому языку В. В. Виноградов образование этих сочетаний называет «синонимическим удвоением сильных предлогов» [23] (ср. русское сочетание *для ради*, соотносящееся с сербскими и болгарскими предлогами *поради, заради*, с укр. *заради* и др.) [24].

Второй тип сочетаний — это группы сложные, составленные из предлогов, различающихся по своему значению (ср. русск. *из-за, из-под*, польск. *z za, zpod*, чешск. *zpod*, сербск. *iza, ispod* и др.). По определению В. В. Виноградова (также применительно к русскому языку) — это парные предлоги [25]. В сочетаниях второго типа два значения, как координаты, скрещиваются для определения и уточнения отношений в существующей вне нашего сознания действительности. Различность значений компонентов создает сложность значения всего парного сочетания предлогов, позволяющую передать воспринимаемую, осознаваемую нами сложность отношений в объективной действительности. Так, например, сложность эта может быть и очень часто бывает чисто пространственного характера. Этот

---

[23] В. В. Виноградов. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1947, стр. 679.

[24] Немногочисленные примеры на предлоги рассматриваемого разряда даются и Вондраком («Vergleichende slawische Grammatik», стр. 24).

[25] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 680.

тип преобладает в русском языке (ср. *из-под стола*), или же могут уточняться значения временные (ср. болг. *до преди войната, от преди войната* и т. п., которые, по нашим наблюдениям, в русском языке не встречаются, как нет в русском языке предлогов-сложений или же предлогов-сочетаний и с другими значениями, о чем речь будет ниже).

Таким образом, общим для славянских языков является не только факт существования предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, но и некоторые конкретные образования. Однако не все в этой области совпадает в славянских языках. Нет полного совпадения и здесь — как в степени и силе действия рассматриваемых процессов, так и в оформлении многих сочетаний сложившихся предлогов. Это должно стать совершенно очевидным в результате предпринятого нами исследования отдельных славянских языков.

Итак, в русском языке встречаются оба типа, намеченные В. В. Виноградовым: сочетания или сложения предлогов-синонимов и сочетания или сложения предлогов с различными значениями. На существование таких типов предлогов указал еще Ф. И. Буслаев. В его «Исторической грамматике»[26] приведен ряд любопытных примеров: *Со мху доломъ прямо черезъ поперекъ бору къ грановитой соснѣ* **1448—1468**; *да на пень же на сосновый около кругом да с около того пни на старинную межу* **1540** (оба примера по «Юридическим актам», изданным Археографической комиссией). Сочетание *через поперек* воспринимается как яркое синонимическое удвоение предлогов. Хотя сочетание *с около* в следующем примере и не является комбинацией синонимов, однако оба компонента сочетания скрещением двух несинонимических значений также уточняют представление пространственных отношений. Образцами сочетаний со скрещивающимися значениями являются случаи сложения предлогов в примерах, приведенных по сочинению Пешеходца Василия Григоровича-Барского-Плаки-Албова («Путешествие к святым местам» — СПб., 1778): *Идохомъ бо все по надъ потоками долиною; идохомъ по между горами.*

В «Исторической грамматике» приводится пример сложения предлогов диалектального употребления, современного Буслаеву. Так, отмечено Ф. И. Буслаевым в областном языке Севера (олонец.) выражение *дни на через* (= целый день). Сочетание *на через* в этом контексте можно отнести к группе синонимического удвоения. Несомненно синонимическими являются указанные

---

[26] Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, т. II, изд. V. М., 1881, стр. 271, прим. 1.

автором, кроме упомянутых выше, также сочетания *для чего для* (диалектное, архангельск.) и *за для*, отмеченное Буслаевым и в древнерусском и в старом украинском языках[27].

Однако как ни любопытно это явление, оно не является типичным для русского языка. Если В. В. Виноградов пишет, что «в крестьянской и городской низовой речи нередко наблюдается синонимическое удвоение сильных предлогов, усиление одного предлога другим с синонимическими оттенками»[28], то это потому, что нередко вместо предлога *для* употребляется сочетание *для ради* (ср. приведенные там же примеры современной крестьянской речи, а также из «Грозы» А. Островского: *Всё, видишь, для ради скорости*, или из «Мещан» Горького: *Не для себя ради, а для вас же молодых говорил*). Частая замена предлога *для* целым усиленным сложением в соответствии с этим наблюдается и в былинах: *Да заступим мы да за Киев град, Да не для ради Владимира с молодой-то княгиней Апраксией, Да для ради дому богородицы, Да для ради вдов, сирот, людей бедных*[29], или: *Да на всех-то уголках да камешки самоцветные. И во гривушку тут вплетан-де скачен жемчуг. Не для ради красы-басы, А для ноченки то было ради тёмные*[30], или: *А в тупой конец были вплетены Гуселушки яровчатые. А не для красы, не для уборества, А для ради утехи молодецкоей*[31], или же: *Ай же ты, Вольга Всеславьевич, Оставил я сошку дубовую во бороздочке Не для ради прохожего, проезжего, А для своего брата родимово*[32]. Особенно часто встречается сочетание *не для ради красы-басы*.

Разнообразие состава синонимически удвоенных предлогов почти исчерпывается этим. Почти то же самое можно сказать и о парных, перекрестных сложениях-предлогах. Многие из указанных в примерах из «Исторической грамматики» Буслаева сложений и сочетаний предлогов уже нельзя встретить и в низовой современной нам речи города и деревни. Так, например, уже не встречаются сочетания *с около, по между*, хотя предлог *промеж* сохраняет свою употребительность в просторечии, как и в областной речи — *промежду*[33] (ср., например, у Лермонтова,

---

[27] Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, т. II, стр. 270, прим. 3.

[28] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 679.

[29] Гильфердинг. Онежские былины, записанные летом 1881 г., т. III. М.—Л., 1951, стр. 507.

[30] Там же, стр. 410.

[31] А. М. Астахова. Былины Севера, т. I. М.—Л., 1938, стр. 212.

[32] Там же, стр. 497.

[33] См. Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Д. Н. Ушакова, т. III, 1939, стр. 361.

в финале «Песни про купца Калашникова»: *Схоронили его за Москвой-рекой, На чистом поле промеж трех дорог: Промеж тульской, рязанской, владимирской...*). Иногда встречается *за для* и др. (ср. также указанное Буслаевым *за про*, стр. 270); до известной степени употребительными являются парные *по-над* и *по-за*. Однако эти сложные парные предлоги считаются достоянием народной речи, а *для ради* (не включенное даже в «Толковый словарь русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова) является типичным для просторечия (ср. также и сочетание *за ради: Я — не проклятый, чтобы вам тут жизню свою вколачивать... силу из себя мотать, за ради чего, не знаю...* Шолохов, «Поднятая целина», слова Атаманчукова). Поэтому если даже эти парные предлоги и употребляются в произведениях художественной литературы, то лишь для соответствующей стилистической нюансировки диалога некоторых персонажей или для того, чтобы внести в соответствующие пассажи (или же вообще во все произведение) колорит народной речи: *Здесь Чичиков... скорее за шапку, да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо* (Гоголь); *По-над Доном сад цветет* (А. Кольцов); *По-над речкой расстилается туман* (современная русская народная песня «Дороженька»); *По-за гумнами провел их* (т. е. лошадей) *Яков Лукич, привязал в леваде, а сам пошел вызывать Половцева* (Шолохов, «Поднятая целина») и др.

Сюда же можно было бы отнести также и наречные предлоги *напротив* и *помимо* — постольку, поскольку они уже воспринимаются не в перспективе своего действительного оформления, а понимаются как сложения из современных предлогов *по+мимо, на+против* (точно так же обстоит дело с этими предлогами и в других славянских языках).

Вполне прочно вошли в современный русский литературный язык только два предлога этого же типа: *из-за* и *из-под*. Эти предлоги, путем примыкания сложившиеся из двух сильных предлогов, могут считаться границей, которой достигли словообразовательные процессы при оформлении сравнительно поздних русских предлогов путем сложения простых предлогов. Контрастируя огромной широте словообразовательных процессов в области предлогов и огромному разнообразию способов пополнения категории предлогов в современном русском языке [34], рассмотренные предлоги-сложения *из-за* и *из-под* своей исключительностью свидетельствуют о малой продуктивности этого процесса в пределах русского языка.

---

[34] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 679—684.

Интересно отметить состояние предлогов-сложений в белорусском и украинском языках, исключительно близких к русскому не только лексически, но и грамматически, в особенности в категории имени, в системе его склонения и синтаксических связей.

В современном белорусском языке формирование новых предлогов путем сочетания и сложения простых предлогов наблюдается заметно чаще, чем в современном русском литературном языке. Так, права гражданства признаны не только за белорусскими предлогами *з-за, з-пад*, но и за предлогом *паміж*, существующим наряду с предлогом *між*; иногда в современном белорусском языке употребляется предлог *панад* и некоторые другие.

В белорусском языке имеется много особенностей и в области лексики и в области грамматики, связывающих этот язык не только с русским, но в значительной степени и с украинским, а также и с польским языками. Однако по количеству и употребительности предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, вследствие сравнительной немногочисленности таких предлогов, белорусский язык стоит после языков украинского и польского, т. е. ближе к русскому [35] (ср. существующие и в просторечии русского языка *промеж, по-над, по-за* и др.).

В украинском языке предлогов-сложений значительно больше. Так, в слившемся состоянии в качестве оформившихся единых предлогов фигурируют *заради, задля, поміж* и *з-поміж* (наряду с *між*), *з-посеред, із-за* (с вариантом *з-за*), как и изредка встречающийся *з-поза, з-під*; вполне употребительны *понад* наряду с *над* (*іхати над* или *понад морем*), *по під* наряду с *під* (*квітки під* или *попід вікнами, під* или *попід очима*) или *поперед* наряду с *перед* (*перед ним* или *поперед нього пробіг пес*).

Разнообразие и многочисленность предлогов-сложений в украинском языке имеет некоторое отражение и в грамматиках украинского языка. Так, например, Огиенко, кроме указанных выше примеров на предлоги-сложения, приводит также *поза, спопід, поуз*, заявляя, что «отличительной чертой украинского языка является богатство сложными предлогами» [36].

---

[35] Об этом свидетельствуют данные ряда работ, посвященных белорусскому языку: см. Т. П. Ломтев. Белорусский язык. Изд-во МГУ, 1951, стр. 120; Русско-белорусский словарь под ред. Я. Коласа, К. Крапивы и П. Глебки. М., 1953, и др.

[36] И. Огиенко. Краткий курс украинского языка. Киев, 1918, стр. 166, 243.

Сравнивая украинский язык с сербохорватским, Огиенко утверждает, что и в этом последнем, хотя и реже, встречаются такие же сложные предлоги (справедливо ли это утверждение, будет видно в дальнейшем на основании приведенного нами конкретного материала).

В польском языке предлогов-сложений не меньше, чем в украинском. Об этом свидетельствуют уже грамматики прошлого столетия, как, например, грамматика Смита[37]. На стр. 165 русского издания этой работы сказано: «Предлог со своим падежом рассматривается как уже заключенное в себе выражение, так сказать, как новый падеж, к которому опять может относиться предлог. Таким образом произошли сложные предлоги, как *ponad, poza, z za, około* и пр.».

К предлогам-сложениям в польском языке можно отнести также *wpoprzek*, употребляющееся наряду с *poprzek, wśród, pośród, spośród*, наряду с *śród* (хотя в отношении этих и подобных других предлогов, существующих и в польском и в некоторых других славянских языках, например в болгарском, в сербохорватском и т. д., наличествует некоторая двойственность понимания: для современного сознания *wśród, pośród* и *spośród* — это сложные производные простого предлога *śród*[38]; исторически же *wśród* и *pośród*, как и болг. *всред, насред, посред* или сербохорв. *usred, posred*, восходят к старинным предложным конструкциям, состоявшим из первообразного предлога и имени существительного).

К предлогам-сложениям в польском языке относятся и *oprócz* (существующее наряду с *prócz*), *spod, spopod, popod* (хотя и не часто встречающиеся, но существующие наряду с *pod*), *z za, sprzed, znad, pomiędzy, spomiędzy, ponad, poza* и др. Например: *z za węgła; z poza morza; sprzed nosa; patrzeć spoza (z za) drzwi; przyjechać znad morza; mężniejszy spośród wszystkich; wyszedł spomiędzy (z za) drzew*; у Мицкевича («Sonety Krymskie», «Grób Potockiej») — *W kraju wiosny pomiędzy rozkosznemi sady Uwiędłaś młoda różo*, и др.

Предлогам-сложениям и предлогам-сочетаниям, вследствие столь значительной их распространенности в польском языке, уделяют внимание и современные польские грамматисты. Рас-

---

[37] Смит. Грамматика польского языка. Перевод с немецкого П. А. Гильтебрандта. М., 1863. (Оригинал относится к 1845 г.).

[38] *Śród* или *środ* как предлог или также как существительное фигурирует лишь в изданиях до середины прошлого столетия. Ср., например, Słownik języka polskiego przez N. Samuela Bogumiła Linde, t. V. Wyd. 2. Lwów, 1859; словарь, составленный П. П. Дубровским (Варшава, 1876), или словарь Фр. Потоцкого, ч. 1 (Lipsk, 1873), и др.

сматриваются такие предлоги и в подробной грамматике, составленной коллективом выдающихся ученых-полонистов и выпущенной изданием Польской Академии наук[39]. Автор раздела о предлогах Ян Лось, не возражая против принадлежности рассматриваемых предлогов к современному литературному польскому языку[40], заявляет, что «предлоги могут также соединяться друг с другом в теснейшие группы»[41]. Автор указывает, что в зависимости от следующего за такими предлогами падежа предлоги эти бывают двух родов: во-первых, предлоги, первой частью которых является предлог *z*; в таком случае управляемое имя, независимо от дальнейшего состава сложных предлогов, ставится в родительном падеже, например: *z pod stołu, z pod lasu, z ponad wody, z przed nosa* и т. д. Во-вторых, в отдельный разряд выделяются все остальные группы предлогов, независимо от их состава, независимо и от связанного с ними падежа управляемого имени. Эти сложные предлоги, по указанию автора, объединяются в один разряд лишь на том основании, что падеж управляемого имени зависит от последнего предлога в группе, например: *ponad wody, popod stołem, wpośród lasu.*

На основании указанных особенностей Лось считает, что в первом случае (т. е. если первым элементом состава группы предлогов является предлог *z*) налицо более тесная связь второго предлога группы с управляемым именем, нежели связь предлогов группы между собой: *z nad stołu, z po-nad wody, z przed nosa.* Автор утверждает, что таким образом получается единый сложный оборот, состоящий из второго (и третьего) элемента группы предлогов + управляемого имени, причем в этом обороте имя стоит только в родительном падеже, так как вне связи с первым предлогом группы (т. е. вне связи с предлогом *z*) этот оборот не встречается. Иными словами, автору представляется, что здесь нет (по нашей терминологии) предлогов-сложений, слившихся воедино, а налицо лишь группы предлогов, т. е. (также по нашей терминологии) предлоги-сочетания. Второй предлог как бы становится префиксом имени, па-

---

[39] См. T. Benni, J. Łoś, K. Nitsch, J. Rozwadowski, H. Ułaszyn. Gramatyka języka polskiego (Kraków, nakładem Polskiej Akademji Umiejętności), 1923.

[40] Фактом, доказывающим литературность и права гражданства предлогов-сложений и предлогов-сочетаний в польском языке, является употребление этих предлогов в языке не только художественной, но и научной литературы. Так, в авторском тексте указанной нами грамматики польского языка встречаем: «*Poza* temi szczególnemi wypadkami przyimki łączą się w ściślejsze grupy syntaktyczne z zależnemi przypadkami imion lub zaimków» (стр. 361).

[41] Там же, стр. 362.

деж которого зависит от первого предлога группы (предлога *z*). Это утверждение до известной степени подкрепляется и графическим отображением такой предложной конструкции в польском языке, дающим раздельное написание групп: *z nad stołu, z przed nosa* и др.

В группах предлогов второго типа Лось видит предлоги-сложения. В этом случае первый предлог группы как бы является префиксом, примкнувшей частью единого предлога-сложения, почему и падеж управляемого имени зависит от последнего элемента сложения: *ponad wody, wpośród lasu.*

Система связей и управления при группах предлогов в польском языке представлена Лосем очень наглядно. Доводы его довольно убедительны. Однако не исключается, что действовали в этом случае и некоторые иные причины. Мы не имеем оснований возражать против того, что в одних случаях оборот может восприниматься говорящим как постановка предлога перед предложным оборотом, а в других случаях — как употребление сложного предлога (не одного предлога, но единого сложения) перед именем (см. ниже о предлогах в болгарском языке). Тем не менее, вполне возможно, что для установления связи с тем или иным падежом немалую роль сыграло и то, что семантический вес первого или последнего элемента по каким-либо причинам оказался преобладающим. Немаловажным дополнительным обстоятельством представляется нам и тот факт, что старый славянский предлог *изъ* сочетался только с родительным падежом, а это не могло не отразиться на развитии этого предлога и его синтаксических связей и в польском языке, несмотря на случайное фонетическое совпадение в дальнейшем с предлогом *z* <*съ*. С другой стороны, многие другие предлоги, входящие в состав предлогов-сложений или предлогов-сочетаний, не отличались такой же определенностью и ограниченностью, а следовательно, и устойчивостью, прочностью синтаксических связей управления. Это также не могло не отразиться в дальнейшем на характере управления при сложных предлогах, т. е. на том, с каким падежом данный сложный предлог должен был сочетаться.

Эти предположения вполне подкрепляются фактами из других славянских языков. Так, все сложные (составленные из простых) предлоги, первым элементом которых является первообразный предлог *из* (как с сохранившимся, так и постепенно изменившимся звуковым составом), во всех славянских языках с существующей падежной флексией (т. е. в русском, чешском, а еще ярче в украинском, белорусском, польском, сербохорватском и др.) сочетаются только с именами в родительном

падеже. Эта связь наблюдается с завидной последовательностью, хотя во многих из указанных языков группы предлогов, включающие и предлог *из*, уже давно не представляют собой «группы», «сочетания» предлогов, а являются едиными предлогами-сложениями. Слияние это подтверждается не только фактом слитного письменного отображения (сюда можно было бы прибавить и болг. *иззад, изпод, измежду*), но и единством некоторых вариантов значения, развившихся из первоначального сложного значения (ср. русский предлог *из-за* с причинным значением: *мы опоздали из-за Ивана*, или сербохорватский *iza* со значением следования или чередования: *dođoše jedan iza drugoga* или *piše knjigu iza knjige*).

В то же самое время другие предлоги-сочетания или предлоги-сложения, иногда даже не дошедшие до такого единства значения, в тех же славянских языках сочетаются с таким падежом имени, какого требует последний предлог — составной элемент сложения (ср. русск. *по-над речкой, по-за дворами*; примеры из сербохорватского языка, приведенные Маретичем: *nekoliko paša po od dva tuga; on globi i Turke i raju jednako, i još Turke po na jednoga više; privežem svaki kraj po za jednu granu od drveta*, и др.[42]).

Как обстоит дело с предлогами-сложениями и предлогами-сочетаниями в других западнославянских языках, например, в чешском и в словацком?

В словацком языке в области предлогов-сложений раскрывается почти та же картина, что и в рассмотренных уже славянских языках (в особенности в польском и украинском). Так, в словацком языке наряду с предлогом *nad* существует и *ponad*, употребляются и предлоги-сложения *popod, popred, poza, popri, povedľa, spred, znad, spod, napred, naproti, oproti, pomimo, sprostred*, существуют и предлоги-сложения, оформившиеся из трех простых предлогов: *sponad, spopod spoza, spomedzi, spopred*[43]. Например, в сочетании с творительным можно встретить *nad*: *Tomáš sa hrbil nad miskou*, так же как и *ponad*: *Potrasenia preleteli ako burka ponad krásnym krajom* (Svetozár Hurban-Vajanský). Такое же соотношение существует между теми же предлогами и в сочетании с винительным падежом: *Nad grúň sa vyvalil zapyrený mesiac* (Fr. Kráľ) и *Ponad rieku hrnul sa krdeľ oblakov* (Margita Figuli)[44]. Выявляются те же принципы син-

[42] T. Maretić. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jesika. Drugo popravljeno izdanje. Zagreb, 1931, стр. 452—453.

[43] Ср. E. Pauliny, J. Štolc, J. Ružička. Slovenská gramatika, vyd. 2. Martin, 1955, стр. 280—387.

[44] Там же, стр. 285.

таксической связи управления, отношения сложного предлога к падежу управляемого имени.

Наряду с этим особенно сильное впечатление производит ограниченность и непродуктивность предлогов-сложений и предлогов-сочетаний в чешском языке. Бросается в глаза значительность контраста в этой области между языками, связанными родством происхождения, развитием многих элементов лексики и грамматики и близостью территории распространения. Неупотребительность предлогов-сложений и предлогов-сочетаний особенно рельефно выступает на фоне употребительности подобных предлогов в соседних славянских языках (ср. разнообразие и широту употребления этих предлогов в польском, украинском, отчасти белорусском языках, а также в словацком и сербохорватском, о котором речь будет ниже).

В современном литературном чешском языке допускается употребление лишь одного предлога-сложения, составленного из первообразных предлогов, — это предлог *zpod*: *zpod stola, zpod hlavy*. Кроме того, возможно употребление предлога *naproti*, который принимается в качестве сложения лишь на фоне самостоятельного предлога *proti*, так же как и предлогов *doprostřed*, *zprostřed*, соотносящихся с простым современным чешским предлогом *prostřed*, хотя этот последний по своему происхождению не первообразный, а отыменной, прошедший через категорию наречия (ср. с существительным *prostředek*). В грамматике Травничка отмечается, что у отдельных авторов встречаются единичные случаи употребления и других предлогов-сложений (в устной речи народа их значительно больше): предлог *zmezi* у Гавличка, *sprostřed* у Немцовой [45]. Однако случаи эти отмечаются как нечто выходящее за пределы обычной практики чешского литературного языка.

Небезынтересно, однако, отметить, что ограниченность употребления предлогов-сложений вполне совмещается с существованием сложной префиксации в известном числе наречий, в которых эта сложность префиксации представляется довольно тесно связанной со сложностью состава предлогов. Такое представление основывается на том, что основным ядром, составляющим подобное наречие, является первоначально предложная конструкция (предлог с управляемым именем): *do smrti* — *nadosmrti; přes rok* — *napřesrok; po druhé* — *napodruhé* и др. [46]

Итак, распространенность и употребительность предлогов-сочетаний и предлогов-сложений не одинаковы в различных

[45] Fr. Trávníček. Mluvnice spisovné češtiny, II. Praha, 1951, стр. 621.
[46] Там же.

славянских языках. Из указанных выше языков сравнительно большим количеством рассматриваемых предлогов отличаются польский, украинский, словацкий, отчасти белорусский. Меньше всего таких предлогов в русском и чешском языках. Однако и в тех из уже рассмотренных нами славянских языков, которые располагают сравнительно большим количеством подобных предлогов, предлоги эти относительно однотипны по структуре, однородны и конкретны по своему значению. Так, по структуре это преимущественно сложения или сочетания, первым элементом которых являются предлог *из* (респективно — *z*) или *по*. А выраженные этими предлогами значения ограничиваются преимущественно областью пространственных обозначений. За пределы пространственных значений выходят обычно единичные предлоги-сложения или предлоги-сочетания, которые являются синонимическим удвоением предлогов с общим финальным или другим значением (ср. украинские или русские просторечные *за для, для ради* и т. п.). Совсем обособленным является развитие русского предлога *из-за*, приведшее этот предлог к причинному значению, причем именно в русском языке, отличающемся непродуктивностью в области рассматриваемых предлогов.

Совершенно иное положение наблюдается в болгарском и сербохорватском языках. Дело не только в том, что в этих языках предлоги-сочетания и предлоги-сложения по своей употребительности и многочисленности значительно превышают подобные предлоги в рассмотренных выше славянских языках. Дело и в том, что по своему характеру и значениям предлоги-сочетания и предлоги-сложения в болгарском и сербохорватском языках значительно шире и многообразнее, чем в остальных славянских языках.

Правда, имеются значительные совпадения, которые приближают новообразованные сложные предлоги в этих языках к подобным предлогам в остальных славянских языках. Так, например, обилие предлогов с конкретным и, в частности, пространственным значением вполне очевидно во всех славянских языках. И среди пространственных предлогов занимают бóльшее или меньшее место (в различных языках) и предлоги-сложения или предлоги-сочетания с тем же значением.

Кроме того, совпадения существуют не только в области выражаемых значений, но и в самой структуре, в составе многих предлогов-сложений или предлогов-сочетаний. Это касается не только таких ярких случаев, как почти общеславянские *из-за* и *из-под*, но охватывает и такие предлоги, как болг. *помежду*, *измежду*, сербохорв. *između* (ср. польск. *pomiędzy*, *spomiędzy*,

русский просторечный *промеж* и др.). Совпадения касаются и предлогов, ведущих свое начало от старинных предложных оборотов, например, болгарские современные предлоги *покрай, всред, насред, посред* и некоторые другие, сербохорв. *pokraj, usred, posred* (ср. польский принятый в литературном языке *wśród*, когда-то существовавший в русском языке *покрай* [47] и др.).

Однако наряду с совпадением и близостью между различными славянскими языками в области сложных предлогов есть и значительные элементы специфики. Так, даже в этих совпадающих предлогах специфическим является, например, то, что *всред, посред* и *покрай* в болгарском и сербохорватском языках в наши дни воспринимаются как предлоги-сложения, а не как остатки бывших предложных конструкций. Происходит это вследствие соотносительности с существующими в болгарском и сербохорватском языках очень употребительными современными отыменными предлогами *край* и *сред* (ср. русск. *среди* и *посреди*). Однако ни в болгарском, ни в сербохорватском невозможно такое же понимание, например, предлога *около* (ср. лишь возможный вариант сербохорв. *око*). Предлог *около* для современного болгарина, серба или хорвата звучит, как искони в таком виде существующее слово. И в то же самое время для современного поляка сложенность предлога *około* вполне ясна и бесспорна вследствие наличия в современном польском языке предлога *koło*. Однако именно предлог *wśród*, в противоположность польскому предлогу *około* или болгарским и сербохорватским предлогам *всред, покрай* и т. п., если и представляется для польского языка сложенным образованием (ср. польский оборот *na środku*), то, во всяком случае, не воспринимается как предлог-сложение [48]. Таким образом, в одних и тех же образцах можно видеть яркие примеры близости и в то же самое время — черты национальной специфики славянских языков. Это как бы звенья круговой связи в семье славянских языков и вместе с тем яркие случаи самобытного понимания формы и ее значения, поэтому и как бы различной мотивированности однотипных по образованию слов в различных славянских языках.

[47] Ср. у Буслаева в «Исторической грамматике русского языка» указание на древнее употребление в русском языке предлогов *край, покрай, вскрай* (стр. 273). Ср. также употребление этих предлогов в былинном творчестве, например: *Ево ноженьки край дороженьки* (М. А. Астахова. Былины Севера, т. II, 1951, стр. 474) или: *По край морюшка жила вдовушка* (там же, стр. 446) и др.

[48] *Śród* или *śrzód* уже не употребляется в современном польском языке, о чем свидетельствуют все современные польские словари, начиная со словаря Карловича, Крынского и Недзевецкого, переизданного в Варшаве в 1952—1953 гг.

Эта особенность многих, в основном общеславянских, слов дает простор проявлению языковой специфики как болгарского, так и сербохорватского языка и в области предлогов-сложений и предлогов-сочетаний. Об этом в достаточной мере свидетельствуют примеры.

Однако самая большая особенность болгарских и сербохорватских предлогов-сложений и предлогов-сочетаний все же не в этом. Специфика южнославянских предлогов-сложений и предлогов-сочетаний определяется показателями количественного и качественного порядка, на которых необходимо остановиться в отдельности.

Так, прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что предлоги-сложения в болгарском и сербохорватском языках очень многочисленны и по количеству решительно соперничают с употребительностью подобных предлогов в рассмотренных выше отдельных восточнославянских и западнославянских языках. Однако в структуре предлогов-сложений (следовательно, и вообще в их составе) совпадения между восточно- и западнославянскими языками, с одной стороны, и южнославянскими, с другой стороны, можно видеть лишь на отдельных образцах (некоторые уже указаны выше).

В сербохорватском языке предлоги-сложения представляются приблизительно в следующем перечне: *iza, ispod, iznad, ispred, između, zaradi, poradi, naprema* (соотносительно с *prema*), *poput* (соотносительно с *put*), *povrh* (соотносительно с *vrh*), *pokraj* (соотносительно с *kraj*), *izvan* (соотносительно с *van*), *usred, posred* (соотносительно с *sred*), а некоторыми грамматистами прибавляется и *nasuprot* (соотносительно с *suprot*) [49].

В современном болгарском литературном языке предлогами-сложениями являются: *изпод, иззад, измежду, откъм, докъм, заради, поради, помежду, всред, насред, посред* (соотносительно со *сред*), *покрай, накрай* (соотносительно с *край*), *наспроти* (соотносительно со *спроти*) [50]. Однако, например, предлог *извън* нельзя признать сложением из простых предлогов, так как *вън* для болгарского языка не предлог, а наречие. Таким образом, становятся очевидными различия и между самими рассматриваемыми южнославянскими языками.

---

[49] В соответствии с указаниями Даничича и В. Караджича; см. T. Maretić. Указ. соч., стр. 499.

[50] Ср. Л. Андрейчин. Основна българска граматика, стр. 372. В книге «Правописен речник на българския книжовен език» (III изд., сост. Л. Андрейчин, Вл. Георгиев, Ив. Леков и Ст. Стойков, София, 1954, стр. 18) даются также *накъм, изоколо*.

В отношении структурных элементов, из которых составляются предлоги-сложения в южнославянских языках, при сравнении с предлогами-сложениями в восточно- и западнославянских языках бросается в глаза тот факт, что в южнославянских языках очень ограничены предлоги-сложения с первым составным элементом — предлогом *по*. Так, в этих языках отсутствуют многие предлоги-сложения, которые в ряде западно- и восточнославянских языков очень употребительны (как, например, *по-за, по-над, по-под* и другие и их производные). Однако предлоги-сочетания, т. е. более свободные группы предлогов, с участием предлога *по* очень употребительны и в болгарском, и в сербохорватском языках, ср. болг. *стаи за по двама души* (или *по за двама души*), *банкноти от по двайсет лева, бригади с по сто кооператори* и др.; сербохорв.: *po s nekoliko momaka; globi Turke po na jednoga više, privežem po za jednu granu; po od dva tuga: biti ovđe do po novom ljetu* и др.

Предлоги-сочетания, т. е. более свободные группы предлогов, в южнославянских языках еще более разнообразны и употребительны, чем предлоги-сложения. В этом отношении южнославянские языки несравненно богаче восточно- и западнославянских языков.

В современном болгарском языке употребительными являются не только сочетания, в состав которых входит первообразный предлог *по* (например: *от по, за по* или *по за*[51] и некоторые другие). Нередко встречаются также образования с предлогом *за*: *за под краката, за през зимата, за в къщи, за към дома* и т. п., а также составленные из некоторых других предлогов, например, *с над* (*той се срещна с над хиляда души избиратели*) и др. Особенно часто встречаются сочетания *от преди* и *до преди* (например, *до преди девети септември 1944 година*) и очень разнообразные сочетания первичных предлогов с предлогом *около*[52] (*с около, към около, през около, до около, от около* и мн. др.).

Наконец, для болгарского и сербохорватского языков особенно важным является то обстоятельство, что многочисленность и разнообразие предлогов-сложений и предлогов-сочетаний приводит к исключительной сложности выражаемых этими предлогами значений. Так, значения рассматриваемых предлогов не ограничиваются пределами пространственных отношений;

---

[51] Ср. «Правописен речник на българския книжовен език», стр. 18.

[52] Ср. очень употребительные обороты с подобным значением в современном греческом языке, а также в западноевропейских языках — английском, немецком, французском.

в совокупности употребляющихся оборотов если не преобладают, то, во всяком случае, не уступают другим по численности всякие другие значения (и очень часто — значения отвлеченные). В большом количестве оборотов скрещивание значений также не ограничивается одной определенной областью (ср. обороты: *накъм нивата, откъм гората, през сред село*). Наиболее обычным является совмещение довольно разнородных значений, как, например, целевого и временно́го (*дърва за през зимата*), ассоциативного и дистрибутивного (*те работят с по пет души на смяна*), финального и пространственного (*хляб за в къщи*) и др.

Среди очень многочисленных примеров есть такие, в которых может оспариваться степень близости между предлогами в предложном сочетании в сравнении с силой притяжения последнего предлога в сочетании по направлению к управляемому существительному. Так, спорный вопрос — является ли контакт между предлогами в сочетании с *по* более тесным и непосредственным, чем контакт между последним элементом этого сочетания и управляемым именем (ср. например: *сега нашите бригади са съставени с по 100 и повече кооператори*). Однако в ряде случаев степень сближения уже ясно определилась. Поэтому в таких конструкциях, как например, *чува се шум откъм двора, вървяхме покрай реката* и т. д., без колебания воспринимается единство, слитность предлогов *откъм, покрай* и ряда других. В некоторых случаях это уже, действительно, одно слово, как, например, *сбогом* в обороте *за сбогом*. Вместе с тем, в других случаях не менее определенно воспринимается раздельность существования и функционирования элементов сочетания предлогов (ср. обороты *за в къщи, за в бъдеще*, в которых первый предлог воспринимается как предлог перед предложной конструкцией или даже перед префиксальным словом).

Интересно отношение к этому явлению в соответствующих странах. В сербском языкознании отрицательного отношения к этому явлению нами не установлено. В грамматике Маретича не только в специально приведенных примерах, но и в авторской речи (так же как и в других произведениях научной литературы) можно встретить образцы применения рассматриваемых оборотов, что подтверждает их употребительность и законность. Так, у Маретича сказано: *Neki se prijedlozi slažu po s dva padeža*[53] и др.

---

[53] Maretić. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, стр. 452.

В болгарском же языкознании отношение к этому явлению очень противоречиво. Еще Н. Геров[54] указывал на существование таких предлогов в современном ему языке. Указания даются без комментариев и лишь подкрепляются иллюстративными образцами[55]; это дает основание предполагать, что сам Н. Геров принимал без возражений факт существования подобных предлогов. Затем установилось мнение, что в болгарском языке это явление должно быть отнесено к области разговорного языка и даже просторечия. Такое отношение к употреблению парных предлогов можно отметить, например, у составителей толкового словаря болгарского языка — Ст. Младенова и А. Теодорова-Балана[56]. В этом словаре, например, в статье о предлоге *за* говорится о том, что предлог *за* перед другими предлогами с именами или предложными сочетаниями иногда употребляется неправильно: *Занаяти, които им бяха по-нужни за в селото. Приготвихме всичко за по път.*

Это мнение в некоторых кругах образованных болгар и даже лингвистов укрепилось настолько, что как будто не было поколеблено и такими фактами, как употребление предлогов-сложений и даже предлогов-сочетаний выдающимися авторами болгарской лингвистической литературы, как, например, у покойного Б. Цонева: «...тоя довод би струвал само *за в случай*, ако бих твърдял, че...»[57]; даже у самого Ст. Младенова, отрицавшего права гражданства за предлогами этого типа, можно встретить их применение в авторской речи, служащее опровержением теоретической установки автора: «Ако бе завършена тъй както бе стъкмена, Цоневата книга ще можеше достойно да се мери с голямата Histoire de la langue française от Ferdinand Brunot, която започна да излиза в 1913 год и от която до сега са излезли 8 големи тома *от по* няколко стотин страници голям формат»[58].

Все еще не оценено многими и то обстоятельство, что в очень серьезных грамматиках болгарского языка, как, например,

---

[54] «Рѣчникъ на блъгарскый языкъ». Събралъ, нарядилъ и на свѣтъ изважда Найденъ Геровъ. Пловдивъ, 1895—1908.

[55] Например, при предлоге *за* (ч. II, 1897, стр. 31), а также и при некоторых других предлогах.

[56] «Български тълковен речник с оглед към народните говори», т. I. (А—К). Стъкми проф. д-р Ст. Младенов с донегдешното участие на проф. А. Т. Балан. София, 1951, стр. 683.

[57] Б. Цонев. История на българский език, т. I. София, 1929, стр. 112.

[58] Б. Цонев. История на българский език, т. II. Посмъртно, издание под редакцията на проф. д-р Ст. Младенов. София, 1934, стр. 5 (предисловие).

в грамматике Л. Андрейчина, уделяется специальное место предлогам рассматриваемого типа, причем правильность употребления этих предлогов не отрицается, т. е. фактически признается[59]. Утверждается и как бы узаконивается употребление этих предлогов и последним официальным орфографическим словарем болгарского литературного языка. В этом словаре также нет возражений против правильности и законности употребления предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, а лишь даются правила их оформления в письме[60].

* * *

Предлоги-сложения и предлоги-сочетания, как уже указывалось выше, не являются особенностью только славянских языков. Такие предлоги встречаются и в других европейских языках индоевропейской группы. При этом в ряде европейских языков, главным образом в языках с аналитическим строем (во французском, английском и др.), вследствие продуктивности и широкой употребительности рассматриваемых предлогов эти предлоги приобретают значимость явления, характеризующего важные стороны развития соответствующих языков.

В славянских же языках — не только лексически, но и во многих областях грамматики очень близких друг к другу, предлоги-сложения и предлоги-сочетания распределяются неравномерно. Действительно, нет славянского языка, в котором такие предлоги не были бы представлены хотя бы некоторым количеством примеров. Однако в отдельных славянских языках (в русском и чешском) предлоги-сложения и предлоги-сочетания очень немногочисленны и малопродуктивны. Нормы современного литературного русского языка, как и литературного чешского, не допускают употребления тех немного более разнообразных вариантов рассматриваемых предлогов, которые бытуют в просторечии и в особенности в диалектах соответствующих языков.

Остальные языки восточнославянской и западнославянской групп (украинский, белорусский, польский, словацкий) значительно богаче предлогами-сложениями и предлогами-сочетаниями, хотя тоже не все в одинаковой степени и со специфическими различиями в составе. Должны быть отмечены: 1) срав-

---

[59] Любомир Д. Андрейчин. Основна българска граматика, стр. 390—391.

[60] «Правописен речник на българския книжовен език», стр. 17 (п. 17, прим. 2В), 18 (п. 18), а также стр. 21 (п. 2).

нительная многочисленность в этих языках предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, первым составным элементом которых являются первообразные предлоги *по* или *из* и 2) конкретность значений рассматриваемых сложений и сочетаний, во всяком случае их однородность, так как большинство таких предлогов не выходит за пределы пространственных и — реже — временны́х значений. Редкие случаи образования предлогов-сложений или предлогов-сочетаний с более абстрактным значением (ср. украинские предлоги *заради, для ради* с финальным значением) все же характеризуются единством значения в том смысле, что в одно сложение соединились два предлога — оба с финальным значением, так же как в украинских и других предлогах, например, *понад, поза и попод*, наблюдается соединение простых предлогов с пространственными значениями и т. д. В этой второй группе славянских языков сравнительная многочисленность и разнообразие состава предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, очевидно, связаны с большей демократичностью норм, определяющих состав и особенности сответствующих литературных языков. Вследствие этого в состав перечисленных выше литературных славянских языков вошли многие элементы, развившиеся в разговорной речи народа. Среди этих элементов было большое количество предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, также ставших достоянием соответствующих литературных языков. В то же самое время многие подобные предлоги в русском и чешском языках остались за пределами литературной речи, лишь в качестве элементов, характеризующих стихию устной языковой практики просторечия и диалектов.

И, наконец, южнославянские языки, в частности болгарский и сербохорватский, широко признают права гражданства на образование и применение множества предлогов-сложений и предлогов-сочетаний самого разного типа. Большое количество таких предлогов употребляется не только в конкретных (пространственных или временных) значениях, но и в самых различных отвлеченных значениях. При этом вполне обычным является скрещивание разнородных значений, например финального с пространственным (ср. болг. *черджe за под краката: за* с целевым значением, *под* — с пространственным) или финального с темпоральным (ср. также болг. *дърва за през зимата: за* с целевым значением, *през* — с временным) и т. п.

Чем объясняется такое неравномерное распределение и распространение предлогов-сложений и предлогов-сочетаний? Старейшие из этих предлогов (*из-за* и *из-под*) существуют почти во всех славянских языках (см. выше, стр. 66—67). Однако в дальнейшем особенности общественно-исторического развития

обострили специфические различия между отдельными славянскими языками в области рассматриваемого явления. Так, сравнительно раннее формирование русского и чешского литературных языков, строгое следование установленной традиции и классическим образцам поставили значительные преграды между языком письменным и речевой стихией народа. За эти преграды могли проникать лишь отдельные, единичные элементы просторечия и диалектов, постепенно, в течение десятков лет (а нередко и веков), становясь литературной нормой. Академик Б. Гавранек метко охарактеризовал эту особенность развития литературного чешского языка, называя ее «интеллектуализацией», вызвавшей известное обособление данного языка от народной речи и ограничившей возможности использования ряда бытующих в народной речи слов и форм. Значительная степень «интеллектуализации», традиционности и даже некоторой консервативности в использовании речевых материалов характеризует также и развитие русского литературного языка, в особенности на некоторых этапах его исторической жизни. Вполне допустимо, что это отразилось и в области рассматриваемых предлогов, ограничивая в русском языке их развитие и употребительность.

В остальных восточнославянских и западнославянских языках явно сказываются результаты сравнительно позднего установления официальных речевых норм и традиций (хотя исторически этот период для различных языков различен). Поэтому и близость к устной речи народа в этих языках больше, и проявления этой близости многочисленнее и разнообразнее; в пределах литературной речи допускаются существование и употребление очень многих форм и слов, развившихся в недрах народной речи. В числе элементов, узаконенных литературным языком, оказались таким же образом и рассматриваемые нами предлоги-сложения и предлоги-сочетания.

Государства южных славян являются колыбелью классической славянской письменности. Несмотря на это, в силу исторических событий, потрясших Балканский полуостров и на пять веков погрузивших его во мрак рабства, старинная традиция письменности была нарушена, а в некоторых случаях прервана полностью. Поэтому современный литературный болгарский язык не является непосредственным преемником языка болгарской письменности IX—XIV вв. По тем же причинам нет прямого продолжения традиции древнейшей славянской письменности и в современном языке сербов и хорватов. «Юность» современных литературных языков — болгарского и сербохорватского — обеспечила возможность отражения в них позднейшего

этапа развития устной речи народа, охвата в значительной полноте результатов этого развития. Таким образом, налицо были условия, чтобы в современном литературном болгарском языке, а также и в современном литературном сербохорватском языке в широчайшем объеме нашли место и предлоги-сложения и предлоги-сочетания, которые, естественно, должны были развиться и в этих языках, так как тенденция к их появлению проявилась в этих языках, как и вообще во всех славянских языках. Однако должно быть дополнительно выяснено то обстоятельство, что в южнославянских языках предлоги-сложения и предлоги-сочетания получили значительно более широкое развитие — и количественно, и структурно, и семантически.

В частности, для болгарского языка немаловажным, без сомнения, мог быть факт развития аналитического способа синтаксических связей в области имени. Это уже расширяло возможности и даже создавало необходимость особенного развития категории предлогов (ср. положение во французском и в английском языках). Однако, очевидно, нельзя принять бурное развитие предлогов-сложений и предлогов-сочетаний в болгарском языке лишь как следствие аналитического строя языка. Этого нельзя сделать, так как в сербохорватском языке, сохранившем синтетические средства синтаксических связей, наблюдается такой же размах развития рассматриваемых предлогов. Правда, можно было бы предположить некоторое влияние на сербохорватский со стороны болгарского языка, однако доказать это предположение трудно, как трудно и ограничиться этим предположением. Поэтому необходимо выяснить возможные другие условия, наличие которых могло бы способствовать умножению и развитию предлогов-сложений и предлогов-сочетаний.

Не останавливаясь специально на более отдаленных и сложных возможностях воздействия и взаимодействия, можно обратить внимание на факт особенно активного развития категории предлогов путем сложения или слияния простых предлогов в соседних индоевропейских балканских языках — греческом и румынском. Черты, характеризующие и объединяющие балканские языки, несмотря на пестроту и разнородность этих языков, указывались уже неоднократно крупными лингвистами XX в. Не лишено правдоподобности предположение, что возможны известные совпадения и взаимодействие между балканскими языками и в области развития категории предлогов. Конкретные материалы из соответствующих языков в значительной степени подтверждают это предположение.

Без сомнения, образование сложений и сочетаний в области предлогов в каждом из упомянутых балканских языков отра-

жает специфику каждого данного языка. Так, например, в румынском языке сложение или сочетание простых предлогов — явление вполне обычное (ср. простые предлоги *a, către, de, fără, in, la, pe, spre* и другие и наряду с ними предлоги-сложения и предлоги-сочетания *de la, de către, de pe, dimpre, fără de, pe la* и т. п.).[61] Однако специфическим для румынского языка, отличным от славянских балканских языков, является сложение флексии с артиклем.

Современный греческий язык также отличается обилием сложений и сочетаний, пополняющих категорию предлогов. Однако специфическим для греческих сложений и сочетаний является то, что они представляют собой не группы предлогов, а группы, составленные из предлога с наречием. Разнообразие значений вносится главным образом первым элементом сочетания — наречием, тогда как вторым элементом, придающим сочетанию препозитивный характер, бывают только предлоги ἀπ(ὸ), μ(ὲ) и σ(ὲ)[62]. Несмотря на относительную ограниченность вторых элементов, входящих в состав сочетаний, в сумме получается большое количество сочетаний с функцией предлога, отличающихся широкой употребительностью.

В сущности, по составу предлогов-сочетаний[63] современный греческий язык отличается от славянских языков на Балканах, но не противопоставляется им. Дело в том, что и в современном болгарском, и в современном сербохорватском языках в состав предлогов-сочетаний могут входить не только чистые предлоги. Очень часто первым или вторым элементом могут быть наречные предлоги (т. е. бывшие, а в большинстве случаев — и нынешние наречия), а также и такие наречия, которые самостоятельно в функции предлога не выступают. Таковы по составу, например, следующие современные болгарские сочетания: *от преди, до преди, далече от* (ср. греч. μακριά ἀπὸ), *вътре в, отстрани на* (как и *отгоре на, отдолу на, отзад на, отпред на*),

---

[61] Ср. Grammatika limbii romîne, vol. I. Vokabularul, fonetica si morfologia. Academia republicii populare Romine, Bucureşti, 1954, стр. 343, а также Alain G u i l l e r m o n. Manuel de la langue roumaine. Paris, 1953, стр. 166, 168 и др.

[62] См. André M i r a m b e l. Précis de grammaire élémentaire du grec moderne. Paris, 1939, стр. 186—187; Hubert P e r n o t. Introduction à l'étude du dialecte Tsakonien. Paris, 1934, стр. 296—297; Viggo B r o e n d a l. Le système des prépositions grecques. Mélanges E. Boisacq. Bruxelles, 1938, и др.

[63] В очень немногочисленных и ограниченных по своим условиям случаях (в сочетании с краткой формой генетива местоимений) первый элемент сочетаний — наречие — может функционировать и самостоятельно в качестве предлога (см. M i r a m b e l. Указ. соч., прим. на стр. 187).

заедно с (греч. μαζί μέ, ср. русский оборот *вместе с*), *близо до* (в некоторых западно- и восточнославянских языках фигурирующее здесь наречие стало наречным предлогом или уже окончательно перешло в категорию предлогов, ср. также русские формы *вблизи* и *близ*; в болгарском же языке *близо* — чистое наречие). Таковы по своему характеру и очень многочисленные и разнообразные группы с функцией предлога, в состав которых входит наречный предлог *около*, а также и сочетание *вън от*, ср. современное греческое сочетание ἔξω ἀπό, которое употребляется как в прямом, так и в переносном смысле (болг. *вън от училището*, греч. ἔξω ἀπὸ τὸ σχολιό; наряду с болг. *вън от вашите доводи*, греч. ἔξω ἀπὸ τούς λόγους τας), и др. Таким образом, несмотря на существующие различия, в области новогреческих и славянских (болгарских и сербохорватских) предлогов-сочетаний имеются и значительные совпадения, точки соприкосновения, которые не могут не быть приняты во внимание.

Вследствие указанных фактов Балканы, действительно, представляются территорией, на которой рассматриваемое явление получило значительное распространение и такое развитие, которое вносит в это явление новые качественные признаки.

* * *

В заключение нам представляется необходимым выяснить следующие несколько вопросов:

1) каким образом связано рассматриваемое явление с общей тенденцией индоевропейских (в том числе и славянских языков) к расширению состава и употребительности категории предлогов;

2) существуют ли специальные причины возникновения предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, наблюдаются ли специфические последствия этого явления;

3) каковы важнейшие особенности предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, а также характера и степени связи элементов внутри предлога-сложения или предлога-сочетания или же отдельных элементов с управляемым словом.

Нет необходимости специально анализировать и иллюстрировать в достаточной степени очевидный и признанный лингвистами факт расширения употребительности предлогов в индоевропейских языках и вместе с тем факт умножения количества предлогов, расширения состава категории предлогов. Вполне убедительным кажется предположение, что расширение употребительности предлогов является следствием того, что падежная флексия, утратившая первоначальную конкретность и ясность

значения, перестала быть достаточным средством выражения грамматических отношений. Эта недостаточность падежной флексии усугублялась необходимостью выражать новые отношения, возникшей в результате развития человеческого мышления. Таким образом было обусловлено развитие категории предлогов, повышение их функционального значения.

Однако тот состав категории предлогов, которым располагал язык на данном этапе своего развития, с течением времени перестал удовлетворять потребностям развития языка, так как, очевидно, уже не вполне соответствовал расширившимся представлениям об отношениях к окружающей действительности. Это и вызвало необходимость пополнения состава категории новыми предлогами, позволяющими отразить в речи осложненное понимание отношений окружающей действительности и возрастающую сложность грамматических отношений. Все это согласуется с установившимися концепциями, так же как общепринятой является и констатация способов вызванного указанными обстоятельствами пополнения категории предлогов: а) переходом ряда форм и оборотов из других грамматических категорий в категорию предлогов, присоединением этих форм и оборотов к основному ядру первичных для данного языка предлогов и б) составлением новых предлогов путем комбинирования простых предлогов.

Таким образом, наряду с первым способом умножения количества предлогов (результаты которого проявляются в большом количестве и разнообразии предлогов со времен глубокой древности, ср. такие предлоги, как *между*, *кроме*, *мимо* и многие другие) широко применяется и второй способ — прибавление предлога к предлогу или же постановка нового предлога перед предложной конструкцией.

Почему оказалось недостаточным привлечение слов и оборотов из других грамматических категорий, несмотря на разнообразие используемых источников и материалов и, наконец, несмотря на многочисленность и разнообразие созданных таким образом предлогов? Почему активизировалось использование и других способов пополнения категории предлогов? Почему и чем вызвано образование предлогов-сложений и предлогов-сочетаний и почему этот способ, хотя и намечавшийся уже в древнюю пору существования отдельных индоевропейских языков, в более позднее и в особенности в последнее время оказывается все более и более продуктивным (хотя и не во всех языках одинаково)?

Нам этот комплекс вопросов представляется в таком виде.

Первообразные предлоги, вследствие своей древности, вслед-

ствие многостороннего употребления и отсутствия яркой этимологической обусловленности, оказались в том же положении, в котором в свое время оказалась и флексия: они стали областью значительной грамматической абстракции, а в результате этого многие первичные предлоги стали страдать расплывчатостью, недостаточной определенностью значения. Вместе с тем абстрактность первичных предлогов создает условия для развития многозначности, которая, с одной стороны, способствовала разрешению ряда задач, поставленных возросшей необходимостью выражать более сложные отношения, с другой же стороны, значительное развитие многозначности в этих предлогах вызвало случаи семантической перегруженности, что противоречило требованиям ясности и точности высказывания. Эта расплывчатость значения, во многих случаях утрата семантической индивидуальности, характеризует в особенности предлоги языков с аналитическим способом синтаксических связей в области имени (т. е. предлоги французского, английского и других языков, а из славянских языков — болгарского). В таком случае огромную роль для правильного понимания оборота в языках с аналитико-синтаксическим строем стали играть комбинации, способы сочетания предлогов с флексией. В языках с аналитическим строем приблизительно такую же роль вспомогательного средства для понимания значения оборота стало играть место этого оборота в предложении.

Факт массового появления разнообразных новых предлогов свидетельствует о том, что как средство выражения отношений недостаточными оказались в некоторой степени комбинаторные возможности сочетания предлога с флексией, а в особенности — сочетание употребления предлога с расположением оборота в предложении. Но еще интереснее тот факт, что, несмотря на массовый переход различных форм и оборотов в категорию предлогов, эти новые предлоги не вполне соответствуют всей широте столь осязаемой необходимости найти новые, дополнительные средства выражения. Нам представляется, что это несоответствие возникает вследствие сравнительно большой конкретности и семантической обусловленности новых и новейших предлогов, перешедших из других грамматических категорий. Такая степень семантической ясности и обусловленности является значительным препятствием для развития многозначности. Вследствие этого подобный предлог может отражать незначительное количество отношений (обычно одно-два, ср. русские предлоги типа *путем, в отношении, в течение* и подобные предлоги в других славянских и неславянских индоевропейских языках).

В противовес семантической перегруженности и неопределенности первичных предлогов и слишком большой определенности, а поэтому и семантической ограниченности большого числа отыменных и других новых предлогов, и появляются предлоги-сложения и предлоги-сочетания. Эти предлоги удобны тем, что они благодаря многозначности многих из составных элементов могут передавать большое количество очень тонких и нередко очень сложных отношений. Сам же факт комбинации простых предлогов наряду с этим создает и условия для ограничения той расплывчатости и неопределенности значения, которыми при отдельном употреблении могли бы отличаться отдельные составные элементы образующегося предлога-сложения или предлога-сочетания. Таким образом, тонкость или сложность значения в подобном предлоге сочетается с уточненностью и определенностью.

Разумеется, этими качествами отличаются предлоги-сложения и предлоги-сочетания главным образом в языках с аналитическим строем (например, в болгарском языке, а при совсем специальных условиях балканской общности — и в аналитико-синтетическом сербохорватском языке). В языках аналитико-синтетического строя эти возможности комбинирования и вместе с тем уточнения значений осуществляются не столько при помощи предлогов-сложений и предлогов-сочетаний, сколько в результате комбинирования предлога с флексией. А это еще больше подтверждает мнение об идентичности функций предлога и именной флексии. Таким образом, предлоги-сложения и предлоги-сочетания являются как бы случаем осложнения препозитивной флексии.

Из рассмотренного конкретного материала явствует, что по характеру заложенных в них значений предлоги-сложения и предлоги-сочетания могут быть трех типов.

1. Предлоги-сложения или предлоги-сочетания могут быть синонимическими, со взаимно усиливающимся значением. Сюда относятся прежде всего предлоги типа встречающегося в восточно- и южнославянских языках предлога *заради*.

2. Предлоги-сложения или предлоги-сочетания могут быть со скрещивающимися однородными значениями (например, одно пространственное значение скрещивается с другим, также пространственным, как, например, встречающийся почти во всех славянских языках предлог *из-под* или болг. *откъм* и др.).

3. И, наконец, предлоги-сложения и предлоги-сочетания могут быть с действительно осложненным значением. В таких предлогах скрещиваются разнородные грамматические значения, например ассоциативное с дистрибутивным (*самолети с по два*

мотора), финальное с пространственным (*обед за в къщи*) и т. д. Такие предлоги в славянских языках существуют только на территории Балканского полуострова.

По составу, по способу построения сложные или сочетающиеся предлоги обычно представляют собой группы из различных предлогов (независимо от того, являются ли эти предлоги синонимами или они не синонимичны, но однородны по значению, или совершенно разнородны по значению).

Этот момент представляется связанным по контрасту со случаем употребления различных предлогов перед одним и тем же существительным вместо двух развернутых предложных конструкций с одним и тем же управляемым именем (например, болг. *Вечерта бе поставена охрана от комунисти в и около Докторската градина*). Такое употребление предлогов в общем не свойственно русскому языку. В редких случаях оно может не противоречить стилю языка — тогда, когда управляемое имя должно было бы находиться в одном и том же падеже и при первом, и при втором предлоге (как, например, в обороте *до и после революции*, заменившем два паратактических оборота с одинаковыми результатами связи управления: *до революции* и *после революции*) [64].

Языкам с аналитическим строем, так же как и вообще славянским языкам на Балканах, такие обороты значительно более свойственны. Указание на это можно найти, например, у Маретича — в отношении сербохорватского языка, т. е. языка с аналитико-синтетической системой синтаксических связей [65].

И, наконец, на приведенном выше конкретном языковом материале было установлено, что сила взаимного привлечения, а поэтому и степень единства внутри рассматриваемых групп предлогов различна не только для различных языков, но и для отдельных типов групп в пределах одного языка. Поэтому нам пришлось пользоваться отдельными терминами как для групп предлогов с осуществившимся единством (по принятой здесь терминологии — предлоги-сложения, из которых каждый, с полностью примкнувшими друг к другу составными элементами, уже воспринимается как цельное слово, как, например, довольно употребительный в ряде славянских языков предлог

---

[64] В действительности явление это наблюдается не только в языках с аналитической системой связей, но встречается в очень многих языках Европы. Отмечается его существование и обычность применения, например, и в немецком языке (ср. H. Paul. Deutsche Grammatik, Bd. IV, стр. 55, и др.).

[65] См. «Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika», стр. 454.

заради), так и для групп, сохранивших раздельность значения и функциональных особенностей составных элементов (по принятой здесь терминологии — предлоги-сочетания, отдельные элементы которых могут иметь бо́льшую или меньшую внутреннюю сцепленность, а также более или менее тесную связь с управляемым словом).

Вполне приемлемым является предположение, что аккумуляция предлогов перед управляемым именем как явление имеет родственные связи с усложнением префиксации при глаголах и других категориях слов [66]. Однако этот вопрос требует дополнительного привлечения разнообразного материала, не связанного непосредственно с поставленными в данной работе задачами.

---

[66] Ср. склонность к усложнению префиксации в глаголах в славянских языках на Балканах, отмеченную и для болгарского и для сербохорватского языков (например: Л. Андрейчин. Основна българска граматика, стр. 164; Ст. Младенов и Ст. П. Василев. Граматика на българския език. София, 1939, стр. 154 и др.; Maretić. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, стр. 357 и сл., и др.).

Н. П. Гринкова

Ленинград

О НАЗВАНИЯХ НЕКОТОРЫХ ЯГОД В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Разработка лексики славянских языков нуждается в частных исследованиях, посвященных изучению лексических связей, схождений и расхождений этих языков. Лексические показания ценны для установления большей или меньшей степени и длительности контактов между родственными языками и народами в различные периоды их истории.

Методы лексикологических исследований могут быть различными и избираться в соответствии с общими и частными задачами каждого конкретного исследования. В этой, как и в ряде предыдущих работ, учитывая соотношения в области лексики ряда родственных языков, мы исходим прежде всего из данных русского языка, стоящего в центре наших специальных исследований.

Из довольно обширного материала, собранного нами по теме статьи (включая и названия несъедобных ягод), мы отобрали материалы, характеризующие названия лишь небольшого круга ягод. С одной стороны, мы остановились на названиях съедобных ягод — названиях, имеющих широкий ареал на территории расселения народов, говорящих на славянских языках, с другой стороны — на названиях таких ягод, распространение которых ограничено преимущественно северной и средней полосой Европы.

Термины для обозначения различных видов ягод в славянских языках многочисленны. Среди них можно выделить три группы: 1) термины, широко распространенные в славянских языках, имеющие устойчивые значения, 2) термины, встречающиеся в ряде славянских языков и 3) термины, отмеченные (на основании имеющихся в нашем распоряжении материалов) лишь в отдельных славянских языках или их диалектах.

Ниже мы анализируем употребление названий следующих ягод: малины (Rubus idaeus L.), земляники (Fragaria vesca L.), клубники (Fragaria viridus Duch. или Fragaria collina Ehrh., Fragaria elatior Ehrh.), брусники (Vaccinium vitis idaea), черники (Vaccinium myrtillus) и клюквы (Vaccinium oxycoccus). Кроме того, рассмотрено употребление в родственных языках слов с общим значением «ягода».

Необходимо сделать примечание, касающееся характера рассматриваемого материала. Русский диалектный лексический материал мы стремились использовать с возможной полнотой, привлекая как опубликованные, так и неопубликованные сведения (в частности, из личных экспедиционных наблюдений).

В отношении других славянских языков мы вынуждены были ограничиться лишь иллюстративным материалом, используя славянские лексикографические пособия [1].

ЯГОДА

Слово ягода является общераспространенным во всех славянских языках и имеет для восточнославянских языков общее значение — 'небольшой сочный плод кустарниковых или травянистых растений' (Ушаков). С тем же общим значением оно известно из памятников старославянской и древнерусской письменности (Миклошич, Срезневский) [2]. В этимологических словарях имеются сопоставления с рядом других индоевропейских языков, показывающие общие индоевропейские связи славянского слова ягода с однокоренными словами родственных языков (Преображенский, Горяев, Holub, Фасмер) [3]. Кроме указанного общего значения для названия всякой ягоды, слово ягода в некоторых славянских языках и их диалектах имеет и частные значения. Так, Даль отмечает, что «местами зовут ягодой тот вид, какой где более водится», и иллюстрирует это указание примерами: *земляника* (ворон.), *шикша, водяника* (камч.), *черника* (сиб.). Аналогичные указания находим у Добровольского, который рядом с общим значением слова ягода приводит из б. Рославльского у. б. Смоленской губер-

[1] Список использованных работ см. в конце статьи (там же в тех случаях, когда это необходимо, даны условные сокращения).

[2] Из диалектологических материалов известно также для названия ягод на кустарниках слово *губина* (И. Б — н. О русском наречии в Чистополе; Якушкин). Для древнечешского родовое название jahodnik (V. Machek. Česka a slovenská jména rostlin. Praha, 1954).

[3] Русско-чешский сельскохозяйственный словарь приводит также для общего значения 'ягода' слово *bobule*.

нии значение 'земляника'. Об этом же свидетельствует запись Е. Ф. Будде из Мценского у. б. Орловской губернии: «яĥăдьник — лисавáя я́ĥъда, ў ле́ся, расьтёть. Нет, зимляни́ка — э́тă клубни́ка быва́ить. . .» [4].

В южнославянских языках слово ягода также может иметь частное значение. Словари болгарского языка дают указание на использование этого слова для обозначения земляники — fragaria veska (Геров, БТР и др.), клубники — fragaria collina (Геров и др.), садовой земляники — fragaria elatior (БТР и др.).

В польских говорах слово *jagoda* указывается в диалектном словаре Карловича как синоним слова *poziomka* (см. ниже).

В словенском языке словосочетание *rdeča jagoda* служит для обозначения земляники (Плетершник), в чешском *zahradni jagody* — для обозначения клубники и т. д.

Отметим также, что слово ягода широко употребительно в словосочетаниях для обозначения различных (чаще всего несъедобных) видов ягод, а иногда и других плодов. Так, Даль приводит: *бирючьи-ягоды, волчьи-ягодки, дубовые-ягодки, вороньи-, сорочьи-, медвежьи-ягоды, журавлиная-ягода, марьины-ягоды, сердечные-ягоды, михунковы-ягоды* и др.

МАЛИНА (RUBUS IDAEUS)

К названиям ягод, широко распространенным в славянских языках и имеющим устойчивое значение, прежде всего относится название малина.

Слово малина с некоторыми вариантами, соответствующими фонетическим особенностям отдельных славянских языков, известно в русском, украинском, белорусском, болгарском, сербском, словенском, чешском, словацком, польском, верхнелужицком, полабском языках.

Что касается фонетических вариантов этого слова, то мы можем на основании использованного материала сослаться только на народную форму *malena*, приведенную в словаре Травничка, и форму *mālana* у Лорентца.

Для тверских и тульских говоров известен вариант *мали́ня* (Макаров).

Из грамматических особенностей, характеризующих слово малина в различных славянских языках (и их диалектах), следует отметить различное использование форм единственного и множественного числа для обозначения общего названия ягод.

---

[4] Е. Ф. Будде. О говорах Тульской и Орловской губерний. «Сборник ОРЯС», т. 76, № 3. СПб., 1904, стр. 46.

В одних языках (и диалектах) форма единственного числа имеет только значение единичности: малина — одна такая ягода. В этих языках (и диалектах) для собирательного значения используется форма множественного числа — *малины*.

В других языках форма единственного числа малина имеет и собирательное значение («малина растет в лесу», «набрали много малины» и т. п.).

Словари современного русского литературного языка подчеркивают наличие для литературного языка только формы единственного числа: так, в словаре под ред. Д. Н. Ушакова встречаем помету «мн. нет». То же находим и в ранее изданных словарях русского литературного языка, хотя и без специального подчеркивания отсутствия формы множественного числа (ср. Словарь Академии Российской, 1 и 2 изд., Словарь русского и церковнославянского языка 1847 и 1867 гг., Словарь 1927 г., а также у Даля[5]).

Если для русского литературного языка формы множественного числа слова малина неупотребительны, то в некоторых русских диалектах такие формы типичны. Добровольский указывает форму малины для ельнинских говоров б. Смоленской губернии. Эта форма отмечена нами во время экспедиционных поездок в некоторых говорах Калининской, Ярославской, Новгородской областей, а также в уральских говорах (Кыштымский район). В отдельных диалектологических записях из различных районов РСФСР встречаем ряд указаний на эту же форму. Более полная и точная картина распространения формы множественного числа в собирательном значении может быть выяснена после окончания обработки соответствующих материалов, собранных для составления Атласа русских народных говоров.

Кроме русских диалектов, употребление формы множественного числа *малины* известно для белорусского языка, наряду с формой единственного числа малина. Те же показания имеем для словацкого языка (*sbierat' maliny*, Исаченко), чешского (Травничек), польского (Карлович[6]).

В отношении использования формы множественного числа для выражения собирательного значения, как видим, отдельные говоры русского языка обнаруживают связи с западной группой восточнославянских языков и с рядом западнославянских

---

[5] У Даля даже приводится форма единичности: *малинина, малининка* — одна ягодка малины.

[6] Ср., например, выражение *na malinach być* 'выпачкаться', перен. 'ничего не иметь'.

языков. Русский литературный язык, по-видимому, давно закрепил в собирательном значении форму единственного числа. Об этом свидетельствуют прежде всего словари русского языка (начиная со словаря Ф. Поликарпова 1704 г.), где находим первые указания лексикологического порядка.

О подобном же употреблении слова малина свидетельствует ряд памятников XVI—XVII вв. В рукописных сборниках русских пословиц, изданных П. К. Симони[7], находим, например, такие случаи: «дело не малин*а* и в зиму не опадет», «жаль Окулину да послать по малин*у*», «не бывать калине малин*ою*» (курсив наш. — *Н. Г.*). В документах XVII в., относящихся к описанию подмосковных царских садов, встречаем неоднократное упоминание формы единственного числа с собирательным значением «малины красной» и т. п.[8]

Как увидим ниже, сказанное относительно давнего употребления в русском литературном языке формы единственного числа с собирательным значением для названия ягод закономерно, кроме слова малина, и для названия других ягод.

Обращаясь к семантике слова малина, можем отметить значительную распространенность и устойчивость основного значения — название ягод и кустарника Rubus idaeus L. По указанию ботаников, этот вид растения широко распространен в Евразии[9]. По-видимому, такое широкое географическое распространение и ценность растения находятся в каком-то соотношении с устойчивостью и самого названия.

Однако изученные нами материалы словарей различных славянских языков показывают, что есть некоторые отступления от общего для большинства родственных языков значения. Прежде всего можно отметить употребление слова малина для названия другого вида ягод. Так, в б. Макарьевском у. б. Нижегородской губернии словом малина обозначается земляника (Словарь 1927 г.) и высокий бурьян в полях (Холмогорский у. б. Архангельской губ.; Словарь 1927 г.). В словенском языке — также тутовая ягода.

Колебания в употреблении слова малина выражаются в том, что для названия Rubus idaeus иногда используется иное слово. Так, в украинском языке наряду со словом *маліна*

---

[7] П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и пр. XVII—XIX ст. — «Сборник ОРЯС», т. 66, № 7.

[8] И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1895.

[9] П. М. Жуковский. Культурные растения и их сородичи (Систематика, география, экология, использование, происхождение). М., 1950, стр. 347.

известно слово *фризи*[10], в польском наряду со словом *malina* существует *trzynnik*. В болгарских диалектах известно также слово *тутиника*, а в македонских — *бабинки*. Кроме того, слово малина может означать и ежевику — Rubus (МББР). Широкое распространение слова малина в русском языке и его диалектах свидетельствуется также тем, что слово малина нередко используется в определенных словосочетаниях для обозначения некоторых растений, например: *малина арктическая, галочья, глухая, голубая, дикая, земляная* (Словарь 1927 г.), *степная, калмыцкая, каменная, глухая* (Даль). Это вполне подтверждает указания В. Махека о том, что слово малина, видимо, означало плоды всех других рода Rubus (стр. 101). То же наблюдается и в польском языке: *malina jeżina, kamionka, kamionkowa, nodroja jagodowa, moroszka* и др. В моравских говорах *maliny černe* обозначает ежевику (Бартош). Так же и в чешских и словацких диалектах (Махек, стр. 101).

ЗЕМЛЯНИКА (FRAGARIA VESCA L.)

Анализ названий ягод различных видов земляники, в том числе и клубники, в различных славянских языках затруднен тем, что в этих названиях могут переплетаться как древние названия, так и позднейшие, возникшие в сравнительно новое время в связи со своеобразием истории культуры и распространения различных видов этого растения. В живой речи используются названия, относящиеся как к диким формам, так и к садовой землянике. Нередко эти названия смешиваются с названиями клубники.

Ботаники отмечают сравнительно позднее происхождение садовой земляники: о ней не знали в Европе до нашей эры и даже долго после открытия Америки. Известны были только дикие виды Fragaria vesca и Fragaria viridus, которые широко использовались[11]. В России садовые сорта земляники появились только с 1654 г., когда специальные гонцы, посланные в разные страны за заморскими плодами для царских подмосковных садов в Измайлове, впервые привезли виргинскую землянику. Садовая клубника появилась со времен Петра I, который во время похода на Азов велел доставить в Петербург эти растения[12].

---

[10] А. С. Рогович. Опыт словаря народных названий юго-западной России. Киев, 1874 (№ 585); Словник ботанічної номенклатури. Київ, 1928.

[11] В диком состоянии растет на лесных опушках, полянах, в невысоком разнотравье, среди кустарников — в Европейской части СССР до южностепных районов, в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, почти во всей Западной Европе (П. М. Жуковский. Указ. соч.).

[12] П. М. Жуковский. Указ. соч., стр. 354—356.

Приведенные исторические справки объясняют крайне редкие упоминания земляники в описях измайловских садов середины XVII в. В этих документах обычно указывается площадь «смородины красной», «смородины черной», «смородины белой», «малины красной», «крыжу берсеню». Лишь в некоторых поздних записях отмечается приход ягод: «93 ведра смородины черной, 68 ведер красной, 11 ведер белой, 19 ведер малины красной... 7 ведер клубницы» [13].

В русском литературном языке общераспространенным и общеупотребительным является родовое название з е м л я н и к а, а также видовое к л у б н и к а (Ушаков, Ожегов, Словарь совр. русск. лит. яз.). Все прочие названия, применяемые для обозначения различных видов земляники, в бытовой речевой практике являются названиями сортов.

За пределами современного русского литературного языка в диалектном употреблении наблюдается разнообразие слов, используемых в русских говорах для названия ягод земляники.

Рассмотрим варианты (фонетические и морфологические) литературного слова з е м л я н и к а [14].

В диалектах наряду с этой формой слова, широко употребительной, отмечаются и другие образования: *землянúца* [15] (арх., онеж., олон., каргоп., лужск., петерб., новгор., тихв., пск., осташ., волог., костр., перм., усольск., твер., бежец., яросл., влад., нижегор., казан., сарат., моск., калуж., смол.[16]; вят., шенк., Словарь 1907 г.), *землянка* (волог., арх., сиб. — Даль, яросл. — Якушкин, ворон. — Доп.); *землянýха* (ворон. — Доп.).

В некоторых говорах известно употребление формы множественного числа для обозначения собирательности (смол., остр. — Словарь 1907 г.).

Территориальные пометы, приведенные выше, показывают, что слова *землянúка* и *землянúца* преимущественно распространены в севернорусских, частично среднерусских говорах. Среди южнорусских говоров указываются лишь смоленские. Образования *землянка* и *землянуха* также отмечены преимущественно в севернорусских говорах, из южных указаны только воронежские.

---

[13] И. З а б е л и н. Домашний быт русских царей, стр. 257, 517, 541.

[14] Такую форму приводят словари 1762 и 1771 г., в Словаре Академии Российской помещены две формы: *землянúца, землянúка*; в Словаре 1867 г. только *землянúка*.

[15] Эта форма, кроме Словаря Академии Российской, приводится и у Поликарпова (1704 г.).

[16] Источники территориальных помет см. в Словаре русского языка, сост. вторым отд. Академии наук, т. II, вып. 9. СПб., 1907, стр. 2575.

Если обратиться к показаниям южнорусских говоров, то обнаружим и иные лексемы. Так, Даль свидетельствует о наличии слов *пáземка, позéмка, пазóбнúка* (ряз., ворон.), *полевйшник* (курск.), *пазынока* (? — так у Даля. — *Н. Г.*) для тамбовских. Кроме того, с пометой «юж.» Даль приводит слово *сунúца*; это слово с тем же значением засвидетельствовано в брянских говорах[17]. Другой морфологический вариант — *сунúка* — Даль сопровождает пометами «юж.», «зап.».

Слово *суница* с пометой «обл.» находим в Словаре 1867 г. Для тульских говоров известно еще название земляники *позибнúка* (Доп.), сходное с приведенным у Даля (ворон.), и *позобнúка* (ряз., ворон.).

У Анненкова приводится также *пазубника* (ворон.) и *половишник* (курск.), очевидно, относящееся к украинским говорам (см. ниже).

В брянских говорах А. М. Родионовой отмечены для обозначения земляники слова *пазывника* и *суника*[18].

Таким образом, по лексическому признаку — названию ягод земляники — диалекты русского языка как бы разделяются на две группы: севернорусские и среднерусские говоры знают преимущественно образования типа земляника и совпадают в этом отношении с русским литературным языком. Южнорусские говоры, кроме общерусского слова земляника, знают ряд иных образований, как увидим ниже, сближающих их в этом отношении с другими славянскими языками. Наличие среди территориальных помет к словам *землянка, землянуха* пометы «ворон.» не противоречит высказанным соображениям, так как среди воронежских диалектов могли иметь место говоры переселенцев из среднерусских областей (среди бывших помещичьих крестьян).

В изученных нами материалах по другим родственным языкам мы обнаружили довольно редкое употребление названий типа земляника и наличие синонимичных слов, мало известных в диалектах русского языка.

Для украинского литературного языка Словарь Желеховского и Русско-украинский словарь указывают слово *сунúці*

---

[17] Материалы диалектологических экспедиций в Брянскую область в 1951—53 гг. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, а также диссертация А. М. Родионовой «Лексика Навлинского района Брянской области» (1956).

[18] А. М. Родионова (Нащокина). Лексика говоров Навлинского района Брянской области в системе русских диалектов. «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 130. Л., 1957, стр. 223—224.

(мн. ч.). Диалектные и специальные ботанические материалы[19] дают большее число названий: *ягода* (с вариантами: *красная я.*, *червоная я.*), *земляница*, *суниця* (с вариантами: *с. звичайна*, *с. ідома*, *сунеці*, *сонниці*, *стонниця*, *шунице*), *полуниці*[20] (с вариантами: *полониця*, *полевниці*, *половниці*, *полунишник*, *полуночник*, *половишник*), *позобника* (с вариантом — *пазубника*), *позьомка* (с вариантом *позюмки*), *трускавец*[21], *яриця*, *бамбара* (с вариантом *бамбера*), *материнка*[22]. Такое многообразие местных названий для украинских говоров, очевидно, находится в связи со значительной территорией распространения их (как в пределах УССР, так и на Карпатах). Отдельные группы украинских говоров, соприкасаясь с русскими, белорусскими, польскими, чешскими диалектами, имеют и ряд лексических совпадений с ними.

Слово *суніцы* (мн. ч.) указывается словарями и для белорусского литературного языка (Рус.-белорус. словарь). Для говоров Носович отмечает также вариант *сунича*. Эти данные находятся в соответствии с показаниями словаря Даля, где для слова *сунйка* (*суница*) имеются территориальные пометы «юж., зап.».

Из русских говоров брянские говоры, находящиеся на стыке южнорусских, белорусских и украинских говоров, имеют общую с соседними восточнославянскими языками лексему, не известную русскому языку. Это — одна из черт взаимоотношения близко родственных языков на территории их соприкосновения.

Белорусский язык, кроме слова *суніцы*, для обозначения земляники знает еще лексемы *пазёмкі* (Александрович), *поземка* (Носович), приведенные выше и для украинских говоров.

С названиями земляники в белорусском, украинском и некоторых южнорусских говорах совпадают в польском языке слова *poziomka*, *poziomki*, *pozimka*, *poziemka*, *poziemeczka*, *pozimeczka* (Линде).

В словаре Карловича находим: *podzimka*, *poziąbka*, *ziomka*, *koziomka*, *koziemka*, *potrawnica*, *potrawniczka*, а также *sunica*, *sonycia*, *sumnica*, сближающие польские диалекты с соседними

---

[19] А. С. Рогович. Опыт словаря народных названий юго-западной России, № 291, 292. Словник ботаничної номенклатури.

[20] Отмечено, что садовые крупноплодные «суниці» часто неправильно называют «полуницями» (Колгоспна виробнична енциклопедія. 2-е перераб. и доп. изд., Киев, 1956, стр. 571).

[21] В ряде словарей славянских языков этот термин приводится для обозначения и земляники и клубники, что является следствием недостаточного разграничения в бытовом употреблении этих видов ягоды.

[22] Ср. в сербохорватском языке *mamica* fragaria vesca (СЮА).

белорусскими и украинскими. Махек для чешских говоров Силезии указывает *podzemská jahoda, podzemek* — *fragaria moschata* (стр. 105) как заимствование из польского.

Среди приведенных слов обратим внимание на форму *ziomka*, которую можно сопоставить с соответствующими русскими бесприставочными образованиями. В польском языке, таким образом, наблюдаются лексические соотношения как с белорусским, украинским, так и с русским языками. Обособленно стоят формы *koziomka, koziemka, kozimka* (аналогичных которым нами не обнаружено в словарях других славянских народов), как и форма *potrawnica, potrawniczka*.

Выходя за пределы восточнославянских и польского языков, обнаруживаем иную картину. В южнославянских языках для обозначения земляники главным образом используется слово общего значения — я г о д а. Так, в болгарском языке землянику называют словом я г о д а. Прилагательные *ягодов, ягоден* значат 'земляничный'; лесная земляника — *горска ягода*, разновидность земляники — клубника — *градинска ягода* и т. п. (БТР; МББР, стр. 167). То же наблюдается для словенского (Плетершник) и сербского (Караджич) языков. В сербохорватском языке для Fragaria vesca известно название *поземљух* (СЮА). Для Дубровника Караджич и Ивекович приводят название земляники — *јагода поземльуша* [23]. Это название в семантическом отношении можно связать с приведенными выше названиями *паземника, поземка*. С ограничительной пометой («у Паштровичей», т. е. в Черногории) Караджич приводит еще название земляники — *дрѐтеза* (также СЮА).

Кроме этих терминов, словари южнославянских языков указывают уже упоминавшееся выше слово *суница*. Так, в болгарском языке, как областное, это слово известно для обозначения земляники (БТР; МББР приводит также *зуница*). В сербских словарях *суница* указывается для названия малины (Караджич с пометой «у Боци»; то же — Ивекович). Приведенные замечания говорят о сравнительно ограниченном распространении и употреблении слова *суница* в южнославянских языках.

Материал, использованный нами, свидетельствует о большом разнообразии названий для Fragaria vesca в южнославянских языках.

Чешский язык для обозначения земляники использует слово *jahody* (Рус.-чеш. с.-хоз. словарь), а также словосочетания *červené jahody* (Гебауер, Копецкий и др.), *jahody lesní* (Большой

---

[23] Ср. в словаре Плетершника *pozemljuša* — ползучее растение.

рус.-чеш. словарь). То же — и для словацкого языка (Исаченко)[24].

Как видим, наблюдается своеобразие в использовании названий для ягод земляники в южнославянских языках, а также в чешском и словацком. В этом отношении указанные языки обособляются от всех восточнославянских и от польского языка.

Резюмируя сказанное, можно считать, что для большинства славянских языков название разных видов земляники образованы от корня *зем-* (*земляника, земляница, землянка, земляпуха, ziomka, паземка, поземка*). Этимологи связывают этот корень с корнем, общим и для слова *земля*, объясняя возможность происхождения такого названия тем, что у данного растения, как правило, спелые ягоды часто лежат совсем на земле[25], в отличие от других видов ягодных растений (Фасмер, Горяев).

В значение этих лексем вносят дополнительный оттенок, например, некоторые данные из словаря Даля: *поземистый* — низкий, *поземный* — малорослый, незначительный (человек, животное, растение), *по́земь* — до самой земли. Такое название растений могло появиться в славянских языках прежде всего как подчеркивание отличительного признака, расположения низко к земле[26], в отличие от других ягод — малины, смородины, крыжовника и даже брусники и черники, растущих на более или менее высоких, приподнятых над землей кустах. В словаре Карловича в связи с названием *поземка* читаем: «по земле распространенные, мало поднятые над землею, ползучие, стелющиеся по земле».

Сюда следует отнести и приставочные формы *па-зем-ника, по-зем-ка, по-земль-уша*, являющиеся с точки зрения словообразовательной ясными формами.

В этот ряд не укладываются созвучные названия польского языка *pozimka* (и аналогичные), недаром в словаре Карловича и других встречаем указание: «*poziemki*, по земле растущие, или *pozimki*, первые после зимы» (т. IV, стр. 911, 912).

Что касается указанной выше лексемы *суница*, то внутренняя форма ее также ясна: *су-ниц-а*. Корень *ник-, ниц-* семантически может быть связан с отмеченным выше корнем *зем-*, так как оба указывают на низкое, близкое к земле расположение никнущих ягод.

---

[24] В. Махек указывает в чешском языке для fragaria vesca название vtáčenička (стр. 104).

[25] Ср. в записи Е. Ф. Будде: «Нет, зимляни́ка — э́тӑ клубни́ка бываи́ть, э́нтӑ ишшо ни́жӑ» («Сборник ОРЯС», т. 76, № 3, стр. 46).

[26] Ср., например, в чешском языке *pozemki* 'земная поверхность', *pozemni* 'земляной'.

Указанные выше для южнорусских говоров названия земляники — *позобника* (ряз., ворон.) и *позибника* (тул.), а также *пазыно́ка* (тамб.) — нуждаются в некоторых разъяснениях. Можно считать, что эти слова имеют корень *зоб-*, с основным значением 'еда, съедобное'. Если обратиться к русским областным словарям, то найдем в них некоторый материал, связанный с этим корнем. В словаре Даля встретим: *зобь* (сев.) 'еда, пища, харч', *зобанец* (стар.) 'похлебка', *зобец* (арх.) 'мякина', *зобать, зобти, зобнуть* (сев.) 'есть, хлебать, хватать, подбирать зубами пищу прямо с руки, чашки — о ягодах, заспе, толокне и пр.', *зобун, зобач, зобунья* 'хлебатель', 'обжора', 'кто зоблет, тянет и подбирает прямо губами'. Территориальные пометы, данные Далем, указывают преимущественно на северные говоры, где, очевидно, дольше и более отчетливо сохранялось указанное значение корня *зоб-*. В южных говорах оно, по-видимому, менее употребительно, что могло способствовать затемнению внутренней формы слов этого корня и значения и вести к дальнейшему изменению их внешней формы, не поддержанной содержанием. В результате могли получиться указанные выше формы *позибника, пазубника* и *пазынока*, последняя, кстати, сопровождается у Даля вопросительным знаком.

Что касается семантической стороны слова *позобника*, то в этом отношении оно соприкасается с приведенными выше польскими словами *potrawnica, potrawniczka*. В словаре Карловича и других эти слова связываются со словом *potrawa*, обозначающим 'еда, кушанье, пища, корм'. Таким образом, земляника в русских говорах и в польском языке названа по одному и тому же признаку, но с использованием различных корней, более свойственных с данным значением каждому из родственных языков.

Нам кажется, что русск. *позобника* и польск. *potrawa* связаны с пережитками собирательского хозяйства в жизни славянских племен. Мы отмечали выше указания Даля на то, что слова корня *зоб-* применяются при названии примитивных способов еды (ср. «хватать, подбирать пищу губами, прямо с руки»). Эти названия наиболее употребительных и распространенных в большей части Европы и Европейской части СССР ягод сохранились, как видим, лишь в очень незначительной степени.

В итоге рассмотрения приведенных выше названий ягод земляники можно подчеркнуть наличие почти во всех родственных славянских языках названий, семантически связанных с корнем *зем-*, в ряде языков своеобразно оформленных с морфологической стороны (бесприставочно-суффиксальные, приставочно-

суффиксальные образования). С этими образованиями переплетаются близкие по семантическим связям формы с корнем *ниц-*. Особняком стоят названия, семантически соотнесенные со словами, обозначающими еду, пищу, а также название земляники общим термином я г о д а.

КЛУБНИКА (FRAGARIA MOSCHATA ИЛИ FR. ELATIOR EHRH. F. COLLINA) [27]

Слово к л у б н и к а для названия соответствующего вида ягод земляники является общим для русского литературного языка и его диалектов (Словарь Академии Российской, ч. III, 1792 г., словарь 1867 г., Словарь русского языка, сост. II отд. АН, т. IV, вып. 4, 1910). В диалектах известны и другие формы с тем же корнем: *клубница* (кинеш., курск., ворон., сарат., перм.), *клубеника* (смб.), *глубника, голубника* (рост., яросл. и др.).

Этимологи связывают слово к л у б н и к а с корнем *клуб-* (Преображенский, Бернекер, Фасмер). Для народных ботанических названий различных растений образования от этого корня широко распространены [28]. Соответствующие виды земляники вполне закономерно получили название от этого корня, так как, по указаниям ботаников, плоды у этих видов шаровидные, в отличие от других, имеющих плод конической или овальной формы [29].

Для украинского языка типичное [30] название клубники — *полуниця* (чаще во множественном числе), не отмеченное для русских говоров (Рус.-укр. словарь), и *трускавка* (Желеховский, Анненков), а также наряду с этими словами и слово к л у б н и к а (Желеховский, Рогович, Даль, Анненков).

Слово *полуниця* можно связать с рассмотренным выше *суниця* по наличию общего корня *ниц-*.

В специальном ботаническом словаре находим еще ряд менее распространенных названий: *полониця, полянка, польовниця,*

---

[27] В диком состоянии растет в лесах, по кустарникам в тенистых местах в Европейской части СССР до Волги и в Западной Европе (П. М. Ж у к о в с к и й. Указ. соч., стр. 351).

[28] Ср. *клуб* — головка цветущего растения; *клуб* — кочан капусты, *клубни* картофеля (Даль); *клубки* — орехи челибухи (Богораз).

[29] П. М. Ж у к о в с к и й. Указ. соч., стр. 351.

[10] Некоторые авторы, приводя название *клубника*, подчеркивают принадлежность его русскому языку и противопоставляют украинскому *полуница* (ср. К. С. Г о р н и ц к и й. Заметки об употреблении в народном быту некоторых дикорастущих и разводимых растений украинской флоры. Харьков, 1887, № 235). Любопытно, что слова *клубника* нет в словаре Гринченко.

хрускавки, хрупавки, підкропивниця, ягодник, пуговиця, капшук, баби, посянишні ягоди, чепегова ягода, суниця гірська.

В белорусском языке известно, кроме слов *клубніца, клубнікі,* также слово *трускалкі* (Рус.-бел. словарь, Александрович). В словаре Даля для западных говоров находим и *трусáвка.*

Из указанных названий в других славянских языках отмечено *truskawka* для польского и форма *truskavec, truskavice* для чешского языка. В словарях польского языка отмечается, что под таким названием понимается род крупных *poziomek* или садовые *poziomki.*

Линде приводит еще одно частное название *kosmatki,* указывая, что так называются косматые ягоды: трускавки, агрест (крыжовник).

В чешском языке возможно также для названия клубники словосочетание *zahradni jahody.* Московлевич для сербского языка приводит *баштенске jагоде.*

В болгарских диалектах употребляются для обозначения клубники: *градинска ягода, зуница, орнички, планица, плюскавици, суница* (МББР, стр. 167; ср. болгарские названия для земляники, там же).

Таким образом, русский язык имеет своеобразное название для этого вида ягод. Украинский и белорусский языки, с одной стороны, употребляя слово клубника, связываются с русским языком, с другой, через употребление слова *трускавка,* — с западнославянскими языками.

Обособленно стоят южнославянские языки, которые и для земляники и для клубники не имеют специальных, широко распространенных названий, используя общее название ягода.

БРУСНИКА (VACCINIUM VITIS IDAEA)

Слово брусника для обозначения ягод Vaccinium vitis idaea известно во всех восточнославянских языках. В русском литературном языке нормой является форма с суффиксом *-ик-а.*[31]

Что касается русских диалектных форм, то они представляют некоторое разнообразие в использовании суффикса: *брусница* (арх., новг., калин., яросл. и др.), *брусена* (арх., волог.), *брусеня* (калин., осташ.), *борусена*[32] (ряз., влад. и др.). Известны

[31] Ботаники отмечают это название как народное, общеупотребительное (ср. Н. П. Семенов. Русская номенклатура наиболее известных в нашей флоре и культуре и некоторых общеупотребительных растений. СПб., 1878, стр. 88). Словарь современного русского литературного языка (т. 1, 1948) указывает на среднерусскую форму *брусница;* см. также наличие слова *брусника, н-ица* в словаре 1789 г.; у Ломоносова — *брусника.*

[32] М. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника.

и многочисленные производные образования от данного корня. Среди диалектных отметим: *брусняк* (новг.) для обозначения брусничного кустарника; *брусозня* (арх.) для обозначения брусничного сока; *брусвяный* (арх.) 'красный, багряный, цвета брусники'; *брусвянеть* 'краснеть, алеть, багроветь'. Добровольский для смоленских говоров указывает и фонетический вариант *брушница*.

Такое многообразие морфологических образований, особенно для говоров северных районов РСФСР, говорит о широком использовании языковых средств для обозначения обильно произрастающего в северных районах растения и его плодов[33]. В известных нам материалах название брусника (вместе с указанными выше морфологическими вариантами) в русских диалектах употребляется устойчиво. Других слов для обозначения этих ягод не наблюдается. Только для рязанских говоров Даль и Макаров указывают синоним к слову брусника — боровика. Слово брусника используется обычно в форме единственного числа с собирательным значением; для обозначения единичности известна форма *брусничина*. В смоленских говорах известно употребление множественного числа в значении собирательности (Добровольский).

В документах начала XVII в., приведенных Забелиным, упоминается доставка к царскому двору «травы брусничной»[34]. В Новгородской грамоте XV в.[35] читаем: «и при старом доходе недоимает полу-бочки брусници». Любопытно, что упоминание о бруснице стоит рядом с перечислением ряда важных продуктов (полоть мяса, баран, куры, пиво и др.); это говорит об определенном удельном весе этих ягод в питании русского населения северных районов.

В белорусском языке известен фонетический вариант *брушница* (Носович), а также указание на использование формы множественного числа — *брусніцы* (Рус.-бел. словарь). Носович отмечает также производные: *бруснецъ* 'краснеть подобно бруснике, загорать'; *бруснелый* 'красноватый', а в Белорусско-русском словаре приводится слово *брусница* с переносным

---

[33] Ср. указание на произрастание брусники преимущественно в Северной и Центральной Европе; причем, промышленные заготовки сосредоточены главным образом в Ленинградской, Архангельской, Ивановской, Владимирской и некоторых других областях, а также в северной части Западной Сибири. Урожай ягод на сплошных зарослях может достигать 300 кг с 1 га и более (БСЭ, изд. 2, т. 6, стр. 179).

[34] И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Изд. 3, 1901, стр. 762.

[35] И. Д. Беляев. Рассказы из русской истории, кн. 2. Изд. 2. М., 1866.

значением 'корь' (мед.), очевидно, употребляемое по сходству в цвете.

Для украинского литературного языка словари указывают форму *брусни́ця* (словарь Б. Гринченко) и форму множественного числа *брусниці, -ниць* (Укр.-рус. словарь). Рядом со словом *брусниця* Желеховский приводит также *борівка*. В специальном словаре, кроме названных терминов, находим *камениця, квасничкu, форостінкі, гогоз*, преимущественно из Прикарпатья [36].

Если во всех восточнославянских языках лексема брусника (с фонетическими и морфологическими вариантами) широко распространена и является основным термином для растения и ягод Vaccinium vitis idaea, то в южно- и западнославянских языках наблюдается иная картина.

Брусника в болгарском языке и по его диалектам называется *боровинка* (варианты: *боровница, боровка*) и *брусница* (МББР).[37] Эти же названия применяются и для обозначения черники (см. Геров, а также МББР), поэтому часто для дифференциации дается сочетание *червени боровинки (червени боровки), червена брусница* или *черни боровинки*.

В сербохорватском языке для брусники известно только слово *брусница*, которое может также обозначать чернику.

В польском языке для обозначения брусники употребляется *borowka* и *bruśnica;* в чешском — *brusnice* с вариантом *brusina*, а также по диалектам *kyhanka, kyselina, jagodička* и др. (Махек, стр. 178) [38].

В западнославянских языках должна быть отмечена та же неустойчивость форм для обозначения Vaccinium vitis idaea, что и в южнославянских языках.

За пределами восточнославянских языков, таким образом, термин брусника менее распространен. В ряде языков, как мы видели, известно инокоренное образование, от корня *бор-: боровинка* (болг.), *borówka* (польск.). Напомним, что и для украинского языка Желеховский отмечает как синонимичное к слову *брусниця* слово *борівка*. Напомним здесь и рязанское слово *боровика*.

Белорусский и смоленский фонетические варианты *брушница*, вероятнее всего, находятся в определенном взаимодей-

[36] Ср. указание на термины *квасничкu* и *голозник* для украинских говоров в польском словаре Маевского; слово *гогозда* известно для полтавских говоров в значении 'брусника' (К. Дубняк).

[37] Известны также и другие названия, как *беливуч* (Смолянско), *кокази, суници* (Чепеларе).

[38] В Большом русско-чешском словаре отмечено также диалектное *toulec* (с тем же значением).

ствии с польским названием, в котором соответствующее произношение звука *s* вполне закономерно[39].

Наличие в ряде языков названия брусники, образованного от корня *бор-*, можно считать вполне закономерным. Корень *бор-* в значительном ряду однокоренных образований известен всем славянским языкам в единой форме и с идентичным общим значением «хвойный лес» (Преображенский, Горяев, Holub, Фасмер, Махек).

Образование названий от этого корня для растений, растущих в бору, закономерно и имеет место во многих диалектах и языках (не только в отношении данного растения). Не углубляясь в этот вопрос, приведем некоторые примеры из русских диалектов. Так, Даль отмечает в симбирских и самарских говорах слово б о р для названия птичьего проса (Panicum Miliaceum), *дивий бор* —для названия лугового пырея (Alopecusus pratensis). Из наших наблюдений приведем случай названия вереска (Calluna vulgaris) словом *бор* в лужских говорах (ср. «бор цветет...»). По указанию Даля, это растение в некоторых местах называют *боровой вереск* или *подбрусничник*. Напомним также название гриба — *борозик* и сорта яблок — *боровинка*[40]. Линде, указывая слово *borówka*, дает примечание, что это название относится вообще к растениям, растущим в борах (черница, лохнина, гонобобель, голубица, пьяница, костеника, клюква, брусника, толокнянка).

К этому термину нам придется еще вернуться в связи с рассмотрением названий черники.

Сделаем некоторые замечания этимологического порядка. Известные нам этимологические словари славянских языков связывают корень слова б р у с н и к а с корнем *брус-*, имеющим целый ряд производных, не связанных прямым значением со словом б р у с н и к а (*брусок, брусить, брусовый, брусковый, брусняк* и т. д.). Этимологи, таким образом, возводят корень слова б р у с н и к а к корню *брус-//брос-* Семантически этот корень связывают с названием ягоды б р у с н и к а путем указания на то, что спелые ягоды брусники легко снимаются, сдергиваются, сбрасываются. В этом плане приобретает интерес указания Герова на синоним слова *брусница* в другом значении — «корь — сыпаница». Любопытно сопоставить с этим материалом широко распространенное в ряде северных и северо-западных говоров слово *броснуха* для обозначения доски

---

[39] А. М. С е л и щ е в. Славянское языкознание, т. I. М., 1941, стр. 304.

[40] Ср. у Даля глагол *бореть* «порастать хвойником» (пск.).

с зубьями, своего рода приспособления для обдергивания семенных головок созревшего льна. Словом *брос* обозначаются сами головки льна, обдерганные от стеблей. Этнографические материалы Архангельской области дают еще одно указание: на архангельском севере широко известны специальные приспособления для собирания ягод (главным образом, брусники, реже — клюквы), представляющие собою совки с ручками, край лопатки совка имеет продольные надрезы. При собирании ягод быстро продергивают эти совки между густо заросшими стебельками брусники: стебельки прорываются сквозь эти надрезы, а ягоды скатываются в глубину совка. Устройство такого совка в миниатюре напоминает льняную *броснуху*, а назначение и характер действия совпадают. В б. Сольвычегодском у. эти приспособления носят названия *грабулька, сарапулька* (т. е. царапулька).

ЧЕРНИКА (VACCINIUM MYRTILLUS)

Слово черника для обозначения ягод Vaccinium myrtillus в славянских языках имеет сравнительно ограниченное распространение.

В диалектах русского языка имеются словообразовательные варианты *черница, чернига*.

В некоторых говорах в собирательном значении может употребляться форма множественного числа (Даль), в то же время в значении единичности используется форма *черничина*.

Для украинского языка известны формы *чорниця, чорниці*[41], для белорусского языка — *чарніца, чарніцы*.

В болгарском и его диалектах (как указывалось выше) часто встречается общее название для брусники и черники. Для черники наиболее характерное — *боровинки* (диалектные *боровица, боровница, борувка*[42]). В диалектах для черники известно также название *брусници (бруснок*) (МББР). Неустойчивость формы лексемы *боровинка* и *брусница* привели (как мы указывали для брусники) к тому, что дифференциация стала выражаться в некоторых диалектах устойчивым сочетанием *черни боровинки* (= *черника*), в отличие от *червени боровинки* и *червена брусница* (= брусника).

Сербохорватский язык также знает для черники два названия: *брусница* и *боровница* (СЮА).

[41] В украинском ботаническом словаре встречаем, кроме этих, и другие названия для Vaccinium myrtillus: *борiвка, борина, чорноризка, боровниця чорна, дурниця, афиня, яфинник, яфирник*, преимущественно из Прикарпатья; у Гринченко и Дубняка также — *боровиця*.

[42] Известны также названия *брашници, бруснок, крещяло* (МББР).

Для польского языка, кроме слова *czernica*, имеется словосочетание *czarna jagoda*, а также слово *borówka*. Таким образом, слово *borówka* может обозначать в польском языке вообще Vaccinium, т. е. и чернику и бруснику, как и в болгарском языке.

В чешском языке для обозначения черники известны слово *borůvka*, словосочетания *cerna jahoda* (Махек, стр. 179), *borůvka obecná*. У Маевского дополнительно находим *čičoretka*. В диалектном словаре отмечается, что там, где это растение не растет, его ягоды называют «черными борувками» (Бартош).

В словацком языке для обозначения тех же ягод Исаченко приводит слова *borovnica* и *čučoredka*.

Мука указывает для нижнелужицкого языка в значении черника слово *bórowka*. У Маевского для лужицких говоров приводятся словосочетания *čorne, hórske, holanske, tuchórske jahody*. Особняком стоит указание Лоренца на название черники словом *břousoųnkă*.

Таким образом, западно- и южнославянские языки имеют ряд образований от корня *бор-* с различными словообразовательными элементами для обозначения черники: *bor-owka* (польск., чешск., нижнелужицк.), *бор-овица* (сербохорв.), *bor-ov-nica* (словацк., сербохорв., словенск.), *бор-овинка* (болг.). Упомянутая Желеховским украинская форма *бор-iвка*, таким образом, связывается с западнославянскими языками.

Подводя итог нашим наблюдениям, мы должны отметить сравнительно узкое для славянского мира употребление слова ч е р н и к а — повсеместно без синонимов, — распространенное лишь в восточнославянских языках. Для языков южнославянской и западнославянской групп общими в этом отношении названиями являются указанные выше различные образования от корня *бор-*.

Данные, приведенные Срезневским в «Материалах для словаря древнерусского языка», — *чьрница, черница* — указывают на плоды дерева. В словаре Поликарпова 1704 г. находим указание «черничiе фигъ дикихъ древа, sicomorus, овощь sicomorum». Нет сомнения в том, что эти древние указания не имеют отношения к названию ягод Vaccinium myrtillus и находятся в одном ряду с показаниями болгарских словарей на употребление слова черница для обозначения плодов тутового дерева. Наконец, укажем, что это слово известно в старославянских текстах в значении 'ягода'[43].

[43] А. С. Л ь в о в. Из наблюдений над лексикой старославянских памятников. «Ученые записки Института славяноведения АН СССР», т. IX. М., 1954, стр. 167.

КЛЮКВА (VACCINIUM OXYCOCCUS L.)

Слово клюква в русском литературном языке является единственным для обозначения ягод Vaccinium oxycoccus L. В диалектах название этой ягоды имеет также и другие лексемы. Даль приводит для диалектов, кроме слова клюква: *журавика, журавина, журавлина, жарова, жаровица, жеравица, журавица, жеравина, весняки* (сев.), *красница* (ряз.), а также *веснянка, веснушка* (пск.) с специальным значением 'подснежная клюква'.

Эти данные можно пополнить указаниями некоторых областных словарей: в «Опыте...» — *весняки* (пск., холм.), у Якушкина — *журавйха*; у Герасимова — *журавйка* (череп.); в словаре 1927 г. — *жарáва, жеравйка* (нижегор.); *жеревика, жеравина, жаравика* (старорус., пск., осташ., смол.), *жировйны* (бельск.), *жеравйха* (вят.), *жоровйха* (кот.), *жоравйца* (карг.), *жеравйца* (каш.), *жаравйха* (перм., соликам., усол., кинеш., костр., вят., великоуст., арх.), *жаравлйка* (кад., тот.), *жаравлица* (шенк.); у Эрдмана — *жаровйка* (белоз.), *журавйна* (валд.), *журавлйны* (старорус.); у Грандилевского — *жаравйца;* в «Дополнении. . .» — *жаровйка* (белоз.) [44]. Ограничимся этим перечнем [45]. Из него видно, что в северных областях РСФСР широко известны варианты (фонетические и морфологические) от корня *же(о/а/у)р-*. Нам представляется правильным сопоставлять корень этого названия клюквы с корнем *жар-* и считать это название связанным с цветом ягоды и тех кочек, которые «как жар горят», обильно усыпанные клюквой. Учтем, что во многих русских диалектах известно слово *жар* и его производные для обозначения яркого, огненного цвета (то же и в ряде других славянских языков). О таком семантическом осмыслении слова данного корня говорит и указанное Далем для рязанских говоров слово *красница*, которым показывается наименование ягод клюквы также по признаку цвета. Название клюквы *красница* является корреспондирующим названием *черники, черницы*. Как мы видели выше, некоторые славянские языки также называют ягоды по признаку цвета: *червена боровинка* (болг.), *červený* jahody (чешск.) и др.

Различное оформление коренного гласного в слове *журавина*, очевидно, связано с переосмыслением значения корня, а также с фонетическими закономерностями в результате распростране-

---

[44] В некоторых севернорусских говорах словом *жаровйка* называют поленику (Rubus arcticus L.).

[45] У Анненкова находим еще ряд фонетических и морфологических вариантов также для севернорусских районов.

ния этого слова не только на крайнем севере РСФСР, но и в говорах, знающих неполное оканье, и в говорах среднерусских (см. указанные выше территориальные пометы).

Особое место среди приведенных выше вариантов этого корня занимает вариант *жур-*. В данном случае возможно переосмысление или новое осмысление названия клюквы как журавлиной ягоды. Это соображение подкрепляют некоторые диалектные данные. В осташковских говорах название журавля известно в форме *жирав* (Макаров). Вместе с тем небезынтересно указать, что в русском языке слово *журавль* в более ранние эпохи известно было с иным гласным в корне. Так, в русских сборниках пословиц конца XVII—начала XVIII вв.[46] находим: «*жаравль* летает высоко, а видит далеко», «не сули *жеравля* в небе». В топонимике древней Руси известно название горы в Изборске — *Жоравья* (*Жеравья*) [47].

Название ягод и растений, связанных так или иначе с различными животными и птицами, в русской народной ботанической терминологии нередки, ср. *волчьи ягоды, бирючина* (южнорусск. *бирюк*-волк), *бирючинаи кавуны* (= волчьи ягоды, Поликарпов, 1911), *волчье лыко, мышиный горошек, воронья ягода, ворониха, воронец, гусиный лук, гусиная лапка, кошачья лапка, лисий хвост, медвежий орешник, медвежье ухо, медвежья ягода* и т. п.

Названия *весняки, веснянка, веснушка* особых примечаний не требуют: они называют весеннюю ягоду — подснежную клюкву, отмечая, что в эту пору года больше нет никаких других ягод.

Любопытно, что в Словаре Академии Российской, кроме слова к л ю к в а, для названия соответствующей ягоды приводится и слово *жеровика*; в Словаре русского и церковнославянского языка 1867 г. также рядом со словом к л ю к в а стоит *журавлина*. Оба эти слова для обозначения Vaccinium oxycoccus были не чуждыми, по мнению составителей словарей, и литературному языку соответствующего времени. Однако в Словаре современного русского литературного языка (т. IV) не помещено ни одного варианта слов *журавлина* или *жеровика*. Очевидно, к середине XX в. варианты этих слов стали совершенно чуждыми литературному языку и целиком отошли в категорию областных. Об этом же свидетельствуют словарь под редакцией Д. Н. Ушакова и словарь С. И. Ожегова, не дающие при слове

---

[46] «Памятники древней письменности», вып. IV. СПб., 1880, стр. 85, 105.

[47] Н. П. Б а р с о в. Материалы для историко-географического словаря России. Варшава, 1865.

клюква никаких указаний на какое-либо иное название этой ягоды.

Слово клюква, по-видимому, давно установившееся название для русского языка. В ряде документов середины XVII в. оно используется как употребительное для письменного языка [48].

Итак, для современного русского литературного языка характерно в указанном значении только слово клюква, недаром Бурнашев, приводя слово *жаравлиха* (*журавлиха*), делает указание: «клюква в простонародьи».

Слова этого корня известны и в близко родственных языках: для белорусского языка Носович приводит слово *журавины* (мн. ч.) и *клюква, клюкова*; Желеховский для украинского — *журавика* и *клюква*. Русско-украинский словарь при переводе русского слова клюква дает на первом месте *журавлика*, на втором — *клюква* [49]. В названном выше ботаническом словаре указываются дополнительно диалектные названия клюквы: *журахлина, жирахвина, борина журавина, журавинні ягоды, бугаї, дуроп'ян.*

Для польского языка Линде указывает: *żurowina, żorawina* (*żorawiny*). В словаре Карловича и др. — *żorawica, żorawina*. У Маевского дополнительно указано *borówka bagnowa*.

Что касается слова *klukwa*, то словарь Карловича и других отмечает употребление этого слова преимущественно для обозначения сока боровок, жоравины; с пометой «иногда» — обозначение и самой ягоды жоравины.

Слов типа *журавина* в языках, кроме названных выше, мы, по данным использованных словарей, не обнаружили. Таким образом, русские диалекты, главным образом северные и северозападные, украинский, белорусский и польский языки объединяются этим общим названием для Vaccinium oxycoccus. Славянские языки, имеющие более южное территориальное распространение, не знают этого общего названия.

Словари чешского языка при переводе русского слова клюква дают ряд названий: *klikwa, brusnice, bařinna*, а также описательно *nakysla brusinka*. В одном из последних словарей рядом со словом *klikwa* находим также *žoravina* (Рус.-чеш. с.-хоз. словарь). Эти различные по своему лексическому харак-

[48] Ср., например, некоторые выдержки из документов, приведенных Забелиным: «...и подносили они государю ягоду клюкву» (стр. 627); «...купил полчетверика клюквы» (стр. 707; Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст.).

[49] Показательно для украинского языка наличие в словаре Гринченко лишь слова *журавлина*.

теру слова говорят о том, что в чешском языке нет устойчивого, определенного названия этой ягоды, как нет и самой потребности для ее повседневного или частого названия.

Примерно такое же положение наблюдается в южнославянских языках. Русско-болгарский словарь К. Чукалова[50] при русском слове клюква дает не термин, а только описание: «северен храст с червени кисели зърнести плодове». Это доказательство того, что как слово, так и самая реалия являются чуждыми для данного языка.

В словаре Караджича и СЮА находим слово *кљук* (*кљӯк*) со значением 'давленные виноградные ягоды', 'муст', а также глагол *кљӯкати* 'давить, выжимать сок'. Напрашивается сопоставление с этими словами в указанном значении приведенных выше данных и из польского языка.

* * *

Подведем итоги некоторым нашим наблюдениям. Прежде всего приходится отметить, что названия ягод в славянских языках оформляются преимущественно именами существительными женского рода. Основными суффиксами являются присущие этой категории существительных во всех славянских языках суффиксы *-ка, -ца*.

В ряде языков употребительна форма множественного числа в значении собирательности (русск. диал. *малины, брусницы, черницы, журавины*; украинск. *брусниці, горниці, суниці, полуниці*; белорус. *малины, брусніцы, журавины, позёмкі, клубнікі, трускалкі, чарницы*; чешск. и словацк. *maliny*; польск. *maliny, żorawiny, poziomki, kosmatki*).

В использовании различных лексем наблюдаются определенные связи и расхождения между отдельными языками и группами их.

Абсолютно всем славянским языкам известно слово малина с устойчивым значением. В противовес этому как редко употребительное слово, известное только русскому языку, можно указать слово клюква.

В отношении русского языка необходимо отметить, что русские диалекты, и особенно южнорусские, обнаруживают более многообразные связи с родственными славянскими языками, чем русский литературный язык.

В современном русском литературном языке употребительны такие лексемы для названия ягод, которые в других славянских

[50] К. Чукалов. Пълен руско-български речник. София, 1947.

языках за пределами восточнославянских языков не употребляются: **земляника**, **клубника**, **клюква**.

В то же время русскому литературному языку неизвестны некоторые лексемы, общие для его диалектов и для других славянских языков.

Так, в русских диалектах наблюдаются отсутствующие в русском литературном языке следующие лексемы:

1) *журавина*, связывающая русские диалекты (главным образом северные и северо-западные) с украинским, белорусским и польским языками;

2) *суница*, связывающая юго-западные русские диалекты с украинским и белорусским языками; как диалектное и редко употребительное, это слово отмечается для болгарского и сербохорватского языков;

3) *позёмка*, связывающая южнорусские диалекты с белорусским и польским языками;

4) *боровика* (и варианты), связывающая немногие русские диалекты (например, рязанские) с некоторыми диалектами украинского языка, а также с польским, чешским, словацким, болгарским, сербохорватским, словенским языками.

Эти связи русских диалектов с различными славянскими языками весьма показательны и находятся в общем ряду лексических соотношений, которые мы вскрыли в ряде наших предшествующих статей[51].

Украинский и белорусский языки и их диалекты имеют некоторые лексемы для названия ягод, не обнаруженные в русском языке (и его диалектах) и связывающие их с западнославянскими языками (например, *трускавка* и др.). Некоторые украинские диалекты, называя словом **ягода** отдельные виды земляники, связываются с лексикой чешского, болгарского, сербохорватского языков.

Некоторые названия стоят особняком в говорах отдельных славянских языков; например, в южнорусских говорах — *пазобника* (и варианты), в украинском — *полуниця*, в польских — *koziomka*, *potrawnica* и др.

Возможно, дальнейшие разыскания по говорам различных славянских языков помогут установить связи и этих слов с соответствующими словами родственных славянских языков.

В отношении некоторых названий, встреченных нами в отдельных словарных материалах, в большинстве случаев неславянского происхождения (*капшуки*, *гогодз*, *дрётеза*, *фризи*, *бамбера* и др.), каких-либо замечаний не делаем.

---

[51] См. «Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», тт. 92, 104, 111, 122, 130, 144.

Наши наблюдения, проведенные даже и на ограниченном материале, показывают в области названия ягод общую тенденцию связи восточнославянских языков, особенно украинского и белорусского, а также части русских диалектов с языками польским и чешским.

Южнославянские языки по этому признаку находятся в меньшей близости к восточнославянским языкам. По характеру названий ягод, рассмотренных выше, южнославянские языки имеют близкие связи с чешским языком.

Материалы по другим названиям, проанализированные, но не использованные нами в данной статье (*смородина черная* и *красная, крыжовник, ежевика, морошка, рябина* и др.), должны расширить и уточнить наши предварительные наблюдения и выводы.

СПИСОК СЛОВАРЕЙ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ [52]

Александрович — Руска-беларускі слоўник. Пад рэд. Андрэя Александровіча. Менск, 1937.

Анненков, Н. И. Ботанический словарь или собрание названий как русских так и многих иностранных растений. М., 1859.

Bartoš, F. Dialectický slovník moravský. Praha, 1905.

Berneker, E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908.

Богораз-Тан, В. Г. Областной словарь колымского русского наречия. «Сборник ОРЯС», т. 68, приложение № 4. СПб., 1901.

Большой русско-чешский словарь, под ред. Л. Копецкого, Б. Гавранка, К. Горалка. Прага, т. I, 1952; т. II, 1953; т. III, 1956.

БТР — Андрейчин, Л., Георгиев, Л., Илчев, Ст., Костов, Н., Леков, Ив., Стойков, Ст., Тодоров, Цв. Български тълковен речник. София, 1955.

Бурнашев, В. П. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного, т. I—II. СПб., 1843—1844.

Gebauer, J. Slovník staročeský. Praha, 1901.

Герасимов, М. К. Словарь уездного череповецкого говора. СПб., 1910.

Геров, Н. Речник на български език, I—V. Пловдив, 1895—1904.

Holub, J.—Kopečný, F. Etymologický slovník jazyka českeho. Praha, 1952.

Горяев, Н. В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896.

Горяев, Н. В. Этимологические объяснения наиболее трудных и загадочных слов в русском языке. Тифлис, 1905.

Гринченко, Б. Д. Словарь украинского языка, т. I—IV. Киев, 1907—1909.

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV. М., 1935.

Даничић, Д. Рјечник из књижевних старина српских, I—III. Београд, 1863—1864.

Добровольский, В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.

Доп. — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.
Дубняк, К. Російско-український словничок термінів природознавства і географії. 3-е доп. изд., м. Кобеляк на Полтавщині, 1917.
Дювернуа, А. Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати. М., 1885—1889.
Желеховский, Е. Малоруско-німецкий словарь, I—II. Лейпциг, 1886.
Ivekovič, F. i Broz, J. Rječnik hrvatskoga jezika, t. I—II. Zagreb, 1901.
Караджић, В. С. Српски рјечник. Изд. 3. Београд, 1898.
Karłowicz, J. Słownik gwar polskich, t. I—VI. Kraków, 1900—1911.
Karłowicz, Jan, Kryński, Adam, Niedźwiedzki, W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900—1927.
Копецкий, Л. В. Русско-чешский словарь. Прага, 1951.
Kosruň, F. Rusko-český lesnický slovník. Praha, 1953.
Котник, Д. Янко. Словенско-русский словарь. Любляна, 1950.
Linde, S. B. Słownik języka polskiego. Lwów, 1854—1860.
Lorentz, F. Slovinzisches Wörterbuch, t. I—II. СПб., 1908—1912.
Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
Majewski, E. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, t. II. Warszawa, 1891.
Макаров, М. Опыт русского простонародного словотолковника. «Чтения Моск. об-ва истории и древностей российских», ч. II, кн. 1—9, 1896—1897.
МББР — Материалы за български ботаниченъ речникъ. Допълнени и редактирани от Б. Ахтаровъ. София. 1939.
Миклошич, Ф. Краткий словарь шести славянских языков. СПб., 1885.
Miklosich, F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
Миртов, А. В. Донской словарь. Ростов на Дону, 1929.
Мичатек, Л. Д. Дифференциальный словенско(словацко)-русский словарь, 1900.
Младенов, С. Български тълковен речник. София, 1951.
Московлевић, М. Русско-српски речњик. Београд, 1949.
Nowy słownik języka polskiego, t. 1—2, red. T. Lehr-Spławiński, 1930.
Носович, Н. Г. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
Ожегов, С. И. Словарь русского языка. 3-е изд. М., 1953.
Панчев, Т. Допълнение на българския рѣчникъ отъ Н. Геровъ. Пловдивъ, 1908.
Pleteršnik, M. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, t. I, 1894, t. II, 1895.
Поликарпов, Ф. Лексикон треязычный, сиреч речении славянских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704.
Поликарпов, Ф. Нижнедевицкий словарь (Материалы для изучения южно-великорусских говоров). «Филологические записки», 1911, вып. II—V; 1912, вып. I—III.
Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка, т. I—II. М., 1910—1914; «Труды Института русского языка», т. I. М.—Л., 1949.
Российский целлариус или этимологической российской лексикон, изд. Ф. Гельтергофом. М., 1771.
Русско-белорусский словарь, под ред. Я. Коласа, К. Крапивы и П. Глебки. М., 1953.
Русско-украинский словарь, гл. ред. М. Я. Калинович. М., 1948.

Русско-чешский сельскохозяйственный словарь. Прага, 1951.
Словарь русского языка, сост. II отд. Академии наук. СПб., т. I, 1891—1895; т. II, 1897—1907; т. III, 1922; т. IV, 1906—1926; т. V, 1915—1928; т. VI, 1927; т. VII, 1927; т. VIII, 1927.
Словарь современного русского литературного языка. М.—Л., Изд-во АН СССР, т. I, 1948; т. II, 1951; т. III, 1954; т. IV, 1955.
Словник ботаничної номенклатури. Киев, Изд-во Академии наук УССР, 1928.
Slovník jazyka českého od Pavla Váši a Fr. Trávníčka, 4-е изд., Praha, 1952.
Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., т. I, 1893; т. II, 1902; т. III и доп., 1912.
СЮА — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Dio 1—16. Jugoslavenska akad. znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1880—1956.
Украинско-русский словарь, гл. ред. И. Н. Кириченко, т. 1. К., 1953.
Ушаков, Д. Н. Толковый словарь русского языка, т. I—IV. М., 1935—1940.
Vasmer, Max. Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1953—1954.
Эрдманн, Ф. И. Дополнение к Опыту областного великорусского словаря по Новгородской губ. «Ученые записки Казанского ун-та», кн. II, 1857.
Якушкин, Е. Материалы для словаря народного языка в Ярославской губ. Ярославль, 1896.

Stanisław Skorupka
Warszawa

IDIOMATYZMY FRAZEOLOGICZNE W JĘZYKU POLSKIM I ICH GENEZA

Terminów *idiom, idiomat* (od gr. ἰδίωμα, ἰδιώματος 'właściwość'), *idiotyzm* (od gr. ἰδιωτισμός 'prostactwo') używa się wymiennie w znaczeniu szerszym i węższym. W znaczeniu szerszym są to terminy oznaczające wszelkie konstrukcje zarówno gramatyczne jak i frazeologiczne właściwe językowi, wyróżniające go od innych języków. W znaczeniu węższym to wyrażenia i zwroty charakterystyczne dla danego języka, nieprzetłumaczalne dosłownie na inny język, stanowiące jego osobliwość, swoistość. Na oznaczenie obu odcieni wprowadzam termin idiomatyzm, analogicznie do terminów archaizm, dialektyzm. Ze względu na strukturę dzielę idiomatyzmy na gramatyczne i frazeologiczne, ze względu na genezę — na naturalne i konwencjonalne.

Do idiomatyzmów gramatycznych zaliczam wszelkie konstrukcje gramatyczne (najczęściej składniowe) właściwe danemu językowi, np. fr. *il vient de sortir* «tylko co wyszedł». Formą wyrażającą czynność dopiero co dokonaną jest tu *vient de*. Jest to forma specyficznie francuska. W języku polskim można ją oddać w przybliżeniu określeniem przysłówkowym: *tylko co, dopiero co, przed chwilą* lub tp. Specyficznie angielską formą pytania jest zastosowanie form czasownika *to do*: *you know* (twierdzenie) — *do you know*? (pytanie). W innych językach formą pytania może być szyk przestawny wyrazów, np. w językach francuskim i niemieckim: fr. *vous avez* (twierdzenie) — *aves-vous?* (pytanie); niem. *Sie haben* (twierdzenie) — *haben Sie?* (pytanie). W języku polskim pytanie możemy wyrazić za pomocą partykuły *czy* albo za pomocą zaimka lub przysłówka pytajnego, np. *czy śpisz? skąd wiesz? w jakim kierunku zmierzasz? co robisz? ile masz lat? kiedy wracasz?* itp. W mowie żywej pytanie wyrażamy za pomocą intonacji, wyma-

wiając końcowe sylaby wypowiedzi z tonacją wzrastającą: *śpīsz? jūtrō wrācāsz? pōwiēdziāł, że nīe mā czāsū?*

Konstrukcje składniowe, a zwłaszcza tzw. składnia rządu, należą do właściwości danego języka np. pol. *wybuchnąć czym* (płaczem, gniewem), *parsknąć czym* (śmiechem); cz. *vybuchati hnevem, vyprsknouti smichem*; ros. *прыснуть со смеху*; fr. *eclater de rire, fondre en larmes*; niem. *in lautes Gelächter ausbrechen, in Tränen ausbrechen, in Zorn ausbrechen*; ang. *to burst into foods of tears.* W przytoczonych przykładach zgodność konstrukcji wykazują tylko języki polski i czeski. Pozostałe języki mają strukturę składniową różną. W innych wypadkach struktura bywa podobna, np. pol. *grozić komu czym* (palcem, pięścią, karami); cz. *hroziti komu cim* (prstem); ros. *грозить кому-л. чем-л.* (кулаком); niem. *j-n mit den Finger drohen, mit der Strafe bedrohen*; fr. *ménacer quelqu'un avec le doigt, menacer quelqu'un de punitions.* W językach słowiańskich struktura jest syntetyczna, w językach niemieckim i francuskim analityczna (wyrażona za pomocą konstrukcji przyimkowej). Można powiedzieć, że struktura składniowa wiąże się ściśle z treścią danego zwrotu i jest specyficzna dla każdego języka. Wspólnota językowa jakiejś grupy języków polega w dużej mierze na wspólnych analogiznych strukturach składniowych i frazeologicznych. Im języki bliżej spokrewnione, tym te struktury bliższe, jak np. w językach czeskim i polskim, a następnie w językach słowiańskich, i im pokrewieństwo językowe dalsze, tym więcej różnic idiomatycznych w strukturze.

Do idiomatyzmów frazeologicznych zaliczam wszelkie struktury frazeologiczne tzn. wyrażenia i zwroty właściwe danemu językowi. Przedmiotem moich rozważań będą przede wszystkim swoiste związki frazeologiczne. Geneza idiomatyzmów wiąże się z jednej strony ze strukturą gramatyczną danego języka, z drugiej zaś strony ze specyficznymi warunkami wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju języka.

Związki frazeologiczne, które nazywam naturalnymi, są często wspólne wielu językom, powstają niezależnie od siebie, gdyż mają wspólną podstawę w zjawiskach natury, w obserwacji przyrody przez człowieka, jej zjawisk i życia, we wspólnych cechach fizycznych i psychicznych człowieka, we wspólnych warunkach rozwoju. Związki frazeologiczne, które nazywam konwencjonalnymi związane są ze specyficznymi warunkami rozwoju danego narodu: z zajęciami, z warunkami byti, z obyczajami, z rojęciami religijnymi i kulturalnymi, słowem z rozwojem kultury materialnej i duchowej człowieka. Zarówno w jednej jak i w drugiej grupie spotykamy w różnych językach wyrażenia i zwroty o wspólnej treści, różniące się structurą. Weźmy kilka przykładów: pol. *wilczy dół* ma odpowiedniki w cz. *vlci jama*, ros. *волчья яма*, niem. *Wolfsgrube*, fr. *saut*

de loup; pol. *wilczy apetyt, głód* ma odpowiedniki w cz. *mam hlad jako vlk*, ros. *волчий аппетит*, niem. *Wolfshunger*, fr. *faim de loup*; pol. *wilcze prawo* ma odpowiedniki w ros. *волчий закон*, niem. *Faustrecht*, fr. *le droit du plus fort*; pol. *wilczy bilet* ma odpowiedniki tylko w ros. *волчий билет* (волчий паспорт). Wspólne wyrażenia: *wilczy dół, wilczy apetyt*, występujące w różnych językach, tłumaczą się naturalnymi warunkami, wspólnymi dla tych obszarów, gdzie wilk jest pospolitym zwierzęciem, z którym człowiek miał od wieków do czynienia, na którego polował i którego cechy charakterystyczne rzucały mu się w oczy. *Wilczy bilet* to dorewolucyjny idiomatyzm rosyjski przeszczepiony na grunt polski w ciągu wieku XIX.

W wyrażeniach i zwrotach powitalnych i pożegnalnych w większości języków wyróżnia się zasadniczo trzy pory dnia: dzień, wieczór i noc. W niektórych językach, np. germańskich oprócz dnia występuje poranek. Inne pory dnia występują również, ale w gwarach, np. pol. *dobre południe*. Powszechnym określeniem występującym w tego rodzaju wyrażeniach jest przymiotnik *dobry*. Jedynie w rosyjskim odpowiedniku polskiego wyrażenia *dobrej nocy* mamy określenie *спокойной*, co w intencji znaczy mniej więcej to samo. W większości tego rodzaju wyrażeń występują różnice formy, np. pol. *do widzenia* odpowiadają cz. *na shledanou*, ros. *до свидания*, niem. *auf Wiedersehen*, ang. *good-bye*, fr. *au revoir*. Występują również różnice treści: polskiemu *żegnam, żegnaj* odpowiada ros. *прощай* cz. *sbohem* a. *bud' zdrav'*, niem. *lebe wohl*, fr. *adieu*, ang. *good-bye, farewell*.

Treść pierwotna wszystkich przytoczonych zwrotów jest różna. Na skutek częstego użycia zwrotów zatarła się już do tego stopnia, że stały się one zleksykalizowanymi formułami używanymi przy rozstaniu. Treść ich czasem odżywa w tym sensie, iż ma pewien wpływ na dobór formuły pożegnalnej, zależy od intencji wypowiadającego, od sytuacji i stylu wypowiedzi. W stosunku do osoby, której nie chcielibyśmy zbyt często spotykać albo w ogóle nie będziemy więcej widzieć, użyjemy raczej formy *żegnam* niż *do widzenia*. Forma *z Bogiem*, której odpowiadają cz. *sbohem* i fr. *adieu*, jest używana tylko w gwarach i to w sytuacji takiej, że mówi nie odchodzący, lecz odpowiadający na pożegnanie. Formuła francuska *adieu* może być użyta przez obie strony: osobę odchodzącą i pozostającą.

Równie, jeśli nie więcej jeszcze, zróżnicowane formalnie i treściowo są zwroty tzw. grzecznościowe: pol. *dziękuje, dzięki (ci)!*, ale *dziękuję pani (panu), proszę pozwól, pozwolisz, pozwoli pan (pani), że...; przepraszam, wybacz, wybaczy pan (pani), że ...; za pozwoleniem! przykro mi, że...* itp.; cz. *děkuji (ti), prosim*,

s *dovolenim! promiňte!* ros. *благодарю* (тебя), *прошу, пожалуйста! позвольте! извините! простите! виноват, прошу прощения, я очень сожалею*; niem. *danke! Besten, vielen, schönen Dank! bitte* (sehr, schön)! *wenn ich bitten darf, erlauben Sie, gestatten Sie, Seien Sie so frei, Verzeihung, ich bitte um Verzeihung, entschuldigen Sie!* fr. *merci! s'il vous plait, permettez-vous, que..., pardon! je vous demande pardon!* ang. *thank you! if you please pardon, I beg your pardon, I am sorry* itp. Treść tych formuł zależna jest od sytuacji, w jakich się ich używa i od stopnia uprzejmości wypowiadających, ich wyrobienia towarzyskiego. W każdym języku są tu zwyczaje i formuły różne. Zapraszając gościa do wejścia do pokoju mówimy: *niech pan (pani) pozwoli* a. *może pan (pani) pozwoli (do pokoju)*. W języku niemieckim analogiczna formuła brzmi nieco inaczej: *treten Sie gefälligst ein!* a. *bemühen Sie sich herein!* Formuła polska odwołuje się do życzenia (woli) gościa, formuła niemiecka zachęca go, aby wszedł bądź też «pofatygował się» do wejścia.

I

Do związków frazeologicznych n a t u r a l n y c h należą wyrażenia i zwroty oparte na analogii do nazw części ciała ludzkiego, zewnętrznych i wewnętrznych organów człowieka, jego czynności i uczuć. Szczególnie bogata jest frazeologia związana z takimi częściami ciała jak: głowa, twarz, czoło, szyja, nos, oko, usta, ręka, noga, stopa, palec, kolano, kark, plecy, włosy, język, serce, żołądek, wątroba itp. Ogromna większość wyrażeń i zwrotów odnoszących się do tych części i organów ciała należy do starszych warstw języka i jest wytworem rodzimym. Zwroty te są już znane w staropolszczyźnie i stosowane powszechnie w języku potocznym i w literaturze. Używają ich tacy pisarze jak Rej, Kochanowski, Górnicki, Potocki i inni. Nieliczne tylko pochodzą z obcych źródeł, np. z Biblii, skąd przedostały się do języka, dzięki licznym jej przekładom na język polski już od XV wieku. Przykładowo rozpatrzmy to na frazeologii niektórych wyrazów.

GŁOWA

Głowa jako jedna z głównych części ciała uważana jest za siedlisko rozumu, władz duchowych, stąd nazwę głowy przenosimy na całego człowieka, na jednostkę ludzką. Kiedy mówimy: *co głowa to rozum* albo *podatek od głowy*, to mamy na myśli jednostkę ludzką, człowieka. Ten sam odcień znaczeniowy mamy w staropolskim przysłowiu: *mądrej głowie dość dwie słowie*. W tym znaczeniu używamy również przenośni *głowa rodziny, głowa państwa, głowa kościoła*. *Z głową* w tum znaczeniu łączymy liczne epitety: *głowa*

tęga, mocna, bystra, słaba, zakuta, pusta, ciasna, kapuściana; głowa do pozłoty, do kapelusza. Tak określamy człowieka rozumnego, tępego lub głupiego. Głowa jako siedlisko władz umysłowych i duchowych stała się podstawą licznych wyrażeń i zwrotów: *człowiek z głową* to «człowiek rozumny, zdolny»; *człowiek z przewróconą głową* to «człowiek narwany»; *mieć przewrócone w głowie* to «być zarozumiałym»; *mieć spokojną głowę* «nie troszczyć się o nic»; *spokojna głowa!* to żargonowe warszawskie «nie ma obawy!»; pot. *pójść po rozum do głowy* to «zacząć nad czym myśleć». *Głowa* jako część ciała stała się w natyralny sposób podstawą licznych zwrotów przenośnych. Przenośnie te wiążą się z gestami wykonywanymi głową, mającymi określone znaczenie. Znaczenie tych gestów jest tak jasne i powszechne, że przenośnie tego rodzaju powstały spontanicznie w wielu językach. Do najpospolitszych należą: pol. *wziąć się, chwycić się za głowę.* Gest ten może wyrażać różne stany i uczucia człowieka: podziw, zdziwienie, rozpacz, niezadowolenie itp. Stąd też gesty te towarzyszące różnym takim sytuacjom stały się podstawą wyodrębnionych i utrwalonych zwrotów, mających określone w danej sytuacji znaczenie, np. «Odbierając bieliznę z prania, aż się za głowę wzięła, widząc te pośpieszne, nieudolne próby (cerowania) na cienkim batyście». (Urbanowska. Księż. 200). Gest ten w tym kontekście oznacza zmartwienie, a zarazem i oburzenie. Podobnie jest w innych językach: cz. *chytati se za hlavu*; ros. *хвататься за голову*; niem. *sich an den Kopf greifen.*

Głową skinąć może oznaczać: a) «*przytaknąć*» albo b) «ukłonić się»; *głową potrząsnąć* to «zaprzeczyć czemu»; *głową kręcić na co* to «wyrażać powątpiewanie lub niechęć»; *głową nad kim kiwać* to «litować się»; *opuścić, spuścić* a. *zwiesić głowę* to gest oznaczający upadek ducha, smutek lub wstyd, stąd w różnych językach zwroty tego rodzaju mają różne odcienie znaczeniowe: cz. *schylit, skloniti hlavu; věšet hlavu* «być smutnym»; ros. *повесить, опустить, понурить голову, поникнуть головой*; niem. *den Kopf hängen (sinken) lassen*; ang. *to hang (hang down) one's head*; fr. *baisser la tête* «wstydzić się». *Podnieść głowę* to «otrząsnąć się z czego, zbuntować się»; *nosić głowę wysoko* to «być pełnym godności, dumnym»; *uchylać głowy przed czym* to «okazywać szacunek».

Ogromna liczba zwrotów opiera się na gestach i ruchach dotyczących głowy: *głową bić o ścianę* to «rozpaczać». Ten sam gest ma nieco inny sens uwydatniony w przysłowiu: *głową muru nie przebijesz. Na głowie stawać* w odniesieniu zwykle do dzieci to «wyprawiać brewerie», w innej sytuacji może mieć inny odcień znaczeniowy: «chcieć koniecznie coś osiągnąć, starać się ze wszystkich sił o co»; *zmyć komu głowę* to «zganić, wyłajać go». Nie sposób przytoczyć tu wszystkich wyrażeń i zwrotów, których jest setki. Pod-

kreślić trzeba, że ogromna większość — to przenośnie powstałe spontanicznie i równolegle w różnych językach. Jednakże w każdym języku jest pewna liczba takich wyrażeń i zwrotów, które nie występują w innych językach. Przykładowo wymienić by można: pol. *podrwić głową* «lekkomyślnie narazić się na śmierć», *pójść, sięgnąć, skoczyć po rozum do głowy* «zacząć nad czym myśleć, zastanowić się», *zabić komu ćwieka w głowę* «dać do myślenia», *w głowę zachodzić* «gubić się w domysłach, starać się sobie coś przypomnieć», *głowę komu suszyć* a) «ustawicznie nalegać na kogo o co», b) «czynić wyrzuty komu», pot. *zawracanie głowy!* «nieprawda, bzdura!», *spokojna głowa!* «nie ma obawy!»; cz. *míti roupy v hlavě* «być rozpustnym, gzić się», *dát hlavy do hromady* «radzić się», *postaviti si hlavu* «obstawać przy swoim», *přerust rodičum přes hlavu* «nie słuchać rodziców»; ros. *о двух головах* «o człowieku śmiałym, ryzykancie», *сломя голову* «na łeb na szyję, na złamanie karku», *жить (одной) голозою* «żyć samotnie, nie zakładać rodziny», *пропадать за глупою головою* «za głupim mężem», przysł. *хорош город домами, да плох головами;* fr. *crier à tue-tête* «krzyczeć ze wszystkich sił», *en tête à tête* «sam na sam», *tête baissée* «bez namysłu, na oślep», *ne savoir où donner de la tête* «nie wiedzieć od czego zacząć»; niem. *der Kopf steht ihm nicht recht* «jest nieswój, czuje się nieswojo», *einen roten Kopf bekommen* «zaczerwienić się», *mit dickem (einem dicken) Kopf dasitzen* «być zmartwionym; głowa pęka komu (ze zmartwienia, od kłopotów)».

Bardziej idiomatyczny charakter mają w języku polskim zwroty j wyrażenia, związane z *łbem*, który ma znaczenia: a) głowy zwierzęcia, np. *łeb konia, świni, psa, ryby;* b) rubaszne: głowy ludzkiej, np. *mocny, tęgi, duży łeb; zakuty, pusty łeb.* W tym odcieniu znaczeniowym ogromna większość to wyrażenia i zwroty idiomatyczne: *kudłaty łeb* «pogardliwie o człowieku: rozczochrana głowa», *łeb jak karmelicka bania* «wielki», *ciąć przez łeb (szablą), oberwać po łbie, mieć we łbie* «być pijanym», *kurzy mu się ze łba* «jest pijany», *patrzeć spode łba* «złowrogo, ponuro, nieufnie» (zwrot wzięty z obserwacji zwierząt (psów), *wziąć w łeb* «otrzymać cios w głowę»: «Nie wiem, jak tam skończyli zwadę naszą wielką, ale to wiem i czuję, żem wziął w łeb butelką». (Krasicki. Pijaństwo. Satyry, 41); przen. «przepaść, zginąć, nie udać się»: *sprawa w łeb wzięła; wziąć za łeb kogo* «wziąć nad kim górę; zawojować, opanować go»: „Przed ślubem układna, ale po ślubie weźmie go za łeb". (Sł. Warsz.); *na łbie stawać* por. *stawać na głowie; w łeb się skrobać* a. *łbem kręcić* «kłopotać się»; *skręcić, ukręcić czemu łeb* «zatrzeć co, udaremnić wyświetlenie sprawy»; *brać się, wziąć się, wodzić się, chodzić za łby* «ciągnąć się za włosy, bić się»; *na zbity łeb* «na złamanie karku»: *wyrzucić kogo, zrzucić kogo ze schodów na*

zbity łeb; *idź na zbity łeb!* (= idź do diabła!); *na łeb na szyję* a) «zupełnie, z kretesem»: «Zbito Prusaków na łeb i szyję». (Mickiewicz); b) «co tchu, na gwałt»: „Na łeb na szyję śpieszyć się trzeba" (Linde); „Panicz się do Paryża na łeb na szyję wybierał" (Ossoliński cyt. Linde). Temu odcieniowi znaczeniowemu odpowiadają cz. *na hlavu* i ros. *сломя голову; łeb w łeb* (pędzić) «zwykle o koniach: równo, w jednej linii»; *łba nadstawiać za kogoś, za coś* «narażać się»; *w łeb sobie, komu palnąć, wypalić* «zastrzelić się (kogoś)». Wszystkie te wyrażenia i zwroty mają charakter potoczny i odcień uczuciowy rubaszny. W literaturze stosowane są w celach ekspresywnych. Podobny charakter mają również następujące przysłowia: *kiedy panowie za łeb chodzą, tedy u poddanych włosy trzeszczą* (Rysiński. Adagia), por. *czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą* (Knapiusz. Adagia); *kto w łeb nie bierał, temu się chce na wojnę* (Knapiusz. Adagia); *poprawił się z pieca na łeb* «z lepszego stał się gorszym»; *ma kiełbie we łbie* «jest postrzelony, ma pstro w głowie».

RĘKA

Rozwój frazeologiczny wyrazu *ręka* przebiega nieco odmiennie niż wyrazu *głowa*. Frazeologia tego wyrazu rozwija się w większości języków według głównych znaczeń tego wyrazu:

I. *Ręka* jako narzędzie orientacji jest podstawą wyrażeń i zwrotów: *po prawej, po lewej ręce* «po prawej, po lewej stronie»; *trzymać się prawej, lewej ręki* «trzymać się prawej, lewej strony, kierować się stale w prawo, w lewo»; ros. *по правую, по левую руку; на правой, на левой руке*; niem. *zur rechten, linken Hand*;

II. *Ręka* jako organ wyrażający gestem intencje, zamiary, uczucia *człowieka*, niekiedy osobę działająca stała się podstawą licznych wyrażeń i zwrotów z początku dosłownych, a następnie przenośnych o różnych odcieniach znaczeniowych. Gest podania ręki wyrażał zgodę, przyzwolenie, przyrzeczenie czego, stąd takie zwroty jak: *dać na co rękę* «przyrzec co»: "Kiedy kto obiecuje ustnie, ma to potwierdzić podaniem ręki, i zowią taką obietnicę ręką i usty uczynioną". (Tytuły prawa magdeburskiego, cyt. Sł. Warsz.); *oddać komu rękę* «o kobiecie: wyjść za mąż»; *podać komu rękę* a) «przywitać się z kim», b) «udzielić pomocy, pomóc komu w czym»; *wyciągnąć rękę do kogo* a) «przywitać się», b) «wyrazić chęć zgody», c) «ofiarować pomoc». Gesty rąk wyrażające różne stany i uczucia człowieka stały się podstawą takich np. zwrotów: *ściskać komu rękę* «wyrażać uznanie»; *ręce zacierać* (z radości); *klasnąć, plasnąć w ręce* (z uciechy, ze zgrozy); *ręce załamywać* (z rozpaczy); *rozkładać, rozłożyć ręce* «wyrażać bezradność, nie móc pomóc»;

ręką machnąć na co «zrezygnować z czego»; *ręce opuścić* (ze znużenia lub zwątpienia) «stracić energię pod wpływem zwątpienia, zrezygnować z czego»; *ręce komu opadają* «jest zniechęcony, zrezygnowany». Gesty wyrażające zamiary, działanie, intencje człowieka przeniesione potem na czynności będące nazwami tychże zamiarów, intencji lub działania: *rękę podnieść na kogo, na co* to «targnąć się na kogo, na co, napaść na co»; *prowadzić kogo za rękę* «kierować kim»; *siedzieć, czekać z założonymi rękami* «nic nie robić, siedzieć, czekać bezczynnie» *wyciągać rękę* «żebrać»; *podnieść ręce do góry* «poddać się»; *ręce komuś zawiązać, rozwiązać* «odjąć, przywrócić komu sbobodę działania»; *z rąk co wypuścić* (interes, inicjatywę) «pozwolić się ubiec w czym»; *za rękę złapać kogo* «złapać na kradzieży, na gorącym uczynku»; *ręka mu nie zadrży* «nie zawaha się»; *z ręką na sercu* «szczerze»; *przyjąć kogo z otwartymi rękami, ramionami* «z radością, serdecznie»; *iść z kim ręka w rękę* «wspierać się wzajemnie, współdziałać z kim»; (przyjąć, zapłacić itp.) *z pocałowaniem ręki* «z wdzięcznością, skwapliwie».

III. *Ręka* jako narzędzie pracy i działania dała początek następującym zwrotom: *mieć pełne ręce roboty* «bardzo dużo»; *mieć złote ręce* «umieć wszystko zrobić, być mistrzem w jakim rzemiośle, sztuce»; *ręce sobie urobić (po łokcie)* «ciężko się napracować»; *czeka to, przyjdzie to na moje ręce* «będę musiał to zrobić, tym się zająć»; *coś komu leci z rąk* «coś się komu nie udaje»; *pracować ręką i głową* «fizycznie i umysłowo»; *rękę do czego przyłożyć* «przyczynić się do czego»; *robota pali mu się w ręku* «szybko pracuje»; *wchodzić, leźć komu pod rękę* «przeszkadzać w pracy»; *widać w tym jego rękę* «jego udział, jego robotę, jego działanie»; *grać na dwie, na cztery ręce* «we dwie, w cztery osoby»; *wrócić, odejść z pustymi rękami* «nic nie uzyskać»; *nie szczędzić rąk* «nie szczędzić wysiłków»; *mieć wolną rękę* «mieć swobodę działania»; *dać, pozostawić komu wolną rękę* «dać komu swobodę działania»; *iść komu na rękę* «pomagać, ułatwić co komu»; *coś jest komu na rękę, nie na rękę* «coś dogadza, nie dogadza komu»; *być, czuć się bez kogo, czego jak bez ręki* «odczuwać dotkliwie brak kogo, czego, nie móc sobie dobrze radzić bez czego»; *rękami i nogami* (trzymać się czego, bronić się przed czym) «ze wszystkich sił»; *paść, zginąć z (od) czyjej ręki* «zostać przez kogo zamordowanym»; *wyjść z czego obronną ręką* «wyjść cało».

IV. *Ręka* jako symbol pomocy, opieki, również mocy i władzy jest podstawą równie licznych zwrotów. Ten odcień znaczeniowy wiąże się z jednej strony z naturalnymi gestami, z drugiej z działaniem człowieka: *dać komu, co na rękę* «dać zadatek»; *być, robić co pod ręką czyją* może znaczyć: a) «być tuż w pobliżu kogoś» albo b) «być (robić co) pod opieką lub kierownictwem czyim»,

np. *kształcić się pod ręką mistrzów; brać, ująć co w swoje ręce* «wykonywać co osobiście, brać co w swój zarząd»; *rękę swoją na czym położyć* «zająć co dla siebie, nie pozwolić ruszyć»; *rękę cofnąć, odjąć* «odjąć pomoc»; *oddać się w ręce czyje* «poddać się władzy czyjej»; *dostać się, wpaść w czyje ręce* «w moc czyją»; *mieć kogo w ręku* «mieć we władzy, w posiadaniu, móc mu narzucić swoją wolę»; *być w ręku kogoś* «w czyjej mocy»; *to jest w twoich rękach* «to od ciebie zależy»; *mieć lekką rękę* «być pobłażliwym, wyrozumiałym»; *mieć za krótkie ręce* «nie móc nic zrobić komu»; *człowiek silnej ręki* «energiczny».

Te zasadnicze odcienie znaczeniowe wyrazu *ręka* i z nimi związana frazeologia znane są w wielu językach i powstały spontanicznie. Do idiomatyzmów języka polskiego zaliczymy tylko te, które mają odrębną strukturę składniową lub frazeologiczną, np. pol. *od ręki* mające kilka odcieni znaczeniowych: a) «lekko, byle jak, niedbale»: „Perfunctorie, prędko a nierządnie co czynić, od ręki puszczać". (Sł. Mączyńskiego z XVI w.); b) «przygodnie, trafem, przypadkowo, nieumyślnie, niechcący»: „Kto psa umyślnie a nie od ręki zabił, powinien go zapłacić; wszakże, jeśliby zabił od ręki, kijem siebie broniąc, nie pociskiem ani strzelbą, za psa nic nie płaci". (Statut litewski z r. 1693. cyt. Sł. Warsz.); c) «na poczekaniu, nie odkładając, bezzwłocznie, natychmiast»: "Nie zostawiaj na potym, zrób to od ręki". (Sł. Warsz.); „Trzeba było od ręki załatwić". (Dąbrowska, cyt. Sł. poprawnej polszczyzny Szobera). Jedynie w języku rosyjskim jest odpowiednik tego wyrażenia, mający inną strukturę: *на скорую руку*. W innych językach odpowiedników nie ma — zastępowane są innymi wyrażeniami: cz. *ihned*; fr. *surlechamp;* niem. *sofort, auf der Stelle*. Takiż idiomatyczny charakter mają zwroty: *stygnącą ręką co zrobić* a. *ciepłą ręką coś dać,darować* mające znaczenie «zrobić co jeszcze przed śmiercią; dać za życia». Zwroty te są dowodem różnych warunków i różnych sytuacji, w jakich powstają idiomatyzmy. W każdym języku nawet tak naturalne sytuacje mogą być inaczej językowo ujmowane.

MORZE

Z przeglądu wyrażeń i zwrotów dotyczących *morza* wynika, że w naturalny sposób powstają wyrażenia i zwroty opisujące wygląd morza lub zjawiska z morzem związane, stąd wyrażenia: *burzliwe morze, pełne, otwarte morze; szum morza, przypływ i odpływ morza, cisza na morzu*. Tego rodzaju wyrażenia występują niezależnie od siebie w różnych językach wśród ludów, które stykają się z morzem, ludów nadmorskich. Oczywiście, formy takich wyrażeń mogą być różne, zależne od struktury języka (por. pol. *cisza na morzu* i niem.

Meeresstille; pol. *pełne, otwarte morze* i fr. *la haute (la pleine) mer* lub *le large; pol. na lądzie i na morzu i cz. na suchu i na moři*). Równolegle w różnych językach występują również przenośne użycia wyrazu *morze* w znaczeniu «wielkiej ilości, obfitości czego», np. pol. *morze łez, krwi, piasków* itd. ros. *море слез, вина, слов* cz. *moře hlav, květin, barv*; niem. *Sandmeer*; fr. *une mer de sable* itp. *albo kropla w morzu* w znaczeniu «małej ilości czego, wysiłku bez znaczenia»; ros. *капля в море*; fr. *une goutte d'eau dans la mer*.

Oprócz tego rodzaju wyrażeń i zwrotów występują idiomatyzmy semantyczne, spotykane w pewnych znaczeniach tylko w pewnych językach, np. pol. *za morzem* «daleko»: "Młody mówi: dopiero mi lat 20; jeczcze mi śmierć za morzem". (Skarga Kaz. 512, Linde); odpowiednikiem tego wyrażenia jest inne równie naturalne wyrażenie: *za górami, za lasami*; cz. *za mořem* «w Ameryce». Idiomatyczny charakter mają również przysłowia i zwroty przysłowiowe: pol *kto zna morze, wie co gorze* (Rysiński Adagia) «rozumie niebezpieczeństwo» ros. *ему море по колено* «nic sobie z tego nie robi»; fr. *la mer à boire* «trzeba by morze wypić, aby to wykonać».

OCEAN

Ocean jako wyraz w słownictwie polskim i słowiańskim obcy, odpowiadający rzeczy, z którą Słowianie bezpośrednio się nie stykali, nie tworzy pospolitych, utartych zwrotów. Spotyka się go w znaczeniu przenośnym raczej w języku książkowym, poetyckim, np. w sonetach Mickiewicza:

«Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi»...
(Sonety krymskie)

Niekiedy występuje w hiperbolicznych wyrażeniach, oznaczających «masę, mnóstwo, wielką, niezgłębioną ilość czego»: „Przez lat oceany" (Mickiewicz); „Uważaliśmy go za ocean mądrości" (Sienkiewicz); „Oceany życia" (Tetmajer). Podobnie w innych językach słowiańskich, np. cz. *oceán barev*, ros. *океан страстей*.

Zjawiska atmosferyczne zawsze silnie oddziaływały na człowieka, stąd liczne wyrażenia i zwroty z tym związane. Przykładowo pokażemy to na wyrazie *chmura*.

CHMURA

Do naturalnych wyrażeń i zwrotów należą takie np. jak: *chmura czarna, groźna, deszczowa, gradowa; chmury zbierają się, kłębią się, zasłaniają słońce, szybują po niebie; chmura oberwała się; niebo*

pokrywa się chmurami, przeciera się z chmur; wiatr rozpędza chmury; przen. *chmura szarańczy.* Wyobrażenie chmury, która zasłania słońce i błękit nieba, przeniesiono do sfery usposobień ludzkich. Mówimy, że *chmura przemknęła po czyjej twarzy, osiadła na czyim czole, zamroczyła czyje czoło, że ktoś się zachmurzył albo spochmurniał.* Mówimy także o *pogodnym obliczu, spojrzeniu* itp. Tu należą ros. *смотреть тучей;* cz. *chodil jako mráka;* niem. *eine bewölkte Stirn.* Do idiomatycznych zwrotów należą: *zajść chmurą* «zasępić się», *chmura zawisła nad kimś* «komuś grozi niebezpieczeństwo» i dawniejsze *chmury w głowie u niego,* co Linde objaśnia: «głupi, ciemno we łbie». Należą tu również przysłowia: *z wielkiej chmury mały deszcz* «z wielkiej awantury mały skutek» i *z małej chmury wielki deszcz* «drobna rzecz może wywołać niezwykłe skutki». Idiomatyczny charakter mają *np. ros. не из тучи гром* (o czymś nagłym, niespodziewanym, niespodzianie pojawiającym się i znikającym) a. *туча тучей* (o wielkiej ilości czego lub o czymś mrocznym, ponurym) lub niem. *aus den Wolken fallen* «spaść z nieba». Nowszy charakter ma idiomatyzm berliński: *das ist eine Wolke* «(to jest) zdumiewające» [1].

Świat zwierzęcy stał się podstawą licznych wyrażeń i zwrotów porównawczych, przenośnych i idiomatycznych. Najliczniej reprezentowane są zwroty wzięte z obserwacji zwierząt domowych, choć i ze wzyczajów zwierząt dzikich, zwłaszcza pospolicie występujących w Polsce, niemało weszło do języka różnych przeważnie przenośnych wyrażeń i zwrotów.

KOŃ

Najpospolitszym i najchętniej hodowanym zwierzęciem domowym jest *koń.* On też stał się podstawą licznych wyrażeń i zwrotów związanych nie tylko z jego wyglądem, ale z jego zastosowaniem, np. z konną jazdą, bardzo w Polsce lubianą i uprawianą. O zamiłowaniu do koni świadczą liczne nazwy jego rasy i maści: *koń arabski, angielski, turecki, fryzyjski* itp; *koń pociągowy, wierzchowy* a. *pod wierzch,* b) *wyścigowy, stepowy; koń biały, siwy, jabłkowity, cisawy, bułany, gniady, jasnogniady, kasztanowaty, muszaty, kary, wrony itp.*[2] Koniem bywa nazywany a) «człowiek silny, wytrzymały, zdrowy»: zdrów jak koń, wielki jak koń, pracuje jak koń; b) «człowiek leniwy, drągal, któremu robić się nie chce»:

---

[1] «Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund». Leipzig, 1955.

[2] Por. W. Kuraszkiewicz. Nazwy maści końskich dziś i w r. 1539. Język Polski, XXIX (1949), s. 145 nst. i «Jeszcze o stp. wyrażeniach z *siwa gniady* i *swiatło gniady*». Tamże, s. 227 nst.

„Oj ty koniu, robić ci się nie chce". (Sł. Warsz.). Do idiomatyzmów należą zwroty: *pędzić co koń wyskoczy* «prędko». Odpowiadają mu cz. *přijit jako na koni* i *jsem tu jako na koni*. O śmiesznej propozycji mówi się potocznie: *koń by się z tego uśmiał!* Niemcy odwołują się w takim wypadku do krowy: *da müsste ja eine Kuh lachen!* O kimś bardzo uradowanym mówimy: *jakby go na sto koni wsadził*, osła zaś w znaczeniu dosłownym i przenośnym nazywamy żartobliwie *koniem Pana Jezusa*. Na obserwacji człowieka i konia oparte są przysłowia: *na koniu jedzie, a konia szuka* (o człowieku roztargnionym); *znają się jak łyse konie* (= bardzo dobrze); *łaską pańska na pstrym koniu jeździ* (jest zmienna). Idiomatyczny charakter mają zwroty: *wsiadł na niego, jak na ślepą kobyłę; słowo się rzekło kobyła u płotu; (dam a. stawiam) konia z rzędem temu, kto (np. czegoś dokona a. coś odgadnie)*. Punktem wyjścia dwóch ostatnich zwrotów były zakłady, podczas których stawiano konia (z bogatą uprzężą) — zwyczaj charakterystyczny dla Polski szlacheckiej XVI—XVII wieku. Zwroty: *siąść na swego konika, jeździć na swym koniku, każdy ma swego konika, to jego ulubiony konik* oznaczają «czyjś ulubiony temat bądź przedmiot zainteresowania». Punktem wyjścia jest tu zabawka dziecięca — drewniany konik — ulubione zajęcie dziecka. Stała się ona symbolem ulubionego zajęcia, sportu, zwyczaju, zainteresowania dorosłego człowieka. W innych językach frazeologia jest nie mniej bogata, zwroty i wyrażenia idiomatyczne częste, np. ros. *не в коня корм* (кому) (o kimś, kto nie jest w stanie coś zrobić, pojąć); niem. *sich aufs hohe Pferd setzen* «pysznić się», *das Pferd beim Schwanze aufzäumen* «robić co na opak», *Pferdearbeit und Spatzenfutter* «wiele pracy, a mało jedzenia»; fr. *être à cheval sur (les règles, les principes)* «dobrze co znać, nie pozwolić na odchylenia od czego». Związek z *koniem mają* następujące wyrażenia i zwroty: *kuty na wszystkie cztery nogi* mówi się o człowieku sprytnym, który umie sobie radzić w każdej sytuacji. Przenośnia ta pochodzi stąd, że konia na wsiach kują zwykle na dwie przednie nogi, na cztery zaś tylko w niezwykłych warunkach (gołoledź, śliska droga) [3]. Z jazdą konną łączą się przenośnie: *wziąć na* kieł «zbuntować się» i *utrafić w sedno* (sprawy) «ująć co istotnie, zgodnie z istotą rzeczy». Pierwsza przenośnia oparta jest na zachowaniu konia narowistego, który gryzie kiełzno (bierze je na kieł), druga nawiązuje do *sedna* czyli rany pochodzącej z otarcia skóry pod siodłem. Z jazdą wozem łączą się idiomatyczne zwroty: *jechać rzemiennym dyszlem* i *życie na dyszlu prowadzić*. Pierwszy zwrot jest ironiczną aluzją do dyszla z rzemienia, który nie pozwala utrzy-

[3] Por. A. Krasnowolski. Przenośnie mowy potocznej. Warszawa, 1905, cz. I, s. 93.

mać konia i wozu w prostej linii i powoduje odchylenia w prawo i w lewo. Przenośnie zwrot ten znaczy tyle, co «jechać zbaczając z drogi, nie jechać prosto do celu, zatrzymując się po drodze (u znajomych, w zajazdach itp.)». Drugi zwrot ma znaczenie nieco inne: «być w ustawicznych rozjazdach, w ustawicznej włóczędze».

Frazeologia oparta na nazwach zwierząt domowych jest jak to widać na przykładzie *konia* dość bogata. Zanim przejdziemy do omówienia frazeologii związanej z nazwami zwierząt dzikich warto przyjrzeć się jeszcze frazeologii opartej na nazwach niektórych zwierząt domowych.

PIES

Spotykamy tu wszystkie rodzaje związków frazeologicznych. Szczególnie liczne są wyrażenia i zwroty porównawcze: *zły jak pies, wierny jak pies, głodny jak pies* (por. ros. *голодный, как собака); gryzą się, jak dwa psy a. żyją jak pies z kotem* «żyją niezgodnie»; *jest jak pies na uwięzi* «nie ma swobody»; *zbić jak psa* «mocno» (por. ros. *избить, как собаку*); *wypędzić kogo (z domu) jak psa; palnąć komu w łeb jak psu «bez litości»; dbać o co, jak pies o piątą nogę; czepiać się kogo, jak rzep psiego ogona; kochać kogo, jak psy dziada w ciasnej ulicy.* Wyrażenia i zwroty przenośne są nie mniej liczne: *pod psem* to «niżej wszelkiej krytyki», np. *wyżywienie pod psem.* Dawniejsze wyrażenie *za psa* «za nic»: "Dziś za psa sumienie, sława, wiara i cnota". (Potocki cyt. Sł. Warsz.). — utrzymało się jeszcze w zwrocie: *nie mieć kogo za psa* «gardzić nim». W powszechnym użyciu są zwroty występujące w języku potocznym: *to się psu na budę nie zdało (nie zda)* «to wszystko na nic, na nic się nie zdało»; *to psa niewarte* a. *psa warte* «nic niewarte», np. *ta robota psa warta; dobra psu i mucha; nie dla psa kiełbasa, (nie dla kota sadło (szperka); ni pies ni wydra, coś na kształt świdra* «ni to, ni owo»; *zdechł pies!* «wszystko przepadło!»; *pies z kulawą nogą (nie przyszedł)* «nikt (nie przyszedł)».

Pies dał również podstawę licznym przysłowiom; *strzeż się psa, co milczkiem kąsa* (o obłudniku); *nie ciągnij psa za ogon, bo ukąsi* «nie prowokuj niebezpieczeństwo»; *kto chce psa uderzyć, kij znajdzie* «nie trudno o pozór»; *psy wyją, a miesiąc świeci* «trzeba być wyższym nad obmowy ludzkie» (por. *psie głosy nie idą pod niebiosy); pies szczeka, wiatr niesie* «nie należy zwracać uwagi na plotki, na obmowę». Bardziej zdozumiałą wersję ma to przysłowie u Reja: „Pies szczeka, a wiatr niesie, rozleci się to po lesie". Inny odcień znaczeniowy ma przysłowie poruszające ten sam temat: *wolno psu i na Pana Boga szczekać* «nikt nie uniknie obmowy». Do człowieka nieużytego stosuje się przysłowie: *pies kości nie ogryzie i drugiemu nie da. Przyjdzie na psa mróz* «przyjdzie na każ-

dego bieda». *Nie jednemu psu Łysek* mówimy, jeżeli ktoś czuje się dotknięty aluzją, a nie o nim była mowa. *Psu i chłopu nigdy nie trzeba wierzyć* mówi żeńska połowa rodzaju ludzkiego nieufnie nastawiona do połowy męskiej. *Idź psie, idź ogonie!* mówimy o leniwych, gdy się wyręczają jeden drugim.

Jak z tego przeglądu widac, obserwacje życia i zachowania się psa znalazły swoje odbicie w języku. Większość z przytoczonych zwrotów i wyrażeń ma charakter rubaszny, pogardliwy, ironiczny, słowem ujemny. Dodatnio zabarwione są nieliczne: *wierny jak pies, posłuszny, czujny jak pies*. Zwrot *czepiać się kogo lub czego jak rzep psiego ogona* jest oparty na obserwacji zarówno rośliny zwanej rzepem, jak i psa. Rzep czepia się nie tylko psa, ale każdego zwierzęcia, które się o krzak rzepu otrze. Najczęściej się to obserwuje na psach, które biegają po polach, czy to swobodnie, czy też używane do polowania — stąd najczęściej psom się to zdarza [4].

WÓŁ

Wół jest symbolem osobnika tępego, ale pracowitego i cierpliwego. Stąd takie zwroty porównawcze: *pracować jak wół (o jarzmie), patrzy jak wół (na malowane wrota)* «ze zdumieniem»; *wół roboczy* «człowiek wyzyskiwany»; *zdatny jak wół do karety* «zupełnie niezdatny». Nieco inny odcień znaczeniowy mają wyrażenia i zwroty: *ryczy jak wół* «głośno», *litery jak woły* «wyraźne i duże». Idiomatyczny charakter mają również przysłowia: *słówko wróblem wyleci, a powraca wołem* «plotka szybko powstaje»; *zapomniał wół, jak cielęciem był* «wiek dojrzały nie ma zrozumienia dla wieku młodego»; *biada temu domowi*, gdzie *krowa dobodzie wołowi* albo *bieda w zagrodzie, gdzie krowa wołu bodzie* «gdzie kobieta przewodzi nad mężczyzną». W innych językach są wyrażenia i zwroty podobne, są i idiomatyczne, np. ros. *работать, как вол; ехать, как на волах* «bardzo powoli»; niem. *etwas ansehen wie die Kuh das neue Tor; er steht wie der Ochse am Berge* (bezradnie); *der versteht von der Sache soviel wie der Ochse vom Sonntag* (nic nie rozumie).

Baran jest przede wszystkim symbolem bezmyślnego uporu. Oznacza również głupca, tępego, nierozgarniętego człowieka. Ten odcień znaczeniowy znany jest powszechnie: *uparty jak baran;* (pędzić, dać się kierować, zachowywać się) *jak stado baranów; związali go jak barana; beczy jak baran* «śpiewa nieładnie». Z tym ostatnim zwrotem związany jest idiomatyczny zwrot: *śpiewać baranim głosem* iron. «płakać». Zwroty: *wziąć kogo* a. *nosić kogo na*

[4] Por. A. Krasnowolski. Op. cit., s. 126.

barana «nosić na plecach» są prawdopodobnie żartobliwą audideacją do zwrotu *wziąć na bary* (na plecy).

Osioł jest symbolem uporu, ale przede wszystkim głupoty. Wielkiego głupca nazywamy *skończonym osłem* lub *osłem dardanelskim*. Powszechnie znane są wyrażenia porównawcze: *krnąbrny, uparty jak osioł; obładowany jak osioł; głupi jak osioł*. Idiomatyczny charakter ma przysłowie: *poślesz li do Paryża osiołka głupiego, jeśli tu był osłem, tam nie będzie koń z niego* (por. *i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu*). Wyrażenie *osioł w lwiej skórze* i zwrot *nie widać ni osła, ni posła* są natomiast wzięte z bajek Ezopa i z Biblii (l. Król. X, XI.)

Cielęciem nazywamy człowieka bez energii, głupca, gapę. Stąd wyrażenia: *głupi jak cielę; między cielętami się wychował* «źle wychowany, nieokrzesany». Cielę dało podstawę licznym przysłowiom o charakterze idiomatycznym: *chodzi za nim jak cielę za krową; w cielęta nie orzą; ruszył konceptem, jak martwe cielę ogonem; wzięli diabli krowę, niech wezmą i cielę; pokorne cielę dwie matki ssie; i w Gdańsku cielęta miodu nie piją; więcej cieląt w jatkach bywa, niż starych wołów* «śmierć nie zważa na wiek»; *kto się w dzień boi cieląt, w nocy woły kradnie; kto wołu pragnie, niech prosi o cielę*.

Frazeologia oparta na zwierzętach dzikich obejmuje te przede wszystkim zwierzęta, które występują w danym kraju. Im pospolitsze to zwierzę tym bogatsza frazeologia. Do najpospolitszych u nas należą *wilk, lis i zając*, historycznie należał również *niedźwiedź*. Jednakże najbogatsza frazeologia związana jest z *wilkiem*. Tłumaczy się tym, że dla człowieka było to zwierzę najgroźniejsze, najwięcej mu szkód wyrządzające.

Wilk jest symbolem drapieżności i żarłoczności, stąd wyrażenia i zwroty: *głodny, żarłoczny jak wilk, nienasycony jak wilk* (por. *wilczy apetyt); patrzeć jak wilk* a. *wilkiem patrzeć* «spode łba, zaczepnie, nieprzyjaźnie»; (*nie) wywoływać wilka z lasu* «(nie) narażać się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo». Idiomatyczny charakter mają przysłowia: *wilk z wilkami żyje* «swój do swego ciągnie»; *miłują się jak wilk z baranem; uchodząc przed wilkiem, trafił na niedźwiedzia* (por. *wpaść z deszczu pod rynnę); i liczone wilk bierze; trudno wilkiem orać* (por. *trudno z wilka uczynić barana); i wilk syty i owca (koza) cała* «o polubownym załatwieniu sprawy»; *nosił wilk ponieśli i wilka*. Odpowiednikiem tego ostatniego przysłowia są inne równie dobrze znane: *dziś na wozie, a jutro pod wozem; póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie; przyszła kryska na Matyska*. Przysłowie *o wilku mowa, a wilk tuż* stosuje się żartobliwie do nadchodzącej osoby, o której była mowa przed chwilą. Źródłem jego jest znana bajka Ezopa o kozach i wilku. Przysłowie

człowiek człowiekowi wilkiem jest dosłownym tłumaczeniem starożytnej maksymy ἄνθρωπος ανθρώπου λυκόν.

Lis jest symbolem chytrości i podstępu. Do bardziej znanych należą wyrażenia i zwroty: *chytry, szczwany jak lis; znać się na farbowanych lisach* «nie pozwolić się oszukać»; *lis drogę mierzył ogonem* «odległość jest większa, niż mówiono» (por. *będzie kilometr z hakiem); Z*wrot rubaszny *kitę odwalić* jest oparty na spostrzeżeniu, że lis po zastrzeleniu wyciąga ogon (odwala kitę).

Zając jest symbolem stworzenia tchórzliwego, stąd wyrażenia *i zwroty: tchórzliwy jak zając; uciekać, umykać jak zając* «szybko i tchórzliwie». Frazeologia, związana z zającem, dotyczy w dużej mierze terminów myśliwskich np. *zaiąc kluszuje a. kluszy, wymyka, kotłuje, kica, staje słupka, daje psom obroty.* Oczy zająca to *trzeszcze,* nogi to *skoki,* a ogon — *omyk.* Idiomatyczny charakter mają zwroty i przysłowia: *mieć zajączki w głowie* a. *zajączki komuś po głowie śmigają* «ma bzika». Zwroty te w obrazowy sposób przedstawiają skoki myślowe człowieka nienormalnego. Zwrot *wyrwał się jak filip z konopi* «o czyimś wystąpieniu nagłym i bez sensu» oparty jest na gwarowej nazwie zająca: *filip* i nie wymaga uzasadnienia w literackiej legendzie o panu Filipie z Konopi występującym zawsze z bezsensownymi pomysłami (por. powieść Kazimierza Glińskiego «Pan Filip z Konopi»). *Kto dwa zające goni, żadnego nie złapie* (por. *kto dwie sroki za ogon chwyta, żadnej nie złapie)* «kto robi dwie rzeczy naraz, żadnej nie zrobi dobrze»; *kota na myszy, na zająca charta* «każda rzecz wymaga odpowiedniego środka działania».

Niedźwiedź jest symbolem człowieka niezgrabnego i ciężkiego, stąd wyrażenia: *niezgrabny jak niedźwiedź; to prawdziwy niedźwiedź!* i zwroty: *chodzić poruszać się, tanczyć jak niedźwiedź.* Zwrot *ssać łapę jak niedźwiedź* «cierpieć niedostatek» oparty jest na rozpowszechnionym wśród ludu mniemaniu, że niedźwiedź, kiedy się budzi podczas snu zimowego i odczuwa głód, zaspokaja go ssąc łapę, po czym znowu zasypia. Liczne, z niedźwiedziem związane przysłowia, mają charakter również idiomatyczny: *na niedźwiedzią skórę pije, a niedźwiedź jeszcze w lesie* (por. *jeszcze skóra na baranie, a już kuśnierz pije na nię)* «liczy przedwcześnie na spodziewane zyski»; *z szwagrem na zająca, z bratem na niedźwiedzia; kiedy niedźwiedzia raz przemożesz, już go gdzie zechcesz za nos powiedziesz; kiedy niedźwiedzia uderza gałąź, tedy ryknie, a kiedy go drzewo przywali, tedy milczy.* Wyrażenie *niedźwiedzia przysługa* oparte jest na motywach bajkowych, upowszechnionych przez La Fontaina w bajce «Ogrodnik i niedźwiedź».

Ptactwo domowe dało podstawę również licznym idiomatycznym wyrażeniom i zwrotom. *Kogutowi* i *kurze* zawdzięczamy następujące

zwroty i przysłowia: *walczą z sobą jak dwa koguty* «zaciekle»; *uciąć koguta* «zaśpiewać fałszywie (przy wysokich tonach)»; *być panem na swych śmieciach.* Zwrot ten wzięty jest z obserwacji zachowania koguta na kupie śmieci, gdzie rządzi on niepodzielnie, zwołując do wygrzebanego ziarna kury i odpędzając inne drobne ptaki. O osobie mającej nieszczęśliwą minę mówimy złośliwie, iż *wygląda jak zmokła kura,* o osobie brzydko, niewyraźnie piszącej, że *bazgrze jak kura patykiem* a. *pazurem. Udało mu się, trafiło mu się, jak ślepej kurze ziarno* to «osiągnał co nie własną zasługą, lecz przypadkiem». Przysłowiowo mówimy: *na Boże Narodzenie przybyło dnia na kurze stąpienie* (por. *na Nowy Rok przybyło dnia na barani skok*). Przysłowie: *dać kurze grzędę, a ona: wyżej siędę* nie zaleca ustępstw, przysłowie: *jaje chce być mądrzejsze od kury* odnosi się do młodych, którzy nie chcą słuchać starszych, zwłaszcza do dzieci, które nie słuchają rad matek. Idiomatyczny charakter mają zwłaszcza przysłowia rymowane. Forma wierszowa świadczy o rodzimej inwencji, bądź też o przystosowaniu ogólnej, powszechnie znanej myśli do rodzimej struktury językowej. Taki charakter mają przytoczone wyżej przysłowia. Dodam jeszcze jedno: *będziesz w niebie, gdzie kura grzebie* mówimy ironicznie o osobie, którą po śmierci zakopią do ziemi.

Gęś jest symbolem ograniczoności i głupoty, stąd wyrażenia i zwroty: *głupia jak gęś, głupia gęś, gąska parafialna* «o kobiecie wiejskiej niedoświadczonej i ograniczonej umysłowo»; *iść gęsiego* «iść jeden za drugim»; *rządzić się jak szara gęś.* W nowszych czasach utworzono od tego zwrotu czasownik *szarogęsić się. Kaczce* zawdzięczamy raczej żartobliwe zwroty *pływa jak ołowiana kaczka; zaganiać kaczki* «o pijanym: zataczać się»; *niech cię kaczki zadziobią* a. *zdepczą; niech cię gęś kopnie!* Oba ostatnie zwroty są żartobliwymi eufemizmami odpowiadającymi wykrzyknieniu: *niech cię diabli wezmą!*

W całej tej wielkiej grupie wyrażeń i zwrotów, opartej na zjawiskach natury, na obserwacji życia roślinnego i zwierzęcego, na obserwacji organów, czynności i uczuć człowieka, słowem w grupie mającej podłoże naturalne, ogromna większość określeń, porównań, przenośni, całych zwrotów i przysłów powstała spontanicznie w różnych okresach czasu i w różnych językach niezależnie od siebie. Specyficzność tych zwrotów związana jest ze specyficznością warunków topograficznych, atmosferycznych, roślinnych i świata zwierzęcego danego obszaru. Stąd też przewaga zwrotów idiomatycznych, nawiązujących np. do *psa* i *wilka* na terenach słowiańskich, stosunkowo mniejsza liczba zwrotów związanych z *osłem,* a znikoma wyrażeń i zwrotów, w których występują *słoń, wielbłąd* i inne egzotyczne zwierzęta. Zwroty oparte na nazwach zwierząt i roślin

egzotycznych mają charakter książkowy, poetycki, nie są powszechnie używane i utrwalone w języku, często przedostają się za pośrednictwem innych języków, jak np. greka, łacina, języki orientalne. Utrwala się natomiast w języku to, co jest w danych warunkach najpospolitsze, najczęściej spotykane, najbardziej charakterystyczne.

II

Oprócz frazeologii związanej ze zjawiskami natury i z samym człowiekiem, weszło do języka sporo wyrażeń i zwrotów związanych z zajęciami człowieka i z jego pracą. Frazeologia ta ma charakter naturalno-konwencjonalny. Naturalność jej polega na tym, że wiąże się w sposób ścisły z rodzajem zajęć człowieka, konwencjonalność na tym, że powstała w warunkach stworzonych przez samego człowieka. Np. wśród Słowian jako ludów osiadłych, uprawiających rolę, pasterstwo, myśliwstwo, rybołówstwo sporo pozostało w języku śladów tych zajęć.

Pole jako miejsce działania rolnika, myśliwego, żołnierza stało się symbolem sfery działania: *pracować na polu naukowym*. Jeszcze do XV wieku *polski* znaczy «polny». Od *pola* pochodzi *polowanie* — czynność myśliwego, *pole bitwy* to «miejsce walki». Z *polem* w tych różnych znaczeniach wiążą się zwroty: *ułożyć psa do pola* (do polowania»; *jechać na czarne pole* «wybierać się na dziki (czarną zwierzynę)»; *zależeć pole* «o chartach odwykłych od polowania, a następnie o człowieku: zaniedbać co, np. kształcenie»; *dać pole nieprzyjacielowi* to «stanąć do walki»; *otrzymać pole* «wygrać bitwę»; *stracić pole* «przegrać bitwę»; *zejść z pola* «opuścić plac boju, ustąpić»; *wywieść kogo w pole* «oszukać». Zwrot ten wiązany z polem bitwy [5] może się jednak wiązać z sytuacjami podczas polowania. W rolnictwie obok *pola* uprawia się grunt, glebę, stąd zwroty: *przygotować grunt do czego* «stworzyć podstawy czego»; *leżeć odłogiem* (o naukach, sztukach itp) «być zaniedbanym». Z *gruntem* uprawnym czy *glebą* wiąże się powiedzenie: *oby się tacy na kamieniu radzili*. Kamieniem określa się tu grunt kamienisty, na którym się nic nie chce rodzić. Narzędzia pracy rolniczej stały się również podstawą licznych przenośni: *porwać się z motyką na słońce* «przedsięwziąć coś, co jest ponad nasze siły, przekracza nasze możliwości». *Motyka* jest tu symbolem prymitywnego narzędzia, którym można wykonać tylko rzeczy przyziemne.

Kosa jest symbolem ostrego narzędzia, dlatego o człowieku dowcipnym i złośliwym mówimy: *ma język (ostry) jak kosę*. Przysłowie *trafiła kosa na kamień* stosujemy do kogoś, kto napotkał

[5] Por. A. Krasnowolski. Op. cit., cz. II, s. 5.

nieoczekiwany opór. Inaczej możemy tę samą myśl wyrazić również przysłowiowo: *trafił swój na swego*. *Sierp* stał się podstawą idiomatycznych wyrażeń: *sierp księżyca* i *prosto jak sierpem rzucił*. Wyrażenie to zawdzięczamy — według Krasnowolskiego — dawnemu zwyczajowi prawnemu, wedle którego w sporach granicznych o grunta rzucano sierpem.[6] Znaczy ono tyle, co «zupełnie prosto»: «Jedne chorągwie idą, jako sierpem rzucił, inne zaś muszą okładać». (Seinkiewicz cyt. Sł. Warsz.).

Dziedzinie rybołówstwa zawdzięczamy liczne zwroty: *wpędzić kogo w matnię; w sieci zawikłać, omotać kogo; szamotać się w sieci (w matni); wywikłać się, wyplątać się, wyrwać się z sieci (z matni)*: *zapuścić wędkę na kogo; złapać, złowić kogo na wędkę; łowić ryby przed niewodem* «przedwcześnie się cieszyć z czego» (por. *sprzedawać skórę na niedźwiedziu); łowić ryby w mętnej wodzie* «korzystać z zamieszania dla własnych celów».

Ze sztuką łowiecką wiążą się następujące zwroty: *urządzić na kogo nagonkę* «napastować kogo, podburzać przeciw niemu innych, zorganizować przeciw komu wspólne wystąpienie»; *bronić się jak osaczona zwierzyna* «bronić się zażarcie»; *węszyć, wietrzyć* (np. zdradę) — od czynności psów myśliwskich; *mieć dobry nos* i *mieć nosa do czego* (np. do interesów) — również od właściwości psów; *wpaść na czyj trop; być na czyim tropie* a. *na tropie czego* (np. zbrodni); *iść trop w trop za kim; naprowadzić kogo na trop czego* (np. oszustwa); *zbić kogo z tropu* «zdezorientować kogo (postępowaniem, słowami)»; *nie dać się zbić z tropu; w piętkę goni* «o psie (ogarze): powraca wciąż w te same tropy, depcąc sobie jakby po piętach; przen. o człowieku, który kołuje około jakiegoś przedmiotu lub tematu, nie dotykając go wprost»; *już po harapie!* «już po wszystkim!» Wyrażenie to pochodzi od niemieckiego krzyku *herab! precz!*, którym odpędzano psy od zwierzyny na zakończenie polowania.

Wyrażenia i zwroty odnoszące się do rzemiosła, nazw rzemieslników, narzędzi czynności z rzemiosłem związanych jest bardzo dużo. Spośród nazw rzemieślników nazwa szewca i narzędzi szewskich dała podstawę pewnej liczbie idiomatyzmów. Zajęcie szewca nie cieszyło się widać powszechnym szacunkiem, skoro wyrażenia, zwroty i przysłowia z tym związane mają charakter ironiczny. Robić co źle to robić jak szewc: *gram dziś jak szewc* (mówi karciarz o sobie). O chłopcu, który nie chciał się uczyć, mawiał dawniej ojciec: *trzeba go oddać do szewca* tzn. do terminu, aby się zajął szewstwem, skoro nie ma zdolności do nauki. *Upił się jak szewc* to tyle, co «upił się jak bela, jak kłoda». Szewcy święcili

[6] Por. A. Krasnowolski. Op. cit., cz. II, s. 8.

zwykle oprócz niedzieli poniedziałki, stąd o osobie. która w poniedziałek nie zjawia się w pracy, mówi się ironicznie, że ma *szewskie święto.* Pijaństwo szewców stało się przysłowiowe i dostało się do satyry. Krasicki we «Wstępie do bajek» powiada: «Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pijał...» Z przysłów najbardziej znane są: *szewc bez butów chodzi* i *śpieszy się jak szewc z butami na jarmark.* Z narzędzi szewskich *kopyto* i *szydło* są najbardziej charakterystyczne, stąd zwroty: *robić wszystko na jedno kopyto* «w jednakowy sposób, bez inwencji, według szablonu»: *wszyscy na jedno kopyto* «licha warci»; *przerobić co na swoje kopyto* «przekabacić (por. *obuć kogo w swe buty); tak się rozjadł, jakby go kto szydłem ukłuł; wylazło, wyszło szydło z worka* «rzecz nie dała się ukryć». Przysłowie to ma u Reja nieco inną postać: *nie utai się szydło w worze; (siedzisz) jak na szydłach* inaczej: *jak na szpilkach* a. *na igłach, jak na rozżarzonych węglach* mówi się o człowieku zniecierpliwionym lub zdenerwowanym. *Szydła mu golą* «powodzi mu się, szczęści mu się»: «Nie psuj sam sobie czasu, pókić szydła golą». (Rej). Na zwrocie tym oparte jest przysłowie: *jednemu szydła golą, a drugiemu brzytwy nie chcą.*

Z dawniejszych epok datują się przysłowia: *złotym szydłem wnet przekolisz* (Knapiusz) «pieniędzmi wiele możesz zdziałać» i *szydłem mu we łbie układano* (por. *brak mu piątej klepki).* Zwrot *jechać szydłem* a. *jechać, zaprząc w szydło* wiąże się ze sposobem zaprzęgu i ma znaczenie «jechać, zaprząc w trzy konie, z jednym na przedzie». Gwarowe *orać w szydło* znaczy «orać w trzy woły». O patrzącym zezem mówi się, że *patrzy szydłem* a. *świdrem.*

Butom zawdzięczamy liczne porównania, zwroty i przysłowia: *głupi jak but; pije jak but dziurawy* (por. *pije jak smok, jak gąbka); takie buty?* «to tak się rzecz ma? to tak sprawa wygląda?» Zwrot *szyć komu buty* «intrygować przeciw komu, obmawiać go» ma odpowiednik w zwrocie «kopać pod kim dołki». O skąpcu mówi się, że *nogi drze, a buty na kiju nosi;* nicponia nazywano *skórką na buty.* Zwrot *psu na buty się nie zda* jest odmianą zwrotu *psu na budę się nie zda* «nie warte, do niczego». Idiomatyczny charakter mają również przysłowia: *każdy sobie na buty skrawa* «każdy ciągnie na swoja stronę, myśli o sobie»; *w bytach chodzi, a boso go znać* «ma minę szumną, a w kieszeni pusto»; *pyta luty, czy masz ciepłe buty.*

Krawiec stał się podstawą przysłowia: *tak krawiec kraje, jak mu materii (materiału) staje.* W związku z czynnościami krawca powstały zwroty: *brać miarę z czego; przykładać miarę do czego; krytym ściegiem co robić* «skrycie, potajemnie». O robocie partackiej mówiono: *zrobiona sobotnim sztychem na niedzielny targ to zn.* «naprędce, w wielkim pośpiechu, w ostatniej chwili». *Prosto z igły*

to «świeżo uszyty, nowiuteńki». Mówimy tak o ubraniu, czasem o innych rzeczach, zbyt jednak sprzeczne zestawienia rażą np. *wagony prosto z igły, które* już Krasnowolski piętnuje (Op. cit., II, 24). Zwrot *skórę komu wyłatać* «obić kogo» pochodzi z analogii od zajęcia krawieckiego, natomiast podobny zwrot: *skórę komu wygarbować* wzięty jest z garbarstwa. Z tkactwem łączymy zwrot: *koniec z końcem związać* «starać się wydawać w granicach dochodów, z trudem opędzać wydatki bez zaciągania długów». Zwrot ten wiąże się z dawną techniką tkania, która polegała na wiązaniu końców nici, aby otrzymać nić ciagłą.

Z zajęć ciesielskich wzięte są wyrażenia i zwroty: *ująć, wziąć co w kluby, w ryzy, w karby; trzymać w ryzie, w karbach, w klubach; wyjść z karbów. Ryzy, karby i kluby* to dawne przyrządy i ich części, służące do oznaczania pionu i utrzymania prostej linii *budowy. Zabić komu klina (w głowę)* «dać do myślenia» *i ciosać komu kołki na głowie* «dokuczać komu» nawiązują do czynności cieśli. Wyrażenie *majster klepka* wiążą również z cieślą. *Klepka* jest uważana za adideację do *kletki* (cieśla kleci). Z zajęciem *bednarza* wiążą zwroty: *brak mu piątej klepki* «jest niespełna rozumu» i *biedę* klepać «żyć w nędzy». *Kowalowi* zawdzięczamy zwrot: *być między młotem i kowadłem.* Przysłowie: *ślusarz zawinił, kowala powiesili* jest obrazowym i ironicznym ujęciem pomyłek sądowych. Do zajęć młynarskich nawiązują zwroty: *mleć, pytlować językiem* «dużo i niezbyt sensownie mówić», *to jest woda na jego młyn* «to jest dla niego korzystne».

Z życiem religijnym wiąże się wiele wyrażeń i zwrotów. Oto najpospolitsze: *żyć jak u Pana Boga za piecem* «wygodnie i bezpiecznie»; *palić Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek* «starać się zabezpieczyć z obu stron»; *mieć anielską (świętą) cierpliwość; mówić za panią matką pacierz* «powtarzać bezkrytycznie»; *pewne jak amen w pacierzu* «zupełnie pewne, nieuniknione»; *położyć krzyżyk na czymś* «zrezygnować z czego»; *odprawić z krzyżykiem* «z niczym»; *mieć z kim krzyż Pański; mieć piekło w domu; narobić piekła* «zrobić awanturę»; *bać się jak diabeł święconej wody* a. *jak święty Michał diabła; pokutować za grzechy, nie grzeszyć czym* (np. rozumem) «nie mieć czego (np. rozumu)»; *brzydki jak grzech śmiertelny* a. *jak siedem grzechów głównych; wyspowiadać się z czego przed kim; uderzyć się w piersi* «przyznać się do winy»; *uczynić, złożyć wyznanie wiary* «wyłożyć swoje poglądy»; *czekać do sądnego dnia* «czekać na co do końca życia bezskutecznie, nie osiągnać nigdy tego, na co się czeka»; *do tańca i do różańca* «skłonny do zabawy i do rozmyślań»; *przeżegnać kogo kijem* żart. «uderzyć, zbić kogo kijem»; *zaprzedać się komu z dusza i ciałem.* Zwrot jest oparty na dawnych wierzeniach, że można było zaprzedać się diabłu wzamian za docze-

sne korzyści. O obłudniku mówiło się: *modli się pod figurą, a ma diabła za skórą.* Zwrot *błądzić jak Marek po piekle* «łazić bez wyraźnego celu» — z adideacją pierwotnej *mary* do *Marka* — nawiązuje do wyobrażeń starożytnych o życiu pozagrobowym. Ironiczny charakter ma przysłowie: *słyszał, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele.* Tak mówimy o kimś, kto nie zna rzeczy dokładnie lub powtarza niesprawdzone pogłoski. Zwrot opiera się na zwyczaju wzywania na nabożeństwo za pomocą bicia w dzwony. *Siedzieć jak na niemieckim kazaniu* «nic nie rozumieć» pochodzi jeszcze z XIV wieku, kiedy po kolonizacji kazania odbywały się w języku niemieckim. *Pop swoje, czort swoje* oznacza napomnienie bez skutku i ma odpowiednik w przysłowiowym powiedzeniu: *groch o ścianę.* Zwrot: *tyle mu pomoże, co umarłemu kadzidło* «nic nie pomoże, jest za późno» opiera się na zwyczaju okadzania trumny ze zwłokami przed wyprowadzeniem z kościoła. Ponieważ dość duże dochody przynosiły księżom pogrzeby, stąd na wsi mówiło się, gdy kto umarł, *że księdzu krowa się ocieliła.* W związku z tym cmentarz nazywano ironicznie *księżą oborą.* Stąd zwrot *patrzeć na księżą oborę* tj. patrzeć na cmentarz czyli «być bliskim» śmierci. Na ofiarach w naturze składanych proboszczowi zamiast opłat polega przysłowie: *nie miła księdzu ofiara, chodź cielę do domu.* Przysłowia tego używa się w sytuacji, w której ktoś nie chce przyjąć ofiary.

Sztuka wojenna, ogólniej zaś dziedzina wojskowości, dostarczyła wielu przenośni, które często mają charakter idiomatyczny, zwłaszcza te, które nawiązują do sposobów wojowania właściwych danemu narodowi. *Toczyć boje o coś; zdobyć co wstępnym bojem. przypuścić szturm do czego lub kogo; pomieszać komu szyki; uzbroić się w cierpliwość; dać komu broń do ręki; wytrącić komu broń z ręki; zwalczać kogo jego własną bronią* «jego własnymi metodami a. argumentami»; *łamać opór; bić na trwogę* a. *na alarm* — oto przykłady najpospolitszych przenośnych zwrotów z tej dziedziny. Na sposobach walki opierają się następujące zwroty: *kruszyć taranem; gonić na ostre* «walczyć kopią i mieczem, przen. walczyć zacięcie, do upadłego o co»; *kruszyć kopię o co* «walczyć o co, starać się usilnie, zabiegać o co»; *odsłonić* a. *uchylić przyłbicy; podnieść przyłbicę* «wystąpić jawnie»; *wysadzić kogo z siodła* «wyprzeć ze stanowiska»; *rzucić rękawicę* «wyzwać do walki»; *podjąć rękawicę* «przyjąć wyzwanie»; *uderzyć na odlew* «z lewej ręki». Walczono konno i w zbroi, zwykle ze spuszczoną przyłbicą, kto występował jawnie, uchylał przyłbicy na chwilę lub podnosił przyłbicę, stąd odpowiednie zwroty. Zwrot *wysadzić z siodła* pochodzi z turniejów rycerskich, w czasie których walka kończyła się zwykle wysadzeniem przeciwnika z siodła za pomocą kopii. *Łamać, kruszyć kopię o co* a. *w obronie czego* lub

kogo pochodzi również z turniejów, kiedy łamano (kruszono) kopie w obronie czci dam. W staroniemieckim znany był zwrot *Sper brechen*, od XVII wieku pod wpływem francuskiego pojawiają się zwroty: *mit jemandem eine Lanze brechen; für jemanden (etwas) eine Lanze einlegen*[7]. Ze sztuki fechtunku pochodzą zwroty; *zażyć kogo z mańki* «użyć podstępu» od *mańka* «lewa ręka», a to z wł. *manca* «lewa ręka» (por. pol. *mańkut* «robiący wszystko lewą ręką»); *puścić co komu płazem* «zaniechać ukarania kogo, przebaczyć komu»; *to mu uszło płazem* «uniknał kary». Zwyciężonego przeciwnika, powalonego na ziemię, zwycięzca mógł dobić, stąd wyrażenie *na dobitkę* i zwrot *mieć nóż na gardle* dające obraz tego rodzaju sytuacji. *Postawić kwestię* a. *sprawę na ostrzu miecza* pochodzi ze zwyczaju wyzywania przeciwnika przez posłów, którzy podawali list wyzywający do walki na końcu miecza. W nowszych czasach wyraz *miecz* zastąpiono w zwrocie wyrazem *nóż* i stąd druga wersja tego zwrotu: *postawić kwestię (sprawę) na ostrzu noża*. Zwrot *zwinąć chorągiewkę* pochodzi z terminologii morskiej i pierwotnie znaczył tylko «zaniechać dalszej walki, poddać się». Obecnie ma «znaczenie przenośne i szersze: zaniechać dalszych starań o co, zrezygnować». Nowsze sposoby walki, zwłaszcza po wynalezieniu prochu i broni palnej dały początek zwrotom: *nie wąchać prochu* «nie brać udziału w bitwie». Odpowiadają mu ros. *он и не понюхал пороха;* fr. *il n'a pas encore vu le feu; strzelać bez prochu* «twierdzić co bezpodstawnie» (por. ros. *наш инвалид и без пороха палит*); *nie wymyśli prochu* «jest ograniczony, niezdolny»; *wziąć kogo we dwa ognie; wziąć kogo w krzyżowy ogień* (pytań); *wytoczyć działa większego kalibru* «użyć silnie jszych, poważniejszych argumentów» (por. niem. *grobes (schweres) Geschütz auffahren)*.

Z dawnym wymiarem sprawiedliwości wiążą się zwroty; *postawić pod pręgierzem* (opinii publicznej) i *wyświecić kogo skąd* «wygnać». Według zwyczaju znanego od XIV wieku skazanego stawiano pod *pręgą* (później nazywano to *pręgierzem*), tj. przykuwano do słupa na rynku, gdzie gawiedź mogła mu dokuczać. Skazanych często również wyświecano z miast, tzn. wypędzano publicznie, goniąc ich z zapalonymi pochodniami i dokuczając im po drodze, stąd zwrot *wyświecić kogo*. Często spotykana forma *wyświęcić kogo skąd* jest błędna, nawiązuje bowiem do praktyk religijnych.

W grupie tej zwanej grupą związków frazeologicznych konwencjonalnych odbija się właściwie cała kultura materialna i duchowa człowieka. Rozwój ekonomiczny danego terenu, uprawa roli, handel, rzemiosło, technika, powodująca uprzemysłowienie kraju, urządzenia

---

[7] Por. Borchardt-Wustmann-Schoppe. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund. Leipzig, 1955. s. 296.

społeczne, organizacja polityczna, życie religijne, obyczajowe, nauka, rozwój sztuk i urządzeń kulturalnych — wszystko to zostawiło ślady w języku. Swoistość i odmienne często warunki rozwoju poszczególnych dziedzin życia były podstawą powstania specyficznych, właściwych tylko temu terenowi bądź narodowi wyrażeń i zwrotów. I w tej grupie ogromną większość określeń, porównań, przenośni stanowią zjawiska wspólne wielu językom. Odrębności językowe wiążą się ze specyficznością systemu gramatycznego, który te same przedmioty lub pojęcia ujmuje w swoistej, właściwej danemu językowi formie, bądź też są uwarunkowane odrębnością, a raczej swojskością np. obyczajów, sztuki, odrębnością w zakresie urządzeń społecznych, życia religijnego, specjalnym rozwojem jakiejś gałęzi rzemiosła, handlu lub przemysłu, słowem są to wyrażenia i zwroty związane z osobliwościami kultury materialnej i duchowej danego społeczeństwa bądź narodu. Idiomatyczność zwrotów może się również wiązać z różnym językowym ujmowaniem tych samych rzeczy i zjawisk przez różne narody, z różnym zachowaniem się w podobnych sytuacjach, co znajduje swoje odbicie w języku. Tym tłumaczą się różne formy, np. zwrotów grzecznościowych i powitalnych, dość duża liczba właściwych tylko pewnym środowiskom przysłów w obu grupach frazeologicznych.

III

W obu omówionych grupach przytoczono sporo wyrażeń i zwrotów ilustrujących (przykładowo) ogólne warunki i dziedziny ich powstawania. Nie wyczerpują one całego bogactwa idiomatycznych wyrażeń i zwrotów w języku polskim. Obie omówione wyżej grupy idiomatyzmów miały jako podłoże warunki naturalne, tj. otaczającą człowieka przyrodę lub też warunki konwencjonalne, tj. będące wytworem samego człowieka. Warunki te były tym najogólniejszym tłem powstawania swoistych wyrażeń i zwrotów. Mechanizm zaś przechodzenia od luźnego związku wyrazowego do utartego wyrażenia lub zwrotu jest natury wewnętrznojęzykowej. Opiera się na zjawisku leksykalizacji.

L e k s y k a l i z a c j ą w zakresie słowotwórstwa nazywamy zacieranie się przejrzystości budowy składników słowotwórczych wyrazów, jak np. w wyrazach *rozsierdzić się przerazić, doszczętnie, miednica, rozjemca* itp.[8]

L e k s y k a l i z a c j ą w zakresie frazeologii nazywamy zasieranie się przejrzystości semantycznej składników wyrażenia lub zwrotu

[8] Por. W. D o r o s z e w s k i. Język F. T. Jeża. Warszawa, 1949, s. 161, oraz «Z zagadnień leksykografii polskiej», Warszawa, 1954, s. 68.

(związku wyrazowego). Stopień leksykalizacji związku frazeologicznego decyduje o tym, czy związek jest związkiem stałym, czy tylko łączliwym, czy też zupełnie luźnym.

Wyraz *dom* może wchodzić w różne związki wyrazowe z innymi wyrazami:

a) *dom wysoki, niski, biały, niebieski, żółty* itp; *dom przy drodze, przy ulicy, na uboczu, pod lasem* itp; *dom sąsiada, ojca, kuzyna* itd. Są to związki luźne.

b) *dom drewniany, murowany, z kamienia; dom stawiać, budować, rozbierać, zburzyć, kupić, sprzedać, wystawić na licytację, upaństwowić* itp. Są to związki łączliwe.

c) *dom modlitwy* «kościół»; *dom poprawczy* «zakład dla nieletnich przestępców»; *dom towarowy* «wielki magazyn detalicznej sprzedaży towarów»; *prowadzić dom otwarty* «urządzać przyjęcia, przyjmować w określone dni gości». Są to związki stałe.

W przytoczonych wyrażeniach i zwrotach tylko ostatnia grupa ma charakter związków wyrazowych zleksykalizowanych. Stopień leksykalizacji związków stałych jest różny, wystarczająco jednak ścisły, aby połączone ze sobą wyrazy stanowiły jednolite całości semantyczne. Zwrot *prowadzić dom otwarty*, mimo, iż każdy z jego składników jest zrozumiały i semantycznie przejrzysty, nie jest sumą znaczeniową poszczególnych wyrazów. Całość zwrotu ma inne, przenośne znaczenie: «urządzać przyjęcia, przyjmować w określone dni gości». Mechanizm powstawania tego rodzaju wyrażeń i zwrotów polega na stopniowym z biegiem czasu zacieraniu się samodzielnego, podstawowego znaczenia poszczególnych składników i nabieraniu nowego, jednolitego znaczenia całości związku[9]. Wyrażenie *na umór* miało pierwotnie znaczenie «na śmierć (do umarcia)». Przejście do dzisiejszego znaczenia «do nieprzytomności» odbyło się historycznie stopniowo. Jeszcze w XVII wieku było używane w znaczeniu dosłownym, o czym świadczą cytaty z tego okresu, np. «Kijmi go na umor biją». (H. Kłokocki cyt. Sł. Warsz.). Wyrażenie to używane w innych sytuacjach nabiera innych odcieni znaczeniowych: «Bronić kogo do umoru». (Sł. Troca). «Pracuje na umor» (= do upadłego) (Troc.). «Będę się śmiał z niego na umor» (= do rozpuku) (Linde). «Kpić z kogo na umor»; «Łgać na umor». (Skarga). «Na umor się uczyli». (Patrycy cyt. Sł. Warsz.). «Chuciom swoim dogadzając, na umor pili». (Pilchowski cyt. Sł. Warsz.). W tym ostatnim odcieniu wyrażenie się stabilizuje i dziś tylko tak jest używane: *pić na umór* tzn. «do nieprzytomności, bez opamiętania».

Wyrażenie *na dobitkę* «ponadto, na domiar, na dokładkę» ma

---

[9] Por. В. В. Виноградов. Основные типы фразеологических единиц в русском языке. — Русский язык, М., 1947.

historycznie dwa punkty wyjścia tj. dwie różne sytuacje, w jakich było używane.

I. *Na dobitkę* znaczyło pierwotnie «na dobicie, na dorznięcie, na wycięcie». Świadczą o tym cytaty, np. «Piechurom nieprzyjaciela prawie pokonanego na dobitkę dawali». (Pilchowski cyt. Sł. Warsz.).

II. *Na dobitkę* znaczyło «na dobicie (targu)» Punktem wyjścia tego znaczenia był zwyczaj uderzania dłonią w dłoń na zakończenie pomyślnego przebiegu transakcji handlowej w dawnych wiekach: «Na dobitkę jeszcze talar». (Jerzy Ossoliński 1650 cyt. Sł. Warsz.). Dzisiejszy odcień znaczeniowy niewiele przypomina dawne punkty wyjścia, jest już całkowicie zleksykalizowany. Mówiąc *na dobitkę złego*, czy *na dobitkę nieszczęścia* nie uświadamiamy sobie pierwotnych, historycznych znaczeń tego wyrażenia.

Dzisiejsze wyrażenia *do szczętu, ze szczętem* mające znaczenie «całkowicie, zupełnie, gruntownie, do cna» są używane w tym znaczeniu od dość dawna, np. «Cokolwiek się działo przedtem, do szczętu zapomniał». (Linde). Wcześniejsze użycia nawiązują do pierwotnego, etymologicznego znaczenia: «Do szczętu ich wycięto» (co do nogi) (Troc). «Wszystek lud izraelski z tobą będzie do szczętu wytracony» (Wujek) (oraz z potomstwem).

W XVI jeszcze wieku wyraz *szczątek* miał w terminologii prawniczej znaczenie «potomka wstępnego» (termin *wstępny* odnosi się do dzieci i wnuków, *zstępny* — do rodziców i dziadków): «Gdyby właściciel majątku umarł bez potomków i szczątków, i gdyby nie było krewnych i bliskich, tedy majętność przechodzi na hospodara, wielkiego księcia litewskiego». (Kwartalnik Historyczny cyt. Sł. Warsz.). Związek tego wyrażenia z *potomstwem* wyraźny jeszcze w XVI wieku w języku literackim i w gwarach dziś całkowicie się już zatarł. Wyrażenie to jest już całkowicie zleksykalizowanym przysłówkiem [10].

Stopniowo leksykalizował się wyraz *sedno* (w staropolskiej formie *sadno*) w zwrocie *utrafić w sedno*. *Sedno* łączy się etymologicznie z czasownikiem *siedzieć* i pierwotnie miało znaczenie «rany z obtarcia skóry, miejsca startego, odparzonego». Swiadczą o tym cytaty z XVI wieku:

«Przydawa się koniowi uraz na grzbiecie od siodła, co sadnem zowią».(Trzycieski). «Ostrożnie tykaj koniowi nie zagojone sadno». (XVIII w.). «Sedno u człeka od starcia jest i od jazdy». (Troc).

Ale już Rej używa zwrotu w znaczeniu przenośnym: «Są ludzie, gdy go dotkną w sadno w obyczajach jego, w których się on kocha, chocia nie o nim rzecz będzie, tedy się przecie nadziewa, iż to nań przymówki». (cyt. Sł. Warsz.).

[10] O etymologii wyr. *ze szczętem* p. A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1928, s. 542.

Dziś wyrazu *sedno* używa się tylko przenośnie w wyrażeniach: *sedno rzeczy*, *sedno sprawy* «istota rzeczy, punkt najważniejszy», oraz w zwrocie *utrafić w sedno* «ująć rzecz istotnie, trafnie coś określić». Są to już całkowicie zleksykalizowane związki frazeologiczne.

Zwrot *pleść banialuki* «mówić głupstwa, niedorzeczności» jest pochodzenia literackiego. Punktem wyjścia tego zwrotu jest opowieść Hieronima Morsztyna «Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy 1650». W wieku XVIII w opinii pisarzy Oświecenia powieść ta stała się symbolem książki bez sensu, a następnie wszelkiej, bredni, niedorzeczności [11]. Zwrotu tego używamy tylko w tej zleksykalizowanej formie.

W referacie starałem się sformułować ogólne warunki powstawania związków frazeologicznych, idiomatyzmów zaś w szczególności oraz dać wyjaśnienie procesu kostnienia wyrażeń i zwrotów, to jest przechodzenia od związków wyrazowych luźnych do skostniałych, zleksykalizowanych związków frazeologicznych.

Zadaniem frazeologii historycznej będzie wyjaśnienie genezy poszczególnych wyrażeń i zwrotów, w szczególności wyrażeń i zwrotów idiomatycznych. Winna ona oprzeć swoje badania na szerokiej podstawie porównawczej, przede wszystkim języków słowiańskich, a następnie indoeuropejskich. Postulaty porównawczej frazeologii formułował już J. Morawski w pracy pt. «Kastor i Polluks» ze znamiennym podtytułem: Studium z zakresu frazeologii porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem romańskiej. Kraków, 1937 (Polska Akademia Umieję tności. Rozprawy Wydziału Filologicznego. T. LXV, nr 4). Systematyczna analiza oraz historyczne i porównawcze ujęcie całego zasobu frazeologicznego danego języka byłoby poważnym wkładem nie tylko do historii tegoż języka, ale i do ogólnej historii kultury.

BIBLIOGRAFIA

a) opracowania:

J. Bystroń. Przysłowia polskie. Polska Akademia Umiejętności. Kraków, 1933.

W. Doroszewski. Rozmowy o języku, seria I—IV. Warszawa, 1948—1954.

W. Doroszewski. Uwagi o frazeologicznym opracowaniu haseł słownikowych. Poradnik Językowy, 6, 1951, s. 18—20.

W. Doroszewski. Z zagadnień leksykografii polskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1954.

---

[11] Por. S. Rospond. «Pleść banialuki». Język Polski, XXIII (1938), s. 18—20.

B. Głowacka. Uwagi o staropolskim słownictwie łowieckim. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej T-wa Naukowego Warszawskiego, tom III. Warszawa, 1949, s. 15—35.
B. Głowacka. Matematyka w języku. Poradnik Językowy, 3, 1950, s. 7—14.
E. P. Hood. The world of proverb and parable. London, 1885.
Z. Klemensiewicz. Skupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Językowej, nr. 34. Kraków, 1948.
A. Krasnowolski. Przenośnie mowy potocznej. Książki dla Wszystkich. Warszawa, 1905—1906. Cz. I i II. Nakład M. Arcta.
J. Krzyżanowski. O najdawniejszych przysłowiach polskich. Problemy, 4, 1956, s. 267—269.
J. Krzyżanowski. Okruchy przysłowioznawcze. Poradnik Językowy, 6, 7, 8, 1956, s. 209—216; 248—250; 306—310.
W. Kuraszkiewicz. Nazwy maści końskich dziś i w r. 1539. Język Polski, XXIX (1949), s. 145—155.
W. Kuraszkiewicz. Jeszcze o staropolskich wyrażeniach z *siwagniady* i *światło gniady*. Język Polski, XXIX (1949), s. 227—229.
H. Kurkowska. Uwagi krytyczne o języku prasy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo, nr. 1. Warszawa, 1956, s. 21—32.
F. Machalski. O irańskich krewniakach przysłów polskich. Problemy, 10, 1956, s. 743—744.
R. Majewska-Grzegorczykowa. Nowa księga przysłów. Na marginesie zamierzonej edycji. Poradnik Językowy, 4, 1956, s. 129—136.
A. Mirowicz. O grupach syntaktycznych z przydawką. T-wo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom I, zeszyt 3. Toruń, 1949.
J. Morawski. Kastor i Polluks. Studium z zakresu frazeologii porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem romańskiej. Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Filologicznego, t. LXV, nr 4, Kraków, 1937.
T Sinko. Klasyczne przysłowia w polszczyźnie. Warszawa, 1939.
L. Smith. Words and Idioms Studies in the English Language. London, 1925.
S. Szober. Zycie społeczne w zwierciadle zwrotów językowych. Na straży języka, Warszawa, 1937, s. 88—92.
S. Szober. Echa Biblii we frazeologii polskiej. Na straży języka, Warszawa, 1937, s. 93—96.
S. Skorupka. Przenośnie z zakresu pojęć religijnych i kościelnych w języku polskim. Poradnik Językowy, 9/10, 1938/39, s. 169—173.
S. Skorupka. Zwroty i wyrażenia przenośne w języku potocznym. Towarzystwo Naukowe K. U. L., nr. 8, Lublin 1946.
S. Skorupka. Przenośnie z zakresu pojęć lekarskich. Poradnik Językowy, 1, 1948, s. 12—16.
S. Skorupka. Przenośnie w języku potocznym. Poradnik Językowy, 1, 2, 1949, s. 5—14; 5—11.
S. Skorupka. Kompozycja grup frazeologicznych. Poradnik Językowy, 4, 1950, s. 19—25.
S. Skorupka. Poprawność stylistyczna grup frazeologicznych. Poradnik Językowy, 6, 1950, s. 1—4.
S. Skorupka. Typy połączeń frazeologicznych. Poradnik Językowy, 5, 6, 1952, s. 12—20; 14—25.

S. Skorupka. Frazeologia a semantyka. Poradnik Językowy, 7, 8, 1952, s. 9—16; 17—25.
S. Skorupka. Z zagadnień frazeologii. I. Terminologia. II. Powstawanie zespoleń frazeologicznych. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej T. H. W. Wydział I. Językoznawstwo i hist. literatury. Tom IV. Warszawa, 1952, s. 147—180.
S. Skorupka. Z zagadnień frazeologii. I. Bogactwo frazeologiczne języka. II. Wyrazy a rzeczy. III. Zjawisko leksykalizacji. IV. Zmienność połączeń frazeologicznych. V. Repliki wyrazowe i frazeologiczne. Poradnik Językowy, 8, 9, 10, 1953, s. 3—10; 17—27; 6—13.
J. Tokarski. O czasowniku «brać» (charakterystyka semantyczna i frazeologiczna). Poradnik Językowy, 4, 5, 6, 1951, s. 14—18; 1—10; 11—18.
H. Ułaszyn. Geneza przysłowia: Jaka mać, taka nać. Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzydziestoletniej pracy naukowej i nauczycielskiej Stanisława Dobrzyckiego, Poznań, 1928, s. 346 nst.
В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947. Rozdział: Основные типы фразеологических единиц в русском языке, стр. 21—28.
O. Wojtasiewicz. Sposoby przemawiania do drugich po angielsku a po polsku. Język Polski, XXX (1950), s. 73—79.
Pojedyńcze wyrażenia i zwroty omawiane są w odpowiednich rubrykach czasopism językoznawczych: «Poradnik Językowy» i «Język Polski».

b) zbiory, słowniki:

S. Adalberg. Księga przysłów polskich i zwrotów przysłowiowych. Warszawa, 1894.
Англо-русский фразеологический словарь. Составил А. В. Кунин. М., 1955.
M. Arcta. Słownik frazeologiczny. Poradnik dla piszących. Ułożyli H. Galle i A. Krasnowolski. Wyd. III M. Arcta w Warszawie, 1928.
A. Arthaber. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali in sette lingue. Ed. II, Milano, 1952.
J. Bartlett. Familiar guotations. London (bez daty). George Routledge and Sons, Ltd.
Borchardt-Wustmann-Schoppe. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert. Siebente Ausgabe neu bearbeitet von Dr. Alfred Schirmer. Leipzig, 1955.
F. L. Čelakovský. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Wyd. nowé, Praha, 1949.
В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957.
М. И. Едличко, А. И. Рубинштейн. Deutsche Redensarten. Сборник фразеологических выражений в немецком языке. Пособие для учителей. М., 1953.
Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des Deutschen Volks. Auf Grund der von Georg Büchmann selbst besorgten Ausgaben bis auf die jüngste Gegenwart ergänzt von Adolf Langen. Berlin, 1915.
A. E. Graf. Idiomatische Redewendungen der russischen und deutschen Sprache. Berlin, 1954.
M. Kobylański. Wybór idiomów angielskich. Warszawa, 1951.
Крылатые слова по толкованию С. Максимова. М., 1955.
Немецко-русский фразеологический словарь. Составил Л. Э. Бинович. М., 1956.
J. Ondrusz. Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. Wydawnictwo SLA — Czeski Cieszyn, 1954.
The Oxford dictionary of English proverbs compiled by Wiliam George Smith with an introduction by Janet E. Heseltine. Second edition, Oxford, 1952.

J. Pineaux. Proverbes et dictions français. «Que sais-je?». Press universitaires de France. Paris, 1956.
B. Schmitz. Deutsch-Französische Phraseologie in systematischer Ordnung nebst einem Vocabulaire Systematique neu bearbeitet von Dr. Karl Schmidt. 21 Auflage, Berlin, 1912.
А. И. Соболев. Народные пословицы и поговорки. «Московский рабочий», 1956.
Z. Szmydtowa. Przysłowia i zwroty przysłowiowe w utworach Kochanowskiego. Pamiętnik Literacki, XLV (1954), Zesz. 1—2, s. 30—60.
S. Szober. Słownik poprawnej polszczyzny. Wyd. II, Warszawa, 1948.
J. Zaorálek. Lidová rčení, Praha, 1947.

С. Скорупка
Варшава

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИДИОМАТИЗМЫ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Резюме

Идиоматизмы (в широком и узком смысле этого термина) могут рассматриваться со стороны их структуры и со стороны их происхождения. С точки зрения структуры идиоматизмы делятся на грамматические и фразеологические, с точки зрения происхождения — на натуральные и условные.

К фразеологическим идиоматизмам относятся различные фразеологические обороты, характерные для данного языка.

Натуральные фразеологические обороты часто бывают общими для многих языков, так как они возникают в результате наблюдений над окружающей действительностью. Условные фразеологические обороты связаны со специфическими условиями развития данного народа (его трудовой деятельностью, условиями быта, обычаями, религией, культурой и т. д.).

К натуральным фразеологическим оборотам относятся, например, формулы прощания, привета; многие такие фразеологизмы связаны с названиями частей тела человека (нога, рука), с его чувствами, окружающей природой (растительный и животный мир) и т. п. Эти фразеологические обороты являются исконным достоянием языка, они возникли в разные эпохи и в разных языках независимо друг от друга.

Фразеология, связанная с трудовой деятельностью человека, имеет характер натурально-условный. Ее условность определяется обстоятельствами, созданными самим человеком. Такова фразеология, связанная с ремеслами, военным делом и т. п.

Механизм перехода от свободного сочетания слов к фразеологическим оборотам опирается на явление **лексикализации**. Лексикализация в области фразеологии — это процесс затемнения значений отдельных слов, входящих в данный фразеологизм.

В аспекте этих теоретических вопросов автор и анализирует ряд фразеологических идиоматизмов польского языка.

Сретен Живкович

Загреб

РУССКИЙ ЛЕКСИКОН 1704 г.

I

Хорватскому лексикографу Йоакиму Стулли из Дубровника источником для русских слов в его словаре „Rječosložje“ [1] служил трехъязычный русский лексикон, называемый Стулли „Lexicon russicum“; рассмотрение этого словаря, изданного Ф. Поликарповым в 1704 г. в Москве, является предметом нашей статьи.

В университетской библиотеке в Загребе имеется два экземпляра данного словаря. Полное название (церковно-славянской кириллицей и в древней орфографии) гласит: **Леѯїко́нъ треѧзы́чный |сирѣ́чь| рече́ній славе́нскихъ, еллиногре́ческихъ и латі́нскихъ |сокро́вище| из разли́чныхъ дре́внихъ и но́выхъ кни́гъ |собра́ное| и по славе́нскомꙋ алфавітꙋ въ чи́нъ| расположе́ное** [2]. В обращении к „любезному читателю“ (стр. 3 и 4) „справщик“ московской типографии Федор Поликарпов как бы оправдывается в трехъязычном характере словаря: надпись на кресте также была на трех языках — еврейском („язык свят“), греческом („язык мудрости“) и латинском („язык единоначальствия“); вместо еврейского „предпоставихомъ славенский“, являющийся „отцом многих языков“, название его происходит от *сла́ва* (греч. δόξα, лат. *gloria*). Это же обращение переведено и на греческий и на латинский языки.

На следующих страницах (9—15) „благоразумному читателю“ объясняется цель издания словаря — „руководство к познанию

---

[1] Joakim Stulli [Stulić]. Rječosložje. Часть I (латинско-итальянско-иллирийский). Budim, 1801; ч. II (иллирийско-итальянско-латинский), Dubrovnik, 1806; г. III (итальянско-иллирийско-латинский), 1810.

[2] Затем следует перевод названия на греческий и латинский языки: Λεξιχον τριγλωττον... и Dictionarium trilingue...

нужных нам языков“ (стр. 10). При этом Ф. Поликарпов отмечает, что „от разных стран приходящии своестранная речения в разговоры и в книги привнесоша, на приклад сербская, польская, малоросская. И тако реснота и чистота славенская засыпася чужестранных языков в пепел“. Задачу свою составители видят в том, что они „из разных книг присобравше славенское свойство, в подобающий чин положихом.“ (стр. 11). Составлению словаря помогли своими авторитетными советами Стефан Яворский, митрополит рязанский и муромский, и о. Рафаил, б. ректор Славяно-латинского училища в Москве (по „славенской“ и латинской части материала), иеромонах Иоаникий и Софроний Лихуды (по греческой части материала).

На стр. 16 дается руководство к употреблению словаря, а со следующей страницы собственно начинается „**Леѯїконъ славеногреколатїнскїй**“. В два столбца слева направо следуют слова в азбучном порядке с обозначением следующей буквы („А со Б... А со В“ и т. д.). Имена существительные не имеют указания на грамматический род; прилагательные помещаются только в определенной (полной) форме; глаголы приведены в форме 1-го лица единственного числа, только в словосочетаниях они даны в инфинитиве (ср. пишу и писати своею рукою, писати на водѣ). Часто даются группы (семьи) слов — основное слово с производными и сложными (дериватами и композитами), а также приводятся словосочетания (с этим словом). Например:

— Агнец, агнчик, агнчий, агница, агня, агнепастырь, агнчая шуба, агнцерѣзец, агнценосец;
— Корень, коренение, корение исторгаю, корение собираю, корене сѣку, корение раждаю, коренесѣчение, коренесѣчец, коренеядец, коренистый, кореноватый, коренный, кореню, коренюся, коренно, коренщик, коренесобиратель;
— Писанийще, писание, писарь, писец, писано, писаный, писателный, писати своею рукою, писати на воде, писмо, писмя (= буква), пишу.

Ударения обозначены. Начальные гласные имеют spiritus asper (как в греческом письме), например: а̎ки, а̎з, а̎гнец. Как и в греческом, в конце слова пишется accent grave, например: „... полагается же всегда̀ напреди̇̀ реченїй, ибо не можем рещѝ: ты̀ а̎, о̎нъ а̎...“

II

Цель данной заметки — рассмотреть основные черты „славенского“ (церковнославянского) языка в „Лексиконе треязычном“. Это значит — дать несколько характеристических черт

русского литературного языка в эпоху Петра Великого (или на границе XVII и XVIII вв.). Особенностью русского литературного языка в этот период вообще является переход от церковнославянского (русской редакции старославянского) языка к русскому народному языку, особенно в лексике, так как и литература становилась мало-помалу более „мирской“, более близкой к практической жизни. Вот важнейшие из этих особенностей в том виде, как они отразились в словаре Поликарпова.

1. Церковнославянскому слову (или форме слова) противопоставлено русское (народное) слово с упоминанием „простѣ глаголемо“ или „просто“; например:

...Аз, простѣ глаголемо я... (ср.: я... просто глаголется вмѣсто аз...); — Галка, у россов просто значит ворону...; — Клада или кладь, просто колода ножня...; — Уха часть долняя, простѣ мочка...; — Чертожница, простѣ сваха...; — Шарю, просто значит ищу и осязаю, и многое другое.

2. При русских (вернее сказать — народных) словах имеется ссылка на церковнославянские с помощью глагола „зри“, например:

Вмѣстѣ... зри вкупно; говорю, зри глаголю; денга... зри пѣнязь; ежа, зри пища; кормлю, зри питаю; лоб и лбина, зри чело; локоть зри лакоть; ящик, зри ковчег; юность... зри младость; мочь... зри мощь; чорт... зри диавол, и многое другое.

3. Церковнославянские слова объясняются с помощью русских (синонимов или выражений); например:

Абие, скоро, в тот час...; — Бо, союз винословный, значит понеже, потому что; для того что...; — Влачило чем что влѣкут, волок...; — Клада от древа отсѣчена, колода...; — ѣ, писма, в началѣ реченія правилнѣ не пишется, обаче за обычай глаголанія полагается, яко глаголем просто, и т. д.

4. Церковнославянские и русские слова помещены рядом; например:

Болій или вящій... maior, grandior; — дщерица, дочка...; — печь, пещь...; — смѣлость... зри дерзость и дерзновение.

5. Аналогично предыдущим случаям представлены слова с характерным для русского языка полногласием.

а) В большинстве случаев слова, характеризующиеся в русском языке наличием полногласия, даны в церковнославянской форме, т. е. с *ра*, *ла*, *рѣ*, *лѣ*; например:

блато, брада (со многими производными и сложными); влас (со сложными словами и словосочетаниями), влачу, влага, вран, врата, вратило, глава, главня, глад, глас, град, длань, длато, драгий; злато, здравие; клада, клас, крава, краткий; младость (и измлада), млат, мраз, мрак; праг, прах; смрад, страна, стража;

брег, брегу, бремя; жребя; млеко; превод, пред, превозная (плата); средина, стрегу; чрево, чреда, чрез.

б) При словах с полногласием дается ссылка на церковнославянские формы (с помощью глагола „зри"); например:

берег, зри брег; берегу, зри брегу; болото... зри блато; борода... зри брада; волоку... зри влеку; головня, зри главня; город, зри град; молоко, зри млеко; молоток, зри млат; пороховый, зри праховый; сторож, сторожа, сторошка, зри страж.

в) Даются рядом две формы — церковнославянская и русская (с полногласием); например:

бразда или борозда; бразды или борозды дѣлаю; клада... колода; млатба, молодба; млачу, молочу; порог, праг; порох, прах, пыль; слано, солоно; страна, сторона.

г) Дана только русская форма слова — с полногласием; например:

борона, волок, волоку, молодец, молоко, молотило, молотьба, порошу, полотно, полотняный, поросенок, порошок.

д) Очень редко при церковнославянской форме дается ссылка на русскую форму (с полногласием), за исключением того случая, когда дано толкование слова, как уже указывалось выше; например:

платно, зри полотно; сланѣю, зри солонѣю, и др.

6. Слова, в которых исторически вскрываются сочетания *tъrt*, *tьrt*, *tъlt*, *tьlt*, представлены с характерными для русского языка сочетаниями *-ор-*, *-ол-*, *-ел-* между согласными; например:

борзо, верба, волк, горло, долгота, желтый, задержаваю, извергаю, корчма, молния, смеркается, смерть, холм, червь и др.

7. Слова со свойственным русскому языку начальным *о* (< *е*) приведены с характерным для церковнославянского начальным *е*; например:

един, езеро, езерный, елень, елений, есень, есенный.

8. При словах с приставкой *вы-* в большинстве случаев дается ссылка на слова с приставкой *из-*; например:

выбавляю, зри избавляю; выбираю, зри избираю; выбѣгаю, зри избѣгаю; вывожду, зри извожду; выгнание, зри изгнание; высыхаю, зри изсыхаю, и др.

Глаголам с *вы-* могут соответствовать глаголы и с другими приставками: выжираю, зри пожираю; выкаряю, зри укоряю; вырастаю, зри возрастаю; высматряю, зри разсмотряю; иногда при глаголе с *вы-* дана ссылка на бесприставочный глагол: выбриваю, зри брію; выжинаю, зри жну; выхваление, зри хваление.

9. Отмечается ряд церковнославянских черт в фонетике и морфологии (совпадающих большей частью с древнерусскими), встречавшихся в русской литературной лексике XVIII в., но не употребляющихся в современном русском литературном языке. Таковы, между прочим, следующие черты:

а) переход *к* > *ц* перед *ѣ* в предложном падеже единственного числа существительных I и II склонений; например: в азбуцѣ, в языцѣ, во всем человѣцѣ;

б) в родительном падеже единственного числа имена существительные среднего рода (с суффиксами *-ен-* и *-ес-*) имеют окончание *-е*: времене (прешедшаго), с небесе. Подобное же окончание имеет родительный падеж единственного числа *дщерь* (*дщи*) и *мати:* от дщере, брат единия матере;

в) в творительном падеже множественного числа имена существительные мужского рода имеют окончание *-и*, например: В, предлог... значит же стояние и движение с разными падежи;

г) имеет место форма звательного падежа в одном примере (**О члвѣче**), а также в предисловии (благоразумному читателю);

д) приводятся формы двойственного числа существительных и местоимений; например:

вама, двойственного числа, дательного и творительного падежей, вместо рещи двум вам; *ваю*, двойственного числа... вместо рещи двух вас; Губы, славенски *устнѣ*;

е) полные прилагательные мужского рода в именительном падеже единственного числа имеют окончание *-ый* (а не *-ой*); например:

боровый, бреговый, вторый, живый, косый, (брег) морский, смешный, сухий, худый и др.;

ж) Отмечаются некоторые старые, церковнославянские формы в глаголах; например:

— неопределенное наклонение на *-ти* или *-щи*: бунтовати поощряю, млеком питати престаю, плавати в пристанище, писати своею рукою, ратовати или воевати начинаю, смерти или умрети желаю и др.; не можем рещи, рещи

двух вас и др.; — 2-е лицо единственного числа настоящего времени с окончанием *-ши*: аз читаю, а ты спиши; аз глаголю, а ты поеши; — имперфект и аорист (из церковнославянского языка): *Бых* яко нощный вран на ырищи; *бяше*, глагола существителна времене прешедшаго, числа единственна, лице третие, *изчезе*, ’εξέλειπε, defecit, derelictum est (в дополнении к лексикону); У (ОУ)... в глаголах же сложных значит время прешедшее, яко сплю — *уснух*; Язычницы суще *вѣдяху* яже *прорицаху*; Употребление нетематического глагола в 1-м лице с окончанием *-мъ*: вѣмъ, зри вѣдаю; и невѣмъ... ignoro.

Все эти языковые черты могут быть отмечены и в предисловии к словарю.

III

„Лексикон треязычный“ Федора Поликарпова и его „клевретства“ был составлен прежде всего для того, чтобы помочь „немощи дѣтстѣй славенороссийских отроков“, для слушателей Московского славяно-латинского училища (это указано и в предисловии). Юношество, во-первых, сможет узнать „славенска языка свойство и пространство каково и колико“; во-вторых, оно получит „по алфавиту, сиречь по азбуцѣ“ составленный словарь для переводов с русского на греческий и латинский. Наконец, „потребна же сия книга и грамматического сочинения тщателем, без нея же аки пчелѣ без крил“ (стр. 13).

При этом составители „Лексикона“ не сомневаются, что делают богоугодное дело: „благоразумный читателю, отъдаждъ твою сумнительную мысль несмыслящим разсудити день от нощи и тму от свѣта, а книгу сию потребную от лжи и навѣта“ (стр. 12—13). Поэтому станет понятным, что в словаре подробно обработаны понятия, находящиеся в связи с религией и церковной жизнью (например: авва, Аврам, ангел, ангелский, акаѳист, амин, бог, божий и под.). Приводим три статьи, характерные в этом отношении.

„Кости от анатомиков, в человеческом телеси числятся с҃мз (т. е. 247), во главе ·н҃е· (53), в персех ·ѯ҃з· (67), в мышцах и руках ·ѯ҃а· (61), в ногах ·ѯ҃· (66); членов же во всем человецѣ толико, елико во всем годе дней, сирѣчь ·т҃ѯѕ· (366). О человѣче, на всяк день хвали бога, его бо в тебе мудрость зрится многа“. Это последнее предложение звучит как извинение человека, который знает такие вещи.

„Сывилла συβίλλα, sybilla, речение сие греческое, значит пророчицу, еолически τοῦ σιοῦ βουλή, значит божий совѣт,

ϑεοβούλη, προφῆτις, пророчица, обаче язычницы суще не вѣдяху яже прорицаху, якоже и Валаам, Саул, Кайфа и прочии".

„Чистец, огнь чистительный, καϑαρτήριον πῦρ, purgatorium. Западное о сем зломыслие, но святая мати наша восточная церков греческая сие проклинает". Автор ограждается от догмы католической (западной) церкви о чистилище.

Некоторые иностранные слова в словаре заменены русскими или церковнославянскими, например: аер, воздух; скиния, зри сень; доктор, врач, лекарь; кушак, зри пояс; история, повѣсть... historia, и др.

В словаре приводится много древнееврейских и греческих слов. Например: *Сикера*, речь еврейская, значит всякое піянственное питие, σίκερα, sicera." Подобно этому слову объясняется слово *оловина:* „Оловина, питие всякое хмельное кроме вина виноградного, σίκερα sicera"; „Пикралида, или желтяница, трава, с нею же иудеи ядоша пасху"; „Сѵнопсис, собрание краткое вещей, σύνοψις, ... synopsis" и др. Также находим слова: Аѳины, Вакх, варвар, сѵллогисм, сѵмвол и т. д. В числе встречающихся в словаре слов латинского происхождения следует отметить слова, заимствованные в более позднюю эпоху: *фортеца*, зри твержа или крѣпость; *фортуна*, зри счастие; *фундамент*, основа, зри основание, и др.

Дальнейшие исследования должны выяснить, какие разделы науки представлены в словаре, много ли слов, выражающих понятия естествознания и других наук, и т. д. Но не подлежит сомнению, что „Лексикон треязычный" Федора Поликарпова, кратко охарактеризованный здесь, представляет собой не только ценный источник для изучения истории русского языка, но и важную веху в культурном развитии русского народа.

Петер Кирай
Будапешт

О ПЕРЕХОДНОМ ВОСТОЧНОСЛОВАЦКО-КАРПАТО-УГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ В ВЕНГРИИ

С точки зрения возможности изучения разных славянских диалектов Венгрия находится, благодаря своему географическому положению, в весьма выгодном положении. Из числа диалектов южнославянских языков у нас представлены все диалекты сербохорватского языка, а также и словенский язык. Благодаря тому, что в нашей стране живет много болгар огородников, у нас можно было бы изучать, пожалуй, и некоторые болгарские диалекты. Что касается западнославянских языков, то они представлены в Венгрии всеми тремя диалектами словацкого языка; у нас было даже одно польское горальское село (жители которого, к сожалению, были расселены в недалеком прошлом). Нельзя считать выгодным наше положение лишь в отношении восточнославянских диалектов; в настоящее время мы имеем сведения об одном селе — о с. Комлошке, в котором говорят на карпато-угорском диалекте (лемковского типа). Помимо этого, однако, в нашей стране есть еще несколько сел с восточнословацко-карпато-угорским смешанным диалектом.

В дальнейшем будут изложены наблюдения, сделанные мною при изучении указанного смешанного восточнословацко-карпато-угорского диалекта. Должен подчеркнуть, что мои исследования еще не закончены, поэтому вполне возможно, что те или другие из толкований, изложенных ниже, в той или иной мере будут изменены при окончательной обработке материала. Настоящую статью я считаю только предварительным отчетом, не претендующим на полноту и законченность.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ УКАЗАННЫХ СЕЛАХ И ИХ НАСЕЛЕНИИ

В научной литературе по славяноведению до сих пор, по сути дела, не было отмечено даже существование этих сел. Штольц (J. Štolc, Nárečie troch slovenských ostrovov v Mad'arsku. Bratislava, 1949, стр. 305—306) упоминает о двух из них, называя их „украинскими", а позднее мною была дана информация о них в некоторых отечественных журналах и недавно — в журнале „Вопросы языкознания" (1957, № 1, стр. 159).

К указанному диалектному типу относятся десять сел, а именно: Вегардо (Végardó, комитат Zemplén), Кань (Kány), Алшогадь (Alsógagy), Гадьапати (Gagyapáti), Саразкек (Szarazkék), Абауйсольнок (Abaújszolnok), Гадна (Gadna, комитат Abaúj), Ракаца (Rakaca), Ирота (Irota), Абод (Abod, комитат Borsod), — следовательно, все эти села находятся в северо-восточной части Венгрии. Численность населения, говорящего на этом диалекте, очень невелика: больше всего в с. Ракаца, а меньше всего (несколько стариков) — в с. Алшогадь и Гадьапати.

В этих пунктах (как и в большинстве славянских поселений на территории Венгрии) славяне живут лишь сравнительно недавно, с первой половины XVIII столетия. Жители этих сел вышли не из одного центра, а из разных мест (областей), причем процесс пополнения населения длился долго, а кроме того, наряду со славянами (закарпатско-украинскими и восточнословацкими) там поселились и венгры. Пока я, к сожалению, не могу точно установить, откуда пришли жители того или другого села. По всей вероятности, переселенцы пришли из западной части области распространения карпато-угорского диалекта и из восточной части области распространения восточнословацкого диалекта.

Чтобы иметь более ясное представление о процессе заселения этих деревень, я коротко расскажу историю заселения с. Вегардо. Это село относилось к шарошпатакской крепости, находившейся на территории родового имения семьи Ракоци. Во время освободительной борьбы Ференца Ракоци Второго село было опустошено, и жители его стали бездомными (1705). После поражения Ракоци село было отдано герцогу Траутсону, который переселил туда собранный им в разных местах „кондуцированный новый народ" (1711). Однако село не могло быть еще в то время целиком заселено, так как в переписи от 1715 г. мы находим упоминание о трех заброшенных

и 19 разрушенных крестьянских дворах. Во время чумы в 1740 г., число жителей села снова резко сократилось. Нужно также заметить, что в XVIII в., кроме крепостных крестьян, на полях крупных земельных угодий работали и батраки, бродячие сельскохозяйственные рабочие, не проживавшие постоянно в одном месте; часть их позднее все-таки осела. Этот факт также способствовал дальнейшему увеличению смешения населения.

Каково могло быть население изучаемых сел с точки зрения языка и национальной принадлежности? Судя по фамилиям, сохранившимся в переписях от 1715 и 1720 гг., можно предполагать, что население было уже смешанным: большинство составляют венгерские фамилии, но наряду с ними стоят там и фамилии словацкого и даже русского типа. Б. Матиаш около 1730 г. писал, что там жили „Rutheni". По Лексикону 1773 г., далее по Корабинскому, Сирмаи и Феньешу, население с. Вегардо было венгерским, а по Цорнингу, — словацко-русским или словацким: Пешти считал с. Вегардо словацким, тогда как Х. Стрипски — русским („русское село"). В одном стихотворении, написанном около 1800 г. (равно как и в схематизме 1858 г.), с. Вегардо названо русским селом. Относительно языка жителей Вегардо, впрочем, в разных источниках говорится по-разному. Так, например, в одном источнике (1933 г.) указано, что они говорят „tótul", т. е. на словацком языке, но там же несколько ниже отмечено, что они говорят „oroszul", т. е. на русском языке. Более того, даже среди жителей села мы сталкиваемся с такой же неопределенностью в данном вопросе: во время моего пребывания там мне сказали однажды, что они говорят „po slovenski" а в другой раз — „po ruski". Кто-то говорил мне даже о том, что они происходят от русинов. Впрочем ясно, что под наименованиями „Rutheni", „orosz" и т. п., которые встречаются в источниках и вообще в литературе, нужно понимать не только униатских славян (руснаков, т. е. униатских восточных словаков), но и закарпатских украинцев, по крайней мере с точки зрения языка, тем более что в говоре с. Вегардо в самом деле обнаруживаются и карпато-угорские элементы.

Для выяснения характера языка поселенцев изучаемых десяти сел в период их заселения необходимо детально изучить и названия полевых участков на околице деревень. Наряду с этим нужно учесть и свидетельства языка материалов местных архивов и записей. Мои исследования в этой области, к сожалению, пока что не привели к значительным

результатам. Правда, мне удалось найти суппликацию, написанную до 1711 г. униатскими жителями с. Ирота (они были „руснаки“, а по вере православные). Она написана на восточнословацком языке с чешскими элементами (но без элементов карпато-угорского диалекта!). Однако этот единственный источник не может служить решающим свидетельством.

ЯЗЫКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

I. В предыдущей части я старался подчеркнуть важность исторических факторов, связанных с заселением названных сел, с точки зрения формирования изучаемого диалекта. Само собой разумеется, что формирование восточнословацко-карпато-угорского переходного диалекта (так же как и его современное состояние) можно проследить лишь в том случае, если мы будем изучать его в тесной связи с историей данного населения. И сверх того, конечно, было бы очень важно установить, как происходил процесс унификации, т. е. каким образом сливались два различные по характеру диалекта — восточнословацкий и карпато-угорский — и как сглаживались их различия.

Теперь я перехожу к изложению некоторых языковых особенностей, характеризующих современное состояние изучаемого смешанного (переходного) диалекта. Отмечу, что данные будут приведены только из говора четырех сел, так как особенности в остальных селах в основном совпадают с этими. Села, из которых приводятся данные, следующие: Вегардо (=V), Ракаца (=R), Абауйсольнок (=Sz) и Абод (=A).

A. **ě>i**: *šumne misto* V, R — *misco* Sz, *vitor* V, Sz — *viter* R, A, *bil'mo* V, R, Sz — *bijmo* A, *cipi* V, R, Sz, A, *hl'ib* V — *hl'ip* R, Sz — *hjib(a)* A, *hl'iv* V, R, Sz — *hjiv* A, *šňih* V, R, Sz, A, *hňizdo* V, Sz, A — *hl'izdo* R, *bile* V, R, A, *viri* (род. пад. ед. ч.) V, R, A, *obit* R — *obid* Sz, A, *d'ifka* V, R — *d'iu̯ka (-ča)*, *A*, *hrich* V, R, A, *d'ido* V, *viňec* V, *mišačok* V, *švit* V — *švid* R, A, *t'ilo* V, *ňimi* V, *l'ipše* V, R, Sz, *ut'ikati* V, *šimjačko* R, *špivati* V, *pond'ilok* R, *ft'ikati* R, *doras ti povim* V, R, Sz, A, *terpiti* Sz, A, *krašňi* (наречие) Sz, *daj sobi poki* V, R, *na dubi* V, *na voži* V, A — *na voźi* R, *na nebi* R, Sz, A, *u tepli* R, Sz — *u cepli* A, *na nohi* R, Sz, A, *na stol'i Sz—na stoji* A.

e>e: *žem (< zemь)* V, A, *česnok* V — *česnik* R, Sz — *cesnik* A, *t'el'a* V — *tel'a* R — *ceja* A, *otec (< -ьсь)* V, R, Sz, A, *jarec* V, R, Sz, A, *koňec* V — *konec* R, Sz, *žena* V, R,

Sz, *čelo* R, Sz, A, *med* V, R, Sz, A, *šest* R, Sz, A, *sedem* V, R, Sz, A, *remeň* V, R, A, *koreň* V, R, Sz, A, *jeseň* R, Sz, A.

e > i: *postil'* V, R, Sz, *ješiň* V, *šidlo* 'седло' R, *mitla* R, *večir* Sz, *remiň* Sz, *ošiň* Sz, *perstiň* Sz, *koreňi* (им. п. мн. ч.) Sz.

Приведенные здесь фонетические варианты можно классифицировать следующим образом:

ě > i: общее изменение, наблюдаемое во всех украинских диалектах (см. Víra, 82; Геровский, 462; Панькевич, 403, 39—43)[1], но оно встречается также и в восточнословацких диалектах. — Все случаи изменения **ě > i** в открытом слоге в конце слов, которое неизвестно в восточнословацком диалекте, можно отнести к явлениям украинского происхождения (таковы, например: *krašňi* — наречие, *sobi* — дат. п. ед. ч., *na dubi*, *na nohi* — местн. п. ед. ч.); кроме того, явлением украинского происхождения можно считать *i*, встречающееся преимущественно в открытом слоге в положении внутри слова (в корне), в случаях, не наблюдаемых в восточнословацком диалекте, например: *misto*, *bil'mo*, *t'ilo*, *cipi*, *pond'ilok*, *ft'ikati*, *jito* (< *lěto*).

e > i: в украинских диалектах на месте первоначального краткого **e** — вследствие превращения открытых слогов в закрытые — перед первоначальными мягкими согласными (например, *remiň* < *re-me-пь*), а также в закрытых слогах (например, *poňis* < *poneslъ*) мы находим **i** (ср. Панькевич, 51—53, 403; Вира, 78; Геровский, 462). Первый из этих случаев (*remiй*) не известен в восточнословацких говорах, именно поэтому все наши данные подобного типа нужно считать украинской особенностью.

e > e: согласно сказанному вполне естественно, что когда в указанных выше случаях мы находим **e** в диалекте названных сел, мы имеем дело с восточнословацким элементом (например: *remeň*, *koreň*, *ješeň*, *poscej*, *sedem*, *šest* — *šejs*, *med*, *l'ed*).

Б. **tort, tolt, tert, telt > trat, tlat, tret, tlet:** *brada* V, R, Sz, A, *drahi* (< *dorga*) V, A — *draha* R, Sz, A, *zlato* V, R, Sz, A, *mlatok* V, R, Sz, A, *vrabl'i* Sz — *vrabel'* V — *vrabej* R, A, *dlatko* V, R — *dlatvo* A, *hladno* V, R, Sz, A, *hladok* R, A, *vlasi* V, *blato* V, R, Sz, A, *krava* V, R, Sz, A, *slama*

---

[1] Использованная литература: Іван Панькевич. Українські говори Підкарпатської Руси. Прага, 1938; G. Gerovskij. Jazyk Podkarpatské Rusi (Čslov. vlastivěda. III. Jazyk). Praha, 1934; J. Víra. Hláskosloví ostrňského hovoru. «Sborník Matice slovenskej», VIII (1930); J. Stanislav. Pôvod východoslovenských nárečí. «Bratislava», IX (1935); O. Broch. Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Kristiania, 1897.

V, R, *vrana* V, Sz, A, *hlava* V, R, Sz, A, *mladi* 'молодой' V, *slatke* V, *mraz* R, Sz, A, *braniti* A; *breh* V, Sz, A — *brech* Sz, R, *pred* V, R, A, *brezina* V — *breza* R, *vrecinko* V — *vreceno* Sz, A, *drevo* V, Sz, A — *smrekove drevo* R;

> **torot, tolot, teret:** *molodi* 'жених' V — *molodica* 'невеста' V, *molotok* Sz, *boroniti* Sz, *boroda* Sz, *vorobl'i* Sz, *doloto* Sz, *korova* Sz, *borona* — *brani* Sz, *polotno* — *platno* Sz; *čereslo* V.

> **tlot:** *hlop(b)* R, Sz — *hlopec* R, *mloda* 'невеста' R, Sz, A — *mlodi* 'жених' R, Sz, A, *viplokati* V, R, Sz, A.

В связи с этим ср. также следующее: из трех вариантов, имеющих место в языке данных местностей, общим является форма словацкого типа — **trat, tlat, tret, tlet** (например: *brada*, *zlato*, *brech*, *ml'iko*), а польский тип — **tlot** имеет место лишь в некоторых словах (*hlop* ~ *hlopec*, *mloda* ~ *mlodi*, *viplokati*; из них форма *hlop* является общей восточнословацкой формой); полногласный тип **torot** имеется также лишь в небольшом количестве слов, на самом деле только в с. Абауйсольнок (например: *molodi* ~ *molodica*, *molotok*, *boroda* и т. д.). Для диалектов Закарпатской Украины типичными являются полногласные формы, а слова типа *trat* и *tlot* бытуют только в западных местностях, смежных со словацкой диалектной областью (Панькевич, 163—164).

B. **s + ь, ě, e, i... > s:** *spim* V, R, A, *sedem* V, R, Sz, A, *nesem* V, A, *sito* V, R, Sz, A, *sňilo ša mi* V — *snilo ša mi* R, *vin sid'it* V, *sive* V, R, *serp* V, *serco* R, Sz, A, *sestra* R, Sz, A, *jeseń* Sz, *persa* 'грудь' Sz, *prosil* Sz, *bul si* R, A, *smert* Sz, A, *nese* V, R, Sz, A;

s + ь, ě, e, i... > ś: *uśćipnem* V, *śerco* V, *śvička* V, *śvit'id* Sz, *śmijeme śa* V, *śestra* V, *rośśijeme* V — *śijeme*, *zaśijeme* R — *pośijeme*, *śiju*, *rośśati* Sz (< *sěti*), *tiśic* V, R, *śedlo* V — *śidlo* R, *śňih* V, A, *śa* R, Sz, *huśata* R, Sz, *śadňe* R, Sz — *śidit* Sz — *śid'im* A, *ośiň* Sz, *śino* Sz, A, *miśac* Sz, *deśat'* Sz, *śvit* Sz;

s + ь, ě, e, i... > š: *šerco* V, *ješiň* V, *švička* V, R, Sz, A, *šmijati ša* V — *šmije śa* R — *šmije še* A, *šestra* V, *pošijem* V — *šati pšenicu* V — *šijeme pšenicu* A, *tišic* V, A, *hušata* V, A, *šedlo* 'седло' V — *šidlo* R, A, *šňih* V, R, Sz, *šedne* V, *ša* V, R, A, *dešad'* V — *dešat'* V — *dešad* R — *dzešati* A, *švit* V — *švid* R, *ši* V, *špivati* V, R, A, *šino* V, R, *šimjačko* R.

Как видим, и здесь мы имеем дело с тремя вариантами. Твердый согласный звук *s* нужно рассматривать как явление украинского языка, а мягкий согласный *ś* и *š* — как явление восточнословацкое (ср. Панькевич, 120—123, 404—405, Геров-

ский, 476—477, Вира, 122). Мягкое *ś* наблюдается и в западном уголке карпато-угорской диалектной области, в области на запад от реки Топля и на север от реки Ондава (Панькевич, 120, 123, 168), однако в этих местах наличие его можно считать результатом восточнословацкого влияния (Панькевич, 404—405).

Г. 3-е лицо единственного числа настоящего времени:

1) без суффикса: I группа глаголов: *vede* V, R, Sz, A, *nese* V, R, Sz, A — *prinese* A, *peče* V, R, Sz, A, *umre* V, R, Sz, *A*, *vil'ije* R, Sz — *vijije* A; II группа: *spadne* V — *spanne* A — *chpade* Sz, *dzvihne* R; III группа: *terpi* A, *rozumi* A; IV группа: *hvaji* A; V группа: *pita* A, *vezme* V, A — *vozme* R, Sz, *zna* V, R, A; VI группа: *kupi* A; атематические глаголы: *da* A, *ji* A, *ma* A;

2) с суффиксом **-t**: III группа: *terpit* V, R, Sz *(po)rozumit* V, R, Sz; IV группа: *hval'it* V — *chval'it* R, Sz; V группа: *pitat* V, R, Sz, *vin užast* V, *znad* Sz; VI группа: *kupit* R, Sz; атематические глаголы: *dazd* R — *dast* Sz, *jist* R, Sz, *jest* R, Sz — *jezd* R, *mat* Sz.

Относительно двойственности, которую мы здесь видим, отметим следующее: что касается глаголов I и II групп, в данных местностях мы находим *e*, так же как и в диалектах Закарпатской Украины (например: *vede*, *spadne*; ср. Геровский, 463), правда, это же окончание мы находим и в восточнословацком диалекте. Что касается глаголов III—VI групп, здесь имеется украинское окончание *-t*, распространенное в западной половине карпато-угорской диалектной области (например: *terpit*, *hval'it*, *pitat*, *kupit*, *dazd* и т. д.; ср. Панькевич, 309, 311); формы без *-t* более редки (в диалекте с. Абод, например: *terpi*, *hvaji*, *kupi*, *da;* абодские глагольные формы свидетельствуют о влиянии восточнословацкого диалекта, ср. Панькевич, 309).

В качестве дополнения я еще отмечу, что карпато-угорские элементы диалектов данных сел по сути дела можно отнести к западной группе диалектов, им свойственны некоторые черты так называемого лемковского наречия.

II. Теперь я перехожу к рассмотрению отдельных явлений переходного восточнословацко-карпато-угорского диалекта с точки зрения их происхождения. В связи с этим может казаться странным, что о некоторых явлениях я упоминаю и среди восточнословацких признаков, хотя они по происхождению являются в конце концов карпато-угорскими или польскими, чуждыми восточнословацкому диалекту. Это кажущееся противоречие объясняется тем, что эти действительно

чужие элементы с течением времени укоренились в восточнословацком диалекте, и уже в XVIII в. они стали характерными особенностями восточнословацкого диалекта. Кроме того, отмечу еще, что в этом разделе я не буду перечислять все явления, а укажу только на несколько явлений с целью дать общее представление о данном вопросе.

Элементы восточнословацкого характера

Гласные звуки: 1. **ъ > о** (общее явление), **е**, **і**; 2. *ę > e*, e*j* ~ *'a*, *i̯a* (в слоге с долгим согласным; общ.); 3. *o > o* (в закрытом слоге; общ.); 4. *ě > i* (в корне слова встречается часто) ~ *e*; 5. *e > e* (реже), *e* (после *č*, *ž*, *š*, *j*; общ.), *a* (в нескольких словах); 6. *i > i* (после *š*, *ž*; общ.); 7. *ы > i* (общ.); 8. *je- > je-* (общ.); 9. контракция (общ.); 10. *tort*, *tolt*, *tert*, *telt > trat*, *tlat*, *tret*, *tlet* (общ.) ~ *tlot* (в нескольких словах, как явление польского происхождения).

Согласные звуки: 1. *d'*, *t' > dz*, *c* (довольно редко); 2. *s*, *z > ś*, *ź* и *š*, *ž* (чаще); 3. *r' > r* (общ.); 4. отсутствие эпентетического *l'* (общ.); 5. *dl > dl* (общ.); 6. *dn > dn* (общ.); 7. *ch > h* (общ.); 8. *v > f* (перед согласным звуком, в нескольких словах), *u̯* (довольно часто).

Элементы карпато-угорского характера

Гласные звуки: 1. *ъ > o* (общ.); 2. *ę > 'a*, *ia* (общ.); 3. *o > i* (более редко); 4. *ě > i* (в корне, представляющем собой открытый слог, часто; в закрытом слоге, общ.); 5. *e > i* (часто), *o* (после *č*, *ž*, *š*, *j*; более редко); 6. *ы > ї* (редко); 7. *je- > o-* (в одном слове); 8. *tort*, *tolt*, *tert*, *telt > torot*, *tolot*, *teret*, *telet* (редко).

Согласные звуки: 1. *d'*, *t' > d'*, *t'* (довольно часто) и *d*, *t*, *l*, *n* (часто); 2. *s*, *z > s*, *z* (часто); 3. *r' > r'* (в нескольких случаях); 4. *l'* эпентетическое, или *i̯*, *ň* (в некоторых случаях); 5. *dl > l* (в Абауйсольноке, часто); 6. *dn*, *dň > nn*, *ň* (в Абоде, редко); 7. *v > u̯* (довольно часто); 8. *v- > u-* (в начале слова, редко).

III. Переходный характер диалекта указанных сел выявляется и из приведенных фактов языка. Но этот переход обнаруживает разные степени.

А. Первой, можно сказать, полной степенью смешения является случай, когда наблюдаемое явление встречается во всех возможных случаях. а) Из словацких элементов такими являются например, следующие: *i > i* (после *ś*, *ž*), контракция, *ch > h*, *-och* (множ. ч. род. местн. п. ж. р.), *-om*

множ. ч. дат. п. ж. р.), *-ыј* > *i* (ед. ч. м. р. прилаг.), *-ei̯* (род. — дат. — местн. п. ед. ч. ж. р. прилаг.), *-oho*, *-omu* (род.— дат. п. ед. ч. м. и ср. р. прилаг.), *-am*, *-em*, *-im* (1-е л. ед. ч. наст. вр.), *-u* (1-е л. ед. ч. наст. вр. только в с. Абауйсольнок). б) Из карпато-угорских элементов: *tьrt* > *tert* (перед твердыми зубными согласными), *-i* (множ. ч. им. — винит. п.: *koňi*), *-i* (дат. — местн. п. ед. ч. ж. р.), *-'a* (им. п. ед. ч. ср. р. у слов с корнем на *-jo*), *-oho*, *-omu* (род. — дат. п. ед. ч. прилаг.), *-u* (1-е л. ед. ч. наст. вр.; в с. Абауйсольнок), *-t* (3-е л. ед. ч. наст. вр., всюду за исключением с. Абод), *-ti* (неопр. форма глагола).

Б. Некоторые явления представлены в одной группе слов формами словацкого характера, а в другой — формами карпато-угорского характера; реализация этих явлений, разумеется, меняется по селам. Например:

а) У гласных: 1. *ъ* > *o* ~ *e*,*i*; 2. *ę* > *'a*, *i̯a* ~ *e*, *ei̯*; 3. *o* > *i* ~ *o*; 4. *ě* > *i* (в закрытом слоге) ~ *i* (в корне, представляющем собой открытый слог, и в конце слова); 5. *e* > *i*, *o* (после *č*, *ž*, *š*, *j*) ~ *e* (и после *č*, *ž*, *š*, *j*), *a*; 6. *ы* > *ï* ~ *i*; 7. *je* > *o* ~ *je*; 8. *torot*, *tolot*, *teret*, *telet* ~ *trat*, *tlat*, *tret*, *tlet* — *tlot;*

б) У согласных: 1. *d'*, *t'* > *dz*, *c* ~ *d'*, *t'* и *d*, *t;* 2. *s*, *z* > *ś*, *ź* и *š*, *ž* ~ *s*, *z;* 3. *r'* > *r* ~ *r';* 4. эпентетическое *l'* > > *ø* ~ *l'*, *i̯*, *ň;* 5. *dl*, *dn* > *dl*, *dn* ~ *l*, *n;* 6. *v* > *f* ~ *u̯*, *u;*

в) В морфологии: 1. *koňe* ~ *koňi* 2. творит. п. ед. ч. ж. р.: *-u* ~ *-ou̯* ~ *-om;* 3. *mňe* ~ *mene*, *tebe* ~ *tobi*.

В. Степень смешения элементов двух диалектов заметно меняется по отдельным селам. Можно установить, например, что говор Абауйсольнока ближе всех к русскому (ср. *torot* и т. д.), а говор Абода — к словацкому (ср. отсутствие *-t* в 3-м л. ед. и мн. ч. наст. вр.). Итак, говоры указанных сел — хотя по характеру они представляют единство — в большей или меньшей мере отличаются друг от друга, ибо есть явления, которые встречаются лишь в говоре того или иного села. Таковы, например, в говоре Абода следующие явления: *l'* > *j*, *-u* (творит. п. ед. ч. ж. р.), отсутствие *-t* (3-е л. ед. и мн. ч. наст. вр.), *budem špival* (и в Ракаце), *som* (< *jesmь*); в Абауйсольноке: *dl* > *l*, *-u* (1-е л. ед. ч. наст. вр.), *-om* (творит. п. ед. ч. ж. р.; употребляется и в Ракаце); в Вегардо: *-ou̯* (творит. п. ед. ч. ж. р.).

Конечно, как мы уже говорили, в большинстве случаев отдельные явления выступают в диалекте названных сел почти в каждом слове иначе: мы находим то одни, то другие варианты. Если, например, взять только варианты звуков *r̥* и *l̥*;

мы увидим, что между отдельными селами есть большая разница. Или, например, у числительных *desętь*, *devętь* имеются следующие формы: *devjat'* V, *devjad* R, *dzevec* A ~ *dešat'* V, *dešat'* Sz, *dešad* R, *dzešec* A. Таких примеров можно привести сколько угодно.

Г. Местами наблюдается различие в речи и между поколениями. В Абоде, например, я заметил следующее: *lokec* (у людей среднего возраста) — *loket* (у людей пожилых). В этом находит свое объяснение и существование двойных форм, встречающихся в Абауйсольноке: *mlatok* — *molotok*, *krava* — *korova*, *brani* — *borona*, *platno* — *polotno*, и т. д., из которых полногласные формы употребляются в речи стариков.

Д. После этого естественно встает вопрос: каков в конце концов диалект указанных сел — восточнословацкий или карпато-угорский?

Выше мы видели, что говор каждого села смешанный и, далее, что степень и характер смешения в разных селах неодинаковы. Языковую принадлежность говоров этих сел точно установить нелегко. Трудности заключаются в следующем.

Если опираться на мнение Панькевича, по которому основным критерием различения словацких и карпато-угорских диалектов является полногласие (Панькевич, IX), сохранившееся и в тех карпато-угорских диалектных островах, которые окружены словацкими говорами (Панькевич, 163), то диалект указанных местностей нельзя считать карпато-угорским. С другой стороны, в диалекте данных местностей встречаются такие общие черты (например, *-t* — окончание 3-го лица ед. и мн. ч. наст. вр., и т. д.), которых нет в восточнословацких диалектах (следовательно, и в западнославянских языках); поэтому диалект этих местностей нельзя считать и восточнословацким. Остается только признать, что здесь мы имеем дело в узком смысле слова со „смешанным" диалектом, „переходным" между карпато-угорским и восточнословацким.

Необходимо отметить, что таких сел с диалектом переходного типа много в западной части карпато-угорской диалектной области; относительно этого у Панькевича мы находим множество указаний и иллюстративных текстов. Однако, с нашей точки зрения, самым важным является то, что из них ни один диалект не совпадает — во всех подробностях — с диалектом исследуемых нами сел. Первая наиболее значительная разница между ними состоит в том, что в говорах сел, указанных Панькевичем, наблюдается полногласие, в то время как в селах, указанных нами, полногласия, по сути

дела, нет. Панькевич в связи с диалектом с. Словинки Н. и В. (комитат Spiš) упоминает, что там тип *torot* исчез и уступил место словацкому типу *trat* (Панькевич, 164); нет полногласия и в с. Корумля (комитат Ужгород; ср. Broch, 58 и Панькевич, 508). Конечно, вопрос о том, можно ли отнести говор с. Корумля с полным правом к карпато-угорскому диалекту, остается открытым.

Вопрос о языковой принадлежности жителей изучаемых нами сел в настоящий момент нельзя решать и на основе национального самосознания жителей, ибо число говорящих на этом диалекте так невелико (активное знание языка я наблюдал только в с. Ракаца), что жители, собственно говоря, не знают, каков их язык: иногда говорят, что словацкий (slovenski), а иногда (кажется, чаще), что русский (ruski). Последнее мнение поддерживается в них и сознанием принадлежности к униатской вере (Rusnak 'униатский').

В. Н. Перетц

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК В ПОЛЬСКОМ И УКРАИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ[1]

1

Советская историческая наука выяснила роль Киево-Печерского Патерика как проводника общественно-политических идей феодального класса конца XI—начала XII вв. Задача дальнейшего исследования — показать, как это произведение старшего периода истории русской литературы воспринималось сознанием следующих поколений читателей, как оно видоизменялось в новой исторической обстановке сообразно с новыми общественными потребностями. Не охватывая целиком весь вопрос о литературной судьбе Киево-Печерского Патерика, остановимся на польской переработке его 1635 г., принадлежащей Сильвестру Коссову, и на ее украинском переводе.

Общественно-политическое назначение этой переработки было ясно уже для исследователей XIX в. С. Т. Голубев в своем обширном труде, посвященном характеристике деятельности митрополита Киевского Петра Могилы[2], не раз указывает на определенную направленность обработки Коссова, имевшей целью защитить православную церковь на Украине от нареканий «иноверцев». В условиях жизни XVII в. это значило защищать право населения Украины на национальное бытие, право, выдвинутое как призыв зарождавшейся и крепнувшей буржуазией. Коссов полемизирует с католиками и протестантами, но под этою церковно-религиозною полемикою скрывается борьба за национальное существование в обстановке массового перехода феода-

[1] Статья написана в 1933 г. Она извлечена из неопубликованной третьей части труда В. Н. Перетца «Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVII веков» (Л., 1928—1929, ч. 1 и 2) и подготовлена к печати В. П. Адриановой-Перетц.

[2] С. Т. Голубев. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. II. Киев, 1898, гл. III.

лов — и крупных и мелких — то в католичество, то в кальвинизм. С этой чисто практическою целью Коссов в предисловии разбирает, казалось бы, узко религиозный вопрос о причинах нетления тел печерских подвижников, возражая на научные (по тогдашней мерке) доводы противников; он дает исторический, хотя и не без натяжек (понятных в остром политическом споре), обзор сведений о пятикратном крещении Руси, полемизируя с католическими церковными историками и доказывая, что Русь крестилась уже после разделения церкви и всегда была в подчинении константинопольского патриарха. Рассуждения Коссова имели и намерение защитить каноничность поставления на Киевскую митрополию Петра Могилы при жизни его предшественника, митрополита Исаии Копинского. Таким образом, «Патерикон» [3] Коссова имел тесную связь с современностью.

Сопоставляя состав «Патерикона» С. Коссова с содержанием Кассиановской 2-й редакции древнего Киево-Печерского Патерика (1462 г.) [4], мы отмечаем, во-первых, значительное количество систематически проведенных сокращений оригинала внутри переведенных статей. Во-вторых, из состава «Патерика» С. Коссов изъял послание епископа Симона и апострофы к нему и Поликарпу в рассказах об отдельных иноках; у Коссова Симон сам уже изображен как один из печерских подвижников, а не только как инициатор и один из авторов Патерика. В-третьих, рассказ Коссова радикально отличается от простого, но энергичного повествования древнего Патерика: несмотря на сокращение и исключение многих подробностей, бывших в последнем, обработка Коссова все же кажется несколько расплывчатой и бледной,

---

[3] «Paterikon abo żywoty ss. oycow Pieczarskich. Obszyrnie Słowieńskim ięzykiem przez Swiętego Nestora zakonnika y Latopisca Ruskiego przedtym napisany. Teraz zaś z Graekich, Lacińskich, Słowiańskich y Polskich Pisarzow obiasniony, y krocey podany. Przez Wielebnego w Bogu Oyca Silwestra Kossowa, Episkopa Mścisławskiego. Orszańskiego, y Mohilewskiego. W Kiiowie w Drukarni ś. Lawry Pieczarskiej Roku 1635; в дальнейшем при ссылках страницы указ. в скобках.

На обороте заглавного листа герб «Starożytnego Domu Ich MM. P. P. Kisielow» с пятью эпиграммами на польском языке: одна из них — С. Коссова, четыре — Афанасия Кальнофойского (1-й ненум. л.). Посвящение Адаму Киселю (2-й ненум. л.); «Praefacya do Iegomci» — Киселя (3—5 ненум. л.). Предисловие — «Do Czytelnika Prawosławnego» — стр. 1—11, к нему — «Appendix. O pięciorakim okrzczeniu Rusi» — стр. 11—16.

[4] Ссылки на Киево-Печерский Патерик даются по изданию: Д. И. Абрамович. Кіево-Печерський Патерик. У Києві, 1931. — «Памятки мови та письменства давньої України», т. IV, изд. ВУАН. В дальнейшем ссылки на это издание будут указываться в скобках в тексте.

хотя и украшена кое-где «цветами красноречия» и искусственно порою притянутой к тексту назидательностью, подчеркнутою то во вступлении, то в заключении рассказа. Если и из древнего Патерика видно, как иногда тесно сплеталась жизнь монастыря с княжьим двором, как близки были отношения правящей верхушки и монашества, то в обработке Коссова, несмотря на сокращения, сделанные в древнем рассказе, эта сторона повествования является особо подчеркнутой. Коссов не ограничивается летописным указанием на факты: он усердно напоминает о связях княжеской династии и ее отдельных членов с монастырем и его деятелями. Затронутый развивающейся городской культурой автор XVII в. усиленно, почти сервилистически, подчеркивает близость князей к монастырской братии (очевидно, в назидание современности), тогда как писатель начала феодальной эпохи спокойно приводит факты такой близости — и в то же время подчас острых столкновений этих двух политических сил древней Руси, обычно друг другу помогавших. Все сказанное неизбежно должно было проявиться в обработке Коссова как в отношении содержания, так и в отношении литературной формы.

Каждое литературное произведение, попадавшее в древности в состав того или иного сборника определенного состава и назначения, как известно, носило на себе следы работы редактора, приспособлявшего его — для выполнения новых функций — к общему тону, диктовавшемуся назначением сборника в целом, стилистическими вкусами составителя и, главное, основной его тенденцией. Естественно, что все рассказы Патерика должны были претерпеть подобные изменения, в том числе и примкнувшее к первоначальному Патерику житие Феодосия, написанное Нестором. Поэтому сначала остановимся на приемах, изменивших облик 2-й Кассиановской редакции древнего Патерика в угоду требованиям эпохи — требованиям, выдвинутым практикою и сформулированным в соседней польской литературе со времени Петра Скарги, и, стало быть, требованиям того нового общественного слоя, к которому по рождению и воспитанию принадлежал этот типичнейший представитель польской литературы конца XVI—начала XVII в., остававшийся на протяжении столетия, а, может быть, для некоторых слоев общества и долее, идеалом писателя.

Не одно стремление убедить в правдивости рассказа, не одна суровая назидательность, но и известного рода «чувствительность», умилительность должны были являться отличительною чертою повествования о героях религиозной легенды. Факт в нем — только повод к морализации, повод для раскрытия «ве-

лений божественного промысла», для нравственного наставления; отсюда — насыщенность морализирующим содержанием, но отсюда и бледность рассказа вследствие обилия общих мест, сентенций, годных на всякий случай и потому лишенных конкретности. Вместо повествования здорового, хоть и грубоватого, шедшего прямо к цели, — какое-то расплывчатое нагромождение стилистических украшений, изысканных и сложных, отвечавших господствовавшему в изобразительном искусстве стилю барокко. А наряду с этим — неожиданное и неоправданное щеголянье вульгарными присловьями, поражающее, например, у проповедников того времени при трактовке ими серьезной темы. Низкопоклонство пред сильными мира — князьями, владыками, пред всеми имеющими гербы — и пренебрежительное отношение к лишенным этой привилегии и к «неукам», оставшимся таковыми не по своей вине, а по вине всего социального строя той эпохи, — такова отличительная черта эпигонов Скарги, в том числе и украинских его подражателей XVII в.

Все это в значительной степени нашло отражение и в обработке Патерика, произведенной С. Коссовым, который, кстати сказать, вооружаясь против «еретиков» на защиту традиции, сам делает уступку веяниям времени, кое-где сокращая наивные рассказы древних авторов о кознях бесов и исключая то, что кажется ему, может быть, слишком неправдоподобным, но делает он это совершенно непоследовательно.

Приведем несколько примеров, чтобы представить себе, в каком направлении шла литературная обработка Патерика.

Из статьи «Нестора мниха обители монастыря Печерскаго сказание, что ради прозвася Печерьский манастырь. Слово 7» (стр. 16—20), делая стилистические сокращения, Коссов опускает поучительный для древнего читателя рассказ, но, извлекая материал для биографии Антония, ничего, указывающего на связь монастыря с князьями, не выпускает; так поступает он и далее в аналогичных случаях.

Патерик насыщен рассказами о «нечистой силе», ее проделках и борьбе с нею монахов, часто победоносной — до принуждения бесов таскать бревна или работать в пекарне. Это древнее наследие восточных патериков не всегда нравилось Коссову: так, например, часто описывающий нелады монахов с «nieprzyiacielem dusznym» и пересказавший без сомнений, как Исаакий плясал для потехи бесов (стр. 79), он опустил рассказ о борьбе Илариона с бесами (стр. 48—49). Также умалчивает он и о примитивном по своей простоте излечении Моисеем Угрином одного из братии от телесной похоти ударом посоха в лоно, от чего «абіе омертвѣша уды его и оттолѣ не бысть пакости брату»

(стр. 148). Вместо этого говорится, что старец только «dotknął się ciała iego laską» (стр. 116).

Иногда Коссов намеренно, с благочестивою целью, изменяет оригинал. Так, Алимпий, по Патерику, делит свой заработок на три части: «едину часть на святыа иконы (т. е., вероятно, на дальнейшее их производство), а вторую часть в милостыню нищим, а третюю часть на потребу телу своему» (стр. 174). Это ясно и понятно. У Коссова же читаем: «Rozdzielał był za pozwoleniem swego starszego na trzy części pożytek zabawy swoiey: iednę część na obrazy, drugą część na iałmużny ubogim, trzecią na Monasterską potrzebę» (стр. 91).

В некоторых случаях Коссов смягчает выражения древнего автора, давая им более «пристойную» для назидательно-религиозного произведения форму. Так, вместо слов Антония об умершем монахе («изверзи его вон вскорѣ на снѣдение псом, недостоин бо есть пребывания зде») у Коссова читаем бледный пересказ известия о поступке Антония: он приказал с выговором («z narzekaniem») «aby ten zakonnik z pieczary był wyniesiony» (стр. 161).

Но и наоборот — он допускает в своем рассказе просторечные выражения, совершенно необычные в житийной литературе славянорусской традиции, например: «Ow nieborak (больной — в житии Агапита-«лечьца») *rad będąc barziey by y łyczanemu żywotowi, niźli iedwabney śmierci*, iusz prawie zdesperowawszy o żywocie swym, kazał się wieść do ś. Pieczarskiego, słysząc często y gęsto o iego uleczeniach. . .» (стр. 97). Ничего подобного не находим в древнем Патерике.

Как выше было уже указано, работа Коссова не была только благочестивым упражнением: это видно и из его предисловия, и из отдельных мест в самих рассказах, именно в обращениях к «еретикам» (разумеются, видимо, кальвинисты, которых было немало среди волынской украинской шляхты, и ариане). Так, в житии Эразма читаем: «Ucz się, Heretyku, że obrazy są wdzięczne Matce Bożey. A ty, Prawosławny Narodzie, na obrazy dla ozdoby Cerkwie Pańskiey kosztu, iakoś zwykł, nie żałuy, abyś też zapłatę, ktorą y ten święty Erasmus w niebie odziedziczył, którey ci wiernie sprzyią» (стр. 154).

Рассказав, как князь Изяслав из-за совершенного им греха, не надел на себя, идя в бой, власяницы князя инока Святоши и погиб (ранее же спасался с помощью ее во всех опасных случаях), Коссов добавляет от себя такое нравоучение православным воинам: «Prościesz Prawosławni żołnierze, gdy z nieprzyiacielem wam potykać się przychodzi, tego xiążęcia na pomos; on was modlitwami swemi, iako wierny Chrystusow żołnierz, dobrze

sprawi, y to modłami swemi świętemi wymoże u Pana, ktory zwycięstwy disponuie, że nigdy klęski nie odniesiecie, ktorey was niechay ten że Pan uwaruie za modlitwami tego świętego xiążęcia» (стр. 152).

В этих приемах работы уже замечается влияние Скарги; еще более оно заметно в оформлении Коссовым рассказов его «Патерикона». Прежде всего, как можно видеть из его текста, Коссов, подобно Скарге, «историзует» благочестивую легенду о печерских подвижниках, указывая время жизни каждого из них точно или приблизительно; авторы древнего Патерика не придавали этому большого значения, но, подобно Скарге, Коссов пишет:

Антоний — «W zakonie poczał żyć około roku P. 1013».
Феодосий — «Żył tych że czasow, ktorych i święty Antonius Piecz».
Стефан — «Był ihumenem Piecz. R. 1075».
Дамиан — «Żył za ihumeństwa ś. Theodozego».
Агапит — «Żył około Roku P. 1084».
Прохор — «Żył około Roku P. 1113».
Пимин — «Żył około Roku P. 1139».
Спиридон — «Żył R. P. 1139 za Pimina ihumena Pieczarskiego».
Никола-Святоша — «Żył około R. P. 1106», и т. п.

В других случаях, когда явно легендарное повествование не дает основания для даты, он ее опускает. Особенно заметно приемы обработки Коссова в стиле Скарги сказались во внесении в рассказ «вступлений», разнообразящих повествование. Они бывают, как и у Скарги, просто риторическими, морализующими и историческими, дающими сравнение изображаемого героя с кем-либо из прошлого. Простейшие примеры — в житиях Антония и Феодосия. Житие Антония начинается так: «Jeszcze w pieluchach zwykła mądrość Przedwieczna miłość swoię rozżarzać w tym człowieku, ktorego na służbę do siebie ciągnie. W klar to każdy obaczy, ktory żywot ś. Antoniego Pieczarskiego na zdrową rozsądku szalę włoży» (стр. 17). Житие Феодосия у Коссова имеет следующее начало: «Jeśli w kim dziwny z swiętych swoich Zbawiciel nasz, przezacny Narodzie Ruski, pewnie y w świętym Theodozym Pieczarskim...» (стр. 24).

Более широкое морализующее вступление находим в обработке рассказа «О двою брату, о Титѣ попѣ и Евагріи діаконѣ» (слово 23, стр. 122). Вместо непосредственного вступления древнего Патерика, вводящего читателя in medias res («Два брата быста по духу: Евагрій діаконъ, Титъ же попѣ; имяста любовь велику и нелицемѣрну между собою, яко всѣм дивитися единоюмию их и безмѣрней любви. Ненавидяй же добра діавол...»),

у Коссова читаем: «Nieodpuszczanie winy iakby wiele człowiekowi szkodziło, y niemiłość zawzięta między towarzyszami, każdy nad słońce południowe iasniey wybaczyć może z tych dwu Braciey w Duchu, Tita y Ewagrego. Ci z pierwszego razu nierozerwaną miłość z sobą zawarli byli, y mieszkali przez niemałe lata w niey nieodmiennie. Diabeł on stary niezgod ociec...» (стр. 156).

Вступления нравоучительного характера начинают также рассказы о «многострадальном Пимине» (слово 35, Абрамович, стр. 179; «Патерикон», стр. 132), об Агапите-«лечьце» (Абрамович, стр. 128—129; «Патерикон», стр. 96), о Спиридоне-«проскурнике» (Абрамович, стр. 171; «Патерикон», стр. 89).

В рассказе Патерика о Николе-Святоше, Черниговском князе, постригшемся в Печерском монастыре вопреки воле других князей, содержится такое вступление чисто исторического характера: «Сей блаженый и благовѣрный князь Святоша, именем Николае, сынъ Давидовъ, внукъ Святославль, помысли убо прелесть житіа сего суетнаго и яко вся, яже и зде, мимо текуть и мимо ходять, будущая же благаа непроходима, вѣчна суть, и царство небесное бесконечно, еже уготова богъ любящим его, — остави княжение, честь и славу и власть, и вся та ни въ что же вмѣнивъ, и пришед в Печерьский манастырь, и бысть мних, в лѣто 6614 февруаріа 17. Его же вси свѣдають ту сущіи черноризци добродѣтелное его житіе и послушаніе. Пребысть же убо в поварни 3 лѣта, работаа на братію, и своима рукама древо сѣкаше на потребу сочиву, многажды же и съ брега на своею раму ношаше дрова, и едва отстависта брата его Изяславъ и Владимеръ от таковаго дѣла» (стр. 113). Коссов не был удовлетворен таким простым повествованием; ему хотелось подчеркнуть резкую разницу между богатым и славным существованием князя и скудною, полною лишений жизнью аскета, и для этого он, вспомнив легенду о царевиче Иоасафе индийском, привел ее (стр. 146—147) как пример такого же отречения от земных благ и всех прелестей мира.

Новая обработка, думается, была вызвана не только тем, что Коссова и среду, которую он представлял, не удовлетворял суровый стиль проложной памяти, определивший начало рассказа в древнем Патерике. Коссова прельщала возможность провести параллель между прославленным царевичем Иосафом (кстати, новый перевод повести о нем был напечатан в Кутейне в 1637 г.) и показать, что «дома» можно найти подобного ему подвижника. Ряд антитез имеет целью растрогать читателя и вместе с тем прославить монашеский «подвиг». Картина полной лишений жизни князя Николы-Святоши, по мысли Коссова,

должна была особенно поразить и феодала и читателя-горожанина, с ростом его материальных средств научившегося высоко ценить прелести обеспеченной жизни.

Мы видели на последнем примере, как Коссов, стремясь к трогательности и назидательности в духе литературного вкуса своей эпохи, растягивает краткое повествование древнего Патерика, вопреки основной своей тенденции — сжимать, сокращать его. Иногда, не заботясь о фактическом наполнении рассказа, он растворяет ничтожное содержание общими местами. Примером такого приема может быть обработка краткого сообщения о «чуде» 6971 г., случившемся в Печерском монастыре. В Патерике читаем: «При князи Семене Александровичи и при брате его князи Михаиле, а при архимандрите Печерьском Николе, печеру же тогда держалъ нѣкто Деонисіе, нарицаемъ Щепа. Сій прииде на Великъ день в печеру покадити телеса усопъших, и прииде, где зовется Общіна, и покадивъ, рече: «отци и братіе, Христосъ въскресъ! сего дьни есть великь день». И отвѣща, яко гром тученъ: «въ истинну въскресе Христосъ» (стр. 193, л. 215). У Коссова из этого краткого и сильно переданного рассказа получилось следующее: «Za archimandrita Pieczarskiego Mikołaia, człowieka wielce pobożnego, gdy xiążę Ruskie Semeon Alexandrowicz Roxolańskie Państwo pilnie a Chrześciańsko administrował z rodzonym swym xiążęciem Mikołaiem (sic!), w te czasy pilnym na Pieczarze świętego Patryarchy naszego Antoniego Direktorem był Presbiter Dionisius Szczepa. Za ktorego gdy pryśpiał Wielki dzień Zmartwychwstania Odkupiciela naszego, ten wedle Presbiterskiey vocaciey swey Jutrznią nabożnie odprawiwszy, wedle czasu w Pieczarach szedł pokadzić Ciała Świętych Ugodnikow Bożych. A gdy odprawiwszy rożne świętych Ulice, w ktorych y mieszkali, y teraz odpocznienia w nieskazitelności ciał swych dostąpili: przyszedł do Trapezy, co Dialektem Lacińskim Refectorium znaczy, gdzie niektorzy Bracia podczas postami zemdlone członki ciała swego pokarmem chleba a wody posilali; y iako Fest ten triumphalny potrzebował Zmartwychwstania Chrystusa śmierci triumphatora. rzekł glosem: «Swięci Oycowie y Bracia, dzisia żądło śmiertelne Chrystus Pan podeptawszy, zmartwychwstał». Y wszystka Pieczara od głosu, ktory wychodził z Ciał świętych, mowiącego wszędzie: «Zaprawdę zmartwychwstał Chrystus Pan, Oycze Dionisy»; iako od grzmotu nieiakiego zadrżawszy zatrzęsła się. Czemu zadziwiwszy się, chwal Pana, Prawosławny Czytelniku, ktory tak wielkimi cudy Przezacny Narod Ruski do zbawieni pociąga, y wielb onego na wieki wieczne» (стр. 163). Дополнения и распространения, внесенные Коссовым в рассказ о чуде, особенно показательны и характерны для оценки его работы. Видно, как скелет легенды

облекается словесными украшениями и скрывается в них. И задача нового редактора состояла не только в том, чтобы приспособить старый текст ко вкусам новых читателей, но и в том, чтобы подчеркнуть, что «przezacny Narod Ruski» находится под особым покровительством бога.

Приведенные примеры из обработки 1635 г., кажется, не оставляют места сомнению в том, что «Патерикон» Коссова имел для своего времени определенную идейную направленность, вызванную политическою борьбою украинцев за национальное существование, борьбою, по тому времени принявшею формы религиозной вероисповедной борьбы. Затем анализ «Патерикона» обнаруживает, что нарождавшееся на Украине буржуазное общество, выразителем литературных вкусов которого были союзники братчиков — киевские ученые, пошло и в оформлении своей литературной продукции вслед за монахом-мещанином Петром Скаргою, подчиняя повествование древнего Патерика, сложенного в эпоху подъема феодализма, требованиям современности XVII в. как в отношении формальном, так и в отношении содержания, которое сокращается, урезывается, но порою и распространяется, отвечая «моде» времени.

Немногие наши общие замечания о приемах обработки Коссовым древнего Патерика имеют целью дать введение к характеристике главной работы С. Коссова — его переделки жития Феодосия Печерского, этой центральной фигуры среди печерских подвижников.

2

Сильвестр Коссов, обработавший на польском языке и издавший в 1635 г. Киево-Печерский Патерик, с особенным вниманием отнесся к главной его части — к житию Феодосия Печерского, уже в редакции Кассиановской занявшему в Патерике видное место. Пользуясь славяно-русским текстом жития, написанного Нестором, Коссов создал на основе его свое, окрашенное собственным пониманием, житие знаменитого подвижника. Что он нашел нужным взять из своего материала, что сократил, что прибавил к этой древней основе? Смотрел ли он на нее, как на нечто не подлежащее критике и изменению, или следовал принципу свободного выбора подробностей? Это мы можем узнать из сличения Несторова жития с обработкою Коссова. Сравнение будем вести по тексту 2-й Кассиановской редакции Печерского Патерика, а текст Коссова делим на 54 эпизода-главы, содержание которых указано в таблице, даваемой ниже.

Все житие Феодосия делится на предисловие и 61 «слово» (стр. 20—78); к ним присоединены статьи: «Слово Нестора

мниха манастыря Печерьскаго о пренесении мощемъ св. преп. о. н. Феодосия Печерьскаго» (стр. 78—84), «О поковании рацѣ преп. о. н. Феодосия Печерьскаго» (стр. 84—86) и «Похвала» ему (стр. 86—94); последняя статья не была использована Коссовым, первые три послужили ему источниками; он использовал их следующим образом.

Предисловие Нестора Коссов опустил совсем.

Слово 1 — «о рождестве св. Феодосия» — использовано в своей фактической части (с опущением всей риторики) для гл. I.

Слово 2 — «о детском подвизе» — с сокращениями и добавлениями послужило для той же гл. I.

Слово 3 — «об отхождении» — использовано для гл. II.

Слово 4 — «о проскурном печении» — с большими сокращениями — для конца гл. II.

Слово 5 — «о служении властелю» — для гл. III.

Слово 6 — «об отхождении в Киев» — с большими сокращениями — для гл. IV.

Слово 7 — «о пришествии Феодосия к Антонию и постриженни» — с очень большими сокращениями в диалогах вошло во вторую часть гл. IV.

Слово 8 — «о пришествии матери Феодосия в Киев» — с большими сокращениями и пропуском (по изданию Абрамовича две с половиной страницы) — в основе гл. V, с добавлением указания на местоположение монастыря, где постриглась мать Феодосия.

Слово 9 — «о Варлааме сыне боярина Иоанна» — *опущено.*

Слово 10 — «о каженице» — *опущено.*

Слово 11 — «о напасти бывшей на святых» — *опущено.*

Слово 12 — «о крепости блаж. Варлаама» — *опущено.*

Слово 13 — «об отлучении св. Никона» — *опущено;* из него только одна фраза в гл. VI; в нее же вошло из слова 14 упоминание о посвящении Феодосия в пресвитеры; прочее *опущено.*

Слово 15 — «об отлучении Антония», об аскетических подвигах Феодосия, о жизни братии — *опущено.*

Слово 16 — «о поставлении на игуменство Феодосия» — *опущено,* кроме первой фразы о названном факте, вошедшей в гл. VI.

Слово 17 — «о поставлении монастыря Печерского и о принесении Студийского устава» — *опущено.*

Слово 18 — «о победе на нечестивые духи» — использовано в малой мере и отчасти в гл. VIII и IX; большая часть *опущена.*

Слово 19 — «о расмотрении наказании ученик его» — использовано только начало (об обходе Феодосием келий) в гл. VII, большая же часть *опущена* (стр. 41—42).

Слово 20 — «о прославлении святого и о сиянии божия света» — опущено в данной главе; оно использовано в гл. VII о князе Изяславе, но не о приходах его к Феодосию с сыном, а о призывании к себе Феодосия.

Слово 21 — «о приходе кн. Изяслава во время отдыха братии» — использовано в гл. XIV.

Слово 22 — «о преставлении Варлаама» — *опущено.*

Слово 23 — «об отхождении блаж. Исаи» — *опущено.*

Слово 24 — «о пришествии Никона» — *опущено.*

Слово 25 — «о люботрудии и тщании Феодосия» (о работе в пекарне, ношение воды, колка дров, помощь Никону при переплете книг) — использовано в гл. XV и XVI с сокращениями.

Слово 26 — «о повознике» — использовано в гл. XVII; о борьбе Феодосия с бесами — в гл. XVIII.

Слово 27 — «о Ларионе, о борьбе с бесами» — вошло в гл. XIX, вторая половина слова (о книжной науке Лариона и о недостатке денег на покупку провианта) — *опущена.*

Слово 28 — «о богопосланнем злате» — *опущено.*

Слово 29 — «о Дамиане презвитере» — *опущено.*

Слово 30 — «о прихождении разбойник и о бывшем чудеси» — использовано в гл. XX.

Слово 31 — «чудо о церкви Печерской» — использовано в гл. XXI.

Слово 32 — «о Клименте, забывшем свое обещание гривны богородице» — использовано в гл. XXIII и о принесенном в дар евангелии — в гл. XXIII; вопрос князя Изяслава о преимуществах монастырской пищи и ответ Феодосия — в гл. XXIV.

Слово 33 — «о расмотрении святого» (наставление Феодосия о несобирании монахами богатства и об отходящих из монастыря) — использовано в гл. X.

Слово 34 — «о исходившем часто из монастыря (о портном) монахе» — использовано в гл. X, в конце.

Слово 35 — «о недостатке брашна» — в гл. XXV.

Слово 36 — «о милосердии Феодосия к разбойникам и о построении богадельни» — использовано в гл. XI и XII с добавлением о раздаче одежды и обуви.

Слово 37 — «о презвитере, просившем вина» — использовано в гл. XXVI.

Слово 38 — «о преслушании келареве» (Феодосий велит бросить хлеб в воду) — с сокращениями в гл. XXX.

Слово 39 — «об ослушании заповеди Феодосия» (жаба в тесте) — *опущено*.

Слово 40 — «о недостатку масла древяного» — использовано в гл. XXIX.

Слово 41 — «о наполнившейся бочке меду» — в гл. XXVII.

Слово 42 — «о изгнании бесов из хлева» — с сокращениями в гл. XXXI.

Слово 43 — «о умножении муки» — с сокращениями и с *опущением* молитвы — использовано в гл. XXVIII.

Слово 44 — «о богопоказанном свете» — с большими сокращениями только первая половина его использована в гл. XXXVIII.

Слово 45 — «о изрядном явлении св. ангел» — с большими сокращениями использовано в конце гл. XXXVIII.

Слово 46 — «о проповеди среди евреев» — в гл. XIII.

Слово 47 — «о крепком подвизе и пощении Феодосия» — с большими сокращениями использовано в гл. XXXVI.

Слово 48 — «о мужестве и твердости Феодосия» (отказ прийти к кн. Святославу) — с сокращениями использовано в гл. XXXII.

Слово 49 — «о смирении кн. Святослава к святым» — использовано в гл. XXXIII и XXXIV (о приходе Феодосия во время музыки).

Слово 50 — «о поставлении великой церкви Печерской» — *опущено*.

Слово 51 — «о избавлении убогой вдовицы» — использовано в главе XXXVII.

Слово 52 — «о позвании к богу Феодосия» — в гл. XXXIX, XL, XLI.

Слово 53 — «о преставлении Феодосия» — в гл. XLII; предсмертная речь Феодосия сочинена Коссовым.

Слово 54 — «о поручении и обѣщании святого к ученикам своим» — отчасти использовано в перифразе в конце гл. XLII и затем в гл. XLIII, XLIV; конец о святых — в гл. XLV.

Слово 55 — «о погребении Феодосия» — использовано в гл. XLIV, XLVI с большим пропуском цитат (см. Абрамович, стр. 74—75).

Слово 56 — «чудо о болярине» — в гл. XLVII.

Слово 57 — «чудо о украденном (у Конона) сребре» — в гл. XLVIII.

Слово 58 — «о болевшем клирице» — в гл. XLIX.

Слово 59 — «о игуменстве Стефанове» — *опущено*.

Слово 60 — «об отгнании Стефанове» — *опущено*.

Слово 61 — «о игуменстве Никонове» — *опущено*.

Кроме того, часть глав у Коссова написана по дополнительным к житию Нестора статьям, именно:

Глава L — по слову Нестора о пренесении мощей Феодосия (стр. 80—81).

Глава LI — по тому же слову (стр. 81, об участии епископов).

Глава LII — о проречении Марине — с сокращениями по слову Нестора о пренесении мощей Феодосия (стр. 82).

Глава LIII — по первой части статьи — «О поковании рацѣ преп. Феодосия Печерского» (стр. 84—85).

Глава LIV об исцелении тысяцкого — по второй части статьи «О поковании рацѣ», с большими сокращениями в конце (стр. 85—86).

Таким образом, можно определенно сказать, что Коссов сильно сокращал рассказ Нестора о Феодосии, выпуская целые главы и делая сокращения в использованных главах, выбирая из них только то, что отвечало его плану и требованиям той литературной школы, последователем которой он явился в обработке всего Патерика. Достаточно посмотреть, как он использовал хотя бы первые «слова», чтобы убедиться, что его житие Феодосия есть своего рода мозаичная работа, склеенная из обрывков жития Несторова и притом весьма искусно.

Какими же принципами руководствовался Коссов в своей работе над житием Феодосия? Это мы увидим, если рассмотрим пропуски и сокращения.

Целый ряд опущенных «слов» не использован потому, что из них Коссов составил жития тех печерских святых, о которых упоминается в этих словах. Таковы: слово 9 — о Варлааме, слово 11 и 12 — о нем же; слово 13 — о Никоне; слово 22 — о преставлении Варлаама; слово 23 — об отхождении Исаии; слово 29 — о Димиане презвитере; слово 59 и 60 — о игуменстве Стефана и изгнании его (кстати, эти эпизоды рисуют далеко не кротость и взаимную любовь братии); слово 61 — о игуменстве Никона.

Вторая группа опущенных «слов» — это «слова», повествующие о конфликтах монахов и Феодосия с князьями, Изяславом и Святославом. Агиографу XVII в. было важно выставить печерских монахов лицами политически совершенно благонадежными, слугами порядка, а не какими-то оппозиционерами. Поэтому Коссов опускает наивно-правдивый рассказ Нестора о гневе князя на пострижение Варлаама и каженика, «о напасти бывшей на святых» (слова 9—12). Он умалчивает об отхождении Никона (слово 24) по условиям тогдашней политической ситуации, о присоединении его к группе монахов, отказавшихся поминать князя Святослава на эктении (слово 49; Феодосий,

по Коссову, размыслив, примирился с насилием); Коссов опустил и слова 59 и 60, где изображено, как братия, нарушив завет Феодосия, изгнала назначенного им игумена Стефана. Подобные рассказы не могли поднять престиж Печерского монастыря, и Коссов благоразумно их опустил. Не раз говоря о бессребренности Феодосия, Коссов опустил и слово 20 — о принесении вкладов в монастырь.

Третья группа пропущенных «слов» заключает в себе также рассказы, относящиеся к характеристике монастырской братии, например слово 39 — об ослушании заповеди Феодосия, результатом чего явилась жаба в тесте. Труднее объяснить пропуск слова 17 — «о поставлении церкви Печерской и принесении Студийского устава», слова 50 — «о поставлении церкви Печерской» и слова 28 — «о богопосланнем злате»; возможно, Коссов не включил их в свой труд как не относящиеся непосредственно к жизни Феодосия и как слишком фантастические.

Отметим ряд подробностей, исключенных Коссовым при использовании отдельных «слов». Он вообще делает рассказ более бледным, причем обходит порою весьма красочные места древнего Патерика, а в житии Феодосия, например, опускает характеристику матери Феодосия и изображение ее неистовой любви к сыну, доводящей ее до жестокости (стр. 25). Он опускает упоминание Нестора об участии Феодосия в земледельческой работе вместе с рабами и слова Феодосия к матери об убожестве Христа; он сокращает порою повествование о борьбе Феодосия с бесами. В двух случаях Коссов исключает назидание Феодосия к монахам о постоянной работе и об отречении от мирских интересов; он иногда опускает рассеянные по житию молитвы, рассказ о чудесном получении гривны на пропитание монахов, многочисленные цитаты, которыми блистает Нестор, и в слове о перенесении мощей и о поковании раки Феодосия — весь панегирический элемент, ограничившись выбором фактических данных. Но самым характерным для Коссова является исключение из рассказа данных об оппозиционности некоторых монахов по отношению к князю Святославу.

Следуя иногда буквально словам жития Феодосия, написанного Нестором, сохраняя даже некоторые слова и выражения, Коссов позволяет себе делать и некоторые добавления к своему источнику. Он говорит дважды о печении просфор; дает ему младшего брата, неизвестного Нестору; говорит дважды об оковании Феодосия железными веригами, видимо, с целью усилить впечатление от подвигов самоумерщвления Феодосия. Коссов добавляет сведения о месте нахождения женского монастыря, в котором постриглась мать Феодосия; о приходе князя

Изяслава к Феодосию с малым сыном пешком из Киева; о раздаче Феодосием бедным одежд и обуви. Предсмертная речь Феодосия целиком сочинена в «умилительном» стиле самим Коссовым.

Так представляются нам результаты работы писателя начала XVII в. над древним житием. Как приняла читающая публика того времени труд Коссова — мы не имеем сведений. Можем сказать одно, что книга «Патерикон» была зачитана: осталось в обращении до нашего времени ничтожное количество экземпляров.

3

«Патерикон» С. Коссова сохранился не только в польском тексте: на него явились требования со стороны тех украинцев, которые не знали польского языка. А интерес к киевской святыне был очень силен: вспомним, что многие крупные события в истории Украины XVII в. так или иначе были связаны с этим монастырем; его архимандриты играли заметную роль в жизни не только одного Киева. Нашлись люди, которые попытались ввести «Патерикон» в украинскую литературу, прибегнув для этого к «простой мове».

Явились таким образом и полные переводы и частичные из них извлечения. Полный перевод «Патерикона» мы можем указать в рукописи б. Ниловой Столбенской пустыни, описанной А. Е. Викторовым[5] — № 87 (13). Это рукопись в 4-ку, написанная украинской скорописью XVII в.; судя по указанию «около 200 листов», следует думать, что она заключала в себе полный перевод «Патерикона». Где теперь эта рукопись, сказать не можем.

Частичные переводы (мы не знаем, в какой мере они связаны с названным полным) разбросаны по украинским и белорусским рукописям второй половины XVII и начала XVIII в. Нам известны следующие жития и статьи из «Патерикона», частью вошедшие в состав Пролога:

1. Житие Антония Печерского, рукопись Могилевского музея конца XVII—начала XVIII в., А. 2107/18, л. 219—220 об.

Житие Антония Печерского, Пролог, Румянцевского собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (далее — сокращенно: Румянц.), конца XVII в., № 325, 10 июля.

---

[5] А. Е. Викторов. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1890, стр. 214.

Житие Антония Печерского Киевского, рукописное собрание Киево-Софийского собора (в Библиотеке АН УССР; далее — сокращенно: К.-Соф. соб.), № 278 (129), вторая половина XVII в., л. 422—424 об.

Житие Антония Печерского, «иже в Киеве бывшаго начальника всем третего роским иноком, преставися». Рукопись Днепропетровского музея (б. им. Поля; далее — сокращенно: Муз.), № 66, в сборнике XVII—XVIII вв. Список исчез.

2. «О збудованью церкви богородицы в монастыри Печерском», рукопись К.-Соф. соб. № 278 (129), л. 235—237.

3. «О приеханью маляров до монастыря Печерского», рукопись К.-Соф. соб. № 278 (129), л. 237—239.

4. Житие Исаакия Печерского, рукопись Румянц. № 325, 27 апреля, л. 654—656 об.

Житие препод. Исаакия мниха Печерского, его же диявол прелсти; рукопись Днепропетровского Музея, № 66. Исчезла.

5. Житие Матфея Печерского, рукопись Днепропетр. Муз. № 66. Исчезла.

6. Житие Агапита Печерского, рукопись К.-Соф. соб. № 278 (129), л. 278 об.—282 об.

7. Житие Моисея Угрина Печерского, рукопись К.-Соф. соб. № 278 (129), л. 482—487.

8. Житие Моисея Угрина, К.-Соф. соб. № 279 (130), л. 367—370 об.

9. Житие Николы-Святоши, князя Черниговского, рукопись Румянц. № 325, 14 октября, л. 116 об.—120.

10. Житие Никона Печерского, рукопись Румянц. № 325, 11 декабря, л. 311—312 об.

11. Житие Пимина Печерского, рукопись К.-Соф. соб. № 278 (129), л. 262 об.—265 об.

12. «Живот св. Никиты затворника Печерского», рукопись Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, собрание б. Московского публичного музея (Беляева № 63, 4), конца XVII в., № 1572.

В этой рукописи на л. 1 об.—2 сохранился отрывок — начало жития Никиты. Текст этого отрывка с параллельным текстом из «Патерикона» издан мной [6].

Таково ничтожное наследие полного перевода «Патерикона» Коссова, известное мне в рукописях XVII и начала XVIII вв. Не останавливаясь на анализе перевода этих обломков, обратимся к обработке жития Феодосия (из «Патерикона» Коссова)

[6] В книге: В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. Л., 1926. — «Сб. ОРЯС АН СССР», т. 101, № 2, стр. 94—97.

в украинском переводе, точнее — в переводах. Они дошли в следующих списках:

1. Рукопись Могилевского музея А. 2107/18, конца XVII—начала XVIII в., л. 210—241; заглавие — «Месяца мая 3 дня Преставление преподобнаго отца нашего Феодосия игумена Печерского Киевского. Живот его писал святый Нестер законникъ лѣтописецъ руский обширне словенским языкомъ: знову зась з грецких, лацинскихъ, словенских и полских писаровъ объясненый и коротши поданый полскимъ языком през превелебного в богу Е. М. отца Силивестра Коссова Епископа Мстиславского, Оршанского и Могилевского, з друкарни печерской Киевской в року 1635 ест выдан». Отдельного издания с подобным титулом не сохранилось. В польском оригинале заглавие гораздо короче и проще.

2. Рукопись Румянцевского собрания № 325 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина), л. 666—682. Заглавие — «Мѣсяця маия 3. Животъ святого Феодосия Печерского, жил тыхъ часовъ, которихъ и святый Антоний Печерский» — буквальное повторение польского заглавия.

3. Рукопись библиотеки Киево-Софийского собора № 278 (129), л. 162 об.—172 (по «Описанию» Н. И. Петрова; теперь в рукописном отделе Библиотеки АН УССР). Заглавие — «Мая 3 житие преподобного отца нашего Феодосия игумена Печерского».

4. Рукопись библиотеки Киево-Софийского собора № 383 (353), л. 533—545 (по «Описанию Н. И. Петрова; теперь в рукописном отделе Библиотеки АН УССР). Заглавие — «Мѣсяця мая 3 дня. Житие преп. отца нашего Феодосия игумена Печерского».

Все названные списки — скорописные, 70-х годов XVII в. Кроме того, мне известен погибший список — в рукописи Нилова — столбенского монастыря в составе полного перевода «Патерикона» С. Коссова [7].

Взаимоотношение известных мне списков украинского и белорусского переводов польского жития Феодосия из «Патерикона» Коссова представляется в следующей таблице [8]:

[7] Остались не привлеченными мною к изучению два списка: а) Синодальной библиотеки (ныне в Государственном Историческом музее) № 752, в 4-ку, XVII в., белорусская скоропись, среди переводов из Скарги, и б) Виленской публичной библиотеки № 81 (8), белорусская Минея Четья XVIII в., л. 281.

[8] Условные знаки, употребленные в таблице: крестик (x) обозначает наличие соответствующего эпизода в тексте данного списка, «нет» — отсутствие его.

Глава	Содержание глав	Могил.	Румянц.	Соф. 129	Соф. 353
I	Происхождение Ф., детство, лишения	×	×	×	×
II	Бегство в Иерусалим, возвращение, печение просфор, уговоры матери, уход к пресвитеру	×	×	× С большим пропуском о печении просфор и проч.	× = Соф. 129
III	Служба у пана, пренебрежение одеждами, пир	×	×	×	×
IV	Бегство в Киев, пострижение	×	× Без первых слов	×	×
V	Мать находит Ф., уговоры без последствий, она постригается	×	×	×	× Только начало, о пострижении матери опущено
VI	Ф. иеромонах, игумен монастыря Димитрия и Печерского монастыря	×	×	×	Нет
VII	Обычай Ф. обходить кельи. Слава о нем. Приход князя Изяслава с сыном	×	×	×	Нет
VIII	Борьба с нечистыми духами. Сила заклинаний Ф.	×	×	×	Нет
IX	Ф. прогоняет бесов из пекарни	×	×	×	Без первых слов
X	Ф. в кельях ищет скарб. Увещание			Только об уходящих из монастыря	
	Отношение Ф. к покидавшим монастырь. О монастырском ремесленнике	×	×		= Соф. 129
XI	Освобождение воров, хотевших обокрасть монастырь, и обращение их	×	×	×	×

Глава	Содержание глав	Могил.	Румянц.	Соф. 129	Соф. 353
XII	Раздача Ф. одежд убогим, постройка для них дома, пища для заключенных	×	×	×	×
XIII	Проповедь среди евреев	×	×	×	×
XIV	Дружба с князем Изяславом; приезд его в монастырь во время отдыха братии	×	×	×	×
XV	Любовь Ф. к ручному труду: в пекарне, ношение воды	×	×	×	×
XVI	Ф. рубит дрова; помогает Никону переплетать книги; его одежда — власяни_а	×	×	Опущено о помощи Никону	= Соф. 129
XVII	Ф. и возница	×	×	×	×
XVIII	Наставление Ф. братии о борьбе с бесами и о его опыте	×	×	Нет	Нет
XIX	Ф. и Иларион, преследуемый бесами	×	×	×	×
XX	Разбойники хотят ограбить церковь, всю ночь поют ангелы, церковь на воздухе, покаяние разбойников	×	×	Нет	Нет
XXI	Дворянин князя Изяслава видит церковь Печерскую на воздухе	×	×	Нет	Нет
XXII	Неисполненное обещание Климентом золота; явление ему образа богородицы	×	×	Нет	Нет
XXIII	Прозорливость Ф.; Климент приносит евангелие. Пища монахов вкуснее другой	×	×	Начало взято из гл. XXII; конец опущен	Сокращено, = Соф. 129
XXIV	Почему Изяславу пища монахов вкуснее княжеской	×	×	×	×
XXV	По молитве Ф. Иоанн доставляет продукты в монастырь; постничество Ф.	×	×	×	С незначительными сокращениями

Глава	Содержание глав	Могил.	Румянц.	Соф. 129	Соф. 353
XXVI	Чудо о вине, взамен отданного пресвитеру	×	×	Нет	Нет
XXVII	По молитве Ф. является бочка меду для угощения князя Изяслава	×	×	×	×
XXVIII	Чудесное явление муки взамен истраченной	×	×	×	×
XXIX	Нет оливы для лампад; приготовленная осквернена мышью; и вылита. По молитве Ф. — дар богатого			Опущено о приготовлении и о мыши	=Соф. 129 Упоминание о вине из опущенной гл. XXXVI
XXX	Ф. за ослушание келаря велит бросить хлеб в воду	×	×	×	×
XXXI	Ф. изгоняет бесов из хлева молитвою	×	×	С сокращениями	= Соф. 129
XXXII	Отказ Ф. по изгнании князя Изяслава прийти на пир к князю Святославу; обличительное послание, гнев князя; безуспешность заступничества Ф.	×	×	Без обличительного послания; конец — из гл. XXXV	=Соф. 129
XXXIII	Князь Святослав примиряется с Ф.; попытки заступничества за Изяслава	×	×	Нет	Нет
XXXIV	Ф. на пиру у князя Святослава; музыка	×	×	Нет	Нет
XXXV	Любовь князя Святослава к Ф. и закаменелость к Изяславу. Уход Никона из монастыря	×	×	Только о закаменелости, перенесено в гл. XXXI	=Соф. 129
XXXVI	Обычай Ф. уходить на великий пост в пещеру; воры видят на ее месте высокий замок	×	×	Только первая фраза	=Соф. 129
XXXVII	Помощь Ф. обиженной судьею вдове	×	×	С сокращениями	=Соф. 129
XXXVIII	Чудесные знамения пред построением церкви Печерской	×	×	Нет	Нет

Глава	Содержание глав	Могил.	Румянц.	Соф. 129	Соф. 353
XXXIX	Смертная болезнь Ф. Призыв к борьбе с неприятелем душ	×	×	С небольшими сокращениями	С небольшими сокращениями
XL	Посещение Ф. князем Святославом. Поручение ему с потомством Печерского монастыря	×	×	×	×
XLI	Молитва Ф., тревога братии, предложение Ф. избрать преемника	×	×	×	×
XLII	Избрание Стефана, благословение его Ф., предсказание Ф. о наступлении смерти и о будущем монастыря. Завещание, как похоронить	×	×	Без начального диалога Ф. с братией	=Соф. 129
XLIII	Смерть Ф., подсмотренная послушником	×	×	С незначительными сокращениями	=Соф. 129
XLIV	Плач братии и погребение (дождь)	×	×	Сокращен конец	=Соф. 129
XLV	Видение князю Святославу — огненный столп	×	×	×	×
XLVI	Урожай, предсказанный Ф., — знак принятия его богом	×	×	×	×
XLVII	Чудо Ф. о дворянине, вернувшем милость князя	×	×	×	×
XLVIII	Чудо с Кононом: возвращение украденного сребра	×	×	×	×
XLIX	Исцеление софийского клирика от горячки	×	×	×	×
L	Обретение мощей Ф., прибегает изгнанный Стефан	×	×	Нет	Нет
LI	Перенесение их в каменную церковь епископами, игуменами и др.	×	×	Нет	Нет
LII	Исполнение пророчества Ф. Марине о месте ее погребения	×	×	Нет	Нет

Глава	Содержание глав	Могил	Румянц.	Соф. 129	Соф. 353
LIII	Чудо Ф. о возвращении Василием растраченных денег и исцелении его	×	×	Нет	Нет
LIV	Исцеление от слепоты тысяцкого Юрия Симоновича; село Печерское видится ему замком	×	×	Нет	Нет

На основании сличений, данных в таблице, можем констатировать следующие количественные расхождения в составе списков: эти списки, независимо от языка и стилистических изменений, распадаются в отношении полноты на две группы: первая (Могил., Румянц.) дает все, что есть в польском тексте Коссова; вторая (Соф. 129 и Соф. 353) опускает полностью 16 глав, в 14 — наблюдаются общие этим спискам сокращения, и в Соф. 353 есть 4 случая сокращений (по сравнению с Соф. 129).

Кроме количественных изменений, наблюдаются в тексте рассмотренных списков и изменения качественные, к которым и переходим.

Для определения качества перевода на «простую мову», а также для выяснения стилистических отношений между списками жития Феодосия приводим ряд параллельных мест из них, кладя в основу сравнения польский текст, постепенно изменявшийся в процессе обработки. Эти, может быть, несколько пространные выписки избавят нас от необходимости издавать полностью украинскую редакцию жития[9].

I. «Codzień gorąca miłość w nim się rozźarzała, a ieszcze nie obowiązanego zakonem w zakonne trudy y umartwienia ciała zaprawiała: szedł bowiem iednego czasu do kuźni, y tam się żelazem okować kazał w pasie...». *Могил.*: «Што день горячая милость в нем се рожжаряла, а еще будучого в свѣцком стане в законные труды и умертвеня тѣла заправовала. Одного часу шол до коволя и казал желѣзо защепистое на пример пояса уробить, и тым се оковал по бедрах своих» (л. 210 об.); *Румянц.*: «Што

[9] В дальнейшем римская цифра обозначает главу, указанную в таблице и содержащую данную цитату.

день горячая милость в ним се розжигала, а еще не обвязанного закона в законьныя труды и умертвення тѣла заправовалъся. Шолъ абовѣмъ одного часу до кузни и там ся желѣзом оковать казалъ в пасѣ (л. 666); *Соф.*: «Што... (= *Румянц.*) розжарала, а еще не обовязанного законом в законе труды и умертвеня тѣла заправяла. Шол бовѣм до кузни... в поясѣ» (162 об.); *Соф.* 353 = *Соф.* 129, но с утратою слов: «Што... розжарала».

II. «W nocy tedy puśił się w drogę, nie opowiadaiąc się y matce, ktora przez trzy dni go z płaczem szukaiąc gdy nie nalazła, przepytawszy się, ktorędy był poszedł, prędko goniła...» *Могил.*: «В ночы теды пустилсе потаемне в дорогу; матка гды то обачыла, през три дни шукаючи, а взявши ведомость, где шол, прудко его гонила...»; *Румянц.*: «В ночи теды пустился в дорогу, не оповедаючися матце, которая прес три дни с плачем искала; гды его не нашла, препытавшися куды пошолъ, скоро гонила...» (л. 667); *Соф.* 129: «В ночи пустился в дорогу, не оповѣдаючися и матце, которая през три дни его з плачем шукаючи коли не нашла, припытавшися, куды пошол, прудко гонила...» (л. 163); *Соф.* 353 = *Соф.* 129, но «питалася людей, куди пойшолъ».

III. «Zbiiał słowy matce pobożny syn». *Могил.*: «Мовил словы лагодные матце побожный сынъ». *Румянц.*: «Збиялъ словы матце побожный сын». *Соф.* 129 и 353: опущена большая часть текста, со слов «а видечи частокроть» до конца главы, «... взела и била, заказуючи ему».

III. Tak postępuiąc ś. Theodozy w pokorze swoiey podobał się był Panu miasta tego, gdzie się urodził; ktory kazawszy mu przy Cerkwi się swey bawić, dał świetne y roskoszne szaty...; *Могил.*: «Святый Феодосий в покоре своей вподобал се был пану мѣста того, где ся уродил, который, казавши ему при церкви своей бавить, дал цветные и добрые шаты...»; *Румянц.*: «Так поступуючи святый Феодосий у покори своей подобался былъ пану места того а гдѣ ся уродилъ, котораий казавши ему при церкви се своей бавить, далъ свѣтлыя шаты и роскошныя...» (л. 667 об.); *Соф.* 129 = *Румянц.*, но «свѣтные и роскошные шаты» (л. 163); *Соф.* 353 = *Соф.* 129, но со списками.

IV. «Bog wszechmocny dobrze pobożnego Młodziana w cierpliwości zaprawiwszy, wlał mu w umysł to, żeby szedł do Kiowa; on nie mieszkaiąc, kryiomko od matki się ustronił y puscił się do Kiowa, tam się przyszedszy do świętego Antoniego w Pieczorę padł mu u nog prosząc, aby mogł wzakon przyiętym bydź»; *Могил.*: «Богъ всемогущий добре побожного млоденца в терпливости заправивши, вложил ему во умыслъ то, жебы шолъ до Киева. Он не мешкаючы, потаемне од матки пустился в дорогу до Киева,

там же пришедши до святого Антония в печеру, пал ему у ногъ, просячы, абы принял его до закону» (л. 211); *Румянц.* — место, испорченное описками, но в целом соотв. *Могил.*, кроме: «влилъ ему мыслъ то», «потаемне одышолъ от матки и пустился в дорогу», «палъ ему в ноги»; *Соф.* 129: «Богъ вседержитель добре побожного млоденца в терпливости заправивши, влил ему в умыслъ то, жебы шол до Киева. Он не мешкаючи потаемне от матки се усторонил и пустился в дорогу до Киева, там же, пришедши до святого Антония в печеру, палъ ему у ног просячи, абы моглъ в закон принят быти» (л. 163 об.); *Соф.* 353, л. 534 об. = *Соф.* 129.

IV. «Swięty Theodozy odpowiedział z Pawłem ś. „Staruszku swietobliwy, wszytko moge w tym, ktory mię wzmacnia". Itak ś. Antoni roskazał go Nikonowi w habit oblec»...; *Могил.:* «Святый Феодосий отповедал (з Павлом святым) „старче святобливый, все могу в том, который мене укрѣпляет". И такъ св. Антоний росказал его Никону во іноческий образ облечы...»; *Румянц.:* Св. Ф. отповедалъ с Павломъ святым: «старушку святобливый, вси могу в тысъ, который мне эмоцнить»; и такъ св. Антоний росказалъ его Никонови в габит оболочи»; *Соф.* 129: «Св. Ф. отповѣдал: «отче святый, все могу в том, который мене эмоцняет»; и такъ св. Антоний росказал его Никонови в габит иноческий оболочи» (л. 163 об.); *Соф.* 353 = *Соф.* 129.

V. «Po niemałym czasie dowiedziała się matka onego bydź w Kiowie w Monasterze Pieczarskim; y przyszedszy gdy zaledwo uprosiła ś. Antoniego, zeby się z nim widzieć mogła, ktorego gdy obaczyła znędzniałego y wyschłego od postu, nie mogła się utulić od łez, ale padszy na ziemię omdlewała perswaduiąc słowy łagodnemı ś. Theodezemu, aby się do niey wrocił...»; *Могил.:* «По немалом часѣ доведаласе матка того, же он в Киевѣ в монастыру Печерском, и пришедши заледво упросила св. Антония, жебы се з ним видеть могла, которого гды обачыла зчернелого и высхлого од посту, не могла гамовать се от слез, але падшы на землю, мовячы словы лагодными св. Феодосию, абы се з нею до дому воротил»; *Румянц.:* «По немалом часе доведалася матка его быти в Киове в монастыру Печерского. И пришедши гды заледво упросила св. Антония, жебы видеть с нимъ могла, которого гды обачила знеиднѣлого и высхлого от посту, не могла ся утолить от слез, але падши на землю омдлевала а мовечи словы лагодными св. Феодосию, абы ся до нея воротилъся» (л. 668); *Соф.* 129: «По немалом часе довѣдалася матка оного быти в Киеве в манастыру Печерском, и пришедши коли заледво упросила св. Антония, жебы ся з ним видѣти могла, которого коли обачила нужного и высхлого от посту, не могла

се утулити от слезъ, але падши на землю омлевала, намовляючи словы лагодными св. Феодосия, абы се до неи вернул» (л. 163 об.); *Соф.* 353 сначала = *Соф.* 129, но конец: «не могла ся утолити от слезъ, але падши на землю почела горше плакати и жаловати» — на этом месте обрывается гл. V.

VI. «„Св. Ф. «na Ihumeństwo Pieczarskie był obrany iakośmy powiedzieli w «żywocie ś. Antoniego»; *Могил.:* «на ігуменство Печерское был обраный, яко есть о том в жывотѣ св. Антония»; *Румянц.* = *Могил.*, но «якосьмы поведели живот св. Антония» (л. 668 об.); *Соф.* 129 только: «на игуменство Печерское был обраный»; в *Соф.* 353 эта глава вся опущена.

VII. «Gruchnęło pobożne życie ś. Theodozego, o ktorym uwiadomiony przychodził do niego xiażę Izasław często z synaczkiem swoim małym pieszo z Kiowa...»; *Могил.*: Слынуло его побожное жытие всюды, о котором доведавшысе князь Изяславъ приходил до него часто из сыном своим малым пешо з Киева...»; *Румянц.* — первые слова писцом опущены, «и рихло побожность жития св. Феодосия о котором увядомный приходилъ до него ксенжа Изяславъ...», как в *Могил.: Соф.* 129: «Грухнуло побожное житие св. Феодосия, о котором увѣдомленый приходил до него княжа Изяслав часто з сыночком своим малым пѣшо з Киева»; в *Соф.* 353 эта глава опущена.

VIII. «Cierpiał też ten ś. Ociec nie mało przeszkod od nieczystych duchow; abowiem kiedy ś. Theodozyus po Pawieczerni abo Komplecie nie na łożku (bo na nim nigdy nie sypiał), ale na stołku się wsparszy, nieco snu dla odpocznienia chciał zażyć, nieczystych duchow hufce po Pieczarze harcować zawzieli byli...», *Могил.:* «Терпѣл тежъ тот святый отецъ немало перешкод от нечыстых духовъ, авбовем одного часу, гды св. Феодосий по павечерни на столку вспершися (бо на ложку николи не сыпал) сну нешто для одпочынку хотѣл зажить, але зараз нечыстых духовъ гуфцы по печере гарцовать завзели были...»; *Румянц.:* нач. = *Могил.*, затем — «абовемъ отецъ Феодосие по павечерни, або по спѣваньню, не на постели, бо на ним николи не спалъ, але на столку ся узлегши нешто сну для отпочненя хотелъ зажить, нечистых гуфце (в рукописи «гуфне») по печерѣ гарцовать зачали были»; *Соф.* 129 нач. = *Могил.*, *Румянц.*, затем: «бо коли св. Ф. по павечерни не на постели (бо на ней николи не сыпял) але на столку се вcперши нѣшто сну для отпочиненя хотѣл зажити, нечистых духов гурты по печере гарцовати завзяли были» (л. 164 и об.); в *Соф.* 353 глава опущена.

VIII. «ale ś. Th., dobry y czuyny rycerz Chrystusow, wiedział, czyia to była komedyika, do modlitw y czytania Psałterza się iako do oręża iakiego udawał, ktore tak im nie w smak były, że natych-

miast swoich akciy y sceny poniechywali y ucichali»; *Могил.:* «але св. Феодосий, добрый и чудный рыцер христовъ, чыя то была комедыя до молитвы и чытаня псалтыри, яко до оружия якого удалсе, которые так имъ не в смак были, же натыхместъ своего игрища покинули и утихил»; *Румянц.:* «Але св. Феодосие, добрый и чуйный рыцер христовъ ведалъ, чия то была комедыя, до молитовъ и читаньня псалтири ся яко до оружия якого удавался, которие такъ им не у смакъ было, же натыхъмест своихъ якъбы и сцѣны понехивали и утѣкали»; *Соф.* 129 — нач. = *Румянц.*, затем: «се удавал», «которие такъ имъ не в смак были, же натыхмѣстъ своих акций и оказий понехивали и утихали»; в *Соф.* 353 — глава опущена.

IX. «gdyż czasem im mąkę rozsypywali, czasem dzieżą z kwasem chlebowym przewracali y inne dysgusty stroili. Szli tedy do ś. Theodozego, oznaymuiąc swoię penuryą od nieprzyiacioł dusznych. S. Th. szedł do oney piekarni, y kazawszy się zamknąć samego z wieczora aż do Iutrzni, modlitwami gorącymi naywyzszego fatygował: y za iego pomocą gdy ich zaklął, więcey się w tamtey izbie nie naydowali»; *Могил.:* «Гдыж часом имъ муку розсыповали, часомъ дежу з росчыненою мукою проворочали и инъшые шкоды чынили. Шли теды до св. Ф., ознаймуючи свое шкоды од неприятелей душных; св. Ф. шол до оное пекарни и казавши ся замкнуть и там один през цѣлую ночъ аж до утрени на молитве стоял, и божию помощию гды их заклял, уже там николи в той избе не найдовали»; *Румянц.:* «колиж часомъ имъ муку разсыповали, часом дежу с квасомъ хлѣбовымъ преврочовали и иные дышкурцыи строили; шли теды до св. Ф., ознаймуючи свою понурию от неприятель душныхъ. Св. Ф. шолъ до оной пекарни и казавши ся замкнуть з самого вечера ажъ до утрени молитвами горячими шайвышшого працовалъ и за его помочию коли ихъ заклялъ, больше ся в тамтой избе не найдовали» (л. 669); *Соф.* 129 — нач. = *Могил.*, затем: «дѣжи з квасом хлѣбовым перевертали и иные пакости строили; шли теды до св. Ф., ознаймуючи свою долегливость от неприятель душных. Св. Ф. шол до оной пекарни и, казавши ся замкнути, самого з вечера аж до утрени молитвами горячими найвысшого молил...»; далее = *Румянц.; Соф.* 353 = *Соф.* 129 с описками.

X. «Miał ten ś. Ociec miedzy inszemi y ten wielkiey pochwały godny zwyczay ... a coś zebrał komu będzie. Do tego ieśliby się kiedy trafiło ktoremu Bratu z Monastera poyść...»; *Могил.:* «Мел тот св. отецъ межы иншыми и тот великий похвалы годный звычай... а што собрал, кому будет». До того еслибы се коли трафило которому брату з монастыря пойти...». То же с небольшими вариантами и в *Румянц. В Соф.* 129 все между «звы-

чай, ижъ ... еслибы се» опущено, и место имеет, после пропуска приблизительно 10 печатных строк, такой вид: «Мелъ той св. отец межи иншими и той великой похвалы годный звычай, ижъ еслибы кому трафило которому брату з монастыря пойти...» (л. 164 об.). Такой же пропуск и в. Соф. 353 (л. 535 об.).

X. «Abowiem był ieden zakonnik dziwnie niecierpliwy y często zwykł był z Monastera umykać, wracał się iednak znowu; ktorego kiedy się iedno zwrocił, radośnie Ociec ś. przyimował, a napomniawszy go nawyzszego zawsze ze łzami prosił, iako prawdziwy Pasterz...»; *Могил.*: «Абовем был один законник дивне нетерпливый и часто звыклъ был з монаствря уходить; ворочался еднак знову, которого коли се одно воротил, радостие отецъ св. приймовал а напомневшы его господа бога всегда со слезами просил, яко правдивый пастыр...; *Румянц.* — нач. = *Могил.*, но далее: «з монастира умыкать; вротился», «гды ся одно», «а навпомнивши его найвысшого творца просилъ завьжды со слезами»; *Соф.* 129 = *Румянц.*, но «вертаться», «одно вернул», «навысшого завше з слезами просил» (л. 165); *Соф.* 353 = *Соф.* 129 но «з манастира утикати».

XI. «Jakoż tak szczęsliwy był, że ci złodzieie iuż więcey rzemiosła swego nie zażywali, ale z prace rąk swoich żyli»; *Могил.*: «Якож так щасливый был, же тыи злодѣе потом николи не крали, але с працы рук своих жили»; *Румянц.* нач. = *Могил.* затем: «ижъ болшъ ремесла своего не заживалѣ, але справцы рукъ своихъ заживали» (описки), л. 670; в *Соф.* 129 соотв. польскому: «... же тые злодѣи уже болшей ремесла своего не заживали, але з працѣ рукъ своих жили» (165 об.); *Соф.* 353 = *Соф.* 129.

XIV. «Jzasław... kołatał do Fortyana, aby mu otworzył. Fortyan mowi: mam zakaz od Oyca. ś. Th., abych nikomu nie otwierał aź do Nieszporu, a to dla odpocznienia Braciey, ktorzy po obiedzie odpoczywaią dla następuiących modł nocnych y prac. Rzekł Izasław znowu Fortyanowi: Oto ia ieden iestem, puść mię...»; *Могил.*: «колотал до фортыяна, абы ему отворил; а фортыян мовил: „маю заказ от отца ігумена Феодосия, абы никому не оттворял аж до вечерни, а то для отпочинку братии, которыи отпочивают для наступуючных молитвъ ночных и працъ“. Реклъ Ізаслав знову фортияну: „ото я один естем, пусти мене“»; *Румянц.*: «колота до воротного...», «воротный», «заказ от отца святого Феодосия, абыхъ...» «для отпочнения братий, которые по обеде отпочивали для наступаючих ...», «воротному»; *Соф.* 129: «колотал до форты, абы ему отворено. Воротный мовил: «маю заказ отца св. Феодосия абых никому не отворал, ажъ до павечерни, а то для отпочиненя братіи». Рекл Изяслав знову

воротному...»; *Соф. 353* = *Соф. 129*, но «ажъ до вечерни», «колотал до футы».

XV. «Staruszek swięty porwie się z ochotą y pocznie od studni sam zaraz wodę dźwigać y iuż niemało był nanosił, aź obaczywszy ieden z Braciey powiedział drugim, aby szli wodę nosić; y tak dostatkiem na potrzebę nanoszono wody»; *Могил.:* «Старец святый порвавшися з охотою и почал сам от колодезя зараз воду носить, и уже немало был наносил, аж обачывшы один з братии поведал другим, же сам игумен воду носит. И так шедши братия наносили достатком на потребу воды»; *Румянц.:* «Старушекъ святый порвавъшися со охотою и почнет от студни самъ зараз воду носить и вже немало былъ наносил, ажъ обачивъши одинъ з братии споведал другимъ, абы ишли воды носить, и такъ достатком воды наношоно»; *Соф.* 129: «Старец святый порвется з охотою и почнет от студни сам зараз воду двигати, и уже немало был наносил, ажъ обачивши один з братии повѣдал другим, абы шли воду носити, и такъ достатком на потребу наношено воды» (л. 166 об.); *Соф. 353* = *Соф.* 129, но с большею украинскою фонетическою окраскою: «билъ», «повидѣлъ», «води».

XVI. «Koszula jego była włosiennica zbyt ostra, a zwierzchu także zbyt nędzna sukienka włosiana; otę sukmankę błahą przymowiali mu drudzy y śmiali się niemądrzy, ale on to cierpcem zwyciężał, iako mąż swięty...»; *Могил.:* «Кошуля его была влосяница, а зверху такъже збыт нензна сукня влосяная; о подлость сукни примовляли ему другие и смеялисе непостропные, але он то терпливостю звитяжал, яко муж святый...»; *Румянц.:* «Кошуля была у него волосеница збыт остра, а сверху такъже збыт нендзна сукня влосяная, а тая сукня блага; примовляли ему люде и смеялися немудримъ (описка), але онъ то молчаниемъ звытежал, яко муж святый» (л. 671); *Соф.* 129: «Кошуля его была волосяница збыт остра а зверху также збыт подла суконка волосеная; о тую сукманку подлую примовлялй ему другие и смьялися немудрие, але он терпением звитежал, яко муж святый...» *Соф. 353* = *Соф. 129*, но: «сукня волосеная», «о тую сукню подлую».

XVII. «Szedł iednego czasu ś. Th. w iakieyś potrzebie gwałtowney do Monastera xiążęcia Izasława y że był daleko od Monastera a iuż zmrok nocny zastedł; roskazał Izasław woźnicy aby świętego wiozł do Monasteru. Gdy iuż byli w drodze woźnica obaczywszy na św. Theodozym szpłachcinki włosiane nędzne y sukmankę ladaiaką, mniemał go bydź żebraka iakiego...»; *Могил.:* «Шол одного часу Ф. для гвалтовное потребы до монастыря князя Изаслава, а же был далеко од монастыря а вжо змрок

ночный зашол. Росказал Изаславъ возницы, абы святого везлъ до монастыря. Гды вже были в дорозѣ, возница видячи на св. Феодосии сукню влосяную нендзную розумел его быть жебрака якого...»; *Румянц.:* «Одного часу седелъ (описка) св. Феодосий въ якойсе потребе гвалтовъной до монастыра ксенженте Изяслава, ижъ былъ далеко от манастыра, а вжо смеркане на дворе ночное наступовала: росказалъ Изяславъ возницы, абы святого отвезлъ до манастыра. Коли въже были в дозоре, возница обачивши на святемъ Феодосии шплахъныки волосяные нендзные и сукенню ледаякую, внималъ его быти жебрака якогось»; *Соф. 129:* «Шол одного часу св. Феодосий в некоторой потребе кгвалтовной до манастыра княжати Изяслава, иже был далеко от манастыра, а уже смеркала; росказал Изяслав возницы, абы святого везлъ до манастыра. Коли уже были в дорозѣ, возница обачивши на св. Феодосии плахтищки волосяные нужные и сукманку ледаякую, мнимал его быти жебрака якого» (л. 166 об. = 167): *Соф. 353 = Соф. 129,* но «смеркало», «вѣзлъ» (л. 538).

XIX. «W tym przyszedszy ieden Brat, imieniem Ilaryon, y mowi, że wielkie szturmy dyabelskie cierpię: iedni prawi mnie z łożka za włosy wziąwszy włoczą po ziemi, a drudzy ścianę podeymuiąc krzyczą: owędy go podaycie...»; *Могил.:* «В том пришедшы один брат Иларион и мовил, же великие непокои дияволские терплю: „одны, прави, мене з постели за волосы тягнут и волочат по земли, а другие стѣну подыймут, крича: сюда его подайте...“; *Румянц.:* «В тымъ пришедши один брат, именемъ Иларионъ, и мовит: великие штурмы дияволские терпит; одно, правит, мне з ложъка за волосы взявши волочатъ по земли, а другие стяну подныймуютъ, крычучи: «сюды намъ его подайте». *Соф. 129:* «В том пришедши один брат именем Иларион и мовил, же великие штурмы діаволские терплю; „одны, мовит, мене з постели за волосы взявши волочат по земли, а другие стѣну подыймуючи кричат: туды подайте“; *Соф. 353 = Соф. 129,* но: «одни мовят мене з постелѣ».

XX... «Anyołowie bowiem śpiewali. Alić tedy do Jutrzni sygnować poczęto, y poczęli Bracia gotować się, a Ponomar abo Zakrystyan w deskę bił do Cerkwie; oni złodzieie y rozboynicy odszedszy na staie w lasek poczną z sobą radzić się mowiąc...»; *Могил.:* «Ангелове бовем спѣвали, а потом теж зараз клотать до утрени почали, и почали братия готоваться а пономар в дошку билъ до церкви; а оные злодѣе и розбойники отшедшы оподаль в лесокъ почали з собою радиться, мовячы»; *Румянц.:* «Ангелове абовемъ спевали, аже тежъ до утрни в билце клепать почали, и вставши братия почали готоваться, а понамар въ билце билъ

до церкви. Они злодея и розбойницы отшедши на станъ в лесокъ...»; *Могил.;* в *Соф.* 129 и *Соф.* 353 гл. XX опущена.

XXIV. «Izasław xiąże Kiowskie często ie barzo smacznie iedząc u św. Thedozego spytał raz»; *Могил.:* Ізаслав князь киевский часто их барзо смачне уживал у св. Феодосия»; *Румянц.:* «Изаславъ ксенжѣ киевский часто ядалъ смачно едя у св. Феодосия»; *Соф.* 129: «Изяслав княжа Киевское частокроть обѣдовал у св. Феодосия»; *Соф. 353 = Соф. 129.*

XXV. «...Zdarzyło się bowiem, że przyszedszy szafarz powiedział św. Theodozemu, iż niema czego Braciey dać ieść»... «Szafarz to słysząc odszedł, a św. Th. upadł na ziemię, gorąco modłami fatyguiąc Zbawiciela, alić nieiakiś Jan»... «Co obaszywszy staruszek on swiatobliwy ręce wzniosł do nieba a serdecznie dziękował Oycu niebieskiemu y Panu, ktory dziatek y sług swoich nigdy przepominać nie raczy...»; *Могил.:* «Трафило се часу одного, же пришедшы шафар поведал св. Феодосию, иж не мает чего братии дать есть»... «Шафар то слышачи отшол, а св. Феодосий упал на землю, горячые молитвы выливал до збавителя; а ото який ся Иоан»... «То обачывшы, старец онъ святобливый руки поднял до неба а сердечне дяковал отцу небесному, господу богу, который вѣрных рабовъ своих, яко отецъ чадолюбивый не забывает...»; *Румянц.:* «Здарило ся бовем, же пришедши шафар поведалъ св. Феодосию, ижъ немаютъ братия чого есть... «Шафар то слышачи отошолъ, а св. Феодосий упал на землю горячими молитвами отыкгуючи збавителя; алеть неякий Иоанъ.»... ... «Што обачивъши старушекъ он святобливый руки възнес до неба а сердечне дяковалъ господу богу, которий дитокъ и слугъ своихъ не забывает и не проминает»; *Соф.* 129: Здарило се бовѣм, же пришедши шафар повѣдал св. Феодосию ижъ не мает чого братии дати ести»... «Шафар... (*Румянц.*, *Могил.*), а св. Ф. упал на землю, горячею молитвою просил господа: в том нѣякись Іоаннъ»... «Што обачивши св. старец руки поднял в небо а сердечне дяковал отцу небесному, которий не опущает слугъ своих...» *Соф.* 353 = *Соф.* 129, но: «дати исти», «що обачивши», «руки поднешши».

Приведем еще два примера перевода польского текста в украинских рукописях; возьмем их из последних глав.

XlVIII. «Trafiło się też ieden kiowianin»; (*Могил.:* «мещанин киевъский) дал на сохранение монаху Конону скрыню серебра...»; «Zakonnik imieniem Mikołay to gdy zoczył, iął go dyabeł podniecać, aby ono srebro ukradł, co y uczynił. Nieboras Konon przyidzie do Celli, patrzy tam y sam, srebra niemasz»; *Могил.:* «Другий зась законник, именем Микола, гды то оба-

чыл, началъ его дияволъ поущать, абы оное сребро украл, што и учынил без бытности Кононовы. А гды пришол Конон до келии, гледит там и сам, сребра немашъ»; *Румянц.*: «Законникъ именемъ Николай то гды зоочилъ, взялъ его дияволъ поджигать, абы оное сребро укралъ, што и учинилъ. Небораиъ Кононъ придет до кельи, гледит туды и сюды, сребра нет»; *Соф.* 129: «Законник именем Никола те коли бачил, почал его діавол подущати, абы оно сребро украл, што и учинил. Неборак Конон прийде до кельи, гледит и туды, и сюды — сребра немаш»; *Соф.* 353 = *Соф.* 129.

XLIX. «Chory ocknie się abić zdrowym y nic gorączki niema»; *Могил.*: «По том хорый очкнулся а ото стался здоровым и ничого горячки не мел»; *Румянц.*: «Хорий обудивши се, ажъ ест здоровым и ничого горячки немаючи»; *Соф.* 129: «Хорий очнется, а оно здоровым есть, ласкою и человѣколюбием господа нашего...» (славословие); *Соф.* 353 = *Соф.* 129.

Мы не исчерпали, конечно, всех случаев расхождения переводов с польским оригиналом, но и приведенных примеров сопоставлений четырех известных нам списков достаточно, чтобы позволить себе некоторые выводы. Все белорусско-украинские списки представляют собою в основе близкую передачу польского текста, но каждый со своими заметными особенностями. Наиболее близким к оригиналу является Румянцевский список, вплоть до повторения фонетических полонизмов (*ксенжентя, преврочовали, зебрал* и т. п.), но он во многих случаях содержит и белорусские (*вжо, мест, се*) и украинские черты (*в* 15 *мѣлех, скривши, пожегнався, щобы* и др.) в языке, среди которых отметим частое *намастыр, у намастири, до намастыра.* Он во многих случаях, однако, дает не только переложение оригинала на белорусско-украинскую фонетику, но и перевод, хотя и не особенно часто. Близок к оригиналу и Могилевский список, где также сильна белорусская стихия (возвратное местоимение *се* и употребление после шипящих *ы*). Этот переводчик обращался с оригиналом более свободно, чем переводчик Румянцевского списка и позволял себе иногда свободную передачу, мелкие добавления и сокращения. Он расходится в выборе слов с Румянцевской рукописью, но часто буквально с ним сходен.

Оба Софийских списка — Соф. 129 и Соф. 353 — объединяются в одну группу как по количеству глав, так и по выбору слов и выражений; они иногда примыкают к Румянцевскому, иногда к Могилевскому списку, соединяя их особенности в одной цитате (например, в гл. XLIX и др.). Но, кроме этого, оба Софийских списка имеют ту особенность, что носят резкую

окраску национальной среды, в которой они возникли. Переводчик не ограничился пределами белорусско-украинского литературного языка, а внес довольно последовательно в свою работу специфические украинские особенности, фонетические и морфологические (например, *исти, ихали, що, було* и т. п.), очень редкие в Румянцевской рукописи, не говоря уже об иных особенностях, о которых речь ниже.

Один ли переводчик трудился над приспособлением польского текста для украинских и белорусских читателей или их было несколько? Если мы учтем, что один текст дает перевод польского *wszechmocny* — «всемогущий», «всемогучий» (*Могил., Румянц.*), а другой — «вседержитель» (оба *Соф.*); польского nayświętsza — «пресвятая» (*Могил.*) и «пречистая» (*Соф.*), если вместо пророка Илии (*Могил., Румянц.*) назван неправильно Елисей (*Соф.*) и т. п., то будет правдоподобным предположение, что известные четыре списка восходят к трем переводам: один, лежащий в основе Румянцевского, наиболее близок к польскому тексту; второй — Могилевский — в основе несколько отдаляется от оригинала; третий — лежащий в основе обоих Софийских списков. В Румянцевском и Могилевском списках объем совпадает с оригиналом, а расхождения объясняются индивидуальными вкусами переводчиков. Не исключена возможность, впрочем, и того, что список, близкий к протографу Румянцевского, лег и в основание Софийских, с которыми его объединяет наличие некоторых выражений. Что оба Софийских списка восходят к одному переводу, видно уже из сравнительной таблицы глав: одни и те же сокращения наблюдаются в обоих. При этом писец *Соф.* 353, отклоняясь от своего оригинала, позволил себе некоторые сокращения и изменения, совершенно несущественные, и систематически вводил украинские особенности в языке.

Гораздо интереснее, что изъял или сократил редактор протографа перевода, сохранившегося в обоих Софийских списках.

Среди сокращений мы наблюдаем ничтожные, имеющие чисто словесное значение, как, например, в гл. XLIII, или вносящие большую сжатость в повествование, например, в гл. XLII, где исключен диалог Феодосия с братией, по существу распространяющий сообщение о назначении игуменом — по смерти Феодосия — Стефана, о котором далее говорится, что он был изгнан. Исключена подробность из гл. XLIV об открытии мощей Феодосия, по существу ничего не прибавляющая к рассказу.

В гл. X обоих Софийских списков рассказывается об обходе Феодосием келий, уничтожении им частного имущества монахов и о напоминании им о данных обетах. Вот исключенное место, как читается оно в Румянцевском списке: «Мелъ тот св. отецъ

межи иншими и тот великое похвалы годный звычай, ходячи от целли до целли братии найдовалъ, если бы не мелъ хто абы якого особнаго яденья и пития, або сукни над уставу, або яки скарбикъ; што коли у которого нашолъ, зараз вкинулъ в печь, яко шкодливую речъ, которий грѣх противъ уотумъ убоства законного за собою носитъ, а потом з боязнию и срокгостию напоминалъ мовячи: „не пристоит, наймилшие о Христе братие, законови, которий ся вырекъ света, знову скарбъ скарбити собе почали, бо якъ, правы, будете можете молитвы святыя выливать до бога, в скарбу ся зануривши. Вшакъ то збавитель Христос мовилъ: где будет скарбъ вашъ, там и сердца ваша." И оны(м) тым, котории неразумне збирают: тую ночь душу твою возмут от тебе а штось зебрал, кому будетъ?» (л. 669 и об.). Это напоминание о «вотах» бедности в конце XVII в. звучало для монаха лавры, по-видимому, анахронизмом.

В гл. XXXIX сделано небольшое сокращение такого же порядка: смертельно больной Феодосий «росказал собрать всю братию. где кольвекъ одно были, и почалъ их упоминать, абы вота свои на памяти маючи, оных стражами пильными были» (*Румянц.*, л. 678).

Опущено в Софийских списках место из гл. XXIII — конец рассказа о Клименте, пожертвовавшем монастырю евангелие, и, главное, упоминание о пище тогдашних монахов: «покармъ ему давалъ, якого манастыр заживалъ, то ест хлѣб, ярины, которие яко смачнейшие ся здавали быть над вси вымышленые потравы». С этим, конечно, не мог согласиться монах 70-х годов XVII в., равно как и с тем смирением, с которым Феодосий (в гл. XVI) крутил нитки для Никона, работавшего над переплетом книг.

Особое место занимают сокращения, сделанные по политическим мотивам. Так в гл. XXXII Софийские списки сокращают рассказ об отношении Феодосия к князю Святославу, отнявшему Киев у Изяслава, именно исключают обличительное послание; после слов: «Над то святый завше строфовал оного брата, который опановал Киев, а строфовал не только словне перед его сенаторами, але и листы пишучи» — эти списки делают большой пропуск и заключаются замечанием из гл. XXXV. «Он предсе такъ был закаменялый от гнѣву, же и святыми святого словы скрушити не дал до милости братерскои». А опущенное обличительное послание звучало весьма резко. Приводим пропущенное по Румянцевскому списку: «на которое (гды) ксенже мней дбалъ, написалъ потымъ великий лист, приклады ему приводячи розмаитыхъ панов и людей, которие на братию свою повстали, а межи иншимъ привел и цные оные слова

(писма) святого, которие мовлены были до Каина о забитию Авеля: „Кровъ брата твоего Авеля кричит ко мне". Прочитавши тот лист ксенже велце се розгневалъ и кинул его о землю». Далее опущен слух о грозящей Феодосию ссылке и до конца главы, следующие главы — XXXII, XXXIV и почти вся XXXV, из которой в Софийских списках уцелела только приведенная выше фраза о закаменелости Святослава. Но любопытно, что из гл. XXXV исключено также известие: «Такую невзгоду видечи ксенжет русских Никон з двема братиею одшолъ от монастыра св. Феодосия» (*Румянц.*, л. 677). Редактор 70-х годов XVII в. нашел неудобными слова Феодосия по адресу князя, но вместе с тем исключил подробность, свидетельствующую о том, что, несмотря на вспышку гнева и осуждение князя Святослава, Феодосий — по сравнению с непримиримым Никоном — оказался «соглашателем», что ясно из дальнейших глав: отказавшись от общения с насильником, Феодосий не выдержал своего намерения и скоро стал посещать его, хотя и обозвал его Каином. Такое подчеркивание осуждения Феодосием и Никоном князя казалось неудобным редактору этих списков, и он его опустил.

Хотя редактор оригинала Софийских списков был не чужд веры в бесов, однако он исключил из гл. XXXI (об изгнании диаволов) евангельскую мотивировку борьбы с ними при помощи молитвы. В рассказе о чудесном привозе масла, которое в монастыре иссякло (гл. XXIX), редактор опустил все подробности о том, как пономарь приготовил масло, но в нем утонула мышь, осквернив его. Две главы (XXIX и XXVI) превратились под пером редактора оригинала Софийских списков в следующее: «Подобным способом (т. е. по молитве Феодосия) часу одного на свято Успения пречистои богородици недостатокъ великий был оливы, ижъ до лямпь не мели чого лити; а оно господь богъ надхнул побожного человѣка молитвами, ижъ прислал полно барило оливы. Также, таким способом и вина коли до служения не стало, три куфы было прислано» (л. 169).

Исключил этот редактор и такое чудо, которое показалось ему невероятным, в гл. XXXVI, сохранив от этой главы только первую фразу — об обычае Феодосия уединяться на время поста. Приведем исключенное, чтобы видеть, что́ редактор счел лишним в своей обработке: «А што дивна, же потаемную печеру в монастыру в селѣ мелъ, в которой утаившисе от всихъ, бо в ночи до нея отходилъ, святыя дни посту отправовалъ. Потомъ з нея вышедши в пятокъ пред цветную неделию до братией приходилъ; што так богу всемогущему мило было (потом знать, *Могил.*, ижъ коли поймано (было, *Могил.*) неякихъ

злодеев и ведено к суду замкового, тыя идучи мимо село монастырное в которуй потаемную печеру мелъ св. Феодосий, пойзрели на оную и одинъ киваючи головою реклъ: „изалихмы тут оногда в нощи не приходили, а здало се намъ та весь быть барзо высокимъ замкомъ, до которогосьмы засе приближить се не могли; такъ много одинъ справедливый у бога важит“ (*Румянц.* л. 677).

Таким образом, редактор в своих сокращениях руководился желанием устранить все, что могло бы напомнить монахам, его современникам, об антагонизме между их представителем и патроном, с одной стороны, и князьями, с другой; наконец, он сокращал казавшиеся ему невероятными или слишком наивными «чудеса», которые могли совершиться и без содействия небесной силы. Но кроме сокращений внутри глав, редактор полностью выбросил целый ряд их, числом 15, и сделал свою обработку более удобочитаемой, чем обширное житие Коссова и его белорусско-украинские переводы, отраженные списками Могилевским и Румянцевским.

Исключая эти пропущенные главы, он следовал тому же принципу, какой побуждал его сокращать отдельные главы. Глава VI содержит справки об административной карьере Феодосия, которая мало интересовала редактора, — и он ее опустил. Две главы были опущены, так как они могли внушить читателю нежелательное представление о монахах: гл. VII, изображающая обход келий и введение строгой дисциплины Феодосием, и гл. XVIII — с проповедью Феодосием смирения и взаимной покорности монахов. Об опущении глав XXXIII—XXXIV и большей части XXXV сказано выше — редактор избегал останавливаться на разногласиях между Феодосием и князем. Особенно, по-видимому, ему не нравилось подчеркивать горделивое замечание Коссова — «patrz pokorę xiążęcia do ubogiego Zakonnika» (стр. 43), несогласованное с рассказом об упорстве князя Святослава.

Настроенный если не рационалистически, то во всяком случае несколько скептически, редактор исключил гл. VIII, описывающую «перешкоды» Феодосию от нечистых духов: они казались ему слишком фантастическими. После пережитого периода Возрождения, хотя и овеянного иезуитской реакцией, было странно передавать наивный рассказ о том, как перед Феодосием, по его словам, «нечистых гуфце по печерѣ гарцовать зачали» и притом «з вереском, з бубнами, с трубами».

Редактор Софийских списков исключил и целый ряд глав, повествующих о «чудесах». По этому мы можем догадаться о тенденциях автора и о вкусах его времени. Исключенные

главы целиком соответствуют тем эпизодам, которые, как отмечено нами выше, сокращены в отдельных главах. Вот содержание выброшенных «чудес»:

XX. О приходе в монастырь разбойников с целью перебить монахов и завладеть их имуществом и о чудесном спасении братии чрез пение ангелов в течение всей ночи, вплоть до звона к утрени.

XXI. Видение князю Изяславу: Печерский монастырь поднялся под облака и на глазах его опустился.

XXII. Климент (Клеменс) перед походом обещал богородице две гривны и золотой венец на икону, но по возвращении забыл об обещании. Икона богородицы является ему во сне и требует исполнения обещания.

XXVI. Пресвитер из Киева просит у Феодосия вина для литургии. Феодосий велит пономарю дать; после спора пономарь дает, а вечером по молитве Феодосия экономка князя Всеволода присылает три воза с бочками вина.

XXXVIII. Видение «одному человеку» пред построением великой церкви: великая светлость, пламя перешедшее на новое место, Феодосий с поднятыми руками и процессия монахов со свечами.

L. Явление трех столпов над церковью во время открытия мощей Феодосия. Пропущено и о приезде в этот момент бывшего игумена Стефана, изгнанного несмотря на благословение его Феодосием.

LI. Опущено о канонизации Феодосия и о перенесении его мощей епископами и игуменами в каменную церковь.

LII. О сбывшемся предсказании Феодосием некоей Марине, жене «великого пана», о том, что она будет погребена там же, где и Феодосий.

LIII. Опущено и «чудо» Феодосия о Василии, доверенном князя Юрия, сына Симона, внука Африкана, растратившем по пути часть вклада в монастырь на свои нужды, разбитом параличом и выздоровевшем по положении его на раку Феодосия; деньги оказались по подсчете в целости.

LIV. «Чудо» над Григорием Симоновичем тысяцким — исцеление его от слепоты с приведением его письменного заявления об этом и с рассказом, как он на месте сражения с половцами видел чудный замок, оказавшийся монастырским селом.

Одни из этих «чудес» показались редактору слишком фантастичными, другие — мало обоснованными, ибо заключали в себе слишком мало чудесного (например, о погребении Марины или о присылке вина), третьи — порожденными благочестивой экзальтацией и высоким представлением о монастыре

(видения), тем более, что эти видения по существу дублировали рассказанное в конце гл. XXXVI; наконец, «чудо» о растратившем золото и серебро Василии могло показаться редактору историей мало достоверной и темной, поскольку тут были замешаны деньги: святой Феодосий здесь покрывает растратчика, хотя растрата была произведена в крайней нужде.

Для украинского писателя XVII в. такой скептицизм, может быть, кажется несколько необычным по отношению к повествованию о «чудесах» Феодосия. Но не нужно было быть большим рационалистом, чтобы видеть наивность перечисленных «чудес». Вероятно, редактор исключил их, желая избежать «соблазна» и насмешек скептиков и иноверцев, подобно тому, как через 40 лет украинский монах Прибылович по-своему предлагал в своих «Аннотациях» «рационализовать» древний Пролог и сократить в нем чудесный элемент [10].

---

[10] В. Н. Перетц. К истории славяно-русского Пролога. — «Сборник в честь проф. Ф. А. Брауна». — «Зап. Неофилол. общ-ва», вып. VIII, СПб., 1914, стр. 280—296.

А. В. Флоровский

Прага

ЧЕШСКИЕ СТРУИ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Поставленная в заглавии настоящего очерка тема по существу не нова. О ней уже немало написано, собрано значительное количество материала, подчас вполне надежно и основательно изученного и обработанного. Этот круг материала как раз в последние десятилетия растет в своем составе, вызывая все новые и новые констатирования, сопоставления и заключения [1]. При этом, однако, в общих курсах истории русской литературы эта тема далеко не всегда выдвигается на сколько-нибудь заметное место и получает сколько-нибудь самостоятельную оценку. Лишь в курсах М. Н. Сперанского, а в последнее время особенно в курсах Д. И. Чижевского тема эта трактуется с достаточным вниманием и выделяется особо как самостоятельная историко-литературная проблема. Такое положение объясняется и тем, что чешские струи в истории русского (в самом широком смысле) литературного развития не признаются порою сколько-нибудь значительными и определяющими его направление и характер, а часто и тем, что соответствующие литературные факты рассматриваются и оцениваются изолированно и эпизодически, без учета их взаимной связи.

---

[1] Основной материал обработан в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне. Прага, 1935 — т. I, стр. 98—157, по X—XIII вв.; 1947 — т. II (набрано еще в 1939 г.), стр. 3—98, по XV—XVII вв.; кроме того, см. сжатый чешский очерк A. Florovský. Vliv staré české literatury v oblasti ruské (в сб. «Co daly naše země, Evropě a lidstvu». Praha, 1939, стр. 139—143). В этих работах дана подробная литература по всем соответствующим вопросам вплоть до даты написания того и другого тома. В дальнейшем изложении делаются ссылки по преимуществу лишь на литературу, в этих работах не цитированную и вышедшую после их издания.

Между тем, в литературе накоплено уже довольно много фактического материала, текстов и сопоставлений, которые требуют известного сводного истолкования и изложения, а вместе с тем — и это важно подчеркнуть — серьезного контроля и осмысления с точки зрения правильности и основательности их объяснения в рамках чешско-русских литературных взаимодействий.

Необходимо сразу же оговорить, что перед нами находятся два существенно отличных друг от друга цикла литературных явлений, отделенных один от другого не только хронологически, но и по самому своему литературно-языковому существу и по своему культурно-историческому содержанию и характеру. С одной стороны, старая Русь усвоила ряд литературных церковнославянских памятников чешско-моравского и чешского происхождения, созданных или переведенных с иных языков (особенно с латинского) в Великой Моравии и в Чехии в IX—XII вв. С другой стороны, в русской литературной традиции имеется ряд литературных текстов, восходящих к чешским по происхождению и чешским по языку памятникам, датируемым XV—XVII вв. Этим языковым и хронологическим особенностям разных этапов усвоения русской средою чешских по происхождению текстов отвечают существенные различия общей культурной обстановки и возникновения входящих в круг нашего интереса отдельных литературных памятников и их усвоения на Руси.

I

Итак, первый этап русского литературного развития, когда можно говорить о наличии чешского в нем участия, есть время интенсивного развития церковнославянской литературной языковой стихии в Великой Моравии и затем в Чехии, время, когда и Русь (т. е. Русь Киевская) приобщалась к этой церковнославянской литературной традиции и становилась одним из главных средоточий ее усвоения, укрепления и дальнейшего обогащения. Это общее констатирование не должно и не может упрощать всю сложность проблемы, поскольку за ним стоит целый ряд далеко еще не решенных до конца вопросов о самых основных явлениях и особенностях и чешского и русского исторического прошлого.

Основополагающее значение имеют в данном случае такие проблемы, как проблема влияния кирилло-мефодиевской деятельности (в отношении как Руси, так и Чехии), проблема христианизации Руси и ее действенных источников, для Чехии — проблема развития и значения славянской богослужебной тра-

диции и практики, развитие церковнославянской письменности и др. Положительное решение всех этих проблем может быть прочной основой для разъяснения и форм и обстановки проникновения чешской церковнославянской традиции в русскую среду. Но нужно иметь в виду при этом, что положительное решение этих вопросов делается возможным в значительной степени именно потому, что имеются налицо весьма яркие и весьма показательные факты подлинной чешско-моравской культурной экспансии в сторону Руси в X—XII вв. Именно русская филологическая наука обнаружила в свое время (А. Х. Востоков — в первой половине XIX в., А. И. Соболевский и Н. К. Никольский — на рубеже XIX—XX вв.) фактическую основу для этого утверждения — эту крупную заслугу русской науки никак нельзя преуменьшать и забывать. С чешской стороны русские наблюдения не сразу встретили надлежащее признание, и только в последние десятилетия в этом направлении было сделано весьма много для подтверждения и укрепления выдвинутых — особенно А. И. Соболевским — положений. Кстати, сейчас[2] исполнилось как раз сто лет со дня рождения этого во многом замечательного русского ученого — поэтому вполне своевременно особо отметить здесь его имя. Наблюдения А. И. Соболевского, свидетельствующие об его огромной историко-культурной и языковой интуиции и зоркости, в особенности после 1929 г. (т. е. после того как чешская наука отметила тысячелетие со дня смерти князя Вацлава, в России — Вячеслава), получили полное признание в чешской ученой среде и нашли серьезное подкрепление в ряде новых наблюдений М. Вейнгарта, И. Вашицы, В. Халоупецкого, Р. Якобсона и др.[3] Прежняя сдержанность и старый скептицизм, освященный авторитетом Иосифа Добровского, еще и теперь имеют своих сторонников[4]. Мы полагаем, что в этом случае именно надлежащий

---

[2] Статья писалась А. В. Флоровским в декабре 1956 г.

[3] См. общие указания на литературу по 1940 г.: Г. А. Ильинский. Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии. Ред. М. Г. Попруженко и Ст. Романского. София, 1934, стр. 177 и passim; Попруженко-Романский. Кирилло-мефодиевская библиография за 1934—1940 год. София, 1942, стр. 101 и passim. В дальнейших примечаниях к нашей статье читатель найдет ссылки на важнейшие новые работы по этим вопросам.

[4] См. новейшие формулировки их взглядов в работах: F. M. Bartoš. O Dobrovského pojetí ozudů slovanské bohoslužby v Čechách. «Sborník Historický», 1. Praha, 1953, стр. 7—26; его же. Kníže Bořivoj na Moravě a založení Prahy. В сб. «Josef Dobrovský. 1753—1953». Praha, 1953, стр. 430—440; R. Urbánek. Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend Ludmilských a Václavských a její autor. I. Praha, 1947, стр. 284—301, 312 и сл.

и серьезный учет основных — и при этом теперь уже совершенно бесспорных — фактов чешско-русского общения должен и может неизбежно подтвердить и укрепить правильность наблюдений А. И. Соболевского и других и всех тех выводов, какие из этих наблюдений делают исследователи, для которых проблема церковнославянской традиции в Чехии представляется действительно важной и значительной, основным слагаемым старочешской народной культуры[5].

Киевская Русь не имела непосредственной связи с деятельностью Кирилла и Мефодия в Моравии в 60—80-х годах IX в., хотя отголоски этой деятельности, может быть, и могли проникнуть в русскую среду уже в эту раннюю пору развития Руси[6]. Однако уже в X в. Русь, несомненно, стала одной из наследниц великого кирилло-мефодиевского культурного моравского наследия — и в этом случае свою роль сыграли как русско-болгарские отношения в X в., так и отношения между Русью и Чехией в это и последующие столетия. Киевская Русь уже вскоре после своей христианизации конца X в. обладала значительным инвентарем церковно-богослужебных книг, текстов священного писания, сочинений правового и нравоучительного содержания и подобных на церковнославянском языке. Многое из этого инвентаря было плодом великих творческих усилий как Кирилла, так и особенно его брата Мефодия, работавших над этими текстами-переводами и переработками — именно в Моравии. Недаром ныне пристальное исследование открывает элементы и следы чешского языкового влияния в ряде текстов, связываемых по своему происхождению и обработке именно с делом Мефодия на Мораве[7].

---

[5] Здесь укажем пока лишь несколько обобщающих работ новейшего времени: Olaf Jansen (= R. Jakobson). Český podil na cirkevněslovanské kultuře. В сб. «Co daly naše země Evropě a lidstvu». Praha, 1939, стр. 9—20; его же. Moudrost starých čechů. Odvěké základy národního odboje. New-York, 1943; J. Vašica. Slovanská bohoslužba v Čechách. Praha, 1940; V. Chaloupecký. Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. «Svatováclavský Sborník», II. Praha, 1939; его же. Slovanská bogoslužba v Čechách. «Vestnik české Akademie věd a umění», r. IX, č. 4, июль-август 1950, стр. 65—80; M. Weingart. Československý typ církevnej slovančiny. Jeho pamiatky a význam. Bratislava, 1949.

[6] См. недавнюю, хотя далеко не новую формулировку этих соображений: М. Г. Попруженко. България и Киевска Русь. Журнал «Родина» (София), I, 3, 1939, стр. 27; ср. R. Holinka. K česko-ruským vztahům v 10. století. «Sborník prácí filosofické fakulty Brněnské University», r. II, č. 2—4. Brno, 1953, стр. 223.

[7] Ср., например, J. Vašica. Metodějův překlad Nomokanona. «Slavia», XXIV/1. Praha, 1955, особенно стр. 34 и сл.

Вопрос о составе русской доли богатого моравско-паннонского наследия представляет немалый интерес. В научной литературе в последнее время выдвинуто предположение, что эта русская доля не ограничивалась лишь плодами переводческой деятельности Мефодия и Кирилла и их учеников в Моравии, но включала в себя — наряду с житиями этих апостолов (в особенности житием Мефодия, проникшим на Русь во всяком случае не через южных славян) — и некоторые другие оригинальные произведения исторического содержания, известные только в русской литературной традиции. В данном случае мы имеем в виду недавние наблюдения Н. К. Никольского (1863—1936), сформулированные им в его книге о Повести временных лет. Дело касается вскрытия в составе русской летописи начала XII в. следов сводного рассказа о начальной истории земли полян в тесной связи с историей славянского письма и деятельности Мефодия в Моравии. По мнению Н. К. Никольского, этот свод моравского происхождения и был основным зародышем русской летописи [8]. К глубокому сожалению, Н. К. Никольский не закончил своей работы и в первой ее части скорее лишь сформулировал свои заключения, чем законченно их обосновал. Ввиду этого не удивительно, что эти предположения встретили и серьезную критику и отрицательные отзывы. Особенно это касается тех утверждений Н. К. Никольского, которые предлагают признать первоосновой русской летописи особую моравско-русско-полянскую (русско-западнославянофильскую по идеологии) повесть моравско-паннонского происхождения, в составе Повести временных лет совершенно якобы заслоненную новой южнославянской или собственно грекофильской идеологией [9].

Между тем, в основе наблюдений Н. К. Никольского лежит вполне приемлемое утверждение о том, что рассказ русской летописи о начале славянского письма восходит к некоей западнославянской чехо-моравской версии, на что уже много лет назад обратил внимание А. А. Шахматов, не ставивший свои

---

[8] Н. К. Никольский. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, вып. 1. «Сборник по русскому языку и словесности», II/1. Л., 1930.

[9] Ср. возражения Г. А. Ильинского и В. М. Истрина в «Byzantinoslavica» (II/2, 1930, стр. 42, 432—436 и III/2, 1931, стр. 308—322); при этом В. М. Истрин считает бесспорным усвоение Русью значительного чехо-моравского культурного и литературного наследия (Вацлав и др.): В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы домонгольского периода (XI—XIII вв.). Пг., 1922, стр. 1—2, 5. Отрицает какое-либо западнославянское влияние на русскую летопись Д. С. Лихачев (Возникновение русской литературы. М.—Л., 1952, стр. 168—169).

наблюдения в связь с какими-либо особо широкими культурно-историческими перспективами, как это сделал — с большой дозою свободных допущений и преувеличений — Н. К. Никольский. Р. О. Якобсон, принимая в основном выводы Н. К. Никольского, вносит в этот вопрос некоторые новые обстоятельства [10], а именно вскрывает в составе этого источника русского летописного повествования о славянском письме прямые отзвуки чешских апологий славянской письменности и богослужения, конкретнее — отзвуки написанных в конце X в. «Привилегии моравской церкви» и «Эпилога о св. Кирилле и обращении Моравии и Чехии» [11]. Однако это выводит весь вопрос за рамки великоморавского периода развития славянской письменности и связывает его с эпохой чешского ее развития в X—XI вв. Важна, однако, самая возможность использования русской летописью начала XII в. этого чехо-моравского источника историко-апологетического содержания по весьма важному вопросу о начале славянского письма.

II

После падения дела Кирилла и Мефодия в Моравии под давлением с латинско-немецкого Запада и после падения самой государственности великоморавской — в роли хранительницы и блюстительницы церковнославянской литературной традиции в средней Европе выступает Чехия. Основные богатства кирилло-мефодиевской традиции сохраняются и находят дальнейшую разработку по преимуществу у южных славян, у болгар, куда ушли ближайшие и самые деятельные ученики Мефодия. Однако известная доля этого наследия нашла себе признание и заботливое использование и развитие и у западных славян, именно у чехов, в Чехии и Моравии. Этот бесспорный тезис в исторической науке находит двоякое освещение и конкретное разъяснение. В то время как одни — а таких исследователей до недавнего времени было большинство — считают эту церковно-

---

[10] Ср. R. Jakobson. Slovo a Slovesnost, II, 1936, стр. 5 и сл., и IV, 1938, стр. 227; его же. Moudrost starých čechů, стр. 73—74; ср. Dm. Čyževský. Studien zur russischen Hagiographie: Die Erzählung vom hl. Isaakў. — «Wiener slavistisches Jahrbuch», Bd. II. Wien, 1952, стр. 22—23.

[11] R. Jakobson. Český podíl, стр. 15—16; его же. Minor Native Seurces of the Early history of the Slavic Churchi «Narvard Slavic Studies», II, 1954, Cambridge Mass., стр. 43 и сл., 46, 61; его же. Kernel of comparative Slavic literature. «Harvard Slavic Studies», I, 1953, стр. 46; об этих латинских текстах см. B. Chaloupecký. Prameny X. stoleti, стр. 460 и сл., 486 и сл.; ср. Fr. Dvornik. Les bénédictins et la christianisation de la Russie. В сб. «L'église et les églises. 1054—1954». 1954.

славянскую богослужебную и литературную традицию в Чехии явлением сравнительно поздним (не ранее XI в.) и сравнительно слабым, имевшим опору в сущности едва ли не в стенах одного лишь монастыря на реке Сазаве, иные исследователи — а такие выступили со своими утверждениями главным образом уже в наши дни, в последние десятилетия, — считают эту церковнославянскую богослужебную и литературную традицию в Чехии прямым продолжением великоморавской деятельности Мефодия, лично обратившего в христианство чешского князя Боривоя и пересадившего на чешскую почву первые ростки этой традиции, пышно разросшейся затем в X—XI вв. Возможность такого расхождения во мнениях объясняется тем, что в научной литературе (мы имеем в виду при этом наиболее остро и непосредственно заинтересованную в решении этих проблем чешскую науку) существует основное и упорное расхождение в оценке и понимании некоторых важнейших исторических источников по начальной истории Чехии и славянской традиции в ней, и прежде всего — в датировке и истолковании сообщений Христиана о древних временах Чехии, в датировке основной церковнославянской легенды о св. Вацлаве и под. В то время как одни исследователи последний текст считают древнейшим чешским литературным трудом еще середины X в., а легенду Христиана относят также к этим временам, другие датируют легенду св. Вацлава серединой XI в., а Христиана — даже XIV в. Этим определяется и расхождение в оценке исторического значения содержащихся в этих текстах данных, в характеристике основной обстановки культурного и литературного развития Чехии на начальных стадиях ее исторического существования и т. д.

Нужно сразу же сказать, что решение этого разногласия в значительной степени зависит от изучения истории чешско-русских политических, экономических и культурных отношений в X—XII вв. Достаточно напомнить, что в X в. Русь вела активную торговлю с Чехией и через Чехию на верховьях Дуная (Раффельштетенский мытный устав 904 г.) и в самой Праге, а равно и на нижнем Дунае, где «вся благая сходятся», как говорил Святослав (965 г.), что, во всяком случае в конце X в., киевские князья имели дружественные связи с чешским владетельным родом Пржемысловичей, владения которых на верховьях Вислы и Сана, хотя и на короткое время, граничили с западными владениями киевского князя Владимира (после 981 г.). Для XI в. можно было бы привести воспоминания о культе в русской среде князя чешского Вацлава (убитого в 929 г.), факты живого контакта между русской и чешской

династиями, живого контакта в области церковного культа[12]. А для XII в. достаточно было бы снова внимательно перелистать киевский летописный свод этой эпохи, чтобы увидеть, что чешско-русские отношения в это время проявлялись как в династических контактах, так и в многократной помощи чешских воинов в междукняжеской борьбе за «отчины» и «дедины» в южной Руси. И на этом пестром и богатом движением фоне выступают с особой выразительностью факты, говорящие о живом взаимодействии между Русью и Чехией и в области письменности, в области литературной традиции.

В данной области в круг нашего внимания входит два ряда памятников, сохранившихся именно в старорусской рукописной традиции, но своим происхождением, бесспорно, связанных с церковнославянской традицией на чешской почве. По своему содержанию и литературному характеру все эти тексты относятся к литературе церковно-поучительной, прежде и больше всего — к литературе агиографической, житийной. Однако одни из этих текстов были по самому своему происхождению и по использованному писателем языку церковнославянскими, другие же, вне всякого сомнения, — переводными, т. е. переводами с латинского языка на церковнославянский, при этом с явными признаками и следами чешского типа этого церковнославянского языка. Эта вторая группа текстов представляет особый интерес, ибо она свидетельствует, что русская книжная среда усваивала в известное время и литературные тексты западного, латинского церковно-литературного культа, усваивала при посредстве чешской среды, культивировавшей и для своих церковно-культурных надобностей церковнославянский язык и традицию, подчиняя ей тексты латинского происхождения — ради введения их в круг славянской традиции, не уступавшей, очевидно, традиции латинской. Известная книжная и церковно-культурная среда в Чехии, видимо, не удовлетворялась возможностью использовать латинские тексты в их оригинале, но усваивала их и для своих славянских потребностей. Это обстоятельство само по себе достаточно красноречиво говорит о живучести и жизненности этой церковнославянской традиции в Чехии.

Собственно церковнославянское чешское литературное творчество отражается в русской литературной традиции в текстах, посвященных церковному поминовению чешского князя Вацлава

---

[12] Ср. J. Vašica. Raný kult českých světců v cizině. В сб. «Co daly naše země atc.», стр. 24—27.

и его бабки, княгини Людмилы[13]. Церковнославянское житие Вацлава известно в русской традиции в двух вариантах — в полном тексте, открытом более ста лет назад А. Х. Востоковым и ранее называвшемся Востоковским, ныне же обозначаемом как первая церковнославянская легенда о св. Вацлаве, написанная скорее всего еще в середине (40-е годы) X в. в Чехии, и в сокращенной обработке — в составе древнерусского Пролога[14].

Житие св. Людмилы известно только в составе русского Пролога. В основе этого жития лежит, по всей вероятности, не сохранившийся чешский церковнославянский текст легенды, написанной, вероятно, еще в 20-х годах X в. и, может быть, тем же автором, что и первое житие св. Вацлава. Этот текст восстанавливается ныне как по русскому Прологу, так и по одной из латинских версий легенды о чешской княгине (легенда «Fuit in provintia Bohemorum»)[15].

Эти церковнославянские тексты чешского происхождения были усвоены на Руси, может быть, еще в X в.; во всяком случае, в XI в. они были хорошо известны русской читающей и книжной среде. Это было возможно, конечно, потому, что отношения между Русью и Чехией в X—XI вв. развивались как в политической и экономической, так и в церковно-культурной области, недаром на Руси возникло почитание памяти св. Вацлава, появились (знаем по русской княжеской семье) носители его имени — в русской редакции Вячеслав, с чем, конечно, был связан и интерес к чтению рассказов о судьбе этого чешского князя и мученика. Сходство его судьбы (убит братом) с судьбою первых русских мучеников — сыновей Владимира Святого Бориса и Глеба (убиты братом Святополком в 1015 г.) — могло поддерживать особый интерес к судьбе чеш-

[13] Все русские тексты Вацлавского цикла и житие Людмилы критически изданы в 1929 г. в Праге под редакцией И. Вайса при сотрудничестве И. Вашицы, Н. Серебрянского и др. («Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile»); чешский перевод некоторых из этих текстов с важными примечаниями издан в сборнике «Na úsvitu Křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v století IX—XIII». Praha, 1942 (под ред. В. Халоупецкого, при участии И. Вашицы и др.).

[14] Ср., кроме основных работ Вайнгарта, и его брошюру «Начатки чешской культуры и первое чешскоцерковнославянское предание о святом Вацлаве» (Прага, 1945, стр. 23); его же. Čsl. typ, стр. 47—60; J. Vašica. Na úsvitu Křesťanství, стр. 67 и сл.

[15] Ср. об этом V. Chaloupecký. Prameny X. století, стр. 19 и сл., 30 и сл.; его же. Na úsvitu, стр. 14—15, 60, 253; M. Weingart. První českocírkevněslovanská legenda o sv. Václavu. Praha, 1934, стр. 89 и сл., 105; его же. Čsl. typ, стр. 107—108; R. Urbánek. Legenda t. zv. Kristiána, I, стр. 26, 165 и сл., 170 и сл., и по указателю (стр. 461); Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 331—332.

ского князя. Но и в чешской среде это положение могло вызвать интерес к судьбе русских мучеников, этому интересу должна была отвечать передача в Чехию частиц тел Бориса и Глеба для церковного почитания. В 1096 г. частицы эти были положены на алтаре в монастыре на Сазаве — их передача является несомненным знаком известной общности культовых интересов и настроений и чешской и русской среды и символом их близости и дружественности на церковно-культурной основе [16].

В последние годы было сделано две попытки еще более конкретизировать обстоятельства этого усвоения культа святых Бориса и Глеба в Чехии. Профессор В. Халоупецкий высказал предположение, что борисоглебские реликвии могли быть принесены в Чехию в связи с приездом в Чехию русского князя Владимира Мономаха, со сношениями которого с тогдашним чешским князем Вратиславом В. Халоупецкий готов связать и подачу князем папскому престолу в Риме незадолго перед 1080 г. просьбы о признании свободы славянского богослужения в чешских землях [17]. Но когда же конкретно могла произойти эта встреча князя Владимира Мономаха с князем Вратиславом? Да, князь Владимир действительно имел случай войти в контакт с Чехией — однако не как ее друг, но как ее неприятель — в 1076 г., когда он — как союзник и помощник польского князя Болеслава — пошел на запад «ляхам в помочь на чехы». Русско-польские отряды дошли тогда через Силезию (Глогова) до Кладска и до «Чешского Леса». Поход этот окончился неудачей, и поляки и русские мирно договорились с князем Вратиславом. В. Н. Татищев в своем своде летописных известий сообщает неизвестные из иных источников подробности об этом, причем указывает, что Вратислав послал к Владимиру и его товарищам своего брата-епископа с большими дарами. Речь идет, очевидно, о пражском епископе (в 1068—1089 гг.) Яромире, о котором, правда, известно, что он отнюдь не был другом славянской богослужебной традиции в Чехии и сторонником начинаний брата [18]. Однако в целом сообщение

[16] Ср. J. Vašica. Na úsvitu, стр. 260; его же. Slovanská bohoslužba, стр. 23—24; I. Vajs. Legenda o svatém Borisi a Glebovi. Tasov, 1947; А. И. Соболевский в 1912 г. («Изв. ОРЯС», XVII, 3, стр. 999) обратил внимание на необычное для русской церкви русское паремийное чтение о Борисе и Глебе, в чем он усматривал западное, может быть, чешское влияние. Дворник («Les bénédictins», стр. 335—336) допускает, что, возможно, уже в монастыре на Сазаве — в связи с привозом туда реликвий св. Бориса и Глеба — возникло это чтение о них. Это предположение требует все же, конечно, некоторых дополнительных доказательств.

[17] V. Chaloupecký. Slovanská bohoslužba, стр. 74.

[18] V. Chaloupecký. Středověké legendy prokopské. Praha, 1953, стр. 65, 70, 96; его же. Prameny X. st., стр. 450.

В. Н. Татищева, таким образом, не противоречит фактической обстановке того времени и, возможно, восходит к заслуживающему доверия источнику, нам не известному [19]. Для приведенных домыслов В. Халоупецкого эти факты могли бы быть конкретным подтверждением, так как, конечно, можно было бы допустить, что в ответ на чешские дары русский князь мог подарить представителю чешского князя пражскому епископу дар особенно ценный — частицы мощей первых русских мучеников, при этом особо дорогих Владимиру Мономаху, их родному племяннику. И с датами дело обстояло бы вполне благополучно: поход состоялся в 1075—1076 гг., а Вратислав обратился к папе римскому со своею просьбою о славянском богослужении как раз перед 1080 г., когда получен был из Рима отрицательный ответ. На фоне общей культурно-религиозной взаимности между Чехией и Русью того времени этот дар был бы и понятен и действенен. Вспомним, что канонизация св. Бориса и Глеба в России была осуществлена в Киеве в 1072 г.; вполне вероятно было бы, что князь Владимир взял с собою в поход частицы тел этих мучеников.

Вставляя суммарно формулированное В. Халоупецким предположение в рамки истории русского похода 1076 г., мы должны, однако, учитывать тот факт, что первое и единственное упоминание о принесении реликвий «Sancti Glebii et socii ejus» в Чехию относится к 1096 г., когда пражский епископ Космас освятил в монастыре на Сазаве несколько алтарей, в один из которых были вложены и частицы тел этих русских святых. Видимо, именно эта дата дала основание Д. И. Чижевскому высказать предположение, что мощи эти были доставлены в Чехию — и именно на Сазаву — уже незадолго до 1096 г., в 1094 г., и при этом не кем иным, как будущим летописцем Нестором, к тому времени уже автором нескольких агиографических сочинений (среди них и жития Бориса и Глеба, затем жития Феодосия Печерского) [20]. Нельзя, однако, забывать, что как раз в эти последние годы XI в. славянская богослужебная и церковно-культурная традиция на Сазаве переживала последние дни своего развития и вскоре была изгнана из стен Сазавского монастыря, не получив от римского

[19] Подробный разбор данных о походе 1076 г. см. в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. I, стр. 59—58; ср. Z. Wojciechowski в сб. «Polska-Czechy». Katowice—Wrozław, 1947, стр. 40.

[20] D. Čyževský. Anklänge an die Gumpolds-legende des hl. Václav in der altrussischen Legende des hl. Feodosý und das Problem des «Originalität» der slavischen mittelalterlichen Werke. «Wiener Slavistisches Jahrbuch», I. Wien. 1950, стр. 84; Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 345.

престола одобрения и разрешения, как ни просил об этом князь Вратислав, князь чешский, в интересах всего круга блюстителей славянского богослужения в Чехии — «quod populus querit». В виду этого нам представляется более вероятной гипотеза В. Халоупецкого, поскольку она учитывает момент, когда славянская традиция еще не была под столь явной и опасной угрозой, как это было уже в 90-е годы XI в. К тому же у нас нет никаких положительных указаний на путешествие Нестора в Чехию!

Прибавим еще, что существует предположение о прямой личной связи основателя упомянутого не раз Сазавского — со славянской богослужебной традицией — монастыря св. Прокопа с русской церковной средою, именно с Печерским монастырем у Киева, где проходил свой религиозный искус и вел свою литературную работу и Нестор-летописец. Сазавский монастырь (по правилам св. Бенедикта) был основан Прокопом в 30-х годах XI в., почему никак нельзя повторять догадку о прохождении им монашеского искуса еще в Печерском монастыре, формально основанном много позже. Правда, возможно, что Антоний Печерский еще с 1031 г. ряд лет жил в пещерах у Киева, где вокруг него собирались ищущие поучения и создалась целая община братьев [21]. Среди них мог оказаться, вообще говоря, благочестивый чех, перенесший затем к себе на Сазаву из приднепровских пещер светлые воспоминания и поучения их благочестивых обитателей [22]. Все это более или менее вероятно, связь Сазавского монастыря с Киево-Печерской Лаврой во второй половине XI в. не невозможна и вполне допустима, однако от этого еще далеко до признания полной реальности всех приведенных предположений и домыслов. А известные, хотя и изолированные одна от другой вехи все же для этих допущений имеются...

Сазавский монастырь св. Прокопа был в XI в. несомненно одним из главных центров культивирования в Чехии славянской богослужебной традиции и церковнославянской письменности. Это был не единственный центр этих традиций, они были общим достоянием чешской книжной и церковной среды, находившей для себя опору во владетельной семье Пржемысловичей, на пражском княжеском дворе [23].

---

[21] Ср. M. Heppell. The «Vita Antonii» a last Source of the «Paterikon» of the Monastery of Caves. «Byzantinoslovica», XIII/1. Praha, 1952, стр. 46—58.

[22] Ср. P. M. K. Klement. OSB, Pout svatoprokorská «Lidová Democracie», 28 июня 1945 г.; ср. «Lidová Democracie», 19 мая 1949 г.

[23] Ср. соображения В. Халоупецкого в «Slovanská bohoslužba» (стр. 79—80), а также Дворника в «Les bénédictins» (стр. 339 и сл.).

Нужно, однако, обратить внимание читателя на то, что в истории Сазавского монастыря мы наталкиваемся на одно чрезвычайно любопытное и совсем еще не разъясненное обстоятельство. Сам основатель монастыря и видный представитель славянской его богослужебной традиции святой Прокоп (умер в 1053 г.) не имеет жития, написанного на церковнославянском языке, а только жития, написанные по-латыни! Это может, конечно, объясняться тем, что после изгнания славянских монахов с Сазавы в конце XI в. были старательно уничтожены все следы церковнославянской письменности в монастыре. В связи с этим понятен интерес к усилиям исследователей обнаружить следы церковнославянского жития под покровом латинских легенд о Прокопе. Эти усилия не напрасны, такой церковнославянский текст (написанный скорее всего в 1061—1067 гг.) лежит, видимо, в основе первой латинской легенды о св. Прокопе (может быть, 1100 г.), а через него — и вообще в основе всей латинской и чешской агиографической традиции о нем [24]. Как мы уже знаем, почти все церковнославянские тексты чешского происхождения известны ныне только по их русским спискам (для св. Вацлава — и по южнославянским глаголическим). Нужно думать, что житие св. Прокопа не попало на Русь своевременно и поэтому не сохранилось, что, правда, при несомненных отношениях между Сазавой и Южной Русью в XI в. представляется как-то странным. К тому же и самое имя чешского святого Прокопа на Руси в число святых не вошло, может быть, и потому, что в самой Чехии его церковное почитание не старше начала XIII в. И в самой Чехии был до этой даты длительный период какого-то полного забвения св. Прокопа, и самая акция по проведению его канонизации представляется неожиданной и довольно своеобразной [25].

Обратимся, однако, снова к фактам литературного характера, тесно связанным, конечно, и с приведенными домыслами и допущениями. Теперь нас интересуют сохранившиеся в русской письменной традиции чешские церковнославянские переводы с латинского. Таких имеется целый ряд — их чешское происхождение не всегда несомненно и бес-

---

[24] Ср. подробное обоснование ранее скептически к этому относившегося В. Халоупецкого: «Prameny X. století», стр. 422—423; «Na úsvitu», стр. 168 и сл., а также в «Историческом разборе» в книге: В. Халоупецкий—Рыба. Středověké legendy Prokopské. Praha, 1953, passim; особенно стр. 12 и сл., 30 и сл., 34 и сл., 40 и сл.; J. Vašica. Slovanská bohoslužba, стр. 22.

[25] Ср. у В. Халоупецкого («Středověké legendy», стр. 23 и сл., 75 и сл.).

спорно, но, в основном, все же для нескольких текстов вопрос решается вполне определенно и категорически.

Таково, прежде всего, житие святого Вацлава (Вячеслава), написанное епископом Гумпольдом Мантуанским и сохранившееся в русских довольно поздних рукописях; его церковнославянский перевод бесспорно чешского происхождения, причем убедительно датируется еще X в., когда в Чехии господствовало глаголическое письмо [26]. Далее, в русской рукописной традиции сохранился целый ряд житий и легенд о некоторых святых западной христианской церкви, не усвоенных для почитания православной церковью русской. Таково, может быть, еще в первой половине X в. переведенное с латинского на церковнославянский в Чехии житие мученика св. Вита, патрона Саксонии, пользовавшегося издавна особым почитанием в Чехии, в частности в Праге, где ему посвящен был собор в пражском Кремле-Граде [27]. Оно имеется в русском списке XII столетия. Среди известных на Руси житий западных святых чешскими церковнославянскими переводами с латинских оригиналов являются далее и «мучение папы Стефана», и мученичество св. Аполлинария Равенского, и сказание о св. Бенедикте Нурсийском [28], житие мученицы Анастасии и св. Хризогена, житие св. Георгия, житие папы Клемента и др.[29] В основе приурочения и этих текстов к числу церковнославянских переводов именно чешского происхождения лежат наблюдения и заключения первого их издателя и исследователя — А. И. Соболевского, который считает эти и еще некоторые иные тексты

[26] Текст см. в сборнике И. Вайса; ср. J. Vašica. Kniha o rodu a utrpení svátého Kníže'e Václava. Praha, 1939; его же. Na úsvitu, стр. 134 и сл., M. Weingart. Čsl. typ, стр. 55—60, 68; Chaloupecký. Prameny X. století, стр. 265 и сл.; Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 332—333.

[27] Ср. J. Vašica. Staroslovanská legenda o sv. Vítu. «Slovanské studie, věnované prof. I. Vajsovi». Praha, 1948, стр. 150—163; M. Weingart. Čsl. typ. стр. 67—68, 118; V. Chaloupecký, Prameny X. století, стр. 426—427; его же. Na úsvitu. стр. 15, 44, 87 и сл., 266 и сл.: Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 324 и сл.

[28] Ср. замечания о житии св. Бенедикта: V. Chaloupecký. Legendy prokopské, ср. 40, 41—42; Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 344.

[29] Ср. сводку данных у Дворника: The making of Central and eastern Europe. London, 1949, стр. 242 и сл., 245—246, по указателю; его же. Les bénédictins, стр. 324 и сл.; M. Weingart. Čsl. typ, стр. 63—64, 118; R. Jakobson. The Kernel, стр. 42 и сл. Д. И. Чижевский в своем курсе истории литературы киевского периода называет еще — но пока без аргументации — среди чешских текстов, усвоенных на Руси, Римский Патерик и житие Ивана Милостивого, а также рассказ о смерти Аттилы в составе Еллинского летописца («Geschichte der altrussischen Literatur im 11., 12. u. 13. Jahrhundert, Kiewer Epoche». Frankfurt, 1948, стр. 100—101).

переведенными в известной единой культурной среде и атмосфере.

Дело, однако, не ограничивается лишь одной житийной литературой латинского происхождения. В русской рукописной традиции обнаружено еще несколько текстов разнообразного церковно-практического, богослужебного и иного содержания, которые также включаются в этот круг чешских переводов с латинского. И в данном случае дело касается по преимуществу наблюдений А. И. Соболевского. Речь идет о «Беседах на евангелие папы Григория Великого» (Гомилии) и апокрифическом евангелии Никодимовом. Эти тексты являются, может быть, наиболее старыми текстами подобного происхождения, при этом они в русских рукописях представлены списками с текстов среднеболгарского типа, т. е., возможно, проникли на Русь уже через болгарское посредство, хотя по происхождению связаны несомненно с Чехией-Моравией [30].

Далее, в русских рукописях встречаются интересные молитвы, признаваемые переводами с латинского, сделанными в Чехии, — это молитвы «на дьявола», святой троице, «потребно всем святым глаголем на всяк день», и к этому Н. К. Никольский в 1915 г. прибавил еще текст правил архиепископа Бонифация о епитимиях и др. Перевод этих правил в Чехии может свидетельствовать об особом интересе к ним в чешской среде [31] (ср., например, в бенедиктинском монастыре на Бржевнове у Праги).

Упомянутые молитвы, составлявшие, может быть, часть какого-либо единого сборника молитв [32], представляют особый интерес, так как в них имеется ряд имен западных святых, не пользовавшихся почитанием в русской церкви, при этом и святых, умерших уже во второй половине XI в. (как Канут — 1086 г. и Альбин — 1072 г.). Это обстоятельство может

---

[30] M. Weingart. Čsl. typ, стр. 49, 60—62, 62—3, 118; Фр. Славский в своем обзоре чешских церковнославянских текстов называет лишь жития Вацлава и Вита и эти два памятника, оставляя совершенно в стороне вопрос о русской доле в наследстве чехо-моравской литературной церковнославянской традиции в целом («Piśmennictwo starosłowiańskie na terenie Wielkich Moraw i Panonii w dobie Cyrilo-Metodianskiej». — «Życie, i myśl», II, 7—8. Poznań, 1951, стр. 28—32). В. А. Погорелов. Чешские продолжатели кирилломефодиевской литературной традиции. — «Actes du IV. Congres des études», II. Sofia, 1936.

[31] Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 338.

[32] Ср. о них: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне. Т. I, стр. 110 и сл.; R. Jakobson. Moudrost..., стр. 71 и сл.; M. Weingart. Čsl. typ, стр. 63—64; Fr. Dvorník. The making..., стр. 242 и сл.; его же. Les bénédictins, стр. 326 и сл.; R. Holinka. K česko-ruským wztahům, стр. 234, прим. 46.

свидетельствовать о сравнительно позднем происхождении молитв, если эти два североевропейских имени не были позднее вставлены в старинный церковнославянский текст уже на русской почве[33].

Полагаем, что сам по себе весьма любопытный факт перехода на Русь из Чехии текста этих интересных молитв с упоминанием ряда западных святых, в том числе и епископа пражского Войтеха, не означает, конечно, что культ этих святых сколько-нибудь прочно мог укорениться на православной Руси. Молитвы эти остались скорее фактом литературного характера, чем свидетельством о культовой стороне жизни Руси. Эту оговорку мы делаем еще и потому, что в русской традиции как раз св. Войтех имеет и совершенно иную оценку — крайне враждебную ему. Эта оценка находится в тексте Хронографов, в рукописях XV и последующих веков, и в виде приписки к паннонскому житию св. Кирилла в одной из рукописей XV в. Тут Войтех «раздруши правую веру и русскую грамоту отверже, а латинскую грамоту и веру постави» и т. д.[34] Новейшие чешские исследователи решительно отрицают правильность утверждения о вражде Войтеха к славянскому письму и богослужению, напротив, считают его благожелательным в отношении их, поскольку он жил в молодости в сфере этой славянской традиции, а годы обучения в Магдебурге сблизили его с побывавшим в Киеве при княгине Ольге (с 961 г.) епископом Адальбертом[35].

Охотно принимаем это утверждение в общеисторическом смысле. Однако откуда же в русской традиции такая резкая

---

[33] Ср. К. Тиандер. Датско-русские исследования, III. СПб., 1915, стр. 173; ср. деятельность ирландских миссионеров на Руси в конце XI и в XII вв.: М. П. Алексеев. Англо-саксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха. «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР», II, 1935, стр. 56—57.

[34] См. сводку текстов у А. В. Флоровского («Чехи и восточные славяне», т. I, стр. 147, 472—473).

[35] Ср. R. Holinka. Svatý Vojtěch. Brno, 1947, стр. 34—35, 93; особенно — V. Chaloupecký. Svatý Vojtěch a slovanská bohoslužba. «Bratislava», VIII/1—2, 1934, стр. 37—47; его же. Na úsvitu, 286; его же. Svatý Vojtěch a jeho poslaní v Uhrách a v Polsku. В сб. «Co daly naše země etc.», стр. 20—23; J. Vašica, Sv. Vojtěch stražcem dědictví cyrillo-metodějského. «Apostolat sv. Cyrilla a Mefoda», XXXIV, 1947, стр. 112 и сл.; Fr. Dvornik. The making..., стр. 97, 124 и сл., 250; его же. Les bénédictins, стр. 336 и сл., 410 и сл., 447—448; Р. Холинка (K česko-ruským vztahům, стр. 225 и сл., 233, прим. 27) допускает, что миссия епископа Адальберта носила немецко-чешский характер, может быть, в ее составе были и чехи из владений рода Войтеха-Славника.

латинофильская репутация епископа Войтеха? Считать весь русский отрывок о Войтехе просто позднейшим русским вымыслом никак нельзя, ибо за рассказом все же стоят какие-то конкретные данные о Войтехе. Если не в дошедшей до нас литературной его форме, то в его существе рассказ этот, конечно, скорее всего связан с отношениями, создавшимися после разделения церквей в 1054 г., когда на Руси (правда, не сразу) особенно чувствительно могло быть противопоставление «латинской» и «русской» вер. Но едва ли рассказ мог быть написан много времени спустя после середины XI в., поскольку в нем сохранена полная конкретность фактов, которая в одном из позднейших списков теряет понятность для переписчика, и он заменяет чужое уже ему имя Войтеха словами «вои латинские». Ввиду этого понятно отношение к этому рассказу таких исследователей, как А. И. Соболевский, Н. К. Никольский или А. А. Шахматов, — они считают этот примечательный текст весьма древним. Н. К. Никольский относит его к концу XI—началу XII в., А. А. Шахматов же включает его в состав использованного (но не в части о Войтехе) уже в начале XII в. летописью «Сказания о преложении книг», причем признает «Сказание» это в целом памятником чехо-моравского происхождения[36]. В отличие от Н. К. Никольского (и мы полагаем это совершенно правильным) А. А. Шахматов отделяет фразы о Войтехе от предшествующих заявлений одного из списков о русском письме в Корсуни и в фразе о Войтехе слова «русскую грамоту» заменяет первичным «славенскую». Слова о русской грамоте могут быть признаны и в данном тексте русским отзвуком и комбинацией сообщения самого паннонского жития Константина, сообщение же о Войтехе должно быть объяснено иначе. В данном случае мы видим отражение какого-нибудь собственно чешского источника. Могли ли вообще в самой Чехии возникнуть подобные враждебные отзывы о деятельности Войтеха? Мы полагаем, что могли, причем с ними в отразившейся в русских источниках традиции как-то оказались связанными и иные настроения в чешской среде.

---

[36] Н. К. Никольский. Повесть временных лет как источник, стр. 35, 16, 79 и сл. (тут упомянуто и о заключении А. И. Соболевского); А. А. Шахматов, кроме статьи о «Сказании» 1908 г., высказывается в том же смысле и в своей последней работе о «Повести временных лет» и ее источниках («Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР», IV, М.—Л., 1940, стр. 80—92, особенно 84 и сл.); ср. R. Jakobson. Moudrost starých čechů, стр. 71—72; его же. Český podíl, стр. 14; см. сводку данных в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. I, стр. 158—161, 472—473.

Два обстоятельства могли в этом случае сыграть свою роль. С одной стороны, наличность несомненного крайнего раздражения известных чешских кругов по поводу разгрома славянской богослужебной и литературной традиции около 1080 г.; некто тогда действительно «славянскую грамоту», т. е. и славянское письмо на Сазаве, «раздруши», а «латинскую грамоту и веру постави» и «правыя веры епископы и попы» если не «иссече», то «разори». Не забудем при этом, что в Чехии словом «русский» иногда обозначали письмо славянское (может быть, кириллицу, занесенную на Сазаву, возможно, из Руси) [37]. С другой стороны, естественная враждебность в чешской среде в отношении Войтеха, убийство всех членов его рода (Славниковцев) и его уход из Чехии и недружелюбные действия против Чехии в Польше и др., а равно его конфликты с чехами еще во время деятельности его в Праге могли создавать атмосферу крайнего раздражения и по отношению к нему самому. Эти два момента — разгром славянской традиции в Чехии и раздражение против Войтеха — не могли не оставить известных следов в сознании чешских поборников и почитателей славянской литературной и богослужебной традиции. Это и нашло отражение в занимающей нас русской записи, сохранившей все же какую-то чешскую версию исторического понимания событий. Ведь почему-то не было написано славянское житие ставшего, между тем, вскоре патроном страны епископа Войтеха; видимо, в среде почитателей этой славянской литературы не было ни интереса, ни импульса писать церковнославянское повествование о пражском епископе Войтехе.

Время усвоения русской книжной средою указанных чешских церковнославянских текстов нужно представлять себе довольно длительным, начиная от X в. вплоть до XII в. Для такого перехода чешских текстов наиболее благоприятными были именно два столетия — X и XI, когда, с одной стороны, и в самой Руси шел бурный процесс культурного расцвета и активного литературного творчества, а с другой, было достаточно общих условий для взаимного контакта между Русью и Чехией. Два важных обстоятельства — разделение церквей в 1054 г. и нарушение нормальных условий для развития церковнославянской традиции в Чехии в конце XI столетия — могли оказать свое влияние на эти контакты, однако не могли их прервать. На Руси формальный распад церковного единства не имел сейчас же после 1054 г. такого влияния, чтобы русские люди закрыли все входы для культурных влияний со стороны стран

[37] Ср.: J. Vašica. Slovanská bohoslužba, стр. 21.

западной культуры (а особенно если они шли в церковнославянской оболочке). Из Чехии же еще долго после падения церковнославянских традиций вообще, на Сазаве в частности, могли переноситься на Русь плоды предшествовавшего культурного творчества.

Для перспективы развития этих процессов важно, конечно, то, что можно с полной положительностью говорить об усвоении, во всяком случае, некоторых из названных выше текстов на Руси, при этом усвоении органическом, прочном, еще в середине XI в. Об этом красноречиво говорит хотя бы такой факт, как прямое упоминание жития св. Вячеслава в тексте жития св. Бориса и Глеба, а это последнее написано было до 1079 г., как полагал А. А. Шахматов. С другой стороны, важно учесть то обстоятельство, что в древнейшей русской рукописи служебной Минеи конца XI в. (1095—1096 гг.) уже имеется интересный канон св. Вацлаву. Был ли он сложен на Руси[38] или еще в Чехии[39], во всяком случае, уже к концу XI в. он был прочно освоен русской церковью. И далее — вполне возможно, что чешское церковнославянское повествование о св. Людмиле имело известное отражение на русской литературной традиции о княгине Ольге в том, что составители русской летописи могли, естественно, учитывать известное сходство в положении главных деятелей христианизации Руси Владимира Святого и его бабки Ольги и св. Вацлава и его бабки Людмилы, крупнейших деятелей христианской культуры на чешской почве (по известной на Руси чешской традиции о св. Вацлаве). Чешское церковнославянское житие Людмилы первой половины X в. было уже в XI в. хорошо известно на Руси (ср. проложное ее житие), значит, могло быть и в руках русских агиографов того времени, пользовавшихся в своей работе над русскими сюжетами и известными им литературными образцами нерусских житий[40]. Отметим, что в Чехии, видимо, было усвоено почитание русской

---

[38] M. Weingart. První legenda, стр. 92—100; его же. Čsl. typ, стр. 60, 118.

[39] J. Vašica. Na úsvitu, стр. 23, 263 и сл.; его же. Slovanská bohoslužba, стр. 12; Urbánek. Legenda t. zv. Kristiána, I, стр. 298; II, стр. 232—240.

[40] См. R. Jakobson. The Kernel, стр. 46; автор полагает, что в летописной хвале кн. Ольге (под 969 г.) можно видеть отражение гомилии св. Людмиле конца XI или начала XII в. Надлежит предварительно, однако, доказать, что этот латинский текст восходит к церковнославянскому оригиналу, что принимает Дворник, «Les bénédictins», стр. 335, ср. V. Chaloupecký. Prameny X. století, стр. 281—301, 538—556; его же. Na úsvitu, стр. 161—2, 283, 162—167.

княгини Ольги; известное в Чехии имя это звучит в русской его форме [41].

В соответствии с изложенным приобретает вероятность и сделанное недавно Д. И. Чижевским предположение о том, что в написанном в 70—80-х годах XI в. печерским иноком Нестором житии преподобного Феодосия Печерского можно видеть отражение известных мотивов из жития Вацлава пера Гумпольда, а в рассказе о св. Исакии — некоторые отражения рассказа о мучениях св. Вита [42]. Чижевский идет в своих выводах еще и много дальше, утверждая (пока без широкой аргументации), что влияние чешской литературной традиции проявляется и вообще во всех произведениях Нестора-летописца и что, в частности, в русской летописи следы этого чешского влияния отражаются не только в повествовании о славянском письме, но и в рассказе о расселении славян. Рассказ о дулебах и нападении на них аваров Д. И. Чижевский склонен считать просто чешским по происхождению и относящимся к чешским дудлебам, самое летописное выражение «погибоша аки обри» признается чешским и т. д.[43]

Нам, и не только нам [44], эти утверждения не представляются убедительными и обоснованными.

И без этих допущений имеется достаточно данных для того, чтобы утверждать, что памятники церковнославянской чешской письменности X—XI вв. на Руси читались, цитировались, использовались, перерабатывались; вспомним, что для русского Пролога было составлено краткое житие св. Вацлава и св. Людмилы, причем в последнем случае была использована не сохранившаяся в своем первоначальном виде славянская легенда. Это касается в особенности текстов, посвященных Вацлаву и Людмиле, однако и иные упомянутые выше памятники не были лишь мертвым капиталом каких-нибудь уединенных книжников и книгочиев, но имели более широкое и живое хождение на Руси, сохраняя для русского читателя интерес и значение и

---

[41] R. Jakobson. The Kernel, стр. 48; Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 346.

[42] D. Čyževskÿ. Anklänge etc.; его же. Studien zur russischen Hagiographie. Die Erzählung vom hl. Isaakij. «Wiener slawistisches Jahrbuch», Bd. 2, Wien, 1952, стр. 49; R. Jakobson. The Kernel, стр. 47; Fr. Dvornik. Les bénédictins, стр. 335.

[43] D. Čyževskÿ. Die Geschichte der altrussischen Literatur, 1948, стр. 101 и сл.

[44] Ср. замечания М. Фасмера («Zeitschrift für slavische Philologie», XX, 1950, стр. 461 и сл.); R. Jagoditsch. «Wiener slavistisches Jahrbuch», II, 1952, 209 и сл.; A. Schmaus. «Jahrbrücher für Geschichte Osteuropa», 1954, II/2, стр. 214.

еще несколько веков после расцвета чешско-русских церковно-культурных, церковнославянских связей в X—XII в.: русские рукописи и XV, XVI и еще XVII вв. содержат разные части этого чешского церковнославянского литературного наследия.

В литературе в круг проникших на Русь памятников церковнославянских X—XI вв. включается некоторыми исследователями еще один текст, известный в русских рукописях XVI—XVII вв., — рассказ об Иване, чешском пустыннике, и о его встрече с первым христианским чешским князем Боривоем [45]. Это приурочение вызывает, однако, сомнение: имеющийся в русской рукописной традиции рассказ относится к значительно более позднему времени и восходит, скорее всего, к тексту польской «Хроники всего света» Мартина Бельского, в свою очередь использовавшего (с сокращениями) соответствующие страницы чешской хроники Гайка. Открытый в свое время А. Х. Востоковым церковнославянский текст рассказа о пустыннике Иване при всем своем языковом архаизме вполне соответствует (с рядом переделок) имеющемуся в составе русских хронографов и космографий переводу текста Бельского. Рассказ о пустыннике Иване в русской традиции во всех его вариантах отнюдь не имеет агиографического характера и является рассказом об эпизоде, вырванном из контекста общего повествования по истории Чехии. И именно из этого контекста Бельского и Хронографа взяты были в отдельный (востоковский) текст об Иване справки и о «греческой вере» князя Боривоя и под., необходимые при обособленном изложении этого рассказа [46].

Наконец, еще один вопрос: не могли ли проникать на Русь некоторые чешские церковнославянские тексты и много позже —

---

[45] В этом смысле высказывались уже некоторые авторы XIX в. — А. Петрушевич, И. Первольф, И. Н. Смирнов, А. С. Будилович и др.; научное обоснование тезиса о чешском старославянском происхождении этого текста предложил в последнее время И. Вашица на страницах журнала «Rad» в 1935 г., а затем в своей книге: České literární Baroko. Přispěvky k jeho studiu. Praha, 1938, стр. 293—294, прим. 76; Raný kült českých svatých v cizině. «Co daly naše země etc», стр. 24; Ср. Fr. D v o r n i k. The making..., стр. 245.

[46] У р б а н е к («Legenda t. zv. Kristiána», I/2, 1948, стр. 525 и сл., особенно 528 и сл., 434—437) лишь излишне осложняет проблему, отделяя востоковский текст от хронографического и датируя его XIV в. Ср. А. В. Ф л о р о в с к и й. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 87—90, 503; наши замечания подтверждаются и наблюдениями Р. Якобсона («Some Russian Echoes of the Czech hagiography», гл. II — «The Hermit Ivan and Iotn the Baptist». «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves», VII. New-York, 1944, стр. 168—175). Ср. F. M. B a r t o š. Světci a Kaciři. Praha, 1949, стр. 243—248.

в период деятельности в Праге славянского монастыря Эммаусского в XIV в.? Путь из Праги на Русь мог бы идти тогда и через посредство краковского (со славянским языком) монастыря на Клепарах, основанного в 1394 г. королевой Ядвигой, пригласившей в Краков бенедиктинцев из Пражского славянского монастыря. И. Вашица допускает, что обнаруженный в русской рукописи XVI в. А. И. Соболевским особый церковнославянский (восходящий к глаголическому миссалу) текст католической Богородичной мессы с явными богемизмами мог быть занесен на Русь именно таким путем [47]. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что пражско-краковские отношения на почве культивирования славянского богослужения и книжной традиции учитывает и знающий местные отношения (родом из Перемышля!) Захарий Копыстенский в своей «Палинодии» 1621 г.[48] При принадлежности в XIV в. Галичины к составу польского государства и при несомненном церковно-культурном общении Кракова с Галичиной проникновение туда церковнославянских текстов западнославянского происхождения никак нельзя исключать. Ведь при самом учреждении Эммаусского монастыря в Праге в 1346 г. Карл IV имел, видимо, перед собою широкий план влияния через этот центр славянской традиции и в направлении Руси и Литвы [49]. Правда, в этом пражском монастыре культивировалось хорватское глаголическое письмо, которое едва ли могло тогда быть подходящим средством для действия в русской среде Галичины, Литвы и под.

III

В XV—XVI вв. восточнославянской книжной и читающей среды достигла новая волна чешского литературного влияния. В основном это коснулось белорусской среды в рамках Великого княжества Литовского. Вместе с этим изменением самой воспринимающей чешские культурные импульсы среды изменились и самые основы той чешской литературной стихии,

---

[47] J. Vašica. Slovanská liturgie sv. Petra. «Byzantinoslavica», VIII, 1939—1946, стр. 22—23; ср. А. В. Флоровский. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности. — Filologický Sborník (Česká Akademie věd), XII. Praha, 1946, стр. 241—242.

[48] Ср. A. Florovský. Církevněslovanská tradice v Čechách v dějinném pojetí «Palinodie» Zach. Kopystenského (1621). «Slovanské Studie — I. Vajsovi». Praha. 1948, стр. 228—229.

[49] Ср. M. Paulova. L'idée Curillo-Méthodienne dans la politique de Charles IV et la fondation du monastére Slave de Prague. «Byzantinoslavica», XI/2, 1950, стр. 180, 183.

которая оказывается в данном случае активной. Ныне идет речь о памятниках, написанных на чешском языке (частью и на этот раз, правда, восходящих к латинским оригиналам). Очевидно, с обеих сторон выступают перед нами новые общие условия культурного развития. Чешские тексты, усваиваемые или используемые в это время в XV—XVI вв. в Белоруссии, являются плодами того этапа в развитии чешской культуры, который отображал уже великий опыт гуситского движения, гуситской революции и их последствий. Белорусская же сторона в это время переживала серьезные перемены в связи с ростом польского культурного, политического и социального влияния на население Литовско-русского княжества.

Общая политическая и экономическая обстановка жизни и развития Литовского государства в это время весьма благоприятствовала возможностям культурного контакта между русскими обитателями государства и Чехией. Гуситское национальное религиозное движение находило себе еще с начала XV в. известные сочувственные отголоски и, во всяком случае, воспринималось с известным интересом в православной среде Белоруссии и Западной Украины. Между руководителями политической жизни Литвы и Чехии в это время налаживался известный живой контакт — вспомним приглашение на чешский престол князя Витовта, деятельность в Чехии его представителя князя Сигизмунда Корибуговича (1421 г. и сл.), связи таборитских вождей с князем Свидригайлом и их участие в его борьбе за власть на Литве[50]. Вспомним, далее, участие чешских воинов в польско-литовской борьбе с Немецким Орденом (Танненберг, 1410 г.), а потом появление многочисленных чешских и моравских ротмистров и воинов на территории Галичины и Белоруссии для защиты польских границ со стороны Днестра и литовско-польских границ от Руси (в конце XV и в начале XVI в.). Это не было явлением единичным и случайным, но оно ввело в состав населения Украины и Белоруссии значительные группы чехов и моравян, частью навсегда осевших в этих краях. А если к этому прибавить несомненное живое участие обывателей чешских и моравских городов и весей в торговых сношениях с Галичиной и Белоруссией (начиная еще с XIV в.)[51], то естественно представить, что между Чехией

---

[50] Ср., кроме моей книги «Чехи и восточные славяне» (т. I), новый суммарный обзор: А. И. Озолин. О международном значении чешской крестьянской войны XV века. — «Вопросы истории», 1955, № 8, стр. 57—71.

[51] Ср. второй том моей книги «Чехи и восточные славяне» и книгу: A. Florovskij. Česko-ruské obchodní styky v minulosti. Praha, 1954.

и этими областями польско-литовского государства могли создаваться благоприятные условия и для живых контактов в области культурной жизни, условия для перенесения на восточнославянскую почву интересов к известным плодам чешского литературного и языкового творчества, как бы оно ни было несамостоятельно и небогато. Ясно, конечно, что самое знакомство белорусской среды с текстами чешского происхождения является тесно связанным с польским посредничеством и сильным польским влиянием и на язык и на книжность и начитанность обывателей Белоруссии вообще. В этом важном и бесспорном обстоятельстве коренится известная трудность решения конкретного вопроса о составе круга усвоенных белорусской средою чешских текстов. Ведь самая польская литературная и деловая письменная речь того времени впитала в себя весьма много элементов чешского языка, ставшего на много десятилетий образцом и источником для польской языковой литературной традиции и в смысле словарного запаса и в смысле построения речи [52].

С этими фактами связано известное методологическое затруднение. При текстуальной близости или совпадении чтений и состава памятников вопрос решается более или менее просто и определенно. Иначе обстоит дело, когда перед нами имеется текст русского памятника явно переводного характера, но не имеется оригинала, который был использован при переводе или переделке. В таком случае решающее значение может иметь язык нашего русского текста, его особенности, его словарь и под. Однако доныне нет словаря литературного белорусско-украинского языка XV—XVI вв.

Отсюда известные языковые особенности того или иного памятника, особенно его словаря, принимаются иной раз за его индивидуальные черты, объясняемые зависимостью от чешского оригинала, а между тем, порою эта черта оказывается присущей и иным памятникам той же эпохи, никак не связанным с чешским языковым влиянием. Эти оговорки необходимо сделать потому, что в данной области не были, как представляется, достаточно последовательными и осторожными и такие авторитетные исследователи, как П. Владимиров, А. Брикнер, Е. Ф. Карский, А. И. Соболевский и др.

---

[52] Ср., например, B. H a v r á n e k. Expanse spisovné češtiny od 14. do 16. století. «Co daly naše země», стр. 53—59; Olaf J a n s e n (R. J a k o b s o n). Český vliv na středověkou literaturu polskou, ibid., стр. 48—51; е г о ж е. The Kernel, стр. 56; е г о ж е — в парижском журнале «Kultura», 1953; T. L e h r - S p ł a v i ń s k i, K. P i w a r s k i, Z. W o j c i e c h o w s k i. Polska-Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Katiwoce-Wrocław, 1947, особенно стр. 85 и сл., 108 и сл.

Обращаясь к существу занимающей нас проблемы, нужно подчеркнуть, что перед нами стоит теперь два ряда явлений, хронологически связанных с указанной выше эпохой XV и начала XVI вв. С одной стороны, перед нами факты, говорящие о влиянии чешской библии в западнорусской среде[53], с другой, факты, говорящие о влиянии в области повествовательно-поучительной, т. е. в основе своей — светской, литературы.

В связи с ролью чешской библии в русской литературе прежде всего припоминается, конечно, имя доктора Франциска Скорины, издавшего в 1517—1519 гг. в Праге 23 книги Ветхого Завета и использовавшего при редактировании текста чешскую библию. Однако чешская библия была в руках русских книжников и ранее Скорины, т. е. еще и в XV в., и служила пособием для правки церковнославянского текста, позже — в 1580 г. для редакторов Острожской библии и затем в XVIII в. при редактировании так называемой Елисаветской библии 1751 г.

Здесь нет возможности входить в подробный анализ всего комплекса вопросов, связанного с деятельностью Скорины в целом. С точки зрения историко-культурной, его деятельность представляет исключительный интерес. В известной своей части — наиболее важной для историка — она связана с Чехией. Едва ли можно утверждать, что Скорина в своей деятельности находился в сфере определяющего влияния гуситства и что в гуситских его симпатиях и склонностях нужно искать объяснения его обращения к делу издания библии на приближенном к белорусской речи языке. Скорина (католик по документам) был человеком своего века, человеком широких культурных симпатий, гуманистом, и в этой общей установке его нужно искать объяснение его великого культурного начинания. С Прагой связывало его не столько конфессиональная солидарность с чешской средой, сколько практические соображения и, может быть, служебные связи с чешским двором короля Владислава Ягеллона, т. е. представителя польско-литовской владетельной семьи. При своем замысле (не знаем, как он у Скорины зародился) издать полную русскую библию Скорина, естественно, должен был обратиться к единственному тогда существовавшему печатному славянскому тексту библии, т. е. к чешской библии. Он использовал для своей работы новейшее для того времени чешское издание — библию 1506 г., изданную в Венеции. К этому его вели практические соображения, и

---

[53] См. подробности в книге: А. В. Флоровский. Чешская Библия, ср. рецензию И. Вашицы («Časopis pro moderní filologie», XXX, 2, 1947).

нет никаких оснований говорить о том, что Скорина в своем деле был орудием пропагандистских замыслов чешских братьев и гуситов вообще, как утверждал когда-то И. Е. Евсеев.

Чешская библия 1506 г. оставила на тексте библии Скорины заметные следы и в самом тексте и в его языке. В основе библии Скорины лежит традиционный церковнославянский текст русской редакции. Однако он подвергся некоторой обработке под влиянием, с одной стороны, живого разговорного языка самого Скорины и его белорусского окружения, а с другой — языка чешского. Мы не склонны преувеличивать значение последнего влияния и в этом смысле находим и наблюдения и выводы лучшего исследователя Скорины — П. Владимирова требующими известных ограничений. Это касается как словарной стороны дела, так и собственно грамматической. Совпадения в словаре Скорины с чешским словарем его эпохи или даже библии 1506 г. еще не говорят непременно о заимствовании, ибо широкий анализ словаря белорусской письменности той же поры свидетельствует о бытовании таких же слов вообще в этой письменной традиции. При всем этом нет никакого сомнения в близости текста библии Скорины к чешской библии 1506 г. — параллельные чтения целого ряда мест в этом положительно убеждают, особенно если с чтениями Скорины сопоставить и старый русский церковнославянский текст, отразившийся (через Геннадиевскую новгородскую библию 1499 г.) в библии Острожской 1580—1581 гг. Скорина не успел издать в Праге полной библии, но перевод и иных книг был им подготовлен, как мы знаем из рукописных списков некоторых из них, сохранившихся на Украине и имеющих в тексте определенные знаки связи с работой Скорины и связи с чешской библией 1506 г.

Итак, в начале XVI в. чешская библия сыграла значительную культурную роль в русской среде, оказав заметное влияние на первый опыт издания русской библии в печати. Этим роль чешской библии в русской среде не ограничивается. К ней обращались в белорусско-украинской среде той же эпохи и другие книжники и писатели. На это указывает перевод именно с чешского языка на украинский «Песни песней» в XV в., кажется, можно думать, — еще до Скорины [54]. Датировка этого памятника пока не установлена, ввиду вообще слабой изученности самой его рукописи (известен только один список). Текст этот состоит из двух частей — «Песни» и рассуждения о любви, своего рода вывода из этой библейской книги. По языку эти

[54] См. А. В. Флоровский. Чешская Библия, стр. 232—241.

две части различаются. Рассуждение написано более свободным и чистым языком, нежели самая «Песнь». В связи с этим остается неясным, было ли рассуждение переведено с иного языка или же оно позже на Руси прибавлено к «Песни». Вполне соответствующего русскому переводу чешского текста мы не знаем. Но бесспорным остается факт восхождения его к чешскому оригиналу; переводчик как-то рабски и беспомощно следовал своему пособию и часто не мог преодолеть соблазна прямо включить в свое произведение транскрипцию чешских слов и фраз, не находя подходящих русских оборотов.

История библии Скорины и этого перевода «Песни песней» доказывают, что в конце XV и в начале XVI в. чешская библия сыграла известную роль в развитии русской письменности. В известной мере чешской библии можно приписать влияние и в смысле обращения русских восточнославянских книжников к народной речи в передаче книг Священного писания; как известно, чехи оказали в этом смысле решающее влияние и в Польше еще в начале XV в. Однако это обращение к народной речи, насколько оно выявилось и в деле Скорины и в других фактах, могло быть обусловлено и иными причинами общекультурного характера, чешский пример мог быть лишь одним из слагаемых, определивших собою это интересное явление конца XV и начала XVI в.

IV

Обратимся теперь к другой чешской струе в русском литературном развитии XV—XVI вв., именно к чешскому влиянию в области повествовательно-поучительной литературы[55]. Мы имеем перед собою в этом случае несколько русских письменных памятников, которые, по наблюдениям и выводам специалистов, восходят непосредственно к чешским оригиналам и являются их переводами. К числу этих произведений обычно относятся «Книга о Тоудале рыцери», «О Сивилле пророчицы сказание» и западнорусское житие святого Алексия, человека божия. Все эти тексты известны в списках не позже начала XVI в., и, таким образом, принадлежность их к литературе конца XV—начала XVI в. не вызывает сомнений. Иначе обстоит дело с объяснением происхождения текста всех этих произведений. Только для сказания о Сивилле имеется соответствующий чешский материал, правда не покрываемый целиком белорусским текстом. Чешское происхождение книги

[55] Подробности см. в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 28—41.

о Тоудале установил в свое время А. Брикнер на основании анализа ее языка, как равно и для западнорусского жития св. Алексия гипотеза о чешском оригинале основана на изучении языка. Именно в отношении этих двух случаев имеет особое значение указанная выше методологическая оговорка. Однако книга о Тоудале имеет такие богемизмы в своем словаре (*одинец*-armatus, *повлац* — pavlač и т. д.), что его связь с чешским оригиналом представляется более или менее несомненной. Иначе обстоит дело с житием Алексия, человека божия. Разительных и несомненных богемизмов тут или очень мало или их совсем нет. Правда, в тексте имеются некоторые особенности, сближающие его не с польским, а с чешским текстом, но особенностей этих не очень много, и они не могут категорически решить сами по себе вопрос о подлиннике этого переводного западнорусского жития. К этому нужно прибавить, что список жития св. Алексия находится в рукописном сборнике рядом с двумя интересными произведениями — «Повестью о волхвах» и «Сказанием о страстях Христовых». Оба эти текста обычно возводятся к польским переводам латинских текстов, а между тем на всех этих трех памятниках лежит известная общая печать. В связи с этим в литературе (особенно польской, но также и у А. И. Соболевского) высказывается мнение о польском, а не чешском происхождении оригинала жития. Лингвисты, филологи могут сказать, спасает ли положение о чешском происхождении жития наблюдение Е. Ф. Карского, что и в «Повести о волхвах» и в «Сказании о страстях» имеются богемизмы, такие, как *дековати*, *проклетие*, *сватый*, *тисяць*, *цесари* (дат. п.) и т. п. Эти наблюдения давали Е. Ф. Карскому основание — и нам представляется, что достаточное, — говорить о чешском пособии в руках редактора всего сборника [56].

Мы включаем рассмотренные только что тексты в группу белорусских переводов или переделок чешских оригиналов, возникших в той же культурно-языковой области и книжной атмосфере, в какой осуществил свой великий план Фр. Скорина и «переводчик» «Песни песней». Все эти памятники характерны для культурной жизни и культурных интересов белорусских конца XV и начала XVI в. Было бы ошибочно, кажется нам, утверждать, что эта чешская струя в культурной и письменной традиции Белоруссии играла определяющую роль, являясь

[56] Подробности см. в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 35—40; ср. I. Horálek. Staropolská legenda o sv. Alexii neměla českou předlohu? — «Slovo a Slovesnost», 1938, 4, стр. 251—252.

основной и главной составной частью белорусской литературной традиции. В этом смысле звучит несомненным преувеличением высказанное когда-то В. И. Пичетой утверждение, что в то время «в условиях разрыва с культурой северовосточной Руси и культурных связей с Византией, украинская и белорусская культура продолжала развиваться, испытывая на себе влияние Запада, *главным образом чешской письменности*» (разрядка наша. — *А. Ф.*) [57]. Тут как-то совершенно упускается из виду роль польской культурной среды в жизни подчиненных Польше—Литве областей на запад от Днепра, а между тем, именно в широкой перспективе польского литературного воздействия и контакта можно и должно определять и место этой чешской струи. Она явственно видится в общем культурном течении белорусском и украинском, но она лишь одно из слагаемых, никак не первенствующее [58].

V

Этот процесс усвоения некоторых чешских литературных памятников восточнославянской средой не закончился в XVI в., но имел свое продолжение и в XVII столетии, при изменившихся, конечно, в общем, культурных и социально-политических условиях жизни на Украине и в Белоруссии, где процесс полонизации (особенно высших слоев населения) и романизации (католизации) широко развернулся в это время и создавал новые формы отношений, когда рядом с победным проникновением польско-католических элементов в жизнь страны нарастала и острая социально-политическая и культурно-религиозная оппозиция со стороны казачества, населения городов Белоруссии и Украины, со стороны ослабленного Брестской Унией 1596 г., но все же сумевшего оправиться и усилиться

[57] В. И. Пичета. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940, стр. 31.

[58] Нужно еще упомянуть, что, по сделанному мне в 1933 г. Ю. А. Яворским сообщению, Н. Геппенер в Киеве якобы обнаружил украинско-белорусский список XVI в. перевода (без конца) «Троянской истории» Гвидо де Колумна, перевода якобы не с латинского, но с чешского оригинала (может быть, и через польское посредство), текст этот не совпадает ни с одним изданным в печати чешским текстом. К сожалению, насколько знаем, об этом списке в научной литературе не было сообщений, во всяком случае, в библиографии Назаревского о нем не упоминается (А. А. Назаревский. Библиография древнерусской повести. М.—Л., 1955, стр. 162—163). О русских переводах Гвидо де Колумна см. в книге: А. С. Орлов. Переводные повести феодальной Руси и московского государства XII—XVII вв., Л., 1934, стр. 43 и сл.; «История русской литературы», т. II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1946, стр. 294 и сл.

украинско-белорусского духовенства. Нужно учесть при этом и то обстоятельство, что в конце XVI и в XVII в. в жизни Украины и Белоруссии стал с особою силою действовать и сравнительно новый для них фактор — именно школа, организованные центры обучения юношества. И школы католические (особенно иезуитские) и школы униатские или православные одинаково могли играть роль посредников в деле перенесения в украинскую и белорусскую среду западных литературных образцов, в том числе и западнославянских — как польских, так и чешских.

Нас не может поэтому удивлять, если в украинско-белорусской рукописной традиции XVII в. обнаруживаются тексты, восходящие непосредственно к чешским оригиналам, занесенным на восток, в области между Саном, Западным Бугом и Днепром, в общем потоке западных писаний, прежде всего польских. Об одном таком произведении можно говорить с полной определенностью как о переводе или приспособлении чешского по языку оригинала для украинского читателя. Имеем в виду украинский текст «Люцидариуса», известного в списке XVII в. Этот текст, в своей первооснове восходящий к средневековому схоластическому изложению вопросов о мироздании, известный в разных вариантах и многочисленных переводах на различные языки, дошел до украинского читателя в конце концов в переводе или изложении по чешскому оригиналу. Эта связь украинского текста с чешским бесспорно обнаруживается близкой зависимостью от чешского, хотя в украинском и имеются некоторые особенности, привнесенные, видимо, в текст его редактором-переводчиком. В Чехии «Люцидариус» был уже в XV в. напечатан, и, таким образом, на Украину он мог легко попасть в печатном виде, хотя еще долго текст этот жил и в рукописной традиции [59].

В научной литературе высказывается и сейчас еще мнение, что чешский оригинал лежит и в основе одного небольшого русского текста — повести об Аполлонии Тирском, именно в редакции, встречающейся в рукописях вне состава переводного с польского свода «Римских деяний». Этот текст имеет некоторые особенности, которые казались ряду исследователей (и первому — в 1859 г. — его издателю Н. С. Тихонравову, и А. С. Орлову, и М. Н. Сперанскому и др.) достаточными для признания его восходящим непосредственно к чешскому тексту, хотя такой текст в чешской литературе и не обнаружен. Кри-

[59] Подробные литературные указания (главным образом на основании наблюдений Е. Ф. Карского) см. в книге: А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 42—45; ср. Т. Райнов. Наука в России XI—XVII вв. М., 1940, стр. 224 и сл.

тическое изучение языка этого русского текста «Аполлония», проведенное в свое время Ю. И. Поливкою и М. М. Мурко, никак не поддерживает этот тезис, и нам представляется, что названные авторы недостаточно осторожно последовали за первыми впечатлениями Н. С. Тихонравова. Наш скептицизм в этом вопросе нашел недавно поддержку со стороны шведского исследователя Н. Нилссона, воспользовавшегося при своей работе и новыми чешскими текстами, и вновь обнаруженным списком русского «Аполлония», сделанным в конце XVII в. в Москве для известного шведского дипломата и слависта Спарвенфельда. И нужно думать, что и этот отдельный текст «Аполлония» скорее всего восходит к польскому тексту «Римских деяний»[60].

В литературе XVII—XVIII вв. среди читателей (как украинских, так и в особенности московских) приобретают особый успех произведения, относящиеся к числу западноевропейских и «рыцарских» повествований. Видно, и московский свет в XVII в. никак не был чужд западноевропейским «рыцарским» интересам, хотя бы в области литературы. Московский читатель с интересом брал тогда в руки повествования о похождениях и приключениях западноевропейских «рыцарей», этот читатель «с интересом следил за похождениями галантных героев любовно-авантюрных романов, которые путешествуют «за наукой» в чужие государства, влюбляются в добродетельных и прекрасных королевских дочерей, завоевывают новые земли»[61]. К этому миру «рыцарства» русский читатель нашел доступ благодаря посредничеству польской литературы — и отчасти литературы чешской. Говорим «отчасти» и ставим этот чешский момент во всяком случае на второе место, потому что с полной определенностью и бесспорностью можем говорить лишь об одном сочинении, которое было русскими книжниками XVII в. усвоено непосредственно из чешского источника. Мы имеем в виду повесть о Брунцвике-королевиче.

Эта повесть или хроника в самой Чехии возникла в порядке обработки немецкого литературного материала (с введением в изложение геральдических данных о чешском гербе — орел и

[60] Ср. А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 42, прим. 1; литература указана у В. П. Адриановой-Перетц и В. Ф. Покровской («Древнерусская повесть», т. I. М.—Л., 1940, стр. 150 и сл.); А. А. Назаревский. Библиография древнерусской повести, стр. 93—96, 45—46; N. A. Nilsson. Die Appolonius—Erzählung in der slavischen Literaturen. Uppsala, 1949, стр. 10, 132, 141—145.

[61] В. П. Адрианова-Перетц. Переводные западные повести. — «История русской литературы», т. II, ч. 2 (Литература 1590—1690 гг.), 1948, стр. 374.

лев) и уже в XV в. стала весьма популярной в чешской читающей среде. В XVII в. эта повесть усваивается и русской книжной средою, подвергшись (может быть, по чешскому печатному изданию 1565 г.) новому переводу с чешского, возможно, еще на белорусской почве. Однако особую популярность она приобрела уже в московской среде, где стала одной из весьма читаемых и переписываемых книг вплоть до XIX в.[62] Хотя в русских списках изложение весьма отступает от известных чешских текстов и часто заводит переписчика в дебри вымыслов и амплификаций в духе известного ему запаса сказочных мотивов, однако эта свободная жизнь сюжета о Брунцвике под пером русских переписчиков не загладила совершенно чешской первоосновы, и поэтому чешское происхождение оригинала все же поддается установлению без особых сомнений. Интересно, что повесть о Брунцвике до сих пор не обнаружена в польской литературе и, таким образом, нет надобности сомневаться в прямом контакте между чешской книгой и русскими переводчиками-редакторами.

Нужно сознаться, что связывание с чешской традицией другой русской повести XVII в., именно повести о Василии Златовласом, королевиче чешской земли, с нашей точки зрения, представляется и сомнительным и во всяком случае требующим новых подтверждений: приводимые в пользу этого домысла о чешском происхождении указания и доводы весьма сомнительны[63]. Эти доводы двоякого рода: с одной стороны — языкового порядка, с другой — сюжетного. Целый ряд исследователей, а среди них и Александр Веселовский, и А. Н. Пыпин, и А. Д. Григорьев и др., признают отголоском чешского словаря употребление в повести о Василии слов «в немецких *режих*» или «*режах*», именно там жил Василий Златовласый — «в ческой (вариант — цесарской) земле в граде Праге (Пряге)». Веселовский сближал с этим чешское слово *říše*, т. е. немецкое *Reich*, латинское *regio*, а Пыпин даже утверждает, что «это слово едва ли может быть объяснено иначе, как чешским *říše*»! Однако тут имеется явное и весьма неожиданное (в устах таких больших ученых) досадное недоразумение. Выражение «немец-

[62] См. обзор списков и литературы у В. П. Адриановой-Перетц и В. Ф. Покровской («Древнерусская повесть», т. I, стр. 160—169); А. А. Назаревский. Библиография древнерусской повести, стр. 58; А. В. Флоровский. Чехи и восточные славяне, т. II, стр. 45 и сл.; В. П. Адрианова-Перетц. Переводные западные повести, стр. 375, 387—390.

[63] См. В. П. Адрианова-Перетц и В. Ф. Покровская. Древнерусская повесть, т. I, стр. 160—163; А. А. Назаревский. Библиография древнерусской повести, стр. 85—86.

кая режа» или «реша» («государи, которые под рукою цесарскою обретаются»)[64] — явное повторение совершенно обычного польского обозначения Германской империи — «Rzesza Niemecka», и можно было бы привести множество примеров применения этой формулы в русских документах XVI и XVII вв., хотя бы у А. М. Курбского, в официальных московских актах XVI и XVII вв., в дипломатической переписке того же времени, и при этом как в Москве, так и в Белоруссии и на Украине. И, конечно, от польской «*Rzesza*» много ближе до «режи», чем от чешского «říše»[65].

Что касается аргумента сюжетного, то и этот аргумент звучит весьма неубедительно. Да, Василий Златовласый — королевич чешской земли, в ином списке, правда, он королевич не чешский, а цесарский, т. е. австрийский[66]. Место действия повести — Прага, и отец Василия — король чешский Мечислав (Мститслав и под.). Некоторые исследователи (например, И. А. Шляпкин, а за ним и А. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц и др.) видят в тексте повести особое расположение или пристрастие к Чехии, торжествующей в лице Василия над спесивой французской королевской семьей. Однако в этой, собственно чешской сюжетной основе столько путаницы и явного незнания Чехии! Автор не знает, что из Чехии нельзя проехать на корабле и тем более во Францию, и при этом автор уверен в нахождении чешских королей «всегда в поддании французских королей». Чешский колорит скорее говорит о принадлежности повести лицу, лишь стороной знающему о Чехии, как не говорит о чехе-авторе, например, и чешский (пражский) любовный эпизод в русской по происхождению (XVIII в.) «Истории о славном и храбром Александре, кавалере Российском»[67].

---

[64] Памятники дипломатических сношений, VII, стр. 276.

[65] См. подробности в моей заметке: Ein angeblicher Bohemismus in der Erzählung von Vasilij Zlatovlasyi. — «Zeitschrift für slavische Philologie», X, 1—2, 1933, стр. 103—106. Для большей убедительности (вниманию скептиков!) к приведенным тут примерам см. также: «Акты, относящиеся к истории Западной России», т. II. СПб., 1848, стр. 170, 171, 173; т. IV, стр. 193; «Сборник Муханова», СПб., 1866, стр. 554; Космография 1670 г., стр. 103; І. Я. Франко. Апокріфи, і легенди з українських рукописів, т. IV. Львов, 1906, стр. 293, 491; Перетц, «Сборник ОРЯС», CI, 2, стр. 135 и др.

[66] С. Елеонский. История о французском сыне. Новая народная повесть XVIII века. «Чтения в обществе истории и древностей», 1915, кн. 254. М., стр. 16.

[67] Текст см. у В. В. Сиповского («Русские повести XVII—XVIII вв.», т. I. СПб., 1905, стр. 165—167). Здесь друг героя Владимир повествует о себе: «Поехал я в нижнюю Германию и приехал в гафетство (очевидно, графство) чешское и пришел в оперу и тамо узрил трех дам среднего характера»; они обманули его надежды, поставили в глупое положение, но он им отомстил.

И не колеблются же новейшие исследователи считать собственно русской по происхождению повестью недавно обнаруженную — с явно западноевропейским, испанским и французским сюжетом — «Повесть о гишпанском дворянине Карле и сестре его Софии» середины XVIII столетия [68].

Нужно учесть и то обстоятельство, что ни чешская, ни польская литература не знают аналогичной русскому тексту повести. Мы, ввиду всего изложенного, не склонны принять недавнее утверждение, что «содержание и чешская тенденция не позволяют причислить эту повесть к оригинальным русским произведениям» [69]. Ее никак нельзя сводить к какому-либо западноевропейскому или западнославянскому сочинению, и скорее всего приходится все же объяснять ее происхождение в рамках русской литературной эволюции — с признанием значительного влияния на текст этой повести и сказочно-былинной традиции. Н. И. Петров когда-то подмечал связь повести с чешскими мифологическими преданиями о златовласом деде Всеведе [70], но, поскольку это указание основано на одном лишь златовласии Василия, оно едва ли может служить прочным основанием для решения вопроса о чешском происхождении нашей повести; подсказали ведь золотые волосы Василия И. Жданову совсем иные аналогии — он их искал в сказке о Шелудивом (ср. галицкую сказку о Шелудивом Боняке). В области фольклора наша повесть вызывает совершенно иные аналогии, свидетельствующие о широком распространении в народном и сказочном творчестве разных народов того комплекса приключений, который соединен в нашей повести с именем королевича чешской земли [71].

Надлежит еще отметить, что по своему сюжету (завлечение невесты путем постройки пышного терема близ ее жилища и под.) повесть о Василии очень близка и к известной новгородской былине о Соловье Будимировиче. Общность сюжета не

---

[68] П. Н. Берков, В. И. Малышев. Новонайденное беллетристическое произведение первой половины XVIII в. «Труды Отдела древнерусской литературы Института русского языка (Пушкинский Дом) АН СССР», IX, 1953, стр. 408—426.

[69] В. П. Адрианова-Перетц. Переводные западные повести, стр. 390; переводный характер признает и А. А. Назаревский («Библиография древнерусской повести, стр. 15).

[70] Н. И. Петров. О влиянии западноевропейской литературы на древнерусскую. «Труды Киевской духовной академии», 1872, IV, стр. 764.

[71] Основываю это заключение на поучительных разъяснениях, которые в свое время получил от покойного Ю. И. Поливки. См. материал по этому вопросу: I. Bolte-Polivka. Anmerkungen zu den Kinder-und Hausmärshen der Brüder Grimm, I. Leipzig, 1913, стр. 443—449; его же. Slovanské pohádky, I. Východoslovanské pohádky. Praha, 1932, стр. 24; Philippson. Der Märchentypus von König Drosselbart. Greisswald, 1923, стр. 63 и сл.

ведет, впрочем, к неизбежному выводу о генеалогической зависимости между этими памятниками и о старшинстве повести перед известной уже в XV—XVI вв. былиной. Повесть наша, судя по ее тексту, создана была на Руси, скорее всего в великорусской области. Можно, конечно, допустить, что автор повести был как-нибудь связан и с западноевропейской культурной средой, как думал А. Д. Григорьев[72], однако, для такого допущения нет необходимости. Известный ныне текст может быть отнесен скорее всего к эпохе Петра Великого, а может быть, к этому времени относится и самое составление этого произведения на основе довольно распространенного западноевропейского (ср. Брунцвик) и былинного мотива. Во всяком случае, повесть известна только в списках XVIII в. и по своему составу соответствует культурному уровню Петровского времени и ближайших за ним десятилетий.

В пределах XVIII в. рукописная повесть о Василии, равно как и хроника о Брунцвике, подает руку позднейшим уже печатным повествованиям о чешских князьях или принцах романического или авантюрного характера. Конечно, очень интересен тот факт, что русского читателя XVII и особенно XVIII в. могли интересовать повести, героями которых выступали рыцари, герои, королевичи чешской земли или действовавшие в Чехии. Однако это обстоятельство никак не говорит о чешском происхождении подобных сочинений. Авторы повестей Петровского времени (а, может быть, и допетровского) могли свободно выбирать для своих героев то или иное отечество и вставлять их деятельность в рамки своеобразной географической карты Европы. Для авторов в этом смысле не возникало никаких трудностей: их герои могли по морю проезжать из Праги в Париж, проживать у моря в пределах Цесарии и города Флоренции, доезжать на конях за несколько дней из Москвы до Парижа и по суше добираться из Египта в Англию[73]. Свободный полет фантазии не связан был с подлинной географической картой, почему никак нельзя от этих своеобразных географических комбинаций исходить при решении вопроса о происхождении того или иного текста.

VI

Нам надлежит теперь остановиться на одной области литературного творчества, которая занимает особое место в истории

[72] А. Д. Григорьев. Повесть о Василии, стр. 30, 31.

[73] Ср. В. Д. Кузьмина. Повести Петровского времени. «История русской литературы», т. III, ч. 1, 1941, стр. 130.

русского литературного развития старого времени и которая в рамках вопроса о чешском влиянии в русской среде представлена совершенно особым способом. Мы имеем в виду область театра. Нужно сразу же оговориться, что о чешской струе в этой области для старого времени, т. е. до XVII—XVIII вв., можно говорить в сущности только в связи с народными театральными представлениями, с драматическими текстами, дошедшими до нас лишь в устной народной передаче. Это не означает, конечно, что тут не могло быть и известного письменного воздействия.

В специальной литературе с чешской традицией связывается теперь два явления русского народного театра. Недавно О. Зилынський высказал предположение, что очень распространенная, преимущественно в Западной Украине, народная игра о Жалмане и подговорах невесты восходит к чешскому оригиналу, поскольку обозначение Жалман скорее всего заимствовано из Чехии, где оно могло быть усвоено в XIII—XIV вв. из немецкого языка (*Salman* — правомочный представитель жениха). По мнению указанного исследователя, эта чешская игра могла проникнуть в Белоруссию и на Западную Украину в середине XVI в., когда для чешского влияния были благоприятные условия — чешские войска были постоянным явлением в пограничных украинских и белорусских областях. При этом автор подмечает, что игра эта сравнительно слабо привилась в самой Польше[74]. Эти наблюдения очень интересны. Для нас, однако, они имеют относительное значение, поскольку здесь дело явно касается устной передачи, усвоения устной традиции.

Другой случай представляется нам иным по своему существу. Мы имеем в виду известную народную игру «Царь Максимилиан». Недавно Р. О. Якобсон указал на весьма близкое сходство этой игры с народной чешской игрой о святой Дороте и ее мучении, весьма старой и доныне живущей в народной чешской среде. Эти заключения Р. О. Якобсона в общем убедительны, во взаимной связи русской и чешской игр едва ли приходится сомневаться. Однако возникает целый ряд вопросов о самом происхождении игры о царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе. И в этом случае оказывается вполне возможным предположение и о литературной — не устной — стадии развития русской игры, при этом в связи с чешским сюжетом.

---

[74] Orest Zilynskyi. Hra na Žalmana a jiné lidové hry o namlouvání nevěsty. «Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dejiny SSSR». Praha, 1956, 2, стр. 261—294, особенно стр. 280—281.

Нужно сказать, что хотя «Царь Максимилиан» и подвергался уже упорному и серьезному исследованию, далеко не все стороны этого текста удовлетворительно и окончательно изучены. Не сделано еще серьезной попытки восстановить основной первичный текст этой игры. В текстах записей имеется целый ряд элементов и вставок, которые без труда могут быть отделены от основной игры. Конечно, дальнейшие разыскания могут дать еще не один любопытный вариант той или иной сцены игры, что важно для ее последующей реконструкции. Сомневаюсь, однако, чтобы эти варианты могли изменить отношение к самой основе игры. А основа — драматизация конфликта между царем Максимилианом и его сыном Адольфом, отказывающимся поклониться «кумирическим богам», т. е. языческим идолам. Нет сомнения, что в основе этой игры лежит сюжет из области древнехристианского или раннесредневекового мученичества. Когда-то В. В. Каллаш подметил сходство этого сюжета с мученичеством св. Никиты[75], отец которого именуется как раз Максимилианом, и делал вывод, что игра наша могла быть составлена на основе этого старого жития. Однако в истории Никиты оттеняются существенно иные стороны дела — его чудеса, т. е. чудесные избавления от всяких попыток царя Максимилиана замучить или искусить сына. И далее — встреча Никиты с чертом и избиение последнего[76]. Эти элементы отсутствуют в игре. Ее сюжет в своей основе, между тем, как раз особенно близок к сюжету чешской игры о Дороте, которая также была казнена за отказ от поклонения языческим божествам. И при этом тут мы имеем уже пример драматической обработки этого сюжета.

Возникает вопрос — когда, где, в какой русской среде могла возникнуть такая игра на мученический сюжет? Здесь естественно вспомнить о практике католических, а с начала XVII в. и православных духовных школ на Украине (а затем и в Московии), слагавших и исполнявших школьные нравоучительные драмы на различные религиозные и церковно-исторические темы, среди которых заметное место, естественно, занимали и сюжеты, подобные сюжету о мученичестве стойкого поклонника и исповедника христианства. Ввиду этого можно было бы и в отношении «Царя Максимилиана» поставить вопрос (и он уже давно ставился в положительном смысле) о возможности

---

[75] Ср. издание жития: В. М. Истрин. Апокрифическое житие Никиты. Одесса, 1899.

[76] Этот сюжет попал и в число иконописных сюжетов, см. И. Н. Окунева (Расовская). Икона св. Никиты, избивающего беса. «Seminarium Kondakovianum», VII. Прага, 1935, стр. 205—216.

его возникновения (в первичной «мученической» редакции) в рамках школы. Едва ли при этом было бы возможно точно установить место такой школы — на Украине, в Белоруссии или в Руси Московской, в самой Москве? Мы полагаем, что сближение конфликта царя Максимилиана и его непокорного сына Адольфа с конфликтом между Петром Великим и царевичем Алексеем не играло еще роли в самой первичной стадии зарождения игры, но явилось уже последующим осмыслением лежащей в его основе трагедии отца и сына. И вот тут и возникает вопрос: не сыграла ли своей роли чешская игра о Дороте, т. е. не была ли она использована для обработки иного по существу, но весьма близкого и сходного сюжета о царе Максимилиане?

Первый редактор игры о Максимилиане уже на русской почве мог быть хорошо осведомлен о чешской народной театральной традиции, мог непосредственно знать чешскую игру о святой Дороте, мог даже располагать записанным ее текстом (напомним, что известна подобная запись от 1700 г.). Обрабатывая свой труд для надобностей школьного нравоучительного театра, первый редактор мог оказаться, таким образом, проводником основ чешского текста в русскую среду. И в те времена под руками любителей-театралов из бурсаков и из народа вообще мученический сюжет мог обрастать новыми и новыми элементами и в смысле действия и в смысле литературной обработки, поглощая отчасти и образцы начитанности своих редакторов и исполнителей. Эти переделки и амплификации (часто сатирические и даже кощунственные) затерли собственно нравоучительную основу игры — ее мученический в основе, религиозно-нравоучительный, агиографический характер (что сохранилось в игре о Дороте) — и превратили ее в забавную народную игру, отчасти и с политическим оттенком. Однако, чутко проведя анализ всех этих словесных и сценических элементов игры, можно добраться до ее основы, а она обнаруживает несомненное сходство с игрой чешской. Мы не вполне убеждены в правильности предложенных недавно Р. О. Якобсоном детальных сближений имен чешских и русских героев игры. В игре о Дороте в христианство обратился и за это подвергся казни некий Теофил, имя которого в иных текстах получает форму Деофил, потом Доуфиль, откуда недалеко до Адольфа. При этом действие Дороты происходит во времена римского императора Максимилиана, выступающего затем уже лично в русской игре. Нужно сказать, что, действительно, не вполне понятно появление в русской игре имени Адольфа: в истории древнехристианского мученичества во времена Максимилиана такой герой не встречается, а известен испанец Адольф, принявший мучениче-

ство уже от мавров в VIII в. Едва ли русские редакторы игры имели в виду именно эту ситуацию. Не забудем, что в иезуитском театре игра о св. Дороте пользовалась успехом еще в начале XVII в. в Чехии (Крумлов и др.). И важно, что и на русской почве история о Дороте была темой публичного представления именно в первой половине XVIII в., когда эту игру ставили немецкие «комедианты» на кукольной сцене[77]. Надлежит еще и еще раз проверить, должен ли был мученический сюжет игры о св. Дороте попасть в круг внимания русского театрала старого времени именно в чешском ее варианте, или же этот школьный драматург мог использовать, например, немецкий вариант. Языковый момент в данном случае в игре о Максимилиане ничего чешского сохранить не мог, поскольку игра эта дошла до нас через многократное и длительное устное посредство бурсаков-школяров, солдат, театралов-любителей и т. п. От первой редакции игры, от школьной мученической трагедии осталась лишь основная завязка и главные пути ее развития. А это могло быть взято и из немецкой, может быть, латинской школьной драмы. Наиболее раннее указание на исполнение игры о Максимилиане относится еще к XVIII в., игра эта исполнялась тогда в духовной семинарии в Тобольске[78]. Можно думать, что тогда же, как и позже (на нашей еще памяти), бурсаками-семинаристами «публичне» «целебровались повсягодно» «различные комедийные акции» и «також интермедии», как это делалось, например, в 20-х годах XVIII в. в Казанской духовной семинарии, где тогда действовал один учитель (выходец из Польши)[79].

Изложенное выше оправдывает, конечно, включение и этих справок о «царе Максимилиане» в текст нашего обзора «чешских струй» в истории русского литературного развития, хотя дело касается и несколько своеобразного русского литературного явления[80].

---

[77] Указал на это в свое время В. Перетц; ср. I. Gołąbek. Car Maksymilian (Widowisko ludowe na Rusi). Kraków, 1938, стр. 8.

[78] А. Солоцкий. Семинарский театр в старину в Тобольске. «Чтения в Обществе истории древностей» (М.,), 1870, II отд., V; стр. 157; хронологические указания тут все же довольно неопределенны.

[79] Ср. П. В. Знаменский. Сильвестр, митрополит казанский. «Православное обозрение», 1878, май-июнь, стр. 101.

[80] Некоторые из изложенных соображений были высказаны нами в статье «К вопросу о чешском элементе в развитии русского театра» («Slavia», XVII/4, 1940, стр. 559—557). К приведенной там литературе следует теперь добавить: R. Jakobson. Some Russian Echoes of the Czech Hagiography. III Adolph the Martyr. «Annuaire de l'Institut de philologie et d histoire orientales et slaves», VII, N 4. New-York, 1944, стр. 175—180; Angelo Maria

VII

Обозревая теперь в целом все изложенное выше (включая и наши несколько скептические экскурсы), можно сделать несколько общих выводов и оценок.

1. Чешские струи являются несомненно вполне реальным слагаемым в истории русского литературного развития. Нет надобности, да и нет оснований считать эти струи чем-то определяющим самые пути и формы русского литературного развития, но в известные его фазы в общий поток русского литературного творчества действительно втекали и «ручьи», питавшиеся литературными «волнами» чешского происхождения.

2. Наиболее важным и значительным в этом смысле был — вне всякого сомнения — первый этап, т. е. период X—XII вв. Определенная религиозная и церковно-историческая ориентация Руси в конце X и XI и следующих веков в сторону греко-славянской религиозной и общекультурной традиции открыла, может быть, не закрытый отчасти и ранее, доступ на Русь всему богатству церковнославянской письменности, причем она могла проникать на Русь как южным (болгарским) путем, так и путем западным — из Чехии и Моравии. Именно отсюда скорее всего непосредственно (частью, правда, и через Болгарию) занесены были на Русь некоторые моравские литературные памятники времен Кирилла и Мефодия, а затем отсюда на Русь проникли и памятники собственно чешской церковнославянской письменности — оригинальные и переводные с латинского языка. Для древней Руси была чрезвычайно важна эта возможность сразу приобщиться к этому значительному в целом церковнославянскому богатству и южного и чехо-моравского происхождения, поскольку дело касалось укрепления самых основ новой христианской культуры на Руси, что оказалось возможным и путем прямого контакта с Чехией, до конца XI в. без труда

R i p p e l i n o. Del Teatro popolare russe. «Ricerche slavistiche», vol. II. Roma, 1953, стр. 87 и сл.; автор подчеркивает главным образом связь с делом царевича Алексея, хотя знает аналогию с игрой о Дороте. Политический момент в игре особо подмечает и П. Н. Берков в своем новом издании Максимилиана («Русская народная драма XVII—XIX вв.». М., 1952, стр. 32 и сл.), но совершенно не касается вопроса о происхождении игры и никак не отзывается на новейшие высказывания Голомбека, Якобсона, мои. Этих работ не учитывают и другие авторы новейших сводок о «Царе Максимилиане» — ни В. Д. Кузьмина («Народная драма в XVIII в.» — «Русское народное поэтическое творчество», т. II, ч. 1. М.—Л., изд. Пушкинского Дома, 1955, стр. 388 и сл., 391—394, 396), ни В. Ю. Крупянская в своем несколько более широко документированном очерке о «народном театре» в пособии для вузов («Русское народное поэтическое творчество». Под ред. П. Г. Богатырева. М., 1954, стр. 399—405.

общавшейся с русской средою на основах использования общего литературного языка и общности церковно-культурных славянских основ духовной жизни.

3. Второй этап чешско-русского литературного взаимодействия имеет существенно иной характер. В рамках истории деятельности Скорины и его продолжателей эти взаимодействия затрагивали в общем основные явления культурной жизни того времени. Но в области светской литературы усвоенные тогда в XV—XVI вв. (белорусской, по преимуществу, средою) чешские литературные памятники попадали на Русь уже не как самостоятельные и обособленные культурные ценности, но в общем потоке западноевропейского воздействия через западнославянское и — прежде всего — польское посредничество. А вместе с тем эти чешские памятники не принадлежали к составу собственно чешской, чешской по духу и происхождению, традиции, но имели несколько периферийный характер, никак не характеризующий самостоятельное чешское литературное творчество той эпохи. Дело касается переведенных в Чехии текстов, занесенных на Русь общей волною польско-чешской культурной экспансии на славянский Восток.

4. В такой же мере вторичный характер имеет и чешская литературная экспансия на русский Восток в XVI—XVII вв., поскольку дело ограничивается лишь одним-двумя текстами, и это в то время, когда русский книжник усваивал аналогичные романически-поучительные и авантюрные сюжеты из литературы западноевропейской. В этом смысле не на главной дороге русского литературного развития стоит — вообще весьма замечательная —игра о «Царе Максимилиане», если она действительно возникла на почве занесенного из Чехии драматического сюжета в его чешской обработке.

5. При всем том чешские струи остаются весьма чувствительными в общем составе потока русского литературного развития, и выделение их из этого потока, установление его состава, удельного их веса и интенсивности проникновения на Русь необходимо должно планомерно проводиться при изучении русской письменной традиции X—XVIII вв.

H. H. Bielfeldt

Berlin

DIE VERBINDUNG DER TSCHECHISCHEN UND DEUTSCHEN LITERATUR IM 13. JAHRHUNDERT UND DIE QUELLEN DER ALTTSCHECHISCHEN ALEXANDREIS

Ende des 13. Jh. setzt eine besonders schnelle Entwicklung der tschechischen Literatur ein. Das 14. Jh. ist das große Jahrhundert der alten tschechischen Literatur, es ist das Jahrhundert der alttschechischen Literatur im engeren Sinn. Über die Beziehungen vieler tschechischer Werke aus dem Ende des 13. Jh. und dem 14. Jh. zur zeitgenössischen deutschen Literatur ist manches geschrieben worden; außer der Alexandreis auch über den Vévoda Arnošt, Tristan, Tandarius, Rosengarten, Laurin, Bruncvik, Štilfrìd, Apollonius, Dalimils Chronik; über die Liebeslieder des Záviš und den Mastičkář ist auch in jüngerer Zeit wieder geschrieben worden[1]. Daß diese Untersuchungen noch immer nicht zu einem geschlossenen Bild geführt haben, liegt wohl nicht zuletzt daran, daß allzu oft moderne Gesichtspunkte des Nationalismus geltend gemacht wurden, die jener Zeit nicht gerecht werden.

Der Beginn der tschechisch geschriebenen Literatur im 13. Jh. ist begleitet und verbunden mit einer Art Konkurrenz mit lateinisch und deutsch geschriebener Literatur; man spricht jetzt sogar von einem Wettstreit[2]. Man hat in der Forschung dem Gegenüber von tschechischer und deutscher Literatur ein unverdient starkes Übergewicht verliehen; das Gegenüber tschechischer und lateinischer

[1] Leopold Zatočil. Závišova píseň ve světle minnesangu a její předloha, in: Sborník prací filos. fak. Brněnské univ., Jahrg. II (1953), Nr. 2. S. 110 ff.; W. Schmidt. Der alttschechische Mastičkář und sein Verhältnis zu den deutschen Osterspielen, in: Zeitschrift für Slavistik, II (1957), S. 223 ff.

[2] Jos. Hrabák. O lidovosti starší české literatury, in: Česká literatura, II (1954), S. 219 ff.

Literatur ist aber mindestens ebenso wichtig. So wie man an der Verbundenheit der tschechischen und lateinischen Literatur nie gezweifelt hat, ebenso steht auch die Verbundenheit der tschechischen und deutschen Literatur außer Zweifel. Für die Entwicklung des Interesses an der deutschen Literatur war besonders förderlich, daß seit der Mitte des 13. Jh. neben die Geistlichkeit als bisherigen Träger der Literatur nun der tschechische Adel trat. Jedenfalls ein Teil des Adels lernte bei den deutschen Nachbarn und Miteinwohnern einen neuen Lebensstil und eine neue Literatur kennen. Beispielhaft wirkte der Hof, wo seit Václav I. deutsche Dichter sich fanden, und Václav II. selbst deutsch dichtete. Die deutsche Literatur im Böhmen des 13. Jh. war allerdings auf eine dünne Schicht der herrschenden Klasse beschränkt und hatte wohl kaum Verbindungen zum Volk. Aber beim Fortschreiten von der geistlichen Literatur zu einer stärker weltlichen Literatur war die Hinwendung zur deutschen Literatur für den tschechischen Adel eine Hilfe. Es ist kein Zufall, daß das erhöhte Interesse für die deutsche Adelsliteratur und der Beginn der Entwicklung der tschechisch geschriebenen Adelsliteratur sich fast gleichzeitig abspielen; das weist auf die Bedeutung hin, die die deutsche Literatur für die Entwicklung der tschechischen in jener Zeit hatte. Zu erwägen ist auch eine gewissermaßen negative Wirkung; in den ersten tschechisch geschriebenen weltlichen Dichtungen ist die Opposition eines Teils des tschechischen Adels gegen den Hof und gegen das Patriziertum der Städte zu erkennen; beide vertraten das deutsche Element besonders stark. Im Kampf mit ihnen konnte der Adel zur Entwicklung einer tschechisch geschriebenen Literatur angeregt werden. Für die Entstehung der ersten großen tschechischen Dichtungen seit etwa 1300 spielte einerseits die Hinwendung zur deutschen Literatur eine Rolle, weil sie Wege zur Überwindung der nur geistlichen Literatur wies; andererseits spielte der Wettbewerb mit der deutschen Literatur, so wie schon immer der mit der lateinischen Literatur, eine Rolle.

In der Entwicklung der alttschechischen Literatur charakterisiert die Alexandreis[3] einen Wendepunkt. Auch sie ist ein Werk des Feudalismus, und wir dürfen daher auch für sie nur einen beschränkten Leserkreis voraussetzen; aber sie ist das erste große Werk weltlichen, nicht mehr geistlichen, Charakters, das tschechisch

---

[3] Die «Alttschechische Alexandreis» wird im folg. als ČA zitiert, die verschiedenen Handschriften (Bruchstücke) in der üblichen Weise als N, W, B, M, BM, Š; Verszahlen ohne Vermerk beziehen sich auf das St. Veiter Bruchstück (V). Zitierte Ausgaben: Reinhold Trautmann. Die alttschechische Alexandreis (1916); A. Pražák - V. Vážný. Alexandreis, Praha, 1947, s. Anm. 9.

geschrieben ist. Wenn wir die Frage nach dem Beginn der tschechischen Literatur, so wie es ein nationales Schrifttum verlangt, unter Beiseitelassen der lateinisch geschriebenen an die tschechisch geschriebene Literatur richten, so nimmt die Alexandreis eine überragende Stellung ein. Die Entstehung der Alexandreis ist ein Kennzeichen dafür, daß die Zeit des Überwiegens des lateinischen Schrifttums zu Ende ging. Andererseits, so drückt man sich in der jüngsten tschechischen literaturgeschichtlichen Forschung aus, sollte eine Dichtung wie die tschechische Alexandreis die deutsche Ritterdichtung ersetzen und verdrängen. Die künstlerische Form der Alexandreis ist überraschend reif und hoch. Ihre dichterische Sprache zeugt von so hoher Kultur, daß sie eine lange Tradition literarischen Schaffens voraussetzt. Man sucht immer wieder in einer heimischen tschechischen Tradition nach der Grundlage für die dichterische Leistung der Alexandreis und verweist etwa auf tschechische Volksdichtung, auf Predigten und die Sprache der Gerichtsverhandlungen als den Inhalt einer solchen Tradition. Man verkennt zugleich nicht den Widerspruch, daß die Dichter, die um 1300 bei der Abfassung tschechischer Dichtungen mit der mündlichen Volkstradition verbunden gewesen sein sollen, doch in ihren Werken ihrerseits keine Rücksicht auf das Volk als Lesepublikum nahmen. Auch mit der Hypothese starker Verluste an Handschriften tschechischen Schrifttums bleibt die Isoliertheit der Alexandreis in literaturgeschichtlicher Sicht immer noch bestehen. Diese Isoliertheit wird übrigens noch unterstrichen z. B. dadurch, daß zur Zeit der Entstehung dieses großen weltlichen Epos eine tschechische weltliche Lyrik noch fehlt. — Die Entstehungszeit der Alexandreis scheint man in der tschechischen Forschung jetzt wieder geneigt zu sein am spätesten möglichen Termin, nämlich i. J. 1310, anzunehmen; je später die Dichtung entstand, um so geringer wird natürlich ihre literarhistorische Isoliertheit. — Die literaturgeschichtlich entscheidende Stellung der Alexandreis ist in der Forschung von Anfang an dadurch anerkannt worden, daß man nach der literarischen Quelle des Werkes suchte. Seit Dobrovský's Äußerung in seiner «Geschichte der böhmischen Sprache und älteren Literatur» (1818) ist das Suchen nach einer vollständigen Liste der Quellen der Alexandreis nicht zur Ruhe gekommen. Die so allgemein gestellte Frage verschärfte sich schnell zu der besonderen Frage, ob das mittelhochdeutsch geschriebene Alexander-Epos Ulrich's von Eschenbach zu den Quellen des unbekannten Tschechen gehörte [4]. Da in den Jahrzehnten vor der Entstehung der ČA und zur Zeit ihrer Entstehung

[4] Alexander, von Ulrich von Eschenbach, herausgegeben von W. Toischer (1888), im folgenden als U oder Ulrich zitiert.

Beziehungen zur mittelhochdeutschen Literatur bestanden und die Alexandreis entwicklungsgeschichtlich neue literarische Elemente aufweist, so ist die Beantwortung der Frage, ob die ČA direkte Beziehungen zu einer mittelhochdeutschen Dichtung aufweist, besonders wichtig. Diese Frage greift über die Bedeutung der «Quellenfrage» oder Textinterpretation eines Einzelwerkes weit hinaus. Solange wir uns nicht einig sind über das Verhältnis der ČA zu U, solange können wir uns auch nicht einig sein über die Art der Entwicklung der tschechischen Literatur in dieser entscheidenden Periode. Das ist der Grund, warum diese Einzelfrage seit anderthalb Jahrhunderten mit nicht nur viel Gelehrsamkeit, sondern auch Leidenschaft verfolgt wird. Diese Frage ist zur Schlüsselfrage geworden. — Nach vielen Publikationen einander völlig entgegengesetzter Ansichten glaubte ich in den «Quellen» [5] die Frage für alle überzeugend gelöst zu haben. Die seitdem wieder sehr häufigen Äußerungen sind jedoch weiter höchst wiedersprüchlich. Die meisten halten die Frage, jedenfalls vorläufig, für nicht lösbar [6]. Es ist auch wieder geäußert worden, es handle sich um eine Streitfrage zwischen tschechischen Forschern auf der einen und deutschen auf der anderen Seite (ebenda). Aber der tschechische Germanist Janouch hatte schon vor 1951 die Möglichkeit der Kenntnis Ulrich's eingeräumt und im Jahre 1951 diese entschieden behauptet [7].

Andererseits wurde die Polemik gegen Ulrich's Zugehörigkeit zu den Quellen der ČA zuletzt am allerschärfsten gerade von deutscher Seite aus geführt [8]. Allerdings, während vor 1951 die völlige

---

[5] Hans Holm Bielfeldt. Die Quellen der tschechischen Alexandreis. Veröffentlichungen des Instituts der Slavistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1951; im folgenden als «Quellen» zitiert; das jener Arbeit beigefügte ausführliche Register ermöglicht die Kontrolle des im folg. Vorgetragenen.

[6] z. B. S. E. Mann in: Slavonic Review, Bd. 30 (1952), S. 623—627.

[7] Václav Janouch in: Listy filologické, Bd. 63 (1936), S. 273—288; ders., K pramenům a stilu Alexandreidy staročeské, in: Věstník královské české společnosti nauk, tř. filos.-hist.-filol., Jahrg. 1943, Nr. 3; ders., Příspěvky k poznání Alexandreidy staročeské in: Čas. pro. mod. fil., Bd. 29 (1946), S. 185 ff.; ders., O poměru Alexandreidy staročeské k Ulrichovi von Eschenbach, in: Věstník královské české společnosti nauk, tř. filos.-hist.-filol., Jahrg. 1950, Nr. VIII, Praha, 1951. Unsere Verbindungen mit dem Ausland waren damals noch schlecht, so daß ich diesen letzten Aufsatz damals nicht kannte. Man betont in der tschechischen Forschung den Unterschied meiner von Janouch's Konzeption stark; «Janouch ging es im Unterschied zu Bielfeldt nur um den Beweis, daß ČA den U kannte, nicht darum, ob die tschechische Form von der deutschen höfischen Dichtung abhängig ist» (Hrabák Studie, S. 100, vgl. Anm. 12). «Die Verbundenheit der ČA mit U erscheint bei Janouch weit geringer» (ebenda, S. 99).

[8] Ulrich Johanssen in: Zeitschrift für Slavische Philologie, hg. von M. Vasmer u. M. Woltner, Bd. XXII, 1953, S. 169—174.

Unabhängigkeit von U noch mehrfach in umfangreichen Darstellungen nachzuweisen versucht wurde [9], so ist doch nach Erscheinen der «Quellen» von keinem der sich mit der Frage Beschäftigenden mehr eine Verbindung zu U ganz apodiktisch als unmöglich erklärt worden. Aber die Äußerungen und Formulierungen der letzten Jahre sind doch in sich sehr inkonsequent, widerspruchsvoll und unklar geblieben. Es scheint daher, um der ČA den richtigen Platz in der Entwicklung zuzuweisen, vorher ein Resümee der «Quellenfrage» und eine Prüfung der in den letzten Jahren gegen U neu geltend gemachten Argumente nötig.

Keiner zweifelt daran, daß Walter von Châtillons Alexandreis [10] die Hauptquelle der ČA war. Aber die Unterschiede zwischen beiden Dichtungen sind sehr groß. Sehr oft gleicht die tschechische Dichtung an denselben Stellen, an denen sie von Gu abweicht, dem Texte U's. Für dieses Zusammentreffen gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Erklärungsmöglichkeiten. Es kann auf Zufall beruhen, und das wird auch in den letzten Jahren weiter behauptet. Es kann auf direkter Abhängigkeit der alttschechischen und mittelhochdeutschen Dichtung von einander beruhen; dabei ist die früher für möglich gehaltene Kenntnis der ČA bei U ausgeschlossen, seitdem man nicht mehr zweifeln kann, daß die ČA später entstand. — Weitere Möglichkeiten der Erklärung bietet die Tatsache, daß sowohl der tschechische Dichter wie U die Glossen benutzt haben, die in den Handschriften der lateinischen Dichtung standen. Die Alexandreis des Gu war im 13. Jh. ein weitverbreitetes Buch auf den Lateinschulen und es gibt noch heute sehr viel kommentierte Handschriften dieses Werkes. Vor den «Quellen» waren nur die Glossen einer einzigen lateinischen Handschrift zur Erklärung der ČA herangezogen worden; ich habe immerhin fünf kommentierte Handschriften benutzt; aber auch das ist nur eine ganz zufällige und kärgliche Auswahl. Diejenigen, die U nicht zu den Quellen der ČA rechnen wollen, setzen für alle auffälligen Übereinstimmungen der ČA mit U Glossen einer unbekannten Handschrift voraus, auf deren gemeinsamer Benutzung durch ČA und U eben die Übereinstimmung beruhen soll. Nur für einen geringen Teil der Übereinstimmungen haben sie entsprechende Glossen in der Wiener Handschrift, der einzigen von ihnen benutzten,

[9] Albert Pražák. Staročeská báseň o Alexandru Velikém. Praha, 1945. — A. Pražák—V. Vážný. Alexandreida; Leopold Zatočil. K otázce o závislosti staročeské Alexandreidy na skladbě Ulricha von Eschenbach, in: Čas. mod. fil. (1941), S. 34 ff; ders. K staročeske Alexandreidě, in: Ročenka semináře pro slovanskou filologii při filos. fak. Masar. univ. v. Brně, I. (1948), S. 446 ff.; diese Arbeit ist mir leider erst nach 1951 zugänglich geworden.

[10] Im folgenden als Gu bezeichnet; zitiert nach M. Philippi. Gualtheri ab Insulis dicti de Castellione Alexandreis. rec. F. A. W. Müldener (1863).

finden können. Die Hypothese, daß alle Übereinstimmungen zwischen der ČA und U, die nicht aus dem Texte Gu's erklärt werden können, auf vorauszusetzenden Glossen beruhen, führte notwendig zu der Behauptung, der tschechische Dichter und U haben ein und dieselbe Handschrift Gu's benutzt; man traf sich hier mit jener alten, durch nichts bewiesenen Legende, der tschechische Dichter habe eben diese Handschrift bekommen, nachdem U sie benutzt hatte. Die Vertreter der Glossenhypothese sind zu diesem Schluß wirklich gezwungen. Denn wenn die große Fülle von Übereinstimmungen zwischen der ČA und U nur damit erklärt werden soll, daß beide aus zwei verschiedenen und damit auch in ihrer Kommentierung verschiedenen Handschriften ein und dasselbe herausgelesen hätten, so würde man wieder vor dem Rätsel des Zufalls stehen. Auch Pražák hatte in seinem Buch von 1945 (Anm. 9) wieder die Ansicht vertreten, beide Dichter haben ein und denselben Kommentar benutzt. Es läßt sich aber eindeutig nachweisen, daß die beiden Dichter bei ihrer Arbeit jeder eine andere Handschrift des lateinischen Gedichtes vor sich gehabt haben. Wo der Tscheche und der Deutsche in der Form von Eigennamen voneinander abweichen, hat manchmal jede der beiden Formen Entsprechungen in zwei verschiedenen uns vorliegenden Handschrifte Gu's. Z. B. heißt es bei Gu nach Müldeners Ausgabe, Alexander kam auf seinem Eroberungszuge nach Ancyra: *venit Ancyram.* U hat *gegen der stat Anchiria;* das steht der Form der Wiener Handschrift *Anchyram* (Akk. Sg.) sehr nahe. Aber ČA hat in N an dieser Stelle *přijidú do Tyrie* und davon ist die in V entsprechende Schreibung *Tyrze* ein Verderbnis. Der Ortsname *Tyrie* (vom gleichen Bildungstyp wie tschech. *Arabie* 'Arabien' in der ČA, *Asie, Alexandrie* usw.) gehörte dem Archetyp der ČA an und man muß fragen, wie der Tscheche zu diesem Namen kam. Der Ort Tyrus kommt auch an anderer Stelle der ČA vor. Aber er lautet in V und N *Tyrus,* und Tyrus im heitigen Syrien liegt 800 km von Ankara entfernt, und Alexander kam viel später dahin. Prusík und noch Trautmann nahmen an, der Tscheche habe das in Müldeners Edition vorliegende *Ancyram* falsch gelesen, mißverstanden als *in Tyriam* und so einen neuen Ortsnamen *Tyria, Tyrie* gewonnen. Eine in Berlin liegende Handschrift Gu's hat aber an dieser Stelle *venit ad Tyriam.* Nicht der tschechische Dichter, sondern die lateinischen Handschriften haben hier also etwas verdorben; in einer Münchener Handschrift fand ich sogar eine Zwischenstufe zwischen dieser Verderbnis und dem ursprünglichen Text Gu's; dort steht nämlich *ad chiram.* Es ist völlig klar, daß die Verschiedenheit zwischen der ČA und U darauf beruht, daß jeder von ihnen eine andere Handschrift des lateinischen Gedichtes vor sich gehabt hat; es gibt mehr Stellen, die das beweisen. Die Namen

gehörten auch im Mittelalter zu dem am meisten respektierten Teil eines Textes. Wenn sich die von dem Tschechen und dem Deutschen benutzten Handschriften in den Namen des Textes Gu's unterscheiden, dann unterscheiden sie sich noch viel mehr in den Interlinearglossen und Randscholien. Nun schreibt die Slaw. Review (s. Anm. 6), mein Nachweis, daß der Tscheche und der Deutsche zwei verschiedene Handschriften benutzt haben, werfe Zweifel auf die ganze Frage der Herleitung von Teilen der ČA aus U. Hinter dieser auf den ersten Blick ganz unverständlichen Äußerung steht die verbreitete Ansicht, eine Hinzurechnung Ulrich's zu den Quellen der ČA verlange den Nachweis der Identität zwischen beiden Texten. Aber es handelt sich nicht um Identität, sondern um die Auswertung Ulrich's durch die starke Dichterpersönlichkeit des Tschechen. — Die Zeitschrift f. slav. Phil. (s. Anm. 8) schreibt, man könne sich ein fertiges Bild von den Quellen der ČA erst machen, wenn einmal eine Zusammenstellung aller Glossen zu Gu aus sämtlichen Handschriften vorläge. Nehmen wir einmal an, daß in einer solchen Summierung aller Handschriften sich für alle Übereinstimmungen der ČA mit U geeignete Grundlagen fänden. Aber schon die fünf von mir benutzten Handschriften zeigen, daß der Vorrat an Glossen viel größer war als die Zahl der Übereinstimmungen zwischen der ČA und U. Wir würden also, außer vielen anderen Ungereimtheiten, wieder vor dem Rätsel stehen, warum der Tscheche und der Deutsche aus der Fülle der Möglichkeiten gerade diese gemeinsame Auswahl getroffen haben.

Die Glossen waren allerdings eine wichtige Quelle für die ČA. Aus der Verbindung des Textes Gu's, der Glossen und Ulrich's Alexander durch eine starke, selbständige, schöpferische Dichterpersönlichkeit muß man die Form der ČA verstehen. Janouch ist in seinem letzten Aufsatz (s. Anm. 7) in seiner berechtigten Wendung gegen die formalistische Übertreibung der Glossenhypothese zu weit gegangen. So geschieht es ihm, daß er für Verse der ČA die Unmöglichkeit zu Grunde liegender Glossen nachzuweisen glaubt, die dann schon in einer der von mir doch höchst zufällig gewählten Handschriften doch zu finden sind. Gegenüber Gu *spatioque diei unius stadia quigenta peregit (II, 95)* weichen der Tscheche und der Deutsche ab und gleichen sich dabei völlig: *hna toho dne mil trřdceti — (er) des tages wol drîzec mîle reit.*

Dafür, daß aus den 500 Stadien 30 Meilen wurden, hatte Prusík eine Glosse verantwortlich gemacht, die dann gemeinsame Quelle für den Tschechen und den Deutschen geworden sei; er verwies auf die Wiener Handschrift, wo an dieser Stelle die 500 Stadien in 31¼ Leucae umgerechnet sind; die Abrundung auf 30 setzt Prusík in einer unbekannten Glosse voraus. Janouch führt aus, eine solche Abrun-

dung könne man keinem Glossator zutrauen, sondern nur einem der beiden Dichter. In einer Münchener Handschrift steht tatsächlich *trigenta leucas!* Die Glossenhypothese scheint also recht zu behalten, aber nur darum, weil Janouch sich in seiner Argumentation zu einseitig auf das rein Tatsächliche, Materielle beschränkt. Die von mir doch ganz zufällig gefundene Münchener Glosse kann beweisen, daß beide Dichter im Kommentar der von ihnen benutzten Handschriften die Zahl 30 finden konnten. Die Münchener Glosse und keine andere vermutbare Glosse kann aber nicht erklären, warum in diesem Vers die beiden Dichter sich so stark in der sprachlichen Form gleichen; gegenüber Gu *spatio unius diei* sagen beide *des tages — toho dne;* gegenüber Gu's *leuca* haben beide *mîle*. Dieses Wort koäát in ČA außer dieser Stelle ähnlich noch einmal vor; das andere Mal steht es in der Schilderung vom zweiten Briefwechsel Alexanders mit Darius, die in Gu keine Entsprechung hat, die U aus der Hdp übernahm und die ČA ihrerseits aus U übernahm; in dieser Schilderung hat die ČA das Wort *mîle* an einer Stelle, der auch bei U *mîle* entspricht. — Es gibt mehr Beispiele dafür, das Janouch der Glossenhypothese mit der verfehlten, rein inhaltlichen Argumentierung entgegentritt und darum erfolglos bleibt. ČA und U haben Gu um die Schilderung eines Gefechtes am Granikos vermehrt. Ein entscheidendes Argument dafür, daß nicht die Benutzung ein und derselben Glosse, sondern die Benutzung U's durch den Tschechen Grund für die Gleichheit ist, sieht Janouch darin, daß der Name des Alexander gegenüberstehenden Heerführers in ČA und U *Menon*, in Gu's kurzer Erwähnung dagegen *Memnon* lautet. Aber in den von mir eingesehenen Wiener, Berliner und Münchener Handschriften lautet der Name *Menon;* nur in Müldeners Edition steht *Memnon*, die klassisch bessere Form. Entscheidend ist aber nicht die Form dieses Namens, sondern entscheidend sind auch hier wieder die Züge der sprachlichen Gestaltung, z. B. heißt es in der tschechischen Schilderung: *tento vozkázanie jmieše, že mu slédati voj bieše, kde by sě sebrali Řěci, proti jim jemu bieše léci* (1128—31). Der letzte Vers, daß Memnon sich mit den Truppen «hingelegt» hat, klingt überraschend, aber U schildert an genau entsprechender Stelle, daß Memnon mit einer Abteilung den Auftrag des Darius erfüllte, nähere Nachrichten über die herannahenden Truppen Alexanders zu bringen; darum hat Memnon sich mit seiner Abteilung «hingelegt», um die Ankunft Alexanders zu erwarten: *in der ouwe bî Grânicôn / ich* (Memnon) *mit mînen liuten lac. Memnôn het ouch sich geleit / als er der vînde beite.* Diese Gleichheit des *léci — sich legen* kann nicht durch eine Glosse verursacht sein; in der Form des Namens Memnon aber braucht der Tscheche nicht von U abhängig zu sein. — Auch daß der Name eines der persischen Satrapen im tschechischen und

mittelhochdeutschen Text gemeinsam *Narbasones* lautet gegenüber vielen anderen Formen in der mannigfachen Tradition des Stoffes, kann keine Abhängigkeit beider voneinander beweisen, wie Janouch meinte, denn die Wiener, Münchener und Gothaer Handschriften haben eben die Form des tschechischen und mittelhochdeutschen Textes, und wir können also nicht von Müldeners *Narbarzanes* ausgehen, das Müldener wohl nach Curtius verbessert hat. — Janouch's entscheidendes Argument gegen die Glossenhypothese lag darin, daß er den Charakter der Glossen als einen einheitlichen erkannte, und daß wir also nur Glossen voraussetzen dürfen, die diesem Charakter entsprechen. Das ist zweifellos richtig. Die uns bekannten Glossen zu Gu sind sachlicher Art, die Reminiszenzen und Andeutungen Gu's werden mit Hilfe der mannigfachen Tradition des Stoffes erklärt und ergänzt; auch die reinen Worterklärungen, Ersetzung schwieriger Vokabeln durch Synonyme usw. bewahren sachlichen Charakter. Janouch geht soweit: weil wir den Gesamtcharakter der Glossen kennen, so könnten wir die Fälle der direkter Benutzung U's durch den Tschechen von den Fällen gemeinsamer Benutzung ein und derselben Glosse auch dann noch eindeutig abtrennen, wenn der Tscheche und der Deutsche ein und dieselbe Handschrift, also den gleichen Kommentar benutzt hätten. Dieses Verfahren reicht nicht aus gegenüber dem Wesen dichterischen Schaffens, um das es sich doch in ČA handelt. Sehr oft besteht der entscheidende gemeinsame Unterschied der ČA und U gegenüber belegten oder hypothetischen Glossen nicht im Sachlichen, Materiellen, sondern in der sprachlichen Gestaltung und anderen Zügen des dichterischen Prozesses. In der Zeitschr. f. slav. Phil. (s. Anm. 8) wird apodiktisch erklärt, Übereinstimmungen U's mit ČA in inhaltlich unwesentlichen Zügen, z. B. in Übergangsversen, Beteuerungsformeln, Quellenberufungen, Interjektionen usw., können nicht Beweis für eine Abhängigkeit sein, und es wird gefragt, warum gerade absolut unwichtige Verse Ausdruck der Abhängigkeit der Dichtungen von einander sein sollen, und warum gerade sie beweiskräftig sein sollen. Man verkennt also, daß das sachlichimponderabile des dichterischen Werkes weniger als das Inhaltliche wesentlich von dem Wortlaut einer Glosse bestimmt sein kann; es ist keine Glosse denkbar, die einen und noch weniger beide Dichter an ein und derselben Stelle zu einem bestimmten und gleichen Ausdruck veranlassen m u ß t e. Es steht z. B. einer knappen Bemerkung Gu's über die Abteilung der Lanzenträger im persischen Heereszuge in ČA und U eine ausführliche Schilderung mittelalterlicher ritterlicher Pracht gegenüber. Seit fast 75 Jahren beschäftigt man sich mit diesen Versen unter dem Gesichtspunkt des Für und Wider der Abhängigkeit. Janouch hält im Gegensatz zu Zatočil die Abhängigkeit von U für sicher, aber er beschränkt

sich ganz auf inhaltliche, materielle Argumente, daß der Tscheche und der Deutsche diese Lanzenträger zu Reitern machen und ihre ganze Beschreibung auf Reiter richten, das sei die entscheidende Gemeinsamkeit. Ein anderer Zug der Schilderung ist aber viel auffälliger: Über die Lanzen sagt ČA gegenüber Gu's einfache *aurum cuspis habet: bez pozlaty polúzené, kopie maje neruzené barbú od cinobra vzatú, ale vlastně rudú zlatú* (N 116—119). Wie wenig man diese Verse verstand, kommt auch darin zum Ausdruck, daß man *neruzené* zu *naruzené* verbessern wollte. Die Erklärung der merkwürdigen Stelle finden wir in dem Wortlaut der entsprechenden Verse U's. U hat die Schilderung der Lanzen mit der Schilderung der Pferdedecken anakolutisch verbunden (auch darin gleicht ihm übrigens ČA): *versilbert ir schefte, vergult ir sper, ir wapenroc, ir kovertiur: mit silbervarwe stiur /wârn im ors verdecket, /mit rîcher kost volrecket.*

Mit silbervarwe stiur heißt in mittelhochdeutschem Sprachgebrauch nichts anderes als «mit Silber». Das tschechische *barba* ist durch U's *varwe* veranlaßt. Der Tscheche hat den abstrakten, schwierigen mittelhochdeutschen Ausdruck mißverstanden und beschäftigt sich nun in seinen Versen mit dem Unterschied zwischen «Farbe» und echtem Golde; er sah in U's «Farbe» einen Widerspruch zu dem doch gerade gepriesenen hohen Wert der Rüstung. Darum sagt er, die Reiter haben «nicht gefärbte Lanzen mit Zinnoberfarbe, sondern echt goldene». Diese Spuren des Ringens mit dem Ausdruck U's sind ein völlig einwandfreier Beweis der Verbundenheit beider Dichtungen. Man hat ihn bisher nie gesehen, weil man sich in Argumenten und Gegenargumenten allzusehr auf das Logische, grob Inhaltliche richtete. An dieser Stelle bemüht sich die Sprache des Dichters immerhin noch um die Klärung eines Sachverhaltes. Es gibt eine Fülle von Übereinstimmungen zwischen ČA und U in der dichterischen Diktion, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben und für die keine Glosse verantwortlich gemacht werden kann. — Auch Zatočil erklärt Übereinstimmungen zwischen ČA und U gegenüber Gu aus Glossen, deren Voraussetzung er verlangt (K staročeské Alexandreidě, s. Anm. 9). Nur an einem seiner Beispiele möge die grundsätzliche Differenz unserer Ansichten erläutert werden. An der Stelle, wo der tschechische Dichter nach der großen Schilderung der Schlacht bei Issos das Wehklagen der geschändeten Frauen schildert, sagt er «sie (d. i. manche der Frauen, die weinen und die Hände ringen) quält die Unbekanntheit» — *ju neznámost smúcie* (V 1893, N 166). Gu (III 228 ff) bietet keine Spur eines Anlasses für diese Bemerkung. Aber an genau der gleichen Stelle sagt U: *von irn cleidern die ungewizzen vürspan unde cleinôt rizzen* (8707/8). Für das bei Gu ganz fehlende *neznámost* — *die ungewizzen*

«muß eine Glosse vorausgesetzt werden» (a. a. O.). Das Adjektiv bedeutet bei U «die nicht wissen, was sich zieht, die Unverständigen» und ist in dieser Bedeutung bei U mehrfach, in der übrigen mittelhochdeutschen Literatur häufig bezeugt; U belegt also die Frauenschänder mit einem scheltenden Beiwort; sein Zusatz zu Gu ist deutlich und dabei völlig motiviert. In der ČA ist das Abstraktum *neznámost* außer dieser Stelle nicht mehr bezeugt, das Adjektiv *neznámý* 'unbekannt' kommt mehrfach vor. *Neznámost*, das Zatočil wohl richtig auf die Frauenschänder bezieht, so daß also die Frauen die «Unbekanntheit» dieser Männer quält, soll also die gleiche Glosse wiedergeben, auf die auch Ulrichs scheltende Charakterisierung «die Unverständigen» zurückgeht. Selbst wenn man, völlig hypothetisch, in Gu's passiver Konstruktion (*itur in amplexus nuptarum virginitasque vim patitur*) den möglichen Anlaß zu einer Glosse sehen wollte, so wäre doch angesichts des Unterschiedes zwischen U und ČA überhaupt nicht vorstellbar, wie denn diese Glosse gelautet haben soll. Aber das von U gebrauchte Adjektiv hat im Mittelhochdeutschen zwei Bedeutungen, nämlich auch die Bedeutung 'unbekannt'. Ist nicht viel natürlicher als die Hypothese einer Glosse die Annahme, daß der tschechische Dichter hier zwar Ulrich's Beiwort übernahm, aber in der ihm selbstverständlich geläufigeren Bedeutung des mittelhochdeutschen Wortes, eben als 'unbekannt'? In dieser Schilderung des Schmerzes der Frauen hat der tschechische Dichter übrigens eine ganze Reihe solcher kleinen Anklänge an U. In der sprachlichen Bewältigung der Schilderung menschlicher Gefühle bot U mehr Anregung als Gu.

Für die auffälligen Übereinstimmungen zwischen ČA und U ist außer dem Zufall und den Glossen jetzt auch wieder die allgemeine Ähnlichkeit der Sprache der alttschechischen und der mittelhochdeutschen Dichtung verantwortlich gemacht worden. Die Slaw. Rev. (s. Anm. 6) schreibt, die Frage der Quellen der ČA müsse noch offen bleiben, weil die Beziehungen der beiden Sprachen in Wortschatz und Stil noch nicht untersucht seien. In demselben Sinne behaupten die Zeitschr. f. slaw. Phil. (s. Anm. 8) und der Erasmus [11], viele der in Frage stehenden Gemeinsamkeiten zwischen ČA und U spiegelten nur die Nähe der beiden Sprachen jener Zeit wider, nicht aber ein direktes Verhältnis dieser beiden Dichtungen zu einander. Sicher wäre es wichtig, Stil und Wortschatz der alttschechischen und mittelhochdeutschen Dichtung vergleichend zu untersuchen. Aber eines ist schon klar, bevor wir eine solche Untersuchung des Stilles der alttschechischen Dichtung haben und wird doch in den genannten Einwendungen völlig ignoriert: wenn ČA und U ein Wort, eine Stilfigur usw. haben, die der alttschechischen

[11] Marc Vey in: Erasmus, Bd. 5 (1952), S. 354—356.

und mittelhochdeutschen Sprache gemeinsam angehörten, dann ist die entscheidende Frage die, warum beide den gleichen Ausdruck an genau der gleichen Stelle ihrer Dichtung anwenden. Z. B. bezeichnet ČA an zwei Stellen eine Schutzschilde, die die Erstürmer einer Stadtmauer gegen die Geschosse der Verteidiger benutzen, als *tváři*, an einer dieser Stellen mit *z přětvrdého lesu*. Ob der tschechische Dichter das Wort *tváři* in dieser höchst besonderen Bedeutung unter dem direkten Einfluß von U's *tarsche* anwandte, soll angeblich erst entschieden werden können, wenn ein vollständiges Wörterbuch des Alttschechischen uns Auskunft gibt, ob diese Bedeutung der alttschechischen Epik geläufig war und dann vielleicht eine tschechische Aneignung des im Mittelhochdeutschen geläufigen *tarsche* war. So wichtig ein alttschechisches Wörterbuch auch für unsere Frage wäre, so abwegig ist doch dieser Skeptizismus in der Quellenfrage. Der tschechische Dichter gebraucht *tváři* in dieser Bedeutung nur zwei Mal in seiner Dichtung. An genau denselben beiden Stellen steht bei U *tarschen* und U bezeichnet *tarschen* stereotyp als *hart*. An beiden Stellen, in der Schilderung der Erstürmung Thebens und der von Tyrus steht das tschechische *tváři* in einer Folge von Versen, die noch eine Reihe anderer Übereinstimmungen mit den genau korrespondierenden Versen U's aufweisen. Diese genaue Korrespondenz der Stellen gilt es zu erklären, nicht den Gebrauch des Wortes überhaupt. — Bei der Einnahme von Damaskus spricht Gu vom *praefectus* der Stadt, U vom *burcgrâve*. ČA hat in N *purgrabie* als Bezeichnung desselben Mannes; das Wort kommt nur an dieser einen Stelle der ČA vor. Marc Vey (s. Anm. 11) bezeichnet es als unmöglich, dieses Zusammentreffen aus einem direkten Verhältnis zwischen den beiden Dichtungen zu erklären. Hätten wir das alttschechische Wörterbuch, so wüßten wir, wie weit das Wort *purgrabie* im Tschechischen des 13 Jh. geläufig war. Aber eigentlich kommt es darauf nicht an. Der tschechische Dichter mußte den Mann an dieser Stelle nicht als *purgrabie* bezeichnen, er konnte ihn z. B. mit seinem Namen Mazeus nennen; in dem entsprechenden Vers des V heißt er *oprávcě* und dieses Wort steht an anderer Stelle kurz vorher in beiden Handschriften. Die Differenz zwischen den beiden Handschriften in diesem Vers muß hier so beurteilt werden, dass N uns hier das Wort des Archetyps überliefert. Für den unmittelbar folgenden Vers hat Gebauer ganz unabhängig von diesen Überlegungen bereits vorgeschlagen, N und nicht V als den besseren Vertreter des Archetyps anzusehen. Es deutet alles darauf hin, daß der Ausdruck *purgrabie* auf genetischem Zusammenhang der ČA mit U beruht.

Wenn auch nur für einen der etwa dreieinhalb Tausend Verse der ČA die Abhängigkeit von einem bestimmten Verse Ulrich's erwiesen

wäre, so wäre das bereits entscheidend. Der Nachweis von Differenzen oder der Unberechtigkeit noch so vieler der in den «Quellen» gezeigten Gleichungen kënnte daran nichts ändern. Tatsächlich hat in den letzten Jahren keiner, auch nicht die radikalsten Skeptiker, alle Beziehungen zwischen dem tschechischen und deutschen Text völlig leugnen mögen. Man hat für diese Anerkennung verschiedene Formulierungen gewählt, deren vorsichtigste die ist, daß der tschechische Dichter Ulrichs Dichtung gekannt hat[12]. Der tschechische Dichter hat also U gekannt. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten: der Tscheche kann U gelesen oder gehört haben und hat alles wieder vergessen, oder es tauchen in seiner Dichtung mehr oder weniger unfreiwillige Reminiszenzen auf; oder der Tscheche hat Ulrich's Gedicht bei der Arbeit vor sich gehabt, so wie er Gu vor sich gehabt hat. Der Vergleich der uns doch vorliegenden Texte muß eine Lösung dieser Alternativen ermöglichen. Dagegen, daß der Tscheche nur Reminiszenzen an weit zurückligende Lektüre bewahrte, spricht die Art der Textübereinstimmungen mit U. Wir haben viele hundert auffällige Textübereinstimmungen an einander im Ablauf der Dichtung genau korrespondierenden Stellen. In einigen Fällen ist die Verteilung einer Folge von Gedanken auf mehrere der achthebigen Verse in beiden Dichtungen genau die gleiche. Anzunehmen, daß solche Übereinstimmungen eintreten könnten, ohne daß der Tscheche den mittelhochdeutschen Text vor sich liegen hatte, würde ein ganz unwahrscheinliches Gedächtnis bei dem tschechischen Dichter voraussetzen.

Man kann die alternative Frage nach U nicht isoliert betrachten. Die Antwort auf diese Frage muß sich einer Gesamtkonzeption von den Quellen der ČA einfügen. Die Anerkennung U's als Quellen hieße: Der Tscheche hat bei der Auseinandersetzung mit dem lateinischen Text auch den mittelhochdeutschen Text herangezogen. Aus der Auseinandersetzung eines sehr hochstehenden Dichters mit dem lateinischen und dem mittelhochdeutschen Text entstand die ČA. Als Alternative zu dieser Konzeption, die den Tschechen aus zwei Büchern schöpfen läßt, galt oft die Ansicht, er habe eine längere Reihe von Quellen benutzt. Pražák (s. Anm. 9) hat diese Ansicht

[12] Marc Vey (s. Anm. 11): «Daß der Tscheche von der Existenz des Alexander wußte, daß der Tscheche den U hat rezitieren hören, oder ihn gelesen hatte, daß der Tscheche wissen wollte, wie U bestimmte Stellen auffaßte, um festzuhalten, was er für glücklich hielt». Johanssen (s. Anm. 8): «Wir können die auffallenden Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und der tschechischen Dichtung vorläufig nur damit erklären, daß der tschechische Dichter wohl Ulrich's Werk gekannt haben muß». Slaw. Rev. (s. Anm. 6) urteilt, es seien unter all den Gleichungen nur zwei Positive von Evidenz enthalten, und darum bleibe die Quellenfrage weiter offen. Hrabák (S. 43 s. Anm. 12): «Bielfeldt bekräftigte mit reichem konkreten Material, daß der Tscheche U kannte und ihm nicht gleichgültig gegenüber stand».

zuletzt sehr detailliert vorgetragen. Die Annahme einer solchen langen Reihe von Quellen, Pražák hat sogar griechisch geschriebene in Erwägung gezogen, führt zu einem wenig wahrscheinlichen Bild von der Arbeitsweise des tschechischen Dichters. — Die andere Konzeption findet eine Bewährung auch darin, daß sie Fortschritte im Verständnis des tschechischen Textes bringt. Verse der ČA, in denen andere die Handschriften durch Konjekturen verbessern wollen, werden in ihrer vorliegenden Gestalt gerechtfertigt und erklärt durch den Vergleich mit U. Z. B. zeigt die Schilderung des Marsches der Griechen durch die Lybische Wüste zum Tempel des Ammon viele auffällige Gemeinsamkeiten, für die Gu keine Grundlage bietet. Die schwerste Abweichung der ČA besteht darin, daß er den Namen *Hamon* (Ammon) gegen Gu's klaren Wortlaut nicht als den Namen des Gottes anführt, sondern als den Namen des Waldes, in dem der Tempel des Gottes stand («der Götze ist»): *v lesě, jenž Hamon slove* 2195. Man hat schon manches versucht, um diese schwere Abweichung zu erklären. Jetzt will Marc Vey (s. Anm. 10) die Frage durch eine neue Textkonjektur lösen. Da dem Vers in der Form der Handschrift V der achte Fuß fehlt, hat man bisher für *jenž* — *jenžto* konjiziert. — Das ist eine leichte, sehr plausible Konjektion; die Verbindung des Pronomen *jь* mit *to* ist ja in der ČA massenhaft bezeugt. Vey will dagegen jetzt die fehlende Silbe gewinnen, indem er statt *Hamon* — *Hamona* liest, also einen tschechischen Genitiv, der Gu's Genitiv *Hammonis* entspräche, und der Vers würde lauten «in einem Walde, der des Ammon heißt». Ich kenne in der ČA keinen anderen Vers, der sich so gewunden ausdrückt. Diese neue Konjektur soll die Alternative sein gegenüber einer Erklärung aus U's Wortlaut. U hat nämlich gedichtet: *in einem walde Hâmon dâ /der got ein schoenez tempel het.* Das ist ein Enjambement, das sogar einen deutschen Studenten der Germanistik stutzen läßt, und man kann gut verstehen, daß der alttschechische Dichter es falsch auflöste. Selbst diese starke Ähnlichkeit braucht man nicht isoliert als solche hinzunehmen, sondern sie steht in einer Folge von Versen mit einer ganzen Reihe anderer Gemeinsamkeiten der ČA mit U.— Auch schwer verständliche Stellen der ČA, schwer verständlich wegen ihrer Sprunghaftigkeit, Inkonsequenz oder Brüchigkeit der Erzählung finden dadurch Aufklärung, daß der Tscheche sich mit der korrespondierenden Stelle U's auseinandersetzte.

Der in den «Quellen» durchgeführte Textvergleich hat bewiesen, daß der tschechische Dichter U kannte und daß der tschechische Text Spuren eben dieser Kenntnis zeigt. Aber auch die, die das als erwiesen anerkennen, machen nun andere Einwände geltend. Man fragt nach der literar-historischen Bedeutung der unbestreitbaren Tatsache. Man sagt, dieser Nachweis bleibe auf dem alten literar-historisch

unfruchtbaren Standpunkt stehen, der sich mit dem Feststellen von «Einflüssen», in der Literatur begnügte (tschech. vlivologie). Man sagt, der Nachweis des Verhältnisses zwischen der ČA und U sei literarhistorisch wertlos, da er sich in der Eruierung «objektivistischen und groben Materials» erschöpfe und die Frage nach der Bedeutung nicht stelle. Leider kommt in dieser Erbitterung der Literaturtheoretiker nur gar nicht zum Ausdruck, daß die Frage nach der Bedeutung der Tatsachen erst gestellt werden kann, nachdem die Tatsachen selbst völlig erkannt sind. — Diese Frage nach der literar-historischen Bedeutung der teilweisen Benutzung Ulrich's durch den Tschechen ist mehrfach mit früheren Einwänden gegen den Nachweis der Tatsache selbst verbunden. — Man macht, wie schon immer vor Erscheinen der «Quellen», auch jetzt wieder geltend, daß zwischen der ČA und U große Unterschiede bestehen. Mein angebliches Ignorieren dieser Unterschiede entkräfte den Nachweis. Aber es dürfte nicht nur den Philologen klar sein: wenn der genetische Zusammenhang zwischen den beiden Dichtungen an einigen Punkten erwiesen ist, dann können auch noch soviel Differenzen an anderen Punkten nicht das Gegenteil besagen. Solche Differenzen führen uns vielmehr zu dem, was der tschechische Dichter selbst war und tat. Man wird sich leicht darüber verständigen können, daß Verschiedenheiten in den Motiven, im Bestand der Eigennamen, in Zahlenangaben und anderem Faktischen einem direkten Verhältnis der beiden Dichtungen zueinander nicht widersprechen. Auch Gu gegenüber zeigt die ČA viele Unterschiede (schon Nebeský betonte mit Recht, daß die Gleichheit zwischen der ČA und Gu nur gering ist), und doch hat man nie bezweifeln können, daß der Tscheche Gu benutzt hat. Auch da, wo der Tscheche Glossen benutzt hat, bestehen große Unterschiede zwischen seinen Versen und dem Wortlaut der Glossen. Wo er U's Verse benutzt, da hat der Tscheche meistens etwas besseres aus ihnen gemacht. Daß wir an vielen Stellen nachspüren können, wie der Tscheche aus U's Versen etwas anderes macht, das gerade charakterisiert das Verhältnis mehr als die Fälle der Identität. Nachdem die Benutzung Ulrich's einmal feststeht, können die Differenzen nur beweisen, daß der Tscheche mit U selbständig verfuhr; dagegen können sie nicht beweisen, wie man immer wieder versucht, daß der Tscheche U überhaupt nicht benutzte. Das Beispiel des Vévoda Arnošt ist lehrreich; dieses Werk hat, anders als die ČA, nur *eine* literarische Quelle, ist im ganzen sogar eher eine Übersetzung seiner Quelle; und dennoch gibt es große Unterschiede zwischen dem V. A. und seiner deutschen Quelle bezw. Vorlage, hier, wo die «Quellenfrage» im Unterschied zur Alexandreis mit ihrem international verbreiteten Stoff außerordentlich einfach liegt, können aus den Unterschieden zwischen der tschechischen und deut-

schen Dichtung keine Zweifel an der an anderen Punkten nachgewiesenen Abhängigkeit hergeleitet werden.

Wichtiger als die Unterschiede im Inhaltlichen und Einzelnen sind die Unterschiede im literarischen Gesamtcharakter der Dichtungen. Wir haben alle drei zu vergleichen: Gu, den der Tscheche und U benutzt haben, und diese beiden, die in einem direkten Verhältnis zueinander stehen. Als Gründe, warum der Tscheche Gu zu seiner Hauptquelle bestimmte, nannte man: Gu's Konzentration auf die Taten des Haupthelden und sein Verzicht auf Phantastik und Unterhaltsamkeit, im Unterschied etwa zur mittelhochdeutschen höfischen Ritterdichtung, Gu's Vorrat an Reflexionen über Gang und Sinn der Ereignisse; seine hohe künstlerische Beherrschung des Stoffes. Man sollte vielleicht hinzufügen, daß Gu damals zu den meist gelesenen Werken lateinischer Poesie gohörte, daß sein Werk sich außerdem durch relative Kürze im Umfang empfahl. Die Unterschiede der ČA von ihrer lateinischen Hauptquelle sind oft dargelegt worden, weil man in diesen Unterschieden das Spezifische dieser alttschechischen Dichtung erfassen will. Der tschechische Dichter hat den ihm gebotenen epischen Stoff in den engen Zusammenhang mit der Situation seiner Zeit gebracht; er geht nicht mehr von allgemeinen Prinzipien aus, sondern von den Anschauungen seiner Zeit und den Anforderungen der Gesellschaft, für die er schrieb. Diese Gesellschaft war der tschechische Adel. Während die Literatur in der Zeit des mittelalterlichen Feudalismus auf die mehr unveränderlichen Züge des Lebens gerichtet ist, sie also z. B. den Ritter überhaupt schildert, ist die ČA schon vielmehr auf den tschechischen Ritter gerichtet. Die Nationalisierung des Stoffes, z. B. durch Einführung tschechischer Eigennamen in die Erzählung, die Aktualisierung des Stoffes, z. B. durch direkte Anspielungen auf die zeitgenössische tschechische Geschichte und durch Schilderung des zeitgenössischen Kriegswesens — das sind starke Leistungen des tschechischen Dichters, die beim Vergleich mit Gu hervortreten. Die Alexandreis bedeutete einen Fortschritt in der Richtung zur Laisierung, Modernisierung und zum Realismus in der tschechischen Literatur; in dem Ringen um diesen Fortschritt hat der Dichter sich vom literarischen Genre seiner lateinischen Quelle weit entfernt. Nun zeigt aber die hier genannten Unterschiede der ČA gegenüber Gu auch U. Auch U hat seinen Stoff für das adelige Publikum seiner Zeit umgearbeitet. Nur um nicht mißverstanden zu werden, sei betont, daß diese starke Gemeinsamkeit zwischen ČA und U gegenüber Gu nicht Folge einer «Beeinflussung» ist. Der Tscheche schuf sein Werk im Einklang mit seiner gesellschaftlichen Situation. Der Tscheche sowohl wie U gestalteten Gu, der im 12. Jahrh. ein Werk nach antikem Muster geschaffen hatte, zu einem Werk für

ein Adelspublikum am Ende des 13. Jh. um. Innerhalb dieser Gemeinsamkeit ist die ČA auch von U stark verschieden. Ulrich's Werk vertritt das Genre des höfischen Ritterepos. Die seit dem 12. Jh. in Deutschland und weiter lebende höfische Poesie, voll abenteuerlicher Phantastik und mit geringem Realismus, war auch in Böhmen bekannt geworden. Aber der Dichter der ČA um 1300 war kein höfischer Dichter. Seine Dichtung zeigt die Abkehr von diesem literarischen Geschmack; sie bemüht sich um eine neue Konzeption der tschechischen Literatur; so malt sie das Bild des Adligen und Ritters voll Realismus und Zeitnähe, ohne Romantik und Idealisierung. — Die ČA und U unterscheiden sich beide von Gu durch die «Modernisierung». Die ČA unterscheidet sich noch einmal von U im literarischen Geschmack. Zu diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden kann die Tatsache, daß der Tscheche U benutzte, nicht im Widerspruch stehen. Der Tscheche schaute nicht rückwärts gewandt auf die mittelhochdeutsche höfische Epik, um ihr zu dienen. Er hatte sein eigenes literarisches Programm und Ziel und folgte ihm. Im Verfolgen seiner eigenen literarischen Konzeption unterwarf er sich weder Gu noch U, weder der Antikisierung Gu's noch der Phantastik Ulrich's. Diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der literarischen Gesamthaltung können für die Lösung der «Quellenfrage» im traditionellen Sinn nichts bedeuten. Durch Aufzeigen dieser Differenzen könnte man ebenso wohl Gu wie U als Quellen für die ČA ausscheiden. — Da immer noch auf Gu als Quelle stärkster Nachdruck gelegt wird, man bei U aber über die Einräumung, der Tscheche habe ihn eben gekannt, nicht hinausgehen möchte, so sei hier bemerkt, daß bei dem großen literarischen Unterschied der ČA von U sich doch Züge der literarischen Haltung finden, in denen der Tscheche U folgte, z. B. die Hochpreisung von Ehre und Ruhm des Ritters, die Hochschätzung des Reichtums, die Hochpreisung der Frauentugend, die Art der Einstufung der Frau, das Interesse für die Schilderung des Gefühlslebens, die Rolle des «Herzens».

Daß die ČA mit ihrem epischen Stoff, ihrer Thematik, ihren Motiven usw. von Quellen (Gu, die Glossen, U, die Bibel) abhängig ist, das unterscheidet sie nicht von anderen Dichtungen ihrer Zeit; die Authentizität wurde ja stärker erstrebt, als die Originalität. Wenn die Benutzung Ulrich's durch den tschechischen Dichter in unsere Vorstellungen von der Entwicklung der tschechischen Literatur im 13. und 14. Jh. eingeordnet werden soll, dann muss die «Quellenfrage» über das Stofflich-Thematische hinaus erweitert werden. Man sagt jetzt, in der Argumentierung gegen eine U evtl. zukommende Bedeutung, von Quellen und Vorlagen könne man nur sprechen,

[13] Josef Hrabák. Studie z starší české literatury. Praha, 1956, S. 401.

soweit es um Thematisch-Inhaltliches geht.[13] Aber mit einer derartigen Konzeption versperrt man den Weg zur literarhistorischen Einordnung der Tatsachen vollends. — Die stoffliche Quellenabhängigkeit läßt wenig Schlüsse zu für die Einordnung des Verhältnisses der ČA zu U in die entwicklungsgeschichtliche Stellung der ČA. Die gemeinsame Modernität der literarischen Gesamthaltung gegenüber Gu ist aus allgemeinerer Gemeinssmkeit und nicht aus gegenseitiger Abhängigkeit zu verstehen. Über diese Gemeinsamkeit hinaus, auf ihr sich gewissermaßen abhebend, gibt es zwar eine Reihe von Zügen des literarischen Geschmacks bzw. des Genres, in denen der Tscheche sich direkt an U anschließt, die er bei ihm kennengelernt hat. Aber ihnen stehen starke literarische Unterschiede zwischen der ČA und U gegenüber. Die Analyse dieser Unterschiede würde die eigentliche literarische Originalität des tschechischen Dichters, seine Schritte in der Entwicklung der tschechischen Literatur enthüllen. Trotz immer wieder, besonders in letzter Zeit wieder, wiederholter thesenhafter Beteuerungen und Hinweise ist diese Analyse bisher unterblieben. Die Scheu vor dieser Aufgabe ist zu verstehen, denn sie würde einen genauen Vers für Vers durchgeführten Vergleich der Texte verlangen.

Neben der thematischen Quellenabhängigkeit und dem Verhältnis des literarischen Gesamtcharakters steht etwas Drittes. Die schärfsten Einwände gegen den Textvergleich der «Quellen» besagen, ich habe die Gleichheiten einzelner Ausdrücke und Wendungen mechanisch gehäuft, ohne auf das Ganze zu sehen[14]. Man drückte ablehnendes Befremden darüber aus, daß der Tscheche so bedeutungslose Züge aus U übernommen haben sollte (Ztschr. f. sl. Ph., s. Anm. 8). Man sagt, der philologische Nachweis so vieler Einzelheiten der Abhängigkeit bleibe wertlos, weil ich dieses Material nicht deuten kann; die mit philologischer Methode gewonnenen Einzelheiten lassen sich angeblich nicht literargeschichtlich einordnen; der Philologe stehe ratlos vor seinem eigenen Nachweis. Das hier vorliegende Mißverständnis beruht auf der Unterschätzung der F o r m des literarischen Werkes, einer Unterschätzung, die erst seit kurzer Zeit einer besseren Schätzung wieder zu weichen beginnt; man hat sich längere Zeit bei der Einordnung literarischer Werke allzu sehr auf die thematische und ideologische Seite beschränkt und die dichterische Form außer Acht gelassen. Das Verhältnis der ČA zu U scheint in die literarische Entwicklung nicht einzuordnen zu sein, solange man nur den Inhalt und die literarische Gesamthaltung der Werke vergleicht. Was man die bedeutungslosen, unwesentlichen, vereinzelten Übereinstimmungen nennt, das gehört zur dichterischen Form

[14] Ders. Nová práce o staročeské Alexandreidě, in: Česká literatura, I (1953), S. 37—45.

der Dichtungen. — Um ein weltliches Epos zu schaffen, brauchte der Dichter eine tschechische Literatursprache es genügten nicht Quellen für seine Thematik und Grundlagen für seine Ideologie. Wir wissen leider viel zu wenig darüber, wie die Literatursprache aussah, die dem Dichter der ČA im 13. Jh. überliefert war und in der er auf Grund seiner fremdsprachigen Quellen und seiner eigenen dichterischen Impulse das Epos schaffen mußte. Aber zweifellos stand der tschechische Dichter des 13. Jh. in seinen sprachlichen Möglichkeiten viel näher der mittelhochdeutschen Literatursprache seines Zeitgenossen Ulrich als der lateinischen Literatursprache des römischen Altertums, in der Gu geschult war und die er repräsentierte. Wenn also der tschechische Dichter nicht nur Gu, sondern auch U kannte, so lag es sehr nahe für ihn, die engere Nähe zu U sich nutzbar zu machen. Tatsächlich bestehen viele Gleichungen in Wortschatz, Syntax und Stil zwischen der ČA und U im Unterschied zu Gu. Hierfür seien nur einige Beispiele zusammengestellt.

Von den alttschechischen Lehnwörtern aus dem Mittelhochdeutschen haben der tschechische Dichter und U eine lange Reihe in genauer Gemeinsamkeit, z. B. *šturm* — U *sturm, šturmovati* — U *sturmen; škoda* — U *schade, vzieti škodu* — U *schaden nëmen, vzě veliku škodu* — U *grôzen schaden kôs* (mhd. *kiesen* 'wählen', metaphorisch 'nehmen'), *podjieti škodu, dostúpiti škody* — U *schaden enphân; šal* — U *schal; auvech* — U *ôwê; chvíle* — U *wîle; rada* — U *rât, dati rady* — U *rât geben, raditi* — U *râten; zrada* 'Verrat' — U *rât* (an dieser Stelle im Sinne eines bösen Rates, bei Gu entspricht an dieser Stelle *fraus*), *šlechta* 'Adel' — U *geslehte, hrabie* — U *grâve, markrabie* — U *margrâve, purgrabie* — U *purgrâve, rytieř* — U *ritter, rota* 'Haufen' — U *rote, blída* 'Steinschleuder' — U *blîde, helm* — U *helm; vítěz* 'Held' — U *wigant*; hier liegt allerdings eine bereits gemeinslavisch-germanische Entlehnung vor, und der Tscheche brauchte sie nicht erkannt zu haben, aber es ist doch auffällig, daß einmal *vítěz* — *wigant* an genau gleicher Stelle der Dichtung stehen. Hier reihen sich Kalkierungen an: *kočka* 'Sturmkatze' (Belagerungsgerät) — U *katze, tvář*i 'Schutzdächer für die Kämpfer' — U *tarschen* (vgl. o. S.), *samostřiel* 'Armbrust' — U *selpschôz* (selber, schiezen). Bereits die bisher genannten Beispiele lehren, daß ČA und U nicht nur allgemeine Beziehungen zwischen dem Alttschechischen und Mittelhochdeutschen widerspiegeln, sondern daß ein Dichter dem anderen in der Wortwahl folgte. Nur so ist zu erklären, daß Wörter, die in der ČA (die doch einige 30 000 Wörter umfaßte) nur einmal eben an genau der gleichen Stelle der Dichtung vorkommen wie das gleiche Wort bei U; von den bisher genannten Beispielen: *šal, auvech, purgrabie, blída, kočka; tváři* 'Schutzdächer' kommt zweimal vor, und

an beiden Stellen heißt es bei U *tarschen.* Auf dieses Verhältnis weist auch, daß entsprechend Ulrich's gewöhnlichem Gebrauch (*ritter*) *rytieř* ein häufig gebrauchtes Wort des Tschechen ist, dagegen das gleichbedeutende mittelhochdeutsche *recke*, das in anderen alttschechischen Dichtungen vorkommt, in der ČA fehlt.

Die lautliche Ähnlichkeit seines tschechischen Wortes mit dem bei U stehenden Wort hat den tschechischen Dichter oft veranlaßt, gerade dieses tschechische Wort an der U entsprechenden Stelle zu wählen und in der bei U vorliegenden Bedeutung und Anwendung anzuwenden: *mieniti* 'sinnen', das in der ČA immer mit Akkusativ- oder Genitiv-Objekt verbunden ist, kommt einmal vor als *mieniti s kým* und bedeutet hier 'jemandem zugetan sein, ihn lieben'; das gleicht mhd. *jem. meinen* 'lieben' genau, und bei U steht dieses genau an derselben Stelle wie in der ČA. — Das Wort *řěč* ist in der ČA so häufig wie bei U *rede;* bei beiden hat es außer 'Rede' Bedeutungen wie 'Nachricht' und 'Angelegenheit'; die schon hierin liegende Gemeinsamkeit, der bei Gu kein solches den gleichen Bedeutungsbereich umfassendes Substantiv gegenübersteht, wird noch unterstrichen durch mehrfaches Zusammentreffen von *řěč* — *rede* an ein und derselben Stelle der Dichtung: *bych řěč rozvlačil* 'ich würde weitschweifig werden' — U *wurde der rede gar ze vil* 'die Schilderung würde zu lang', so wenden sich U und der Tscheche, aus ihrer Schilderung heraustretend, als Dichter an den Leser; ebenso sagen beide: *protož tu řeči ukráci* 'darum werde ich die Rede verkürzen' (also die Schilderung abbrechen) — *diese rede ich kürzen wil; darumbe ich sie* (die rede) *verswîgen wil.* Beide lassen Alexander sagen: *on prvé svú řěč uchváti* 'er ergriff das Wort zuerst' — *mit dieser rede kam er mir vür* 'kam mir zuvor'. — Das einzige Vorkommen von *núzě* 'Not' steht an derselben Stelle, an der U das ihm geläufige *nôt* hat, und beide haben genau die gleiche Bedeutung 'Leid, Kummer, das den Menschen trifft'. Dem einzigen Vorkommen von *hrozný šal* entspricht an gleicher Stelle und in gleicher Bedeutung Ulrich's *grôzer schal.*

Die Wortbildung, die «innere Form» der vom Tschechen gewählten Wörter gleicht manchmal dem bei U an gleicher Stelle stehenden Wort, während Gu nur inhaltlich Übereinstimmendes hat: *panost* — U trunkenheit — Gu *Bacchus, ebrietas; protivný* — U *widerstê* — Gu *superbus; v rozkoši* — U *un* — *kiusche* — Gu *Venus, luxuries.* — Bei der Beurteilung solcher und anderer Gleichungen muß berücksichtigt werden, daß der tschechische Dichter, wie seine Zeitgenossen, durchaus Lust am Etymologisieren hatte, selbstverständlich auf mittelalterlichem Niveau. Es ist vielleicht kein Zufall, daß in der Schilderung des Sturms auf Theben, in der die Gleichungen besonders dicht gehäuft stehen, sich an genau in gleicher Stelle, beim

Einbruch in die Stadtmauer gegenüberstehen: *zed pode-brachu* 'sie unterminierten die Mauer' — U *die mûre gebrochen.*

Häufig liegt den in der ČA und bei U gebrauchten Wörtern ein und dieselbe Metaphorik zugrunde. Metaphern enthält bekanntlich nicht nur der individuelle Stil des Dichters, sondern auch die allgemeine Literatursprache. Viele der unseren beiden Dichtern gemeinsamen Metaphern sind in der mittelhochdeutschen Literatur allgemein geläufig und stehen dort in fester Tradition der deutschen Literatursprache. Es soll hier nicht auf die schwierige Frage der Germanismen im Tschechischen eingegangen werden. Auch die Herkunft des Wortschatzes der ČA, also ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Literatursprache, kann hier nicht untersucht werden, so dringend nötig das auch wäre. Jedenfalls aber kann die reihenhafte Gleichheit von Metaphern bei beiden Dichtern an gleichen Stellen der Dichtung nur darauf beruhen, daß der tschechische Dichter U kannte und ihm im Ausdruck folgte. Z. B. gebraucht U die Verben *legen* und *ligen* nicht nur im eigentlichen Sinn des 'Legens' und 'Liegens', sondern, mittelhochdeutschem und überhaupt deutschem Gebrauch entsprechend, auch im Sinne von 'belagern' und 'Quartier haben'. Der tschechische Dichter gibt an den gleichen Stellen *legen* mit *položiti sě* und *léci, ligen* mit *ležěti* wieder: *přěd tiem městem sě položi* 455 — U *die sich heten geleit* (gelegt) *an die stat; proti jim jemu bieše léci* 1131. 'gegen sie mußte er (mit einem Kampfauftrag) zu Fehde liegen' — U *ich lac, het sich geleit; král tehdy ležěše* 1375 — U *in Issôn der fürste lac.* Ebenso gleicht die Bedeutung von *jeti, jézda, jíti* Ulrich's *varn, vart,* der mittelhochdeutschem Sprachgebrauch entsprechend dieses Verbum (und das Verbalabstraktum) auch auf Truppenbewegungen im allgemeinen Sinn anwendet: *uda sě jmu jeti tady* 711 — U *sîn wart geriet; uda sě mu tu přijeti* 2192 — *dar nâch fuor er gegen Libiâ; proti Alexandru jíti* 1196 — *gegen Alexandrô varn; jenž svú jézdu zle dokona* 1127, *posla ottad v jézdu lidi* 1169 — *er was... ûf der vart.* — Daß in der ČA *honiti* und *hnáti* auch in der Bedeutung schneller Marsch- und Laufbewegungen gebraucht wird, gleicht Ulrich's *jagen* genau; dagegen hat Gu an den verschiedenen Stellen der Dichtung nicht ein solches gemeinsames Verbum, sondern z. B. *quaerere iter, ruere, accedere, advolare.* Die Gemeinsamkeit der Bezeichnung der 'Truppenmacht', 'Truppenzahl' als *síla* — U *kraft* kann nicht zufällig sein. Die Gegenwehr des kämpfenden Ritters bezeichnen beide Dichter als ein 'Heimzahlen' (bei U des 'Geborgten'): *oplatiti* — U *gelten.*

Diese Beziehungen zwischen der ČA und U auf dem Gebiet der Lexik im weitesten Sinn sind nicht beschränkt auf durch Lehnbeziehungen verwandte Wörter, Lehnübersetzungen und auf Gleichheit der äußeren oder inneren Form und der Metaphorik. Häufig

haben ČA und U Wörter, die sich bezüglich des Bereichs des Bezeichneten genau gleichen. Bekanntlich ist die bedeutungsmäßig völlige Identität von Wörtern verschiedener Sprachen verhältnismäßig selten, wenn es sich nicht um Sachbezeichnungen einfachster Ordnung handelt. Gleichheiten zwischen beiden Dichtern in der Bezeichnung komplexerer oder spezieller Dinge und Begriffe, die von Gu's Ausdrücken an den gleichen Stellen der Dichtung entfernt sind, können nicht auf Zufall beruhen. So gleicht der Gebrauch von *chtieti* auffällig stark dem von Ulrich's *wollen*; die Gleichheit an ein und derselben Stelle der Dichtung ist auch in diesem Fall am überzeugendsten: *chci vám něčso pověděti* 858 — *wil ich iu ein dinc sagen; když ho chtiech potázati* 901 — *wolt ich in gefrâget hân; chceš — li pomnieti* 1300 — *welt ir gedenken* ('wenn ihr wollt'); *nechtě sě však rozpáčiti* 2165 — *nu enwolt ers niht vermîden* ('er wollte nicht'); *chtě ho podstúpiti bojem* 2223 — *wolde mit im haben strît; že tě chtie jéti* BM 92 — *daz sie iuch wellen... bringen in vanknisse nôt; chtě sě kl'uditi sím králem* N 254 — *alsô wolt er ze hulden komen.* An keiner einzigen dieser und einiger anderer hier nicht aufgeführter Stellen der Entsprechung von *chtieti* — *wollen* hat Gu an gleicher Stelle etwa *velle.* — In der ČA steht häufig *lid* an der gleichen Stelle, wo U *volc* hat; Gu hat an diesen Stellen kein gemeinsames Wort, mit *lid* gibt ČA auch Ulrich's *liute* wieder, z. B.: (er) *jmějěše lidí mnoho* 956 — *er wol liute mohte hân* (haben); *množstwo l'udí život skona* M 74 — *vil liute tâten val; že mnoho lida jest pri králi* 1076 — *daz er hât liute âne zal.* Ebenso hat Gu kein Wort für 'Fußvolk' (mhd. vuozvolc), sondern nur das Substantiv *pedes* und das Adjektiv *pedester; pěši lid* 396 steht an der gleichen Stelle, wo U *vuozgenger schar hat; v pěšiej zbroji* 1784 gibt U *mit der gênden* (gehend) *diet* (Volk) wieder. Gu *acumen iudicis* 'die Schärfe des Richters', die nicht durch Bestechung beeinträchtigt werden soll, geben ČA und U wieder als *práva* — *die rehten urteile:* es ist klar, daß ČA und U lexikalisch näher zusammenstehen. Das einzige Zeugnis für *kázn* steht in der ČA an der Stelle, an der U mehrfach *zuht* hat; beide sprechen hier von der moralischen Haltung Alexanders; das ebenfalls einmalige und recht auffällige *kázniti* hat ebenfalls seine Entsprechung bei U: *kázni* ('Olympias war züchtig') — (Olympias war) *kiusch und wol gezogen;* dieser Bezeichnung dieses Begriffes der 'Zucht' fehlt bei Gu die Entsprechung; ebenso verhält es sich, jedenfalls an vielen Stellen, mit der Gleichheit von *čest* — *êre* bei beiden Dichtern. Daß ČA und U an gleicher Stelle einen Ausdruck für ein und dieselbe Sache haben, und daß Begriff und Bezeichnung bei Gu fehlen, ist eine reihenhafte Erscheinung. Der 'liebe Gemahl und Freund' wird bezeichnet: *svého milého mužě, své zmilelé* — *herre; friunt und trûtgeselle; herre, mîn*

friunt und lieber man; der Zusammenhang des nur einmal bezeugten *zmilelý mit lieb, trût* 'lieb', *friunt* ist unverkennbar. In den Kampfschilderungen sprechen beide Dichter oft von den Gegnern als den beiden 'Seiten': *stranu obu, straně nabě (na obě), s každé strany — beider sît, andersît.* — Das tschechische *živótek, život* und Ulrich's *leben* stehen häufig an der gleichen Stelle der Dichtung; an einer Reihe dieser Stellen sprechen beide Dichter in gleicher Weise davon, daß der Mensch sein 'Leben' im Kampfe verliert, daß es ihm genommen wird usw.: bei Gu steht dem kein gemeinsamer Ausdruck, etwa *vita*, gegenüber. An einigen dieser Stellen steht bei U *lîp*, das im Mittelhochdeutschen die gleiche Bedeutung hat wie *leben*; der Tscheche verstand diese Synonymie und gab auch *lîp* mit *život, živótek* wieder. — Beide Dichter haben an den gleichen Stellen viele gleichlautende Bemerkungen über die Kampfsituation, die bei Gu fehlen oder ganz anders ausdrückt sind; beide haben an diesen Stellen ein gemeinsames Wort für den 'Kampf': *boj — strît.* Man will den 'Kampf' aufnehmen: *potkati sě bojem* N 126 — *dazsie heten strîtes gegenbiet; chtě ho podstúpiti bojem* 2223 — *wolde mit im haben strît;* der Kampf spielte sich lange an einer Stelle ab: *tu ten boj postá na dlúzě* 1642 — *alrêst samente sich der strît*; der Kampf war 'hart' und wurde auf beiden Seiten geführt: *by boj tvrdý s každé strany mezi Řěky i pohany* 1592/93 — *mit den Kriechen andersît hielt Mâzêus herten strît.* In den hier verglichenen Bemerkungen, immer an gleichen Stellen der Dichtung, gleichen sich übrigens nicht nur *boj — strît,* sondern auch andere Ausdrücke: *tvrdý — hart, strana — sîte, chtieti — wollen.* — Als weitere Beispiele solcher gemeinsamer Bezeichnungen seien noch genannt; *strach — zagheit; na to* (zu einem Vorhaben) *sú sě sebrali* BM 89 — *die haben sich vereinet des; sě potáza — sich bedahte; nýnie čísla* 1046 — *unzalhaft; o-plúti — umbe vliezen.*Bei U spielt das 'Herz' des Menschen eine große Rolle, und der Tscheche ist seinen Aussagen an manchen Stellen gefolgt; die Gemeinsamkeit von *srdce* (23 mal in den Bruchstücken) — *herze* ist unverkennbar; ähnlich *duše* 1750 — *sele.*

Die Gemeinsamkeit eines Ausdrucks ist meistens verbunden mit einem ČA und U gegenüber Gu gemeinsamen spezifischen Inhalt; das sind die kleinen inhaltlichen Züge, von denen man bislang nicht versteht, warum gerade in ihnen, nicht aber in den großen Zügen der Thematik und der Grundhaltung, der tschechische Dichter U folgte. In der Schilderung der fabelhaften Quelle (Gu III 390 ff) spricht der Tscheche von ihrem *úkrop* 'siedendes Wasser'; weil das bei Gu keine Stütze findet, sprach Trautmann (Alexandreis, S. 143) von einem Übersetzungsfehler des Tschechen; aber U sagt an der gleichen Stelle von der Quelle (*sin*) *wal* 'siedendes Wassers'; *úkrop,*

das in der ČA nur an dieser Stelle vorkommt, ist eine außerordentlich gute Übersetzung des mhd. *wal*. Ähnlich haben beide Dichter an der gleichen Stelle die zusätzliche Feststellung, Alexander sei im Kampfe nie «keinen Fußbreit» zurückgewichen; *kročějě*, nur an dieser Stelle der ČA, ist eine treffende Wiedergabe von Ulrich's *fuozes lanc*. Über den Unsterblichkeitsglauben der Begleiter des Heiligtums (Gu II106 ff) heißt es, sie seien hierin «im Irrtum»: *jsú v téj vieřě krivi* 1229 — *daran sie waren gar betrogen; křivi — betrogen* stehen gegenüber Gu's *opinio vulgi* sehr nahe zusammen. Wenn man es für völlig absurd hält (Zatočil, s. Anm. 9), hier einen Zusammenhang zu sehen und zugleich für unmöglich erklärt, daß der Tscheche gerade in kleinsten Zügen U folgte, dann scheint allerdings der Zugang zum Verhältnis der beiden Dichtungen zu einander verschlossen zu bleiben. Treffende Wiedergabe Ulrich's liegt auch in den beiden Stellen vor, wo zur Erwähnung einer Stange gegenüber Gu hinzugefügt ist, daß sie 'sehr lang' bezw. 'wie ein Baum' sei: *živd předlúhú* B 302 — *ein stange gar lange; živd vňuž pavuzu* B 168 (wie ein Wiesbaum, d. h. ein stehenden Pfahl zum Aufbäumen des Heues) — *ein starke Stangen gelich eime grôzen boume;* die beiden hier vom Tschechen wiedergegebenen Ausdrücke Ulrich's stehen in der Dichtung nahe zusammen; das nur einmal vorkommende *pavuza* ist eine hervorragend gute Konkretisierung von Ulrich's *boum*; die Stange kann natürlich nicht einem «Baum» mit Krone, Laub usw. gleichen, wohl aber einem 'Wiesbaum'. Die Bemerkung, nach der Schlacht läge «das Volk vernichtet wie ein gefällter Wald» ist ohne den engen Zusammenhang zwischen der ČA und U gar nicht zu verstehen: *l'ud hubený vňuž les neb háj porúbený* B 136 — U *volkes alsô vil... verhouwen ...als ...ein walt... nider waere gevalt.*

Noch deutlicher als Züge der Wortwahl sind Wortverbindungen; wenn beide Dichter gleiche Fügungen und Verbindungen haben, so können diese noch weniger durch die Gemeinsamkeit der Thematik und den Zufall erklärt werden. Auch hierfür seien einige Beispiele angeführt: *pravdu vzvěděti* N 424 — *vernemen die maere; Alexander když ty řěči vzvědě* 414/15 — *dô Alexander die maere vernam; den sě na svět pokáza* 1180 — *der tac erscheinmane;* in den häufigen direkten Anreden des Dichters an den Leser: *ježto vám potom povědě* 1345 — *als ich her nâch iu sagen wil; jakž ti pravi* 1471 — *als ich iu sage*. Von den Thebanern bzw. ihren Kindern heißt es im gemeinsamen Konjunktiv gegenüber Gu's Indikativ: *rádo by sě dietě skrylo* 490 — *haeten sich gerne verborgen* — Gu *seque in secreta receptant.* Darius sagt seinem Heer: *každý vás svú šlechtu vzvěda, vzpoměň sě na...* 1301/2 — *ir sult gedenken ouch der an, daz...* Vom Monde heißt es: *mu v světlosti snide* 2347 — *sînen schîn er doch verlôs: sě*

jmu světlosti umní 2407 — *sîn lieht erlischet; slunce jmu světlost otejme* 2413 — *schînes sie* (die Sonne) *in beroubet.* Alexander befahl seinen Truppen: *káza sě všěm hotoviti* 2166 — *die hie ʒ er sich bereiten;* ebenfalls von Befehlen Alexander's: *káza vzvésti žird předlúhú* B 302 — *gebôt daʒ man ein stange... ùf stieʒ gar lange; král káza je* (die Griechen) *sežieci* 2000 — *die werden* (Griechen) *hieʒ er bevelhen der erden.*

Charakteristisch sind auch die Gleichheiten in Genitivkonstruktionen, z. B.: *jehožto by veš svět žádal* B 261 — *sîn* (Gen.) *mac wol al die welt gern* (begehren); *jich málo zbylo* 1736 — *jr deheiner genas* ('keiner von ihnen entkam'). — Auch noch längere Fügungen zeigen eindeutige Ähnlichkeiten zwischen beiden Dichtungen. Die Gleichzeit erstreckt sich manchmal auf die Gesamtheit eines der achtsilbigen Verse und sogar auf ganze Verspaare.

Es ist unmöglich, die ganze Fülle der Gleichheiten im Ausdruck, von der Lexik bis zum Stil sich erstreckend, anschaulich zu machen, ohne die beiden Dichtungen Vers für Vers mit Gu zu konfrontieren, wie es in den «Quellen» geschah. Der Einwand, es sei mit dem Nachweis, daß der Tscheche U kannte, noch nichts über ihre Beziehungen und Abhängigkeiten gesagt (Hrabák, S. 41. s. Anm. 14), und die Frage, was denn der Tscheche aus den vor ihm stehenden Ausdrücken, Wendungen usw. Ulrich's gemacht habe, finden eine klare Antwort. Bei der Bewältigung der sprachlichen und poetischen Aufgabe, einen gegebenen Stoff in einem Epos tschechischer Sprache darzustellen, leistete dem tschechischen Dichter die mittelhochdeutsche Literatursprache Hilfe. Das allein genügt schon, um von der Gemeinsamkeit der tschechischen und mittelhochdeutschen Literatur im 13. und 14. Jhl. zu sprechen. Derüber hinaus aber kannte der Tscheche in U eine mittelhochdeutsche Dichtung eben seiner Thematik. Es ist also verständlich, daß wir in der ČA viele Ausdrücke, Wendungen und andere Züge des sprachlichen Ausdrucks finden, die nur als Spuren der Dichtung Ulrich's zu verstehen sind. Für den Beweis, daß der Tscheche während seiner Arbeit U zur Hand gehabt hat, sind die Ausdrucksgleichheiten an korrespondierenden Stellen der Dichtungen am stärksten entscheidend. Sie zeigen, daß der Tscheche U als Hilfsmittel benutzt hat, wenn es galt, den sprachlich und stilistisch fremderen, weiter entfernten Wortlaut Gu's zu bewältigen, umzusetzen, aufzulösen. Hierzu noch einmal drei Beispiele: Gu IV 4/6 (Alexander marschierte) *inter... silvas summo parientes vertico nubes* — *v také ... hory..., jichžto výsost taká bieše, jakž* 2456/58 — *in ein gebirge ... alsô hoch, daʒ;* Gu V 45 *fuderat ergo viros clava ter quinque trinodi* — *žird vňuž pavuzu nesa* B 168 — *er truoc ein starke stangen gelich eime grôʒen boume;* Gu III 448 *in cineren resoluta*

Ceres — vše těženie ohněm poli u městech, ve vsiech i v poli 2298/9 — *der velde fruht und allez korn was von brande dâ verlorn.* Allerdings haben auch die Kommentatoren in den Glossen sich bemüht, Gu's Sprache den nationalen Literatursprachen adëquater zu machen; daß aber die Reihenhaftigkeit der sprachlich-stilistischen Gleichungen zwischen der ČA und U jedenfalls nicht allein durch die Glossen erklärt werden können, wurde bereits gezeigt. (S. 257 ff.). — Daß Sprache und Stil der ČA die Kenntnis Ulrich's verraten, entspricht der literarhistorischen Entwicklung, wie sie jetzt von allen gesehen wird. Zur Zeit der Entstehung der ČA befand sich die tschechische Literatur, von der nur geistlichen zu weltlicher Thematik fortschreitend, im Wettstreit mit der miitelhochdeutschen Literatur (Hrabák, S. 105, s. Anm. 13). Wenn man sich aber, was bisher unterblieb, die Frage stellt, wie denn dieses «Wettstreiten» aussah, dann lautet ein Teil der Antwort: die tschechische Literatur ging daran, poetische Formen, die in der mittelhochdeutschen Literatursprache vorlagen, sich in der eigenen Nationalsprache anzueignen, d. h. die tschechische Literatursprache zu entwickeln. Den «Einfluß» Ulrich's lehnt man ab mit dem Argument, nicht abstrakte literarische Einflüsse gaben der Entwicklung des tschechischen Schrifttums die Impulse, sondern die gesellschaftliche Situation (Hrabák, S. 44, S. Anm. 14); aber eben der von derselben Seite behauptete Wettssteit der tschechischen mit der mittelhochdeutschen Literatur gehört zur Charakteristik eben dieser gesellschaftlichen Situation. Die Nähe der mittelhochdeutschen Literatur zur tschechischen um 1300 gehört zur gesellschaftlichen Situation, und sie spiegelt sich im Schrifttum wieder. — Man betont immer wieder, daß der Dichter der ČA die Literaturtheorie seiner Zeit total beherrschte. Aber es wäre schon apriori falsch anzunehmen, daß er sie ausschließlich aus lateinischer Dichtung und Schrifttum kannte; die ČA bestätigt, daß auch die mittelhochdeutsche Poetik ihre Rolle gespielt hat. — Man sieht einen Widerspruch darin, daß die ČA, die künstlerisch höher steht als Ulrich's Dichtung, doch in etwas dieser gefolgt sein könne (a. a. O., S. 43). Aber die Literaturgeschichte kennt viele Dichter, deren Werk stärker ist als die Werke, denen sie in thematischen oder formalen Zügen gefolgt waren. Die hohe Qualität des tschechischen Dichters und seines Werkes braucht hier kaum unterstrichen werden; auch das charakterisiert den Tschechen, daß er außer seiner Muttersprache vorzüglich Latein und Mittelhochdeutsch konnte, während nichts verrät, daß Ulrich Tschechisch konnte. Der Vévoda Arnošt, qualitativ zwar im weiten Abstand von der ČA, ist bezüglich seines Verhältnisses zur mittelhochdeutschen Literatur dennoch zu vergleichen; hier hat der Tscheche eine mittelhochdeutsche Dichtung eigentlich übersetzt, und selbst auf dieser Grundlage tritt die Selbständigkeit seines dichterischen Vermögens

stark hervor [15]. — Allerdings unterlag der Dichter der ČA nicht dem Einfluß Ulrich's und der mittelhochdeutschen Literatur. Der Begriff des «Einflusses» ist leider oft sehr formelhaft, abstrakt und nachlässig auf das dichterische Schaffen angewandt worden. Ein so starkes Werk wie die ČA ist nicht entstanden, indem sein Dichter «Einflüssen» offenstand, sondern sein Dichter hat im schöpferischen Prozess zu vielem gegriffen, auch zu U. Sein Verhältnis zu Gu ist übrigens nur im Ausmaß, nicht im Prinzip anders; auch vom Einfluß Gu's kann man nur sehr bedingt sprechen. Der tschechische Dichter fußte in manchem auf der mittelhochdeutschen Literatur, in seiner besonderen Situation auf U, um vorwärts zu schreiten zu einer starken, eigenständigen Dichtung neuer Qualität. Die Charakterisierung dieser neuen Qualität in der tschechischen Literatur ist noch zu wenig über allgemeine Bemerkungen hinaus gediehen, sie ist noch nicht auf eine vollständige Textinterpretation der ČA gegründet worden. In der poetischen Form z. B. erstrebt der Tscheche gegenüber Gu's erhabenem und verhüllendem Stil größere Anschaulichkeit, Bildkräftigkeit, Realistik, Klarheit. An vielen Stellen kommt ihm aber in diesem Streben der Wortlaut Ulrich's entgegen, obwohl Realismus nicht die dominierende Haltung des weitschweifigen Ulrich's ist: U bringt vieles, benutzt jede Gelegenheit zur breiten Malerei. Der Tscheche ist bedeutend zielstrebiger; dem widerspricht aber nicht, daß er gern übernimmt, was U an Bildern bietet. Der Tscheche geht in realistische Bildkräftigkeit oft über U hinaus. Ein Beispiel für viele: Ulrich's «er trug eine Stange wie ein starker Baum», das bereits auf Umgestaltung Gu's beruht, folgt der Tscheche mit «eine Stange wie ein Wiesbaum tragend» und fügt realistisch noch hinzu «als ob er ihn irgendwo aus dem Walde ausgerissen hätte»; Ulrich's «Baum», bereits ein realistischer Zusatz zu Gu, genügt dem Tschechen noch nicht und er verstärkt den Realismus der Beschreibung.

Es genügt nicht, den Nachweis, daß der tschechische Dichter U kannte, als ein Ergebnis «objektivistischer» Forschung nur hinzunehmen. Das Verhältnis zu U findet seinen wichtigen Platz in der Entwicklung der tschechischen Literatur und erhellt die Art der Verbindung zwischen der tschechischen und deutschen Literatur jener Zeit. Wenn die Aufgabe vor uns steht, zu erkennen, worin das spezifisch tschechisch-nationale der ČA besteht (Hrabák, a. a. O., S. 44), so darf dabei das Verhältnis zu U nicht außer Acht gelassen werden. Bis in die letzte Zeit wird versucht, die dichterische Leistung des Tschechen allein auf Grund des Vergleichs mit Gu herauszuschälen. Svejkovský [16] spricht detailliert über den Stil

[15] Vgl. zuletzt Repp in: Zeitschrift für Slavistik, II (1957), S. 35.

[16] František Svejkovský. Alexandreida, in: Česká literatura, IV (1956), S. 119 ff.

der ČA, ohne irgend einen Blick auf U zu tun. Aber das Bild des Dichters, der die alttschechische Alexandreis schuf, wird nicht verkleinert oder getrübt durch die Feststellung, daß er auch U's Alexander benutzte; sein Bild wird vielmehr erhellt. Der humane, rationale Geist dieses Dichters, der überall nach der Enthüllung des verborgenen Sinnes der Dinge und nach Belehrung des Lesers drängt, sein Streben zur klareren vollendeten Form, all das wird viel deutlicher im Vergleich mit U. Die Eigenart der ČA würde viel deutlicher werden, wenn auf Grund der Anerkenntnis des Verhältnisses zu U der Vergleich auch mit diesem durchgeführt würde. — Vieles verspricht deutlicher zu werden, wenn man die Konsequenzen aus den Ergebnissen des Vergleichs der ČA mit U zieht. So wird auch die Tatsache, daß die Sprache der Dalimil-Chronik, die doch nicht früher entstand, primitiver ist als die der ČA (Wortschatz, Versbau) damit zusammengestellt, daß sie sich an andere Kreise richtet, volksnähet sei (Hrabák, S. 231, s. Anm. 2); aber vielleicht sollte man die betontere Nationalität der Dalimil-Chronik auch einmal vergleichen mit der größeren Empfängnisbereitschaft der ČA gegenüber der mittelhochdeutschen Literatur.

Г. Х. Бильфельдт
Берлин

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧЕШСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРАМИ В XIII в. И ИСТОЧНИКИ ДРЕВНЕЧЕШСКОЙ «АЛЕКСАНДРИИ»

Резюме

Первоначальное развитие чешской литературы до ее первого расцвета проходило в активной связи и в соревновании с литературой, написанной на латинском и немецком языках. Об отношении древнечешской литературы к средневерхненемецкой в XIII в. не существует ясных и общепризнанных представлений. Так как в истории развития древнечешской литературы «Александрия» занимает особенно важное место, род связи этой поэмы с латинской и немецкой литературами можно считать характерным. В этой поэме, отличающейся высокими художественными качествами и самостоятельностью, все же были использованы источники, как это было принято в средневековье. Все еще спорные в настоящее время вопросы об отношении к латинским и немецким источникам и о роде их воздействия на форму древнечешской поэмы требуют филологических, текстологических и даже лингвистических методов своего изучения. Исследования обнаружили множество совпадений между древнечешской «Александрией» и средневерхненемецкой поэмой «Александр» Ульриха фон Эшенбах — в отклонениях от «Александрии» Гвальтера де Кастельоне. Эти совпадения не могут быть объяснены ни случайностью, ни на основании комментариев к Гвальтеру, ни одним лишь относительным равноправием в вопросе использования старочешского и средневерхненемецкого языков. Исследования показали, что эти соответствия отражают непосредственную связь между старочешским и средневерхненемецким текстами.

В последнее время снова высказывались сомнения в филологическом доказательстве следов средневерхненемецкой поэзии в тексте старочешской «Александрии». При этом ссылались на

то, что утверждение о средневерхненемецком влиянии противоречит литературно-историческому положению старочешской «Александрии». Однако именно то, что считалось до сих пор неразрешимым противоречием между филологическим доказательством заимствований из средневерхненемецкой поэмы и литературно-историческим положением старочешской «Александрии», — именно эти моменты являются показателем того, как относился чешский поэт к средневерхненемецкой поэзии.

Перед чешским поэтом стояла задача — создать современную чешскую поэму на основании источника, написанного на литературном языке римской античности. Литературный язык средневерхненемецкой поэзии был ему, с одной стороны, ближе; с другой стороны, средства выразительности этой последней имели за собой большую литературную традицию, чем таковые чешского литературного языка XIII в. Чешский поэт использовал поэтому средневерхненемецкую поэму, полностью соответствовавшую его тематике, как вспомогательное средство в поисках форм для своего творчества.

Поэтому то, что между многочисленными соответствиями именно наименее значительные по содержанию черты занимают большое место, не представляет собой противоречия, как и значительные различия в общей литературной концепции, — между художественным замыслом чешского поэта и замыслом средневерхненемецкого поэта. Нет противоречия также и в том, что древнечешская «Александрия» по своим художественным качествам стоит на более высоком уровне, чем «Александрия» Ульриха.

При исследовании древнечешской поэзии и ее отношения к латинской и средневерхненемецкой поэзии необходимо в большей мере, чем до сих пор, учитывать языковую форму, стиль, состояние литературного языка, индивидуальный язык поэта. Для средневековой поэзии недостаточно одного исследования содержания и мотивов.

E. Winter
Berlin

DIE AUFKLÄRUNG IN DER LITERATURGESCHICHTE DER SLAWISCHEN VÖLKER

In der folgenden Darstellung steht die Aufklärung im Mittelpunkt, aber sie wird im Zusammenhang mit dem vorausgehenden Barock und der folgenden Romantik zur Diskussion gestellt. So entspricht das Thema den Programmpunkten 15 und 17, die sich der Internationale Slawistenkongreß in Moskau 1958 gesetzt hat.

Stets besonders für die Aufklärung interessiert, wurde mir aber erst bei einer Beschäftigung mit den Schätzen des Archivs der Francke-Stiftung in Halle die ganze Bedeutung derselben für Sprache und Literaturgeschichte der slawischen Völker vollkommen klar. Es zeigt sich, daß diese geschlossene Briefsammlung aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts nicht nur für die Geschichte des bürgerlichen Nationwerdens des deutschen Volkes, sondern auch für das bürgerliche Nationwerden der meisten slawischen Völker von großer Bedeutung ist. Besonders aufschlußreich sind die Hinweise auf die russische und tschechische Aufklärung, die deswegen im Folgenden vor allem Berücksichtigung findet. In dieser Briefsammlung finden sich allein 1000 Briefe, die aus Rußland kamen. Die Zahl der Briefe aus den böhmischen Ländern und der Slowakei ist noch viel größer.

Das Studium dieser Quelle wurde noch unterstützt durch Einsicht in das Archiv der Petersburger Akademie der Wissenschaften in Leningrad und des Zentralen Staatsarchivs alter Akten in Moskau, durch Kenntnis des reichen literarischen Archivs des tschechischen Nationalmuseums, das heute auf dem Strahov in Prag eine würdige Sammelstätte gefunden, und des österreichischen Nationalmuseums in Wien.

Alle diese bedeutsamen Quellensammlungen berichten von der maßgebenden Bedeutung der Aufklärung bei den slawischen Völkern in einer so eindringlichen Sprache, die nicht überhört werden

kann. Zwischen Barock und Romantik muß die Aufklärung auch in der Literaturgeschichte gesehen werden.

Meinen diesbezüglichen Hinweisen auf die tschechische Aufklärung [1] trat auf der Berliner Slawistentagung 1954 der österreichische Slawist J. Matl mit der Behauptung entgegen, daß das Barock bei einer solchen Betrachtungsweise zu wenig Beachtung finde, das für jene frühe Zeit, so die 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, doch unbedingt noch gesehen werden müsse. Ähnlich setzte sich der ungarische Slawist A. Angyal in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung anläßlich seines Vortrages über slawisches Barock im Forschungsseminar für Geschichte der slawischen Völker in der Humboldt-Universität September 1956 für eine Ausdehnung des slawischen Barocks bis beinahe Ende des 18. Jahrhunderts, ein. Angyal folgt hier der Auffassung von D. Tschiževskij, nach der Barock und Romantik sich die Hand reichen [2].

Von der Aufklärung bei den slawischen Völkern bleibt bei einer solchen Auffassung wenig oder nichts übrig. Und doch gab es eine solche, die sich in der Literatur auswirkt. Der bekannte polnische Literarhistoriker J. Krzyżanowski überschreibt den letzten Teil seiner Literaturgeschichte: Aufklärung [3]. Freilich läßt er sie erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Auswirkung kommen, obwohl sich bereits in der ersten Hälfte eine polnische Frühaufklärung entfaltet. Über die Existenz einer slawischen Aufklärung oder wenigstens einer Aufklärung der slawischen Völker und die Dauer ihrer Wirkung zu diskutieren, scheint deswegen für die slawistische Literaturgeschichte notwendig zu sein; dies umso mehr, nachdem gerade die Aufklärung, wie sich zeigt, im 18. Jahrhundert wesentlich zur Pflege der slawischen Sprachen und Literaturen beigetragen hat. Hier sei einmal vom allgemein historischen Standpunkt aus der Versuch gewagt, zur Klärung irgendwie bescheiden beizutragen.

Am Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhunderts setzt in Mittel- und teilweise in Osteuropa ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozeß ein, der das moderne Bürgertum als Klasse entstehen ließ. Mag der Feudalismus in all den Ländern, in denen slawische Völker lebten, noch lange erfolgreich für die Erhaltung seiner Machtstellung gekämpft haben, so können doch die oft nur sehr bescheidenen Ansätze eines Bürgertums gleichzeitig

---

[1] Die Perioden der tschechischen hallischen Drucke. Vorträge auf der Berliner Slawistentagung. Hrg. von H. H. Bielfeldt. Berlin, 1956, S. 306 ff.

[2] D. Tschižewskij. Die slawistische Barockforschung. Die Welt der Slaven, 1. Jhg., 1956, H. 3, S. 293 ff und 431 ff und Einige Aufgaben der slawistischen Romantikforschung. Ebd. H. 1, S. 18 ff.

[3] «Historia literatury polskiej. Od średniowiecza do XIX w.», Warschau, 1953. s. 419—563.

mit den ersten Anfängen einer kapitalistischen Wirtschaft nicht geleugnet werden.

Unaufhaltsam entwickelt sich in dieser Zeit als Produktionsweise die Manufaktur. Auf Grund dieser neuen Produktionsweise und dem gesellschaftlichen Vorgang des sich neu formierenden oder sich erst entfaltenden Bürgertums entwickelt sich als Ideologie die Aufklärung.

Es ist deswegen die Zeit des 18. Jahrhunderts. Sie grenzt sich gegenüber der Zeit des Barock im 17. Jahrhundert ab, in der das Bürgertum in Mittel- und Osteuropa noch völlig zurücktritt und gegenüber der Romantik im 19. Jahrhundert, in der die bürgerliche Nationwerdung sich bereits voll entfaltet hat und die Fabrik die Manufaktur als Produktionsmittel unaufhaltsam verdrängt.

Damit soll nicht einem Schematismus und Ökonomismus das Wort in der Literaturgeschichte geredet werden. Aber wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse sind eben für die geistige Entwicklung, und die Literatur ist eine wichtige Äußerung derselben, von grundlegender Bedeutung. Nur bei einer solchen Betrachtung der Aufklärung werden ihre Bedeutung, ihre Geschichte, ihre verschiedenen Auswirkungen bei den einzelnen slawischen Völkern verständlich, wie dies bei einer rein geistesgeschichtlichen oder stilgeschichtlichen Betrachtung nie möglich sein kann.

Am Ende des 17. Jahrhunderts und am Anfang des 18. Jahrhunderts beginnen auch in Mittel- und Osteuropa die Zollschranken innerhalb der Länder zu fallen, und für die Länder entstehen geschlossene Märkte. Das russische Berg-Kollegium entsteht 1718, und 1740 wird das Commerz- und Manufaktur-Kollegium in Petersburg geschaffen. In Böhmen tritt 1724 das Commerz- und Manufaktur-Kollegium in Tätigkeit. Alle diese Institutionen haben den Zweck, Handel und Industrie zu fördern, die technische und ökonomische Zurückgebliebenheit zu überwinden. Das Land steht in dieser Zeit im Vordergrund und nicht die Völker und auch nicht Länder-Konglomerate wie die Habsburger Monarchie, die im Kampf gegen die Türken sich entwickelt hatte. Dagegen sprechen auch nicht die Versuche am Ende des 17. Jahrhunderts, diesen Ländermassen ein gemeinsamen Leben aufzuzwingen unter der Losung «Österreich über alles, wenn es nur will».

Aus diesem Grund entspricht der Aufklärung ein sogenannter Landespatriotismus. Dies gilt für die einzelnen deutschen Länder ebenso wie für Rußland, Ungarn und Böhmen. Das Monströse des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation wird deswegen nicht zufällig in seiner ganzen Überholtheit vom Bahnbrecher der deutschen Aufklärung, Pufendorf, bereits in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts in aller Deutlichkeit gesehen.

Der russische und böhmische Landespatriotismus hat aber auf die Entwicklung der russischen und tschechischen Landessprache und deren Kultur ebenso wie die Landesgeschichte, die immer mehr die Geschichte des russischen und tschechischen Volkes wird, ungemein anregend gewirkt. Die Entwicklung vom Landespatriotismus zum voll ausgebildeten bürgerlichen Nationalismus erfolgt freilich erst am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, als das bürgerliche Nationwerden beendet und die kapitalistische Wirtschaft sich weitgehend durchgesetzt, in der Zeit der sogenannten Romantik. Der romantische Nationalismus überwindet den aufgeklärten Landespatriotismus. Eine große Bedeutung, die der Romantik für den Durchbruch des bürgerlichen Nationalbewußtseins zugemessen wird, ist deswegen durchaus berechtigt.

Aber die Grundlegung erfolgte in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Deswegen hatte das 18. Jahrhundert für die Entwicklung, ja Entstehung der slawischen Schriftsprachen eine solche Bedeutung. Manche slawischen Sprachen, wie das Slowakische, Serbische, Ukrainische, Slowenische sind überhaupt im Laufe des 18. Jahrhunderts erst aus Volkssprachen ganz neu oder wieder zu Literatursprachen geworden. Im Jahre 1708 beginnen die sogenannten russischen bürgerlichen Drucke. Beinahe gleichzeitig 1709 erscheinen in Halle die ersten tschechischen Drucke. Bei diesem historischen Prozeß sind nicht selten Männer tätig, die gar nicht dem betreffenden Volk angehören oder ihre Werke in anderen Sprachen als der «erweckten» schreiben; oder sie sind gar außerhalb des Landes entstanden. So konnten der Deutsche H. W. Ludolf und der Tscheche J. David schon am Ende des 17. Jahrhunderts Bücher zur Erlernung des russischen Volkssprache herausgeben. Sie hatten neben missionärischen Absichten, als die sie getarnt erschienen, hauptsächlich Anleitung zu geben, um ferne Länder, China, Persien, Indien für den Handel auf dem Landwege über Rußland zu erschließen.

Übrigens sind auch die ersten bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete der tschechischen Sprache und ihrer Geschichte in lateinischer oder deutscher Sprache von dem Tschechen Dobrovský veröffentlicht worden. Der Landespatriotismus steht eben noch im Vordergrund. Es ist also gleich, ob die Pflege der Landessprache in der Volkssprache selbst erfolgt oder in einer anderen, ob es Russen oder Tschechen oder Deutsche sind.

Die Übersetzungen in bürgerlicher russischer Schrift und Sprache, die am Anfang des 18. Jahrhunderts entstehen, dienen vor allem der Verbreitung der Aufklärung. In dem sprachverwandten Prag entsteht am Anfang des 18. Jahrhunderts ein Zentrum der Übersetzungen von Büchern in lateinischer, deutscher und italie-

nischer Sprache ins Russische. Ein solcher Mittelpunkt für Übersetzungen wird dann die 1725 gegründete Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Neben Büchern, die die technische und ökonomische Zurückgebliebenheit überwinden sollen oder militärwissenschaftliche Interessen haben, sind es vor allem Bücher, wie die Einleitung zur Geschichte von Pufendorf und andere grundlegende Werke der europäischen Aufklärung, die übersetzt werden.

So entsteht im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts eine ausgeprägte russische Aufklärung, die von Männern wie Prokopovič und Tatiščev, von Kantemir und Trediakovskij beeinflußt wurde, die im Sinne des russischen Landespatriotismus für die russische Sprache und Geschichte wirken. Aber auch Ausländer wie Goldbach, Glück und Huyssen konnten ganz im Geiste des russischen Landespatriotismus an hervorragender Stelle an der russischen Aufklärung mitbauen.

Und in der tschechischen Aufklärung, ganz parallel zu diesem Vorgang in Rußland, sind es Deutsche wie Dobner und Voigt, die sich als böhmische Landespatrioten eifrig und erfolgreich für die Pflege der Sprache und Geschichte des tschechischen Volkes im 18. Jahrhundert bemühen.

Eng verbunden mit der Pflege der russischen und tschechischen Sprache und Literatur war stets die Pflege der Geschichte, die immer mehr aus einer Landesgeschichte zu einer Volksgeschichte wird. Schon am Anfang der russischen Aufklärung steht deswegen das Interesse für die Geschichte Rußlands und des russischen Volkes. Tatiščev wirkte hier bahnbrechend mit seinem Versuch um die russische Geschichte, der freilich charakteristischerweise erst in der 2. Hëlfte des 18. Jahrhunderts gedruckt erschien, als die Aufklärung, ganz entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung in Rußland um die Mitte des 18. Jahrhunderts, einen neuen Aufschwung nahm. Ein ähnliches Schicksal hatte übrigens auch die Biographie Peter des Großen, dem die russische Aufklärung so viel verdankte, die Prokopovič verfaßte. Aber auch der aus Deutschland stammende G. F. Müller ist mit vielem Eifer für die Geschichte Rußlands tätig und wird russischer Landespatriot. Lomonosov bemühte sich nicht nur bahnbrechend um die russische Sprache und Literatur, sondern schrieb auch eine Geschichte Rußlands, voll Bewunderung und Liebe für das russische Volk, die er bei Müller noch zu sehr vermißte.

Ungefähr um die gleiche Zeit, als in Rußland die Geschichtswerke von Prokopovič, Lomonosov und Tatiščev gedruckt erschienen, veröffentlichte in den 60-er Jahren des 18. Jahrhunderts G. Dobner seine kritischen Studien zur Geschichte Böhmens, die vor allem eine Geschichte des tschechischen Volkes wurden. Der große tschechische Aufklërer J. Dobrovský setzte diese Geschichts-

studien zur böhmischen bzw. tschechischen Geschichte in den 70-er und 80-er Jahren erfolgreich fort. Die Pflege von Sprache und Literatur ist im 18. Jahrhundert auf das engste mit der Geschichtswissenschaft verbunden, denn es ging um Landessprache und Landesgeschichte im Sinne des Landespatriotismus.

Das Zeitalter der Manufaktur machte eine umfassendere Volksbildung dringend notwendig, deshalb sind für das 18. Jahrhundert die eifrigen Bestrebungen um Schulen kennzeichnend. Die russische Aufklärung begann schon am Anfang des 18. Jahrhunderts mit der Gründung von Schulen, in denen fremde Sprachen, aber auch Mathematik und Physik gelehrt wurden. Neben dem Glückschen Akademischen Gymnasium sind es vor allem die Ingenieur-, Artillerie- und Seemannsschulen, die dem Schulwesen in der russischen Frühaufklärung das Gepräge gaben.

Schulbücher und wissenschaftliche Handbücher in der Muttersprache dienen in dieser Zeit der Entwicklung von Sprache und Literatur. Lomonosov gibt die Übersetzung der Physik von Ch. Wolff heraus, und die bahnbrechenden Handbücher der Mathematik von L. Euler, der ähnlich wie Müller zum russischen Landespatrioten wird, erscheinen rasch in russischer Sprache. Welche Bedeutung hatte schon 1740 die russische Übersetzung von «Fontenelles Gesprächen über die Vielheit der Welten» durch Kantemir nicht nur für die russische Weltanschauung, sondern auch für die russische Sprache und Literatur! Für die Pflege der russischen Sprache und für die Entwicklung der russischen Literatur war das Schulwesen von großer Bedeutung. Die bürgerlichen Drucke dienten ihrer Verbreitung. Ein Bürgertum entwickelt sich. Das für die russische Literatur so wichtige Raznočincentum entstand [4].

Welche Bedeutung hatte die theresianische Schulreform im Jahre 1775 nicht nur für die nationale Wiedergeburt des tschechischen Volkes, sondern auch für alle übrigen slawischen Völker in der Donau-Monarchie! Die theresianische Schule sollte freilich auch die Grundlage eines österreichischen Reichs-Patriotismus schaffen, durch den es galt, die verschiedenen Völker mittels der deutschen Amtssprache zusammenzufassen. Die höheren Schulen in dieser Schulreform wurden deswegen deutsche Schulen genannt. Sie traten an die Stelle der früheren Lateinschulen.

Der Versuch, die gegen die Türkengefahr zusammengerafften Länder in einer Staatsnation zu einigen, wie es in England und

---

[4] Vgl. С. А. Щеглова. Разночинно-демократический театр начала XVIII в. и его репертуар. — «Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, т. XII, М.—Л., 1956, S. 263 ff.

Frankreich, obwohl auch hier verschiedene Völker lebten, schon bereits im 17. Jahrhundert geschehen war, scheitert, weil das bürgerliche Nationwerden in Österreich und Ungarn erst jetzt erfolgte, als bereits der Landespatriotismus deutlich immer mehr durch die Pflege von Sprache und Geschichte zum Nationalismus wurde. Dies gilt ganz besonders für das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich industriell rasch entwickelnde Böhmen.

Im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des Volkschulwesens steht auch das Zeitungs- und Zeitschriftenwesen im 18. Jahrhundert. Schon 1702 begann die russische Zeitung «Vedomosti» zu erscheinen. Mit der ebenfalls in der Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzenden verstärkten industriellen Entwicklung in Russland begannen seit Ende der 60-er und vor allem in den 70-er und 80-er Jahren eine Reihe von Monatsschriften in russischer Sprache zu erscheinen. Ein ganz ähnlicher Vorgang machte sich in Böhmen bemerkbar. Alle diese Zeitschriften versuchen, literarischen Geschmack und besseres Wissen im Sinne der Aufklärung breiteren Bürgerkreisen zu vermitteln. In Toleranzkalendern spricht man ganz im Geiste der Aufklärung das Landvolk an.

In demselben Zusammenhang ist das Entstehen zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien im 18. Jahrhundert zu betrachten. Sie stellten sich nicht nur die Pflege der Landessprache und Landesgeschichte zu ihrer bezonderen Aufgabe, sondern wollten auch vor allem an der Überwindung der technisch-ökonomischen Zurückgebliebenheit mitwirken. Neben der im Jahre 1725 gegründeten Petersburger Akademie der Wissenschaften wurde, bedingt durch das erhöhte Interesse für die russische Sprache und Literatur, 1783 eine eigene russische Akademie geschaffen, die sich die Pflege der russischen Sprache und Literatur zur Hauptaufgabe machte.

In Mähren entstand schon 1748 die Societas incognitorum des Freiherrn von Petrasch, die im Sinne der Aufklärung für die Pflege der Landesgeschichte und Landessprache ganz im Sinne des aufgeklärten Landespatriotismus Anregung gab. Dies galt vor allem für Böhmen und Mähren, die zum großen Teil von Tschechen bewohnt waren. Daher kam diese Bestrebung in erster Linie der Pflege der tschechischen Sprache und der Geschichte des tschechischen Volkes zugute. Im Jahre 1775 kam es dann im Sinne des Böhmischen Landespatriotismus zur Gründung der Königlich-Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Auf deren große Bedeutung gerade für die Pflege der tschechischen Sprache und der Geschichte des tschechischen Volkes braucht nicht besonders hingewiesen zu werden.

Die tschechische und noch mehr die russische Aufklärung haben auch auf andere slawische Völker eine sehr anregende Wirkung

ausgeübt. Gerade durch die neuesten Todorskij-Forschungen [5] sind die Zusammenhänge der russischen Aufklärung mit der Aufklärung bei den Ukrainern, Serben, Slowaken, ja selbst bei den Griechen und Rumänen klar geworden. Todorskij ging zuerst nach Petersburg, wo er mit der russischen Aufklärung in Verbindung kam. Von dort ging er nach Halle, wo er Anregungen der deutschen Aufklärung erhielt. Von Halle begab er sich 1735 nach Polen und Ungarn. Seine Absicht, auf dem Balkan vorzudringen, wurde nur durch den damaligen russisch-türkischen Krieg unmöglich gemacht. Aber seine Schüler drängten bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Athos vor und suchten neben der Verbreitung russischer Aufklärung nach altslawischen Literatur-Denkmälern [6].

Die gegenseitigen Anregungen zwischen den einzelnen slawischen Völkern im Geiste der Aufklärung finden Unterstützung durch enge Verbindung mit der deutschen Aufklärung. Das werdende Bürgertum der Völker Mittel- und Osteuropas fühlt sich eben als Klasse im Kampf um eine neue gesellschaftliche Ordnung verbunden und stärkt sich, meist ohne genaues Wissen um diese gesellschaftlichen Vorgänge, gegenseitig. Nur so konnten verschiedene Kräfte wie der hallische Pietismus und die petrinische Frühaufklärung ein großes Stück des Weges zusammengehen. Das Fehlen der antifeudalen Kritik und des Offenbarungsglaubens als Charakteristik vor allem der Frühaufklärung, sowohl bei dem slawischen als auch bei dem deutschen Volk, beruht auf ähnlichen sozialökonomischen Verhältnissen.

Wenn aber die Aufklärung eine solche grundlegende Bedeutung gerade für die Sprache und Literatur der slawischen Völker hatte, warum trat sie in der Literaturgeschichte bisher so stark in den Hintergrund gegenüber Barock und Romantik, die sich längst durchgesetzt? Der Grund dafür ist vor allem darin zu suchen, daß die Literaturgeschichte als Geschichte literarischer Kunstwerke dem Stil eine große Aufmerksamkeit widmen muß. So kommt es, daß der Literarhistoriker noch bis tief in das 18. Jahrhundert barocke Stilelemente findet. Vor allem Tschiżewskij hat solche immer wieder aufgefunden und ist ihnen liebevoll nachgegangen, obwohl das Barock schon längst nicht mehr Ausdruck der inzwischen sich durchsetzenden ganz anderen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung ist.

So kommt es, daß das Barock als Stil wohl weit in das 18. Jahrhundert formal herrscht, während inhaltlich längst die Aufklärung

---

[5] Vgl. E. Winter. Einige Nachricht von Herrn Simeon Todorskij. «Zeitschrift für Slawistik», 1. Jhg., Heft 1, S. 73 ff.

[6] Vgl. Brief Kopitars an Metternich vom 7. 4. 1827 in Kopitarnachlaß.

spricht. Deswegen schreibt Prokopovič noch weitgehend im Stil der barocken Rethorik, die er bei den Jesuiten in Rom aus erster Hand gelernt hatte, aber in seinen Schriften im barocken Kleid kämpft er leidenschaftlich gegen jede Einmischung der Kirche in die staatlichen Angelegenheiten. Obwohl er selbst Mönch und Bischof bzw. Erzbischof der russisch-orthodoxen Kirche wird, tritt er für Toleranz, für Anwendung neuer wirtschaftlicher Methoden entschieden ein. Er gehört unzweifelhaft zu den Bahnbrechern der russischen Aufklärung.

Ähnliches gilt für den Grafen Sporck in Böhmen. Er selbst ist einer der begütertsten Grundherren des Landes. Der formale Ausdruck der Kunstwerke, die er auf seinen Gütern schaffen läßt, ist Barock. Aber er ist mit seiner Klasse geistig nicht mehr verbunden, sondern wird durch seine Anlehnung an den französischen Jansenismus, seine Verbindung mit dem deutschen Pietismus, sein Eintreten für Toleranz, seine Hochachtung für die hussitische Tradition zu einem wichtigen Bahnbrecher der Aufklärung in Böhmen gerade auch für das tschechische Volk.

Und wohin gehört Skovoroda? Nach Tschiżewsky dem Stile nach zum Barock, aber inhaltlich vertritt er die Aufklärung. Durch die gründlichen Studien des ukrainischen Historikers Golobuckij[7] sind wir heute besser als früher in der Lage, den sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund des Wirkens Skovorodas zu erkennen. Dieser Hintergrund aber entspricht durchaus dem beginnenden bürgerlichen Nationwerden und nicht dem Hetman-Barock des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts.

Dies gilt ja schon für seinen Lehrer Todorskij, den es nach Petersburg zog, wo er mit der Aufklärung bereits in Verbindung kam. In Halle, wohin er weiterging, wurde er mit der philologisch-kritischen Methode im Sinne der Aufklärung vertraut. Die Michaelis sind seine Lehrer, und David Michaelis, der damals noch ganz jung ist, wird von ihm als die große Leuchte der Aufklärung vorausgeahnt. Er sollte als Professor in Göttingen in hohem Maße auf die geniale kritisch-philologische Methode Dobrovskýs in den 60-er Jahren des 18. Jahrhunderts anregend wirken.

So sind überall Querverbindungen im Sinne der Aufklärung festzustellen, zwischen den slawischen Völkern und zwischen den slawischen Völkern und dem deutschen Volk, Sicherlich, in der Literaturgeschichte spielt der Stil eine sehr große Rolle, aber der Inhalt darf doch nicht ganz übersehen werden. Und so ist es begreiflich, daß neben der Diskussion über das Barockproblem heute auch gerade in den Ländern, die zur ehemaligen Donau-Monarchie

[7] В. А. Голобуцкий. Черноморское казачество. Киев, 1956.

gehörten, immer stärker von der Literatur des Josefinismus gesprochen wird, wie der Germanist I. G. Boeckh nach einer Studienreise durch diese Länder berichtet [8]. Der Josefinismus ist aber nur eine räumlich begrenzte spezielle Ideologie der Aufklärung im allgemeinen. Eine vergleichende Geschichte der Literatur der russischen Frühaufklärung des Petrinismus mit dem Josefinismus würde sich als besonders aufschlußreich gerade auch für die Geschichte der slawischen Literaturen erweisen.

Im engen Zusammenhang mit dem einseitigen Sehen von Stilelementen steht eine weitere Ursache der bisherigen Verkennung, vor allem in Westeuropa, der Aufklärung in der Literaturgeschichte der slawischen Völker gegenüber Barock und Romantik.

Es ist die Verkennung der historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlage der Literatur und vor allem das Absehen von der Auseinandersetzung zwischen den Klassen. Vor allem die bisherige Verkennung des Klassencharakters der Aufklärung führte deswegen zu einer ungenügenden Einschätzung der Aufklärung in der Literaturgeschichte.

Wie aber in der allgemeinen Geschichte das Verständnis für die Aufklärung ständig wächst, so wird dies sich auch in der Literaturgeschichte durchsetzen. Der Aufklärung bei den slawischen Völkern wird ihr eigener Standort zwischen Barock und Romantik nicht mehr zu nehmen sein. Die Aufklärung als Teil einer internationalen Klassenbewegung darzustellen, die die Verschiedenheit und doch wieder unzweifelhaft bestehende Gemeinsamkeiten erklärt, scheint eine wichtige Aufgabe für die Erforschung der Geschichte der slawischen Literatur zu sein. Die entstehende Diskussion anzuregen, sollte der Zweck der Hinweise eines Historikers sein.

---

[8] Vgl. I. G. Boeck. «Eine Reise» und «Probleme der Literatur», Mitteilungsblatt für die Mitarbeiter der DAW zu Berlin, 3. Jhg., H. 1, S. 12 ff.

Э. Винтер
Берлин

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУР СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Резюме

Эпоха Просвещения, продолжавшаяся от барокко до романтики, в истории литературы часто упускается из виду. Просвещению соответствует в социально-экономическом развитии период мануфактуры, связанный с падением внутренних пошлинных границ. Возникающему внутреннему рынку соответствует свойственный эпохе Просвещения патриотизм (Landespatriotismus). В конце XVIII и в начале XIX столетий этот патриотизм переходит в национализм романтики, причем этот последний дошел в то время уже до полного своего развития. Свойственный эпохе Просвещения патриотизм объединяет усилия представителей разных народов в развитии культуры. Так, он свел, например, таких русских деятелей, как Прокопович, Татищев, Кантемир и Тредьяковский, с такими немецкими деятелями, как Гольдбах, Глюк, Хейссен. Landespatriotismus обращает свое особое внимание на развитие языка, литературы и истории соответствующей страны.

В эпоху Просвещения благодаря мануфактурам отмечается подъем народного образования, послуживший в свою очередь стимулом развития газетного и журнального дела в XVIII в. К этому времени относится также возникновение ученых обществ.

Хотя деятельность просветителей направлена на развитие культуры собственной страны, влияние их все же распространяется и вне ее пределов. Так, например, просвещение у русских и чехов сильно содействовало развитию Просвещения у других славянских народов.

В литературе эпохи Просвещения встречаются еще сильные элементы стиля барокко, так что историки литературы, занимавшиеся, преимущественно проблемами эстетики, доводят эпоху барокко иногда вплоть до романтики. Тут, однако, необходимо отличать старую форму от нового содержания. В истории литературы Просвещение должно занять надлежащее ему место.

Ф. Я. Шолом
Киев

ИВАН ВИШЕНСКИЙ И МАКСИМ ГРЕК

(Из истории русско-украинских литературных связей XVI—начала XVII вв.)

Культурные и литературные связи русского и украинского народов, вышедших из одной колыбели — Киевской Руси, расширялись и крепли на протяжении всего исторического периода их развития. Одним из ярких примеров этих связей еще до воссоединения Украины с Россией, в XVI—первой половине XVII в., является деятельность известного украинского писателя-полемиста Ивана Вишенского, который творчески воспринял передовые идеи и традиции русских публицистов XVI в., в частности Максима Грека, и также оказал влияние на развитие русской литературы.

Выдающийся украинский писатель конца XVI—начала XVII в. Иван Вишенский (ок. 1550—ок. 1620 гг.) в своих пламенных публицистических посланиях с горы Афон резко выступал против социально-политического и национально-религиозного угнетения трудящихся масс украинского народа (как тогда говорили, «народу руского») польскими феодалами и католической церковью. Он беспощадно разоблачал и бичевал также своих, украинских панов и православных священников, которые в интересах обогащения изменили своему народу и «старожитной» вере, выступив инициаторами объединения православной церкви с католической, окончательно оформленного решением Брестского собора в 1596 г.

Представитель простого народа («хлоп простий»), горячо любивший свою родину, Иван Вишенский хотя и ушел в монастырь, выразив этим протест против феодального строя Речи Посполитой, но в течение всей своей жизни стойко боролся за освобождение украинского народа из-под польско-шляхетского и римско-католического ига. Послания Ивана Вишенского и его

письма были широко известны на Украине, в Белоруссии, а также и в России, главным образом в рукописных сборниках, а в 1644 г. в Москве в так называемой «Кирилловой книге» было напечатано одно из самых интересных посланий Ивана Вишенского, ранее опубликованное в Остроге (1598 г.) в составе «Книжицы» [1].

Несмотря на „простоту“ и оригинальность творческой манеры Ивана Вишенского, в его полемико-обличительных сочинениях мы находим общие черты с полемикой русских писателей-публицистов XVI в., в частности — эмигрировавших из России в Литву и Польшу монаха Феодосия Косого и игумена Артемия [2] (1550—1570 гг.) и особенно — их старшего современника, выдающегося русского публициста и ученого филолога Максима Грека (ок. 1480—1556 гг.), прибывшего в Россию из Ватопедского монастыря на горе Афон. Сочинения Максима Грека, старца Артемия, Феодосия Косого, князя А. М. Курбского, послания Ивана Грозного и других русских писателей-публицистов этого времени уже в XVI в. пользовались широкой известностью среди украинских читателей. И, конечно, Иван Вишенский еще, наверное, до ухода на Афон не мог не знать творений русских авторов, прежде всего — наиболее авторитетного из них Максима Грека, сочинения которого широко использовал Василий Острожский (Суражский) в изданной в 1588 г. в Остроге книжице «О единой истинной православной вѣрѣ». А как известно, Иван Вишенский не только сам хорошо изучил этот богословско-полемический трактат (хотя, по определению Ивана Франко, и

---

[1] И. П. Еремин. К истории русско-украинских литературных связей в XVII веке. «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР», IX, 1953, стр. 291—296.

[2] О некотором сходстве творчества Ив. Вишенского с посланиями старца Артемия можно судить хотя бы по следующему примеру употребления одинакового сравнения, корни которого, вероятнее всего, восходят к устному народному творчеству:

У старца Артемия:

«Невъздѣланная бо нива, вмѣсто добрых плодов, тръніе и волчец износити обыче. Того ради нужда нам, паче в нынѣшнее время с многим тщаніем испытовати истинны разум в божественном писаніи» («Посланїе к пану Евстафію Воловичу»; в кн. «Памятники полемической литературы в Западной Руси», кн. 1, РИБ, т. IV. СПб., 1878, стлбц. 1442).

У Ивана Вишенского:

«Не все бо пшеница в посѣяню знаходит, але знайдеш другую ниву, которая болшей куколю, нижли пшеницъ народит. Також и межи иноки...» («Книжка», гл. 3. «Порада...»; в кн. Иван Вишенский. Сочинения. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 38).

„майже цілковито позбавлений таланту літературного“[3]), но и рекомендовал его как идеологическое оружие в борьбе против пропаганды католицизма и унии в своем послании „Иоанна мниха извѣщеніе краткое о латинских прелестех, о заблужденіи от пути истинного и болезнех смертоноснаго мудрованія“: «Хотѣхом и таинственной вечерѣ, календари и прочиих премѣненіях их латинских (от истины на лож и прелест) обличително писати, но занеже видѣхом, яко о всем том доволно Василій от божественнаго писанія написа, сего ради оставихом о сем писати. Сіе же Василіево писаніе испытахом извѣстно и увидѣхом, яко не от своее фантазіи новоизобрѣтеннаго помысла, но от божественнаго писанія писа, яже написа. Сего ради приймѣте сіе, молю вас, с усердіем вседушевное любве и утвердѣте себе в вѣрѣ...»[4]. Книжка Василия Острожского (Суражского) «О единой... вѣрѣ», как пишет Иван Франко, «була причиною до написання сего твору Вишенського («Извѣщенія краткого о латинских прелестех...“. — *Ф. Ш.*), а почасти его взірцем і матеріалом...“[5].

Итак, послужившая образцом для написания одного из самых ранних сочинений Ивана Вишенского — «Извещенія краткого о латинских прелестех...» (написано между 1588 и 1596 гг.[6]) «Книжица» Василия Суражского (Острожского) наряду с изданной еще в начале 80-х годов XVI в. в Остроге брошюрой Максима Грека «Како подобает знаменоватися крестным знаменіем»[7], явилась, по всей вероятности, наиболее влиятельным источником, из которого у начинающего полемиста Вишенского сложилось самое положительное мнение о творчестве своего предшественника, также жившего на Афоне, талантливого русского публициста Максима Грека. Именно в адрес сочинений Максима Грека, трактующих «об исхождении св. духа», так горячо выразил похвалу Иван Вишенский, оценивая «Книжицу» Василия, хотя имени Максима Грека он и не называет. А свое послание „Иоанна мниха извѣщеніе краткое о латинских прелестех...“

---

[3] Іван Франко. Іван Вишенський і його твори. Львов, 1895, стр. 119.

[4] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 111.

[5] Іван Франко. Указ. соч., стр. 117. См. также И. П. Еремин. Комментарии к «Сочинениям» Ив. Вишенского, стр. 309; Кость Копержинський. Український письменник XVI століття Василь Суразький. «Науковий збірник за рік 1926. Записи Украïньского наукового товариства в Киеві (тепер історичноï секціï Всеукраïнськоï академіï наук)», т. XXI, 1926, стр. 44.

[6] И. П. Житецкий. Литературная деятельность Иоанна Вишенского. «Киевская старина», 1890, № 6, стр. 498, 504.

[7] См. И. Каратаев. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами, т. I. СПб., 1883, № 110, стр. 227—228.

украинский публицист написал под непосредственным влиянием сочинений Максима Грека, хорошо известных Вишенскому также и по рукописным сборникам[8]. Здесь видно не только внешнее композиционное сходство, наиболее ярко проявившееся в буквальном заимствовании Вишенским форм заглавия из сочинений Максима Грека, обычно начинающихся словами: «Инока Максима Грека слово...»[9], но и творческое использование Вишенским идейного содержания и стилистических приемов Максима Грека, в частности его трактатов «об исхождении св. духа»[10]. Так, уже в самом начале своего полемико-публицистического творчества Иван Вишенский, несомненно, видел образец обличительного трактата в многочисленных сочинениях Максима Грека и, будучи талантливым писателем, творчески использовал традиции передовой русской публицистики XVI в.

И в своей страстной полемике с польско-шляхетскими писателями Иван Вишенский неоднократно указывает на «Великую Россію» как на самый положительный пример для Украины, подчеркивая единство происхождения, веры, языка и культуры русского и украинского народов. Так, в послании «Зачапка мудраго латынника с глупым русином в диспутацію, или по просту рекши в гаданіе, или бесѣду», горячо защищая «язык словенскій», Вишенский пишет: «Пойди, Скарго, в Великую Россію и прочитай исторіи житій оных святых мужей чюдотворцов великих... А навет, если не хочеш плодоносія спасителнаго языка словенскаго от Великой Россіи довѣдоватися, доступи в Кіевѣ в монастырь Печерскій, а ту же у тебѣ дома в державѣ короны

---

[8] Как свидетельствует опубликованный С. Голубевым «Реэстр книг Львовского ставропольскаго братства, составленный в 1601 г.» (см. С. Голубев. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I. Киев, 1883. Приложения, стр. 167—171), в библиотеке Львовского братства, среди других книг и рукописей были и сочинения (по всей вероятности, рукопись) Максима Грека, с которыми имел возможность познакомиться также и Иван Вишенский — если не до своего первого отъезда на Афон, то, во всяком случае, во время посещения Украины и Львова в 1605—1606 гг.

[9] См. Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии: ч. 1 — из «Православного собеседника» 1859—1860 гг., стр. 552; ч. 2 — из «Православного собеседника» 1860 г., стр. 460; ч. 3 — из «Православного собеседника» 1862 г., стр. 296. См. также украинские рукописные сборники с сочинениями Максима Грека, хранящиеся в Государственной публичной библиотеке УССР (г. Киев); наиболее интересными из последних являются следующие: № 475п/1656 и № 285п/7 (XVI в.); № 198п./134, № 237п./88, № 476п./1736 и № Д. А./п. 521 (XVII в.); № Д. А./п. 523 (XVIII век) и целый ряд других.

[10] Ср. «Извѣщение краткое...» И. Вишенского (Сочинения, стр. 95—121) с X—XV словами Максима Грека (Сочинения, ч. 1, стр. 180—346).

Польской, не ленися и выспрашивай о святых оных чюдотворством мало не равно великоросійским от бога почтенных святым мужем. И сих, ударованных и возвеличенных и по смерти от бога прославленных, которых естеством род російскій породил спасителными (спасенными) же быти и освятити тот же святый язык славенскій исходатаил...»[11]. Спасение для украинского народа в этих тяжелых условиях польско-шляхетского социально-политического и национально-религиозного гнета в XVI—начале XVII в. Иван Вишенский видел в воссоединении с великим русским народом, так как «Москва и наша Русь не зовутся инако, толко христіанин»[12].

Но кроме Ивана Франко, мимоходом отметившего заимствования Вишенского из «сучасних руських... полемічних творів»[13], никто из ученых специально не занимался исследованием общих черт в творчестве талантливого украинского полемиста и передовых русских публицистов XVI в. Вопрос об идейно-художественной близости посланий Ивана Вишенского с сочинениями Максима Грека вообще до сих пор никем не ставился. Исследователи творчества Ивана Вишенского рассматривали литературно-публицистическую деятельность украинского писателя до некоторой степени в отрыве от литературного процесса в России, в частности от русской публицистики XVI в., не привлекая большого и благодарного материала о влиянии на Ивана Вишенского передовой русской литературы XVI в., в том числе и сочинений Максима Грека[14]. Такое освещение творчества Вишенского — в тесной связи с русской публицистической прозой — не только не снижает оригинальности и национального своеобразия писательской манеры украинского полемиста, но, наоборот, повышает его авторитет, давая возможность более полно и теоретически глубоко оценить его заслуги в истории украинской литературы.

---

[11] С. Голубев. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I. Приложения, стр. 92—93, а также: Иван Вишенский. Сочинения, стр. 192.

[12] «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией», т. II. СПб., 1865, стр. 220. Ср. также: Иван Вишенский. Сочинения, стр. 39.

[13] Іван Франко. Іван Вишенський. «Універсальна бібліотека», вип. 10. Львов, 1892, стр. 25.

[14] Неизученность вопроса о влиянии сочинений Максима Грека на творчество Ивана Вишенского отметил и проф. П. Н. Попов в рецензии на книгу: Иван Вишенский. Сочинения — «За глибоке вивчення літературної спадщини» («Вісник АН УРСР», 1956, № 3, стр. 73—77), напечатанной через несколько месяцев после завершения нашей работы над исследованием данной проблемы.

Однако нет оснований утверждать, что творчество Ивана Вишенского изучалось изолированно от **всех** славянских литератур. Так, акад. В. Н. Перетц еще в 1924 г. сделал попытку осветить связи Ивана Вишенского с современной писателю польской литературой[15]. В. Н. Перетц говорит об идейно-художественной близости посланий Вишенского с сочинениями польских писателей XVI в., находившихся в большинстве случаев в оппозиции к римско-католической церкви и разделявших взгляды протестантов, — Миколая Рея из Нагловиц, Соколовского, Поводовского, Гжегожа Павела, Ф. Социна, Войцеха из Калиша, Мартина Чеховича и др., в том числе даже самого активного пропагандиста католицизма иезуита Петра Скарги[16], против сочинений которого Иван Вишенский неоднократно выступал с очень талантливыми обличительными посланиями, используя при этом и публицистические приемы своего идейного противника.

Но не отрицая некоторого сходства в творчестве Ивана Вишенского и польских писателей XVI в., нужно еще более категорически подчеркнуть несомненную идейно-художественную общность его творчества с прогрессивной русской публицистикой XVI в. и особенно с сочинениями Максима Грека. Их прежде всего сближает и роднит тот критицизм в оценке событий и фактов и пламенный полемико-публицистический обличительный тон, которыми проникнуты почти все сочинения как Максима Грека, так и Ивана Вишенского, творчески унаследовавших не только традиции древнерусской литературы, пользовавшейся известностью и за пределами своей родины, особенно у южных славян[17], но также и традиции литературы «отцов церкви». То

---

[15] Акад. Володимир Перетц. Іван Вишенський ј польска лјтература XVI в. «Науковий збірник за рік 1924. Записки Украïнського наукового товариства в Києві. . .», т. XIX, 1925, стр. 37—54.

[16] О влиянии творчества Петра Скарги, в частности его книги «Żywoty swiętych» (1579), на украинскую литературу см. специальное исследование: Н. К. Гудзий. Переводы «Żywotów swiętych» в Юго-Западной Руси. Киев, 1917, 135 стр.; см. также: Н. К. Гудзий. К вопросу о переводах из «Великого Зерцала» в Юго-Западной Руси. Киев, 1913, 42 стр.

О творчестве перечисленных выше польских писателей XVI в. см. новейшее исследование: Kazimierz Budzyk. Skice i materiały do dziejów literatury staropolskiej. Polska Akademia nauk. Institut badań literackich. Warszawa, 1955.

[17] Вот что пишет М. Н. Сперанский о влиянии древнерусской литературы на литературу южнославянскую, о путях и среде, где в большинстве случаев совершался обмен памятниками письменности между русскими и южными славянами: «Это были те же пути и та же среда, которые несли к нам юго-славянские памятники, т е. Галицкая Русь, Болгария и Сербия, Афон, Константинополь. Относительно последних можно указывать на среду

же случайное совпадение, что и Максим Грек и Иван Вишенский жили в Афонских монастырях (правда, это было в разное время, и судьба их сложилась по-разному), не имеет решающего значения (этого совпадения могло и не быть) в выяснении идейной и литературно-творческой близости русского и украинского писателей.

В выработке критического подхода к характеристике и оценке действительности у Ивана Вишенского решающую роль, безусловно, сыграла сама жизнь, наполненная бурными историческими событиями классовой и национально-освободительной борьбы, часто принимавшей в XVI—XVII вв., как известно, религиозную окраску; но немалую помощь в этом оказали Ивану Вишенскому также обличительные сочинения русского публициста.

Еще Филарет в 1842 г. одной из самых характерных черт творческой манеры Максима Грека считал «дар критики», «который более других имел в нем силу»: «Везде и во всем он критик: излагает ли догмат, пишет ли нравоучение, изъясняет ли писание, предлагает ли повествование (не говорим о его разборе книг церковных),—он все рассматривает критически; весьма немного предметов, за которые бы он брался с одной целью — положительного учителя» [18]. «... Дух критики и умственной пытливости, строгая логика в аргументации своих мыслей и, как следствие этого, стройность и последовательность в композиции произведений у Максима Грека, — пишет Н. К. Гудзий, — неразрывно связаны были с высокими качествами его словесного искусства вообще, усвоенными его учениками и продолжателями его литературных традиций» [19].

Живя в иную эпоху, нежели Максим Грек, и творя в других условиях, Иван Вишенский «с первых своих литературных выступлений, — говорит А. И. Белецкий, — ... занял против всего строя жизни, против общественного уклада Речи Посполитой

духовно-монашескую, как наиболее книжную, хотя и не исключительно: в ней встречаем не только деятелей духовных, но и иных. ... В результате же всего нашего обзора можно сделать и еще более общий вывод: говоря об отношениях русской литературы раннего периода и юго-славянских, мы должны говорить не только о юго-славянском влиянии в русской литературе, но и о взаимоотношениях, в смысле обмена, в обеих литературах» (М. Н. Сперанский. К истории взаимоотношений русской и юго-славянских литератур (Русские памятники на юге славянства). «Изв. ОРЯС», т. XXVI, 1921. Пг., 1923, стр. 206). См. также: проф. Ив. Снегаров. Културни и политически връзки между България и Русия през XVI—XVIII в. София, Синодално книгоиздателство. 1853, стр. 130.

[18] «Москвитянин», 1842, ч. VI, № 11, стр. 65.

[19] Н. К. Гудзий. История древней русской литературы. Изд. 5. М., 1953, стр. 302 (Разрядка наша. — *Ф. Ш.*).

позицию, исключающую всякую возможность примирения с действительностью»[20].

Однако, подчеркивая общность идейного содержания произведений и художественных приемов обоих писателей, необходимо отметить также и различия в идейно-политических позициях Максима Грека и Ивана Вишенского.

«Историческое обличение монахов и защита крестьян нужны были Греку как полемическое средство в борьбе с его идейными противниками. Защита угнетенного крестьянства, конечно, не была самоцелью. Обличения Максима Грека, носившие характер отвлеченной религиозной борьбы, отвечали в известной мере интересам боярства.

В то же время резкая критика социальной действительности и государственной политики, развитая нестяжателями и Максимом Греком, имела и объективно прогрессивное значение. Она будила общественный протест, обличала порядки феодального строя, наносила ущерб феодальному землевладению»[21].

Для Ивана Вишенского же «борьба религиозная и национальная была неразрывно связана с борьбой социальной против всех господ, независимо от их веры и национальности».[22] Обличая общественное зло и выступая в защиту классовых интересов трудящихся, Иван Вишенский «не указывает своим землякам выхода из тяжелого положения. . ., он ни разу даже не поставил вопроса о возможности свержения царства „діавола-миродержца“ насильственным путем», но его призывы к полному отрицанию враждебного и несправедливого социального строя «заставляли читателей задумываться над своим положением, способствовали пробуждению угнетенных масс».[23]

Для подтверждения высказанных мыслей обратимся непосредственно к сравнительному идейно-художественному анализу сочинений Ивана Вишенского и Максима Грека.

Выступая против стяжания и других отрицательных явлений в быту русского монашества, в одном из своих ранних произведений — «Инока Максима Грека повѣсть страшна и достопаметна и о совершеном иноческом жительствѣ», написанном еще до первого суда (до 1525 г.)[24], — Максим Грек рисует

---

[20] «История украинской литературы», т. I (Дооктябрьская литература). Киев, Изд-во АН УССР, 1954, стр. 74.

[21] «Очерки истории СССР. Период феодализма (конец XV в.—начало XVII в.)». М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 177.

[22] «История украинской литературы», т. I, стр. 73.

[23] Там же, стр. 75—76.

[24] См. В. Ф. Ржига. Опыты по истории русской публицистики XVI века. Максим Грек как публицист. «Труды Отдела древнерусской

идеальную картину жизни монахов-католиков и организацию ордена картезианцев, чтобы противопоставить ей некоторые отрицательные стороны русской жизни. Конечно, Максима Грека нельзя заподозрить в пропаганде католицизма: «Сія же пишу не яко да покажу латинскую вѣру, чисту, совершену и прямоходящу, во всѣх, — да не будет во мнѣ таково безуміе, — но да яко покажу православным, яко и неуправомудренных у латынех есть попеченіе и прилѣжаніе евангельских спасительных заповѣдей и ревность за вѣру спаса Христа, аще и не по совершенному разуму» [25], но тем острее звучат его обличения. И несмотря на то что Максим Грек до написания этого сочинения всего несколько лет жил на Руси и изучал русский язык, стиль его изложения отличается своеобразной оригинальностью и ясностью: здесь и спокойные повествовательные периоды (см., например, рассказы, начинающиеся словами: «Паризія град есть нарочит и многочеловѣчен в Галліех, яже нынѣ глаголются Франза держава велія и преславна. . .» [26]; «Флоренцыа град есть прекраснѣйшій и предобрѣйшій сущих в Италіи градов, их же сам видѣх. . .» [27] и др.), заканчивающиеся острыми обличениями с нагромождением риторических вопросов и характерных эпитетов (см., например, отрывок: «Гдѣ у них особно нѣкое желаемо брашно, или питіе или овощь некій или ино что наслажающее гортань? . .» [28] и др.), снова спокойные утверждения и, наконец, лирические отступления автора [29].

Обличения при помощи нагромождения риторических вопросов и восклицаний, «чередования предложений одной и той же синтаксической конструкции, нагромождения слов, сходных между собою не только по значению, но и по звучанию» [30], с особенной силой проявляются уже в ранних полемических посланиях Ивана Вишенского. Зная сочинения Максима Грека по рукописям, распространявшимся также и на Украине, Иван Вишенский подражал стилю своего предшественника, оставаясь вместе с тем оригинальным украинским писателем.

Вот один из многих примеров сходства стилевых приемов обличения у Максима Грека и Ивана Вишенского:

литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР», т. I. Л., 1934, стр. 6.

[25] Сочинения Максима Грека, ч. 3, стр. 202.

[26] Там же, стр. 179 и др.

[27] Там же, стр. 194—195 и др.

[28] Там же, стр. 183—184.

[29] См. цитированный выше отрывок (со стр. 202).

[30] И. П. Еремин. Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность (в книге «Иван Вишенский. Сочинения. . .»), стр. 266—267.

Инока Максима Грека повѣсть страшна и достопаметна и о совершенном иноческом жительствѣ.

...Гдѣ у них особно нѣкое желаемо брашно, или питіе или овощь нѣкій или ино что наслажающее гортань? гдѣ у них стяжанія(е) злата и сребра (сребра и злата)? гдѣ у них праз(д)нословіе, или скверпословіе, или смѣх безвременен и безчинен? піянство же и преизлишнее сладких яденій ниже слышатся у них, сребролюбіе же и лихоиманія, и росты и лукавый нрав мерзко у них и проклято слышаніе, одѣяния же их власяна и вся бѣла, чистоту житія их и пребыванія образуюіща, лжа же и ослушаніе и прекословіе исчезоша вся у них вконец.

Гдѣ у них отметаніе обѣт, их же даша богови, знегда стригоша власы? никакоже убо обрящеши, много трудився» [32].

Писаніе до всѣх обще, в Лядской земли живущих [31].

Где бо нынѣ в Лядской земли вѣра, где надежда, где любов, где правда и справедливость суда, где покора, где евангельские заповѣди, где апостолская проповѣдь, где святых законы, где хранения заповѣдей (божиих), где непорочное священьство, где крестоносное житие иноческое, где простое благоговѣнное и благочестивое христианство? Не все ли превратися в паче всѣх язык нечистых нечистѣйшее (нечестнѣйшее) житие и безвѣрие! И почто и именем христианским себе гласити безстуднѣ дерзаете, егда силы того имени не храните, ниж дѣлным постижением съхранити того имени свойство учитися не хощете? О, окаяннаа утроба, которая таковых сыновь на погибел вѣчную породила и на съблазнь прелестнаго свѣта сего выпустила!» [33]

Как у Максима Грека [34], так и у Ивана Вишенского дальше идет спокойное, но обличающее повествование, снова сменяющееся риторическими вопросами и патетическими восклицаниями и обращениями (особенно в посланиях Ивана Вишенского [35]). В «Писаніи до всѣх обще, в Лядской земли живущих» Вишенского мы встречаем также и лирическое отступление, содержащее автобиографические сведения и заканчивающее послание: «Иоан инок з Вишнѣ от святое Афонское горы прочух (прочтох) от Лядское землѣ, сиреч Малое Русии, како напали на вас злоереси. Того ради послахом отца нашего Сава, проигумена от святых Павел. А вы же, Христовы християне,

[31] См. полное название этой главы, написанной еще до Брестской унии (1596 г.): «Тобѣ, в земли, зовемой Полской, мешкаючому всякаго възраста, стану и преложенства народу, русскому, литовскому и лядскому, в роздѣленых сектах и вѣрах розмаитых, сей глас в слух да достиже» (Иван Вишенский. Сочинения, стр. 45; см. также стр. 301—303).

[32] Сочинения Максима Грека, ч. 3, стр. 183—184. В скобках даны разночтения по рукописному списку XVI в. Государственного Исторического музея СССР (г. Москва), № 310, л. 198—198 об. (см. Архимандрит Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова в четырех частях, ч. I. М., 1898, № 310).

[33] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 45 и 282.

[34] Сочинения Максима Грека, ч. 3, стр. 184—205.

[35] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 45—49.

приимѣте его со радостию и малостиню сотворите, — того ради молим вашей милости»[36].

На риторические вопросы в «Писанiи до всѣх обще. . .», как и в некоторых других посланиях, Иван Вишенский дает отрицательные ответы. Больше того, он не только утверждает, что нет всего того, о чем спрашивал выше, но и здесь, умело используя синонимы, а также эпитеты (Вишенский, как и Максим Грек, очень часто употребляет неологизмы), автор как бы усиливает обличительный пафос своего произведения (см., например, отрывки, начинающиеся словом «нѣсть»[37]). Подобные категорические утверждения как одну из характерных черт полемико-публицистического стиля мы встречаем также и в сочинениях Максима Грека, в частности в «Отвѣтѣ в кратцѣ к святому събору оних же оклеветан бываю»[38]

Выступая против творящих беззакония лихоимцев и сребролюбцев, Максим Грек пишет:

«. . . доколѣ не насытитесь, о лихоимци, збирающе огнь на главах ваших? еже бо вси апостоли святыми писанiи отрекоша, то же лихоимци с похвалою творят, предѣл преступиша, и вол вдовичь в залог вэяша. Горе вам, збирающим злаа. Болесть пожнете от духа гнѣва его. Без вѣсти исчезнете.

Нѣсь мѣста, гдѣ скрытись творящим беззаконiя. Ньтще и всуе трудишася беруще богатства неправдою. Не бысть им от него помощи и нѣсь им избавленiя сицевым имѣнiем. Егда надѣются жити, внезапу кончиною погаснут. Всяка бѣда на ня найдет и въсприимут по дѣлом своим»[39].

Посылая проклятия владыкам, архимандритам и игуменам, осуждая беззакония «лядского священства и всѣх обще, в Лядской земли живущих», Иван Вишенский восклицает:

«О, лютѣ, страно грешна, людие полны грѣхов, племя злое, сынове беззаконии! . . Что и еще уязвляетеся, прилагающе беззаконие ко без(з)аконию?

От главы и до ног острупѣли есте! От началник, от священик и до простых онечистѣли есте! Осмраднѣли есте гноем миролюбиа! Образ божий огноили есте! Нѣсть мѣста цѣлаго от грѣховного недуга — все струп, все рана, все пухлина, все гнилство, все огнь пекельный, все болѣзнь, все грѣх, все неправда, все лукавство, все хитрост, все коварство, все кознь, все лжа, все мечтание, все сѣнь, все пара, все дым, все суета, все тщета, все привидѣние — сущее ж нѣсть ничтоже. Нѣсть где плястра приложити на исцѣление нѣкоея части. Все смѣртоносный грѣх, все пеклом, адом и геенною вѣчною смърдит!»[40]

---

[36] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 49 и 282.

[37] Там же, стр. 48—49.

[38] Это сочинение Максима Грека опубликовано в качестве приложения к статье неизвестного автора «Максим Грек», напечатанной в журнале «Москвитянин» (1842, ч. VI, № 11, стр. 45—96; «Отвѣт» — стр. 84—91).

[39] Там же, стр. 90.

[40] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 48—49.

Конечно, отмечая сходство этих двух отрывков, мы должны в то же время указать и на различия между ними. Если Максим Грек выступает только против лихоимцев и сребролюбцев, творящих беззакония в любимой автором Российской державе, ставшей для Максима второй родиной, то Иван Вишенский осуждал весь общественно-политический строй шляхетской Польши («всѣх обще, в Лядской земли живущих»).

Это и определило характер изложения у обоих авторов. Максим Грек говорит, что в России (общественно-политический строй которой автор не отрицает, а утверждает) нет места, где бы можно было спрятаться «творящим беззаконія». Иван Вишенский же, наоборот, считает, что в Речи Посполитой «нѣсть мѣста целаго от грѣховного недуга», т. е. нет ничего положительного, нет возможности исцелить хотя бы «нѣкоея части», так как даже «нѣсть где плястра приложити». Поэтому здесь так уместна краткая, но необычная и вместе с тем выразительная характеристика общественно-политического строя шляхетской Польши, мастерски данная Иваном Вишенским при помощи нагромождения большой группы слов с отрицательным смыслом, близких между собою не только по значению, но часто и по звучанию [41] и оъединенных обобщающим словом — местоимением «все».

Чередование предложений одинаковой синтаксической конструкции и нагромождение сходных между собою по значению и по звучанию слов придают приведенному выше отрывку из «Писанія до всѣх обще. . .» ритмическое звучание. И в помещенном рядом отрывке из сочинения Максима Грека чередование предложений сходной синтаксической конструкции также способствует его ритмизации, хотя здесь и отсутствует нагромождение отдельных слов, как это мы встречаем в целом ряде случаев у Ивана Вишенского [42].

Зато в процитированных ранее отрывках (начинающихся словом «Где. . .») из «Повѣсти страшной. . .» Максима Грека и «Писанія до всѣх обще. . .» Ивана Вишенского оба эти момента — и чередование одинаковых в синтаксическом отношении предложений (большей частью вопросительных), и нагромождение сходных как по значению, так и по звучанию слов — налицо. Причем следует отметить, что и в данном случае этот стилевой прием более ярко выступает у Ивана Вишенского,

[41] См. «История украинской литературы», т. I, стр. 76; И. П. Еремин. Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность, стр. 266—267.

[42] См., например, такое нагромождение в «Пораде» (Иван Вишенский. Сочинения, стр. 31, 38), а также в других посланиях полемиста.

язык которого, хотя и книжный, гораздо ближе к украинской народной разговорной речи, чем язык сочинений Максима Грека — к русскому разговорному языку того времени.

В «Повѣсти страшной. . .» Максим Грек приводит любопытный рассказ о честности «убогія вдовицы» и ее сына, который «обрѣт на улицы повержену мошну камчату, в ней же бяше златиц ф҃ (500), отнесе к матери своей, и она видѣвши не возрадовалася о сем, яко таковым обрѣтеніем избыти хочет послѣдняго убожества своего, ниже скрыла у себе, но абіе отнесла ю́ ко священному учителю граду», рассказала все ему и попросила, чтобы он отдал клад потерявшему, «да не скорбь имѣет неутѣшимую человѣк о сем» [43].

Подобный прием обращения к рассказам и притчам в полемико-публицистических произведениях — своеобразное чередование обличительных и повествовательных элементов—характерен и для творческой практики Ивана Вишенского. Так, в послании «честное и благоговѣйное старицы Домникии» (1605 г.) он рассказывает поучительную «повесть от отец святых» о двух братьях, «единомысленных, в иноческий чин вшедших», разгневанных «друг на друга» диаволом; «идоложерцы поимали их, и, коли первого дня мучени были, претерпѣли и не предали благочестия. Теды, из муки их изведши, в едину темницу затворили до другаго мучения, если ся не намыслят и доброволнѣ идолом не пожрут». Один из братьев, видя безвыходность положения и ожидая смерти за приверженность «христианскому благочестию», решил помириться со своим братом и попросил у него прощения, но второй брат не захотел прощать обиды. Тогда, пишет далее Вишенский, первый брат, приняв муки и смерть за благочестие, «богу отиде», второй же, оставленный за гнев на родного брата богом, проявил малодушие: «на первом вопросѣ мучения отскочил и Христа ся отрекл и идолом жертвовал» [44].

Помещая рассказ о вдове и сыне, Максим Грек хотел подчеркнуть честность, к которой призывал флорентийских монахов их игумен Иероним, и тем самым дать этим поучительный пример также русским православным монахам. Иван Вишенский в притче о двух братьях хотел оправдать свой отказ от предложения львовских братчиков остаться во Львове для борьбы против Брестской унии и католицизма и свое возвращение вновь в Афонский монастырь. Поэтому аллегория этой «повести» раскрывается очень легко: Иван Вишенский, считая себя братом, просящим прощения, предупреждает, что не желающие

[43] Сочинения Максима Грека, ч. 3, стр. 196—197.

[44] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 167—168.

ему простить львовские братчики (в частности, «пан Юрко» — Юрий Рогатинец) могут разделить судьбу второго брата, изменившего благочестию: «Отожь, сестро Домникие, убоятися потреба сея притчи, жебы кто з наших братий в ереси не умрет»[45].

Но в обоих случаях эти рассказы являются повествовательным элементом обличительно-публицистических произведений, придавая им большую выразительность и художественность изложения. К такому методу изложения (рассказ в рассказе, или повесть в повести) неоднократно обращались и Максим Грек и Иван Вишенский[46], хотя иногда и в разных по жанровой природе произведениях.

Если Максим Грек, обличая в «Главах поучительных начальствующим правовѣрно»[47] духовенство, «сущих в наша времена предстателей святых божіих церквей», и выступая в защиту нищих и сирот, порабощенных на монастырских и церковных землях крестьян, все же не был сторонником принудительной секуляризации не только церковных, но и монастырских вотчин, а «стоял за такую организацию церковных имуществ, при которой доходы с них действительно шли бы на нищих и убогих»[48], — то Иван Вишенский в «Писаніи до всѣх обще, в Лядской земли живущих»[49] устами «плачущей земли» обращается к богу с просьбой послать «серп смертный, серп казни погибелное», который бы смог их «выгубити и искоренити», «изволяючи лѣпше пуста в чистотѣ стояти, нежели вашим безбожством (населена и беззаконными дѣлы осквернена) запустошона от хвалы всесилнаго бога, създателя и творца небеси и земли, быти»[50]. Острота и резкость обличе-

---

[45] Там же, стр. 168.

[46] См., например, еще одну большую повесть, вставленную в «Писаніе к утекшим от православное вѣры епископом», в книге: Иван Вишенский. Сочинения, стр. 79—89, а также небольшие повествования — своеобразные рассказы в других посланиях Ивана Вишенского.

[47] Сочинения Максима Грека, ч. 2, стр. 157—184; Рукописный сборник сочинений Максима Грека ГПБ УССР № 176—673, слово 33 (на 14 листах большого формата). — См. Н. И. Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. III. Библиотека Киево-Софийского собора. М., 1904, стр. 55—56.

[48] В. Ф. Ржига. Опыты по истории русской публицистики XVI века. Максим Грек как публицист, стр. 30. Об отражении крестьянской темы в обличительных сочинениях Максима Грека см. также в статье: В. П. Адрианова-Перетц. Крестьянская тема в литературе XVI века. «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР», X, 1954, стр. 204—206 и др.

[49] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 45—49.

[50] Там же, стр. 45 и 282.

ния в послании Ивана Вишенского вполне понятна и естественна: ведь он никогда не только не шел, но и не собирался идти на какой-либо компромисс с высшими церковниками, даже до их явной измены православию и перехода в унию[51]. Как справедливо отмечает В. Ф. Ржига, «хотя Максим Грек не склонен был делать радикальных практических выводов из своих обличений монашества и духовенства, однако жизненная действенность их была на уровне острых вопросов тогдашней общественной жизни»[52].

Поэтому, исходя из жизненной действенности обличений Максима Грека не только для России середины XVI в., но для России, а также для единоверной Украины второй половины XVI—начала XVII в. (да и позднейших времен), совершенно естественным является идейное сходство между «Инока Максима Грека главами поучительными начальствующим правовѣрно», с одной стороны, и «Писаніем до всѣх обще, в Лядской земли живущих» и посвященным уже разоблачению епископов-униатов «Писаніем к утекшим от православное вѣры епископом» Ивана Вишенского — с другой. Обращает на себя внимание также сходство художественно-стилистических приемов и средств в обличительных произведениях обоих полемистов. Характерный для многих сочинений Ивана Вишенского стилистический прием противопоставления, сознательно употребляемый писателем для большей остроты и резкости обличения, мы часто встречаем и у Максима Грека. В обоих случаях богатству и роскоши представителей господствующего класса, в частности высшего духовенства, противопоставляется нищета и бедность простого трудового народа, «нищих и сирот», «бедных подданных». Это противопоставление достигается при помощи одинаковых синтаксических конструкций. Для сравнения приводим следующие отрывки из названных выше произведений.

У Максима Грека:	У Ивана Вишенского:
«. . . Убо и о сущих в наша времена предстателех святых божіих церквах удобь кто уразумѣет е истинствующе. Не к тому бо дѣлателіе мысленныя священныя маслины сія боголюбивое дѣло тоя дѣствуют, якоже божественная пра-	«Да прокляти будут владыки, архимандрити и игумени, которие монастирѣ позапустѣвали и фолварки собѣ з мѣст святых починили, и сами толко з слуговинами и приятелми ся в них телесне и скотски переховывают, на мѣстох святых лежа-

[51] Указанное выше «Писаніе до всѣх обще, в Лядской земли живущих» Ивана Вишенского было написано до 1596 г., т. е. до Брестской унии (там же, стр. 301—303).

[52] В. Ф. Ржига. Опыты по истории русской публицистики XVI века. Максим Грек как публицист, стр. 31.

вила повелѣвают. Вся бо яже от правовѣрных царей (государей) и христолюбивых князей возложена святым божіим церквам, имѣніа же и стяжаніа на прокормленіе нищим и сиротам, преложиша в своих потребах преизлишних (потребах) и житейских устроен их. Сами бо во всяком прохладѣ и довольством живуще и пространно питающеся и (своя) племенники и сродники обильно обогащающа, а нищіи христовы гладом и наготою и (всяким зло) страданіем погибающе презираеми суть от них»[53].

чи, грошѣ збирают, с тых доходов, на богомолци Христови наданных, дѣвкам своимь вѣно готуют, сыны одѣвают, жоны украшают, слугы умножают, барвы справуют, приателѣ обогачуют, кариты зиждут, възники сытые и единообразные спрягают, роскош свою погански исполняют. А в манастырѣ рѣкь и потоков непрестанно в молитвѣ к небесному кругу текущих иноческого чина по закону церковному видѣти нѣсть, и вмѣсто бдениа, пѣсни и молитвы и торжества духовнаго — псы вьют, гласят и ликуют. . .»[54]

Особенно ярким примером такого противопоставления являются целые риторико-вопросительные публицистические периоды в «Писаніи к утекшим от православное вѣры епископом»[55], самые характерные из которых нами уже приведены выше.

Наиболее созвучными окончанию этого отрывка из сочинения Максима Грека будут следующие слова из «Писанія к утекшим от православное вѣры епископом» Ивана Вишенского: «Не ваши милости ли алчных оголоднѣваете и жаждными чините бѣдных подданых, той же образ божий, што и вы, носячих. . . сами и с гостми ся своими пресыщаете, а сироты церковные алчут и жаждут, а подданые бѣдные и своее неволи рочнего обходу удовлѣти не могут, дѣтми ся стискают, оброку собѣ уймуют, боячися, да им хлѣба до пришлого урожаю дотягнет. . .»; «. . . а бѣдные подданые и ден и ноч на вас трудят и мучат. . .»; «. . . а тые бѣдные подданые и простое сермяжки доброе, чим бы наготу покрыти могли, на мают. . .»; «. . . а тые бѣдници шелюга, за што соли купити, не мают. . .»

Но более всего общность в идейной направленности и художественных приемах ощущается при сравнительном анализе «Инока Максима слова о покаяніи. . .» и «Писанія к утекшим. . . епископом» Ивана Вишенского. Резко обличая «стяжателей»,

[53] «Инока Максима Грека главы поучительны начальствующим правовѣрно». Сочинения, ч. 2, стр. 174—175. В скобках даны дополнения по рукописному сборнику сочинений Максима Грека 1563 г. Государственного Исторического музея СССР, № Хлуд. 73, л. 413—414 (См. Андрей Попов. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, № 73, стр. 150—158).

[54] «Писаніе до всѣх обще, в Лядской земли живущих» (Иван Вишенский. Сочинения, стр. 47).

[55] Там же, см. прежде всего стр. 53—56.

высшее монашество—эксплуататоров закрепощенных крестьян монастырских имений, Максим Грек выступает в защиту «нищих... и убогих, вдовиц же и сирых...», которые «беспрестани тружающеся и томимы в житейских потребах наших, и обильна ся нам уготовляюще, во скудостѣ и нищетѣ всегда пребывают, ниже ржаного хлеба чиста ядуще, многажды же и без соли от послѣднія нищеты»[56]. И как напоминают приведенные выше пламенные восклицания Ивана Вишенского в защиту «бедных подданных» и «сирот церковных» эти обличительно-публицистические строки русского предшественника! Влияние же полемико-публицистического стиля Максима Грека на творческую практику Ивана Вишенского сказалось прежде всего при обличении социальных пороков.

Страстный полемико-публицистический диалог-памфлет Вишенского «Обличеніе діавола-міродержца», написанный, вероятно, специально как вступительная глава для подготовленной самим автором «Книжки» («Термины о лжи») в конце XVI в. (1599—1600 гг.)[57], очень похож — как по идейному содержанию, так и по форме изложения — на известное полемико-обличительное сочинение Максима Грека «Стязаніе о извѣстном иноческом жительствѣ. Лица же стяжующихся: Филоктимон да Актимон, сирѣчь любостяжательный да нестяжательный»[58].

В этом произведении Максим Грек резко выступает против монастырского землевладения. Взгляды автора высказывает Нестяжатель-Актимон, остро обличающий Стяжателя-Филоктимона. В диалоге Ивана Вишенского «Обличеніе діавола-міродержца» спор между діаволом, владеющим материальными благами, и молящимся богу «голяком», монахом-отшельником, по сути дела также касается вопроса о стяжании и нестяжании, т. е. об отношении к богатству, к собственности. Будучи убежденным монахом-аскетом и видя спасение только в бегстве от тяжелой, ненавистной жизни под властью польской шляхты и своих панов, попирающих национальные интересы, культуру и православную веру порабощенного украинского народа, Иван Вишенский стоит на стороне «голяка-странника», защищает его интересы и его устами разоблачает козни «діавола-міродержца», воплощающего всяческое зло на земле.

[56] Сочинения Максима Грека, ч. 2, стр. 129—131.

[57] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 11—15 и 293—295.

[58] Сочинения Максима Грека, ч. 2, стр. 89—119. Рукописный сборник конца XVIII или начала XIX в. ГПБ УССР № 176/673с; «Стязание» сохранилось в двух списках — л. 114 об.—128 об. и 421 об.—430 об. Описание сборника см. в книге: Н. И. Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. III, Библиотека Киево-Софийского собора, № 176 (673), стр. 55—56.

Если у Максима Грека богословско-полемический диалог между стяжателем и нестяжателем представляет собой конкретное обличение реально существующих защитников монастырских и церковных землевладений, то в диалоге Ивана Вишенского, являющемся, по словам Ивана Франко, «немов сповіддю самого автора» [59], мы встречаемся с аллегорическим приемом обличения высшего духовенства и светских феодалов, в частности, — разоблачения разных неблаговидных дел и махинаций, подкупов и взяточничества, процветавших нередко в среде церковников, так же как и шляхты, при получении должностей, чинов и имений. Именно эти гневные обличения и делают диалог Вишенского, как правильно заметил уже А. Крымский, остро полемическим сочинением, направленным против унии и предназначенным для посторонних читателей. «Уния — это и есть «соблазн діаволь» [60]. О лихоимстве и подкупах в среде духовенства, о покупке монастырских должностей говорится и в сочинениях Максима Грека [61].

К аллегории как литературно-творческому приему изображения действительности неоднократно обращался также и русский публицист. Самым ярким и в художественном отношении совершенным примером такой аллегории является «Инока Максима Грека слово, пространѣе излагающе, с жалостію, нестроенія и безчинія царей и властей послѣдняго житія» [62], изображающее «нестроенія» русской жизни периода малолетства Ивана Грозного. Мастерски нарисованная в аллегорическом образе одетой в черное плачущей женщины по имени Василия (по-гречески — царство), Россия жалуется на свою судьбу. Причем Василия, плачущая в окружении диких зверей («и окрест бѣша звѣри, львы и медвѣ[е]ди, и во[ъ]лцы и лиси» [63]), только лишь одному автору, сумевшему расположить ее к себе, поведала свое тяжелое горе, заключающееся в том, что «множайши бо подручников [«обрячников» — по рукописи XVI—начала XVII в.] моих, сребролюбіем и лихоимством одолѣваемы, лютѣйше морят подручников всяческими истязаніи, денежными и нужными строенія многоцѣнных домов, ничем же пособ-

---

[59] Іван Франко. Іван Вишенський і його твори, стр. 91.

[60] А. Крымский. Иоанн Вышенский, его жизнь и сочинения. Оттиск из журнала «Киевская старина», 1895, стр. 48 и др.

[61] См. И. У. Будовниц. Русская публицистика XVI века. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 149—150.

[62] Сочинения Максима Грека, ч. 2, стр. 319—337; см. также Рукописный сборник конца XVI или нач. XVII в. ГПБ УССР № 285п/7, л. 8—18. Описание см. в книге: Н. И. Петров. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве, вып. II. М., 1896, № 285 (доп. 7), стр. 95.

[63] Там же, стр. 319 и л. 8.

ствующи ко утвержденію державы их, но точію на излишнее угоженіе и веселіе блудливых душ их. . .»[64].

Иван Вишенский, также используя аллегорический прием отражения действительности, но в меньшей степени, чем Максим Грек в упомянутом выше «Слове» о «нестроеніях» и «безчиніях царей и властей», — в своем гневном «Писаніи до всѣх обще, в Лядской землѣ живущих» устами плачущей земли (это также и апокрифический мотив) восклицает: «Ознаймую вам, як земля, по которой ногами вашими ходите и в ней же в жизнь сію рожденіем произведени есте и нынѣ обитаете, на вас перед господом богом плачет, стогнет и вопіет, просячи сотворителя, яко да пошлет серп смертный, серп казни погибельное, яко же древле на содомляны, и всемирного потопу, который бы вас выгубити и искоренити (яко да не скврънито большей оную антихристовым безбожным невѣріем и поганским, нечистым и несправедливым житіем вашим) могл, — изволяючи лѣпше пусть в чистотѣ стояти, нежели вашим безбожеством запустошона от хвалы всесилнаго бога, създателя и творца небеси и земли, быти»[65].

Конечно, обличения высшего православного духовенства, замышлявшего уже изменить православию при помощи усиленно готовившейся унии с римско-католической церковью, в послании Ивана Вишенского очень резки, конкретны и откровенны, в то время как упреки (и также обличения) Максима Грека в адрес правителей Василии сдержанны и умеренны, хотя из уст Василии тоже исходят «энергичные обличения сильных мира»[66]. Написанные в разное время и по разному поводу, эти два сочинения русского и украинского публицистов, являясь каждое оригинальным творением своего автора, имеют много сходных моментов и в идейном содержании и в обличительно-публицистических приемах изложения.

Мы рассмотрели наиболее яркие, на наш взгляд, черты сходства в сочинениях Ивана Вишенского и Максима Грека; их вполне достаточно для выяснения вопроса о влиянии произведений русского публициста XVI в. на сочинения украинского писателя.

Итак, подводя итог нашим кратким наблюдениям над общими чертами в творчестве Максима Грека и Ивана Вишенского, можно сделать следующие выводы:

1. Иван Вишенский, несомненно, знал из современных рукописных сборников большинство сочинений Максима Грека —

---

[64] Сочинения Максима Грека, стр. 323; Рукописный сборник. . ., л. 10 об.
[65] Иван Вишенский. Сочинения, стр. 45.
[66] Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 303.

полемических, публицистических, нравоучительных, догматических, считая их (так же как и его современники) важным идеологическим оружием в борьбе против римско-католической пропаганды и против польско-шляхетского господства на Украине и в Белоруссии как еще до массового появления полемико-публицистической прозы в конце XVI—начале XVII в., так и позже.

2. В своей полемико-публицистической практике Вишенский нередко следовал примеру Максима Грека, подражая его полемическим, публицистическим, догматическим и даже иногда нравоучительным сочинениям, что подтверждается примерами сходства литературно-творческой манеры письма, проявляющейся в общности идейного содержания и художественной формы многих сочинений обоих писателей.

3. Общим в творчестве Ивана Вишенского и Максима Грека является:

а) Горячая любовь к родине, к трудовому народу, к православной вере и резко отрицательное отношение к римско-католической церкви (и пропаганде «латинов», иезуитов), острое разоблачение ее догматов, отражавших агрессивные стремления Ватикана расширить сферы своего влияния за счет порабощения православного славянского Востока.

б) Разоблачение и остро сатирическое осуждение антинародных действий живущих в роскоши высшего православного духовенства (властителей церквей и монастырей) и светских феодалов; обличение государственных «нестроеній», вызванных действиями плохих правителей, творящих беззакония, и пламенная защита порабощенного простого народа, «нищих», «серомах убогих и голых», «бедных подданных», «сирот церковных», «подручных селян» (закрепощенных крестьян) в духе церковно-христианской морали — без призыва к борьбе против существующего феодально-крепостнического строя.

Призывы же Ивана Вишенского к полному отрицанию враждебного и несправедливого строя Речи Посполитой способствовали пробуждению угнетенных масс народа.

в) Критический подход к изображаемой действительности, отражение социальных, классовых противоречий, несмотря на внешнюю религиозную окраску произведений, ибо «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития»[67], а «чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение,

[67] В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 223.

необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде»[68].

г) Частое обращение к диалогической форме построения обличительно-полемических сочинений, обычно именуемых авторами словами, посланиями, писаниями и т. д.

д) Употребление предложений сходной синтаксической конструкции; нагромождение сходных между собой по значению и звучанию слов (нередко неологизмов), тропов и фигур; использование риторических вопросов и восклицаний (в большинстве случаев с резко отрицательным смыслом), которыми часто начинаются фразы, — т. е. своеобразных зачинов, объединяемых обобщающим словом или фразой и в ряде случаев способствующих ритмизации полемико-публицистической прозы, а также лаконизму изложения, и т. д. — с целью более глубокого и всестороннего раскрытия темы сочинения.

е) Стилистическое противопоставление (православия — католицизму, унии и ересям; роскошной и развратной жизни богачей, светских и церковных феодалов — крайней бедности и нищете простого, трудового народа; патриотизма, любви к родине и родной вере — предательству, измене родине и православной вере; монахов-нестяжателей, «голяков-странников» — стяжателям, «діаволам-міродержцам»; сребролюбия и лихоимства эксплуататоров — бедности и моральной честности простого народа; напыщенности и чванства господ, шляхтичей и высшего духовенства — простоте и скромности трудового люда, рядовых верующих и т. д.) — как один из самых распространенных приемов в русской и украинской публицистике, уходящий своими корнями в устное народное творчество, а также в литературные традиции Киевской Руси.

ж) Лирические отступления, аллегорическая форма изложения и вставки повествовательных элементов (небольших повестей, рассказов и притч) в полемико-публицистические обличительные сочинения — своеобразное чередование обличительных и повествовательных моментов — для большей выразительности и художественности изложения.

з) Стремление к правдивому изображению действительности, к созданию образов людей, несмотря на жанровые особенности полемико-публицистической прозы (подлинных литературных героев-типов как в русской, так и украинской литературе XVI—XVII вв. еще не было[69]).

---

[68] Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. Госполитиздат, 1955, стр. 50—51.

[69] См., например, статью Д. С. Лихачева «Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в.» («Труды Отдела др.-русск. лит-ры

4. Однако в творчестве Максима Грека и Ивана Вишенского при наличии большого сходства есть и много различий. Своеобразие и самобытность творчества каждого из них сделали этих двух выдающихся общественно-политических деятелей оригинальными представителями одного русской, а другого — украинской литературы.

5. Сравнительный идейно-художественный анализ произведений Ивана Вишенского и Максима Грека помогает выявить не изученные еще любопытные и значительные для истории русской и украинской литератур факты культурного единения двух братских народов, благотворного влияния прогрессивной русской литературы XVI в. на развитие украинской литературы периода ожесточенной борьбы украинского народа против иноземного порабощения, за воссоединение с братским русским народом.

Института русской литературы АН СССР», т. VIII, 1951, стр. 218—234), представляющую собой попытку выяснить «изменение в отношении авторов XVI—XVII вв. к человеческому характеру» и появление «новых реалистических элементов в русской литературе» (там же, стр. 234).

Новица Шаулич

Белград

ПРИЧИТАНИЯ В ЛИРИЧЕСКОЙ И ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Издавна у всех народов победу встречали радостным кличем, а весть о поражении — печальными возгласами. Так было и у славян:

Кликом плъкы побѣждаютъ
Звонячи в прадѣднюю славу [1],

— говорится в «Слове о полку Игореве». В другом месте автор «Слова», прославляет храброго Всеволода, обращаясь непосредственно к нему. Когда Игорь возвращается к себе, девушки на Дунае прославляют его песней [2]. Вероятно, такой же обычай существовал у чехов и у поляков, хотя памятники народной поэзии у них не сохранились из-за церковных запретов и рано возникшей художественной литературы. Все же в хронике Бельского упоминается, что Казимира встречали песней на пути в Краков [3]. В чешских летописях упоминается carmen bellicum 1175 г., и если предположить, что молодые дворяне в 1158 г. пели на латинском языке об осаде Милана [4], то нельзя сомневаться в том, что и народ эмоционально реагировал — совершенно естественно, на своем родном языке — на важнейшие события в общественной жизни. Гундулич, полагаясь на свое воображение, а может быть, на рассказы, упоминает о том, как полячки песней встречали победителя, королевича Владислава [5],

---

[1] Слово о полку Игореве. М.—Л., Изд-во АН СССР, Литературные памятники, 1950, стр. 21.

[2] Там же, стр. 30.

[3] F. L. Čelakovský. Slovanské národní písně, III, стр. 223.

[4] V. Jagić. Gradja za narodnu slovinsku poeziju. «Rad JAZU», XXXVII.

[5] I. Gundulić. Osman, IX pevanje, ст. 121—164.

а по другому случаю один юноша, гарцуя на коне перед Владиславом, воспевал польских и сербских юнаков [6].

В сербской народной песне «Царь Лазарь и царица Милица» слуга Голубан, сообщая царице Милице о событиях на Косовском поле, прославляет Милоша Обилича:

Милош згуби Турског цар-Мурата
И Турака дванаест хиљада;
Бог да прости, ко га је родио!
Он остави спомен роду Српском,
Да се прича и приповиједа
Док је људи и док је Косова [7].

В песне «Дмитрович Стоян и визирь Травника» (XVII в.) гусляр прославляет Стояна и его рать за победу над визирем:

Onda srca odmoriše,
Sokolove sahraniše,
Spjevan megdan zadobiše [8].

Короткие песни, вызванные радостным ощущением победы и освобождения (подобные русским частушкам), пелись во время второй мировой войны как русским, так и другими славянскими народами. Когда приходит весть о гибели, причитают. И в наше время в глухих горных селениях Югославии в таких случаях разносятся плач и причитания женщин по умершим. Как только люди осознают горе, раздаются восклицания: «Ох, Мирко сыне, горе мне, матери!» — «Ох, горе мне, сын, ох, горе мне, брат!»

Когда весть о смерти овладевает сознанием, чувства выливаются в поэтическую форму, возникают причитания, содержанием которых является печаль об умершем и желание его прославить. В кратких похвалах и причитаниях содержатся основные элементы развития эпических песен.

Оба эти вида предшествуют героическим песням: они могут быть их основой, проходят через различные фазы их содержания и оказывают влияние на эпические песни, так как и прославление и оплакивание героя связано с изложением событий. Но по своему происхождению и хвалебные песни и причитания — прежде всего лирические песни. «Желанного брата помянуть, как на солнце взглянуть», — причитает плакальщица.

---

[6] Osman, X, ст. 45—252.

[7] Вук Стеф. Караџић. Српске народне пјесме, књ. II. У Бечу, 1875, стр. 295.

[8] Из материалов Н. Шаулича. Из этих материалов взяты и остальные данные и стихи.

«Как будто с погибшим братом разговариваю, когда тужу о нем,» — говорила другая. Такие причитания — обычные лирические импровизации.

Наряду с любовью живет желание воскресить мертвых при помощи песен, как бы продлить их жизнь в памяти живых, особенно в тех случаях, когда они прославились героическими делами.

Nije lako junak biti,
A ni rane zadobiti, —

восклицает Яня Булаич. Плакальщицы считают своим долгом прославление мертвых героев и придумывают, как и гусляры, о чем рассказывать. Гроздена Вукович рассказывает, как она поклялась своему умирающему дяде, что будет его поминать в песнях до самой смерти. Желание оставить о мертвых добрую память современникам и потомкам, чтобы «сохранилось их имя», как говорят женщины из народа, или, по словам П. Негоша, чтобы «имена их вечно поминали», — и есть главный импульс как причитаний, так и героических эпических песен.

Восклицания, общие в славянских причитаниях: куку! леле! (ох, горе мне! ох, несчастная! Ср. halele! у поляков) — свидетельствуют о том, что славяне причитали еще в те времена, когда они были объединены. Согласно летописям, и у западных славян были причитания. В связи с поражением, которое потерпели поляки от пруссаков, у летописца Кадлубка читаем о различных причитаниях (lamentationum varietates), которые помнятся и передаются (usque hodie lugubriter deplangunt) [9].

То, что эти ламентации действительно означали женские причитания, доказывает польский философ Петрица (умер в начале XII в.), характеризуя их как «spiewanie piesztzone jako są lamenty» [10].

В хронике Бельского упоминается песня на смерть жены князя Пшемислава Лукерды; как говорят, летописец Длугош слышал ее в Польше [11]. Эта песня была выражением народной печали о молодой княгине, убитой мужем в 1283 г., и пелась (на народном языке) в укор князю, который не в силах был заглушить народную молву. В письме Мелеция Г. Сабинову упоминаются старые польские похоронные песни [12]; из выдержек видно, что это просто народные причитания. До наших дней причитания сохранились у русских, сербов и болгар.

---

9 V. Jagić, стр. 59.
10 Там же, стр. 107.
11 F. L. Čelakovský, III, стр. 223.
12 V. Jagić, стр. 53.

Простые по форме, обычно лишенные художественной ценности, причитания встречаются в Истрии, Далмации, Македонии. Благодаря переселению причитания вновь появлялись и в тех областях, где они уже исчезли. Так, после первой и второй мировых войн переселенцы из горных юго-западных областей Югославии перенесли причитания в Воеводину, где они уже почти совсем исчезли из обычая.

Так же как и в России, где обычно выделялись своими причитаниями те области, которые были удалены от культурных центров, но где тяжелые условия труда не умалили поэтического вдохновения (северные области, например, где занимаются рыболовством, плетут сети, разводят скот), так и у нас, в Югославии, наиболее яркие причитания встречаются в тех областях, где почти единственным средством передвижения была горная лошадь и где крестьяне работали только два летних месяца, в таких, как Герцеговина, Черногория, где люди большею частью погибали, нежели умирали своей смертью.

Большое число причитаний появляется в первый год после смерти человека или, как говорят у нас в народе, во время «тяжелой скорби» («teške žalosti»). То же самое бывает, но в более широких масштабах, и в первые годы после войны.

Ier junaci izgiboše,
A mi pjesme kao vazdan
U žalosti otpjevasmo —

так передает в причитании общее мнение девяностолетняя Тияна Андрияшевич из Граховского округа (1915).

Вполне естественно, что войны способствуют развитию причитаний. Нас убедил в этом сбор фольклорного материала непосредственно после балканских войн и первой мировой войны [13].

В те времена не только почти каждая вторая или третья женщина оплакивала погибшего, но даже и девушки причитали, хотя это и не было обыденным явлением. Причитали группами по 15—20 человек, как бы следя одна за другой, чтобы ни одна не нарушила общего выражения скорби — ни движением, ни мимикой, ни голосом, ни даже длительностью того пронзительного крика, которым они начинают свое причитание. Иногда, воспевая героя, в своих плачах плакальщицы от скорби переходили к прославлению победы. Во время и после балканских

---

[13] N. Šaulić. Spskke narodne tužbalice. Beograd, 1929; N. Šaulić. Tužbalice. «Zbornik Etnografskog muzeja», u Beogradu, 1953, стр. 316—327. Кроме того, часть материала потеряна во время войны, а часть не опубликована.

войн, когда Косово было освобождено, плакальщицы часто воздавали славу косовским мстителям. В книге о черногорцах[14] Люба Ненадович вспоминает, как черногорки оплакивали косовских юнаков. Это было во время пребывания Ненадовича в Черногории в 1875—1877 гг., когда война с турками усиливала воспоминание о Косове.

Этнографическая работа в Черногории и Герцеговине, а частично и в Сербии, убедила нас, что любовь к покойнику и родственная гордость побуждает плакальщицу — наряду с прославлением предков погибших или героев отдельных родов — поминать и героев, широко известных народу, причем почти всегда поминаются косовские юнаки.

Таким образом, благодаря широкому изложению событий, причитания приобретают эпические элементы, а поминание героев, сохранившееся в народной традиции — рассказе и песне, получает новое значение. Плакальщицы вносят эпический элемент в свои песни и тогда, когда, описывая сражение или какое-либо общественное событие, выступают с его критикой или призывают к дальнейшей борьбе. При этом нельзя забывать, что эпические песни, как и причитания, развиваются в одной и той же среде, в одних и тех же жизненных условиях, взаимно влияя друг на друга. Только восьмистопный стих, который гораздо живее десятистопного, показывает, что приводимый нами ниже отрывок взят из причитания, а не из героической песни:

Zapištaše jasne trube,
i topovi gradolomni,
potrese se crna zemlja,
naoblači vedro nebo.
U junaka srce igra,
i puca mu brzometka,
obliježe dušmaninu.
Ne vide se mladi momci,
iz oblaka vatre žive,
ne smeta im oganj — vatra,
iz pušaka i topova,
niti vode bez gazova,
no naprijed jurišaše,
car Lazara osvetiše,
i Kosovo pridobiše,
iako su izginuli,

---

[14] Љубомир Ненадовић. О црногорцима. Писма са Цетиња 1878 године. «Српска књижевна задруга», књ. 212. Београд, 1929, стр. 75.

ime im je ostanulo,
ka Milošu i Bogdanu[15].

Такие и подобные им картины эпического характера, показывающие общность чувств, охватывающих все общество, могут быть перенесены в героическую песню.

Приводим еще один пример, взятый из эпохи первой мировой войны:

Evo jada isprijeka,
od proklete Austrije
što je čilna i odmorna.
Naša vojska umorena,
i to što je ostanulo,
kosti su im izlomljene
od tegobne municije.
Oči su im zamorene,
sve od one žive vatre.
Uši su im proglunule
od topova i pušaka,
Noge su im raspadene,
u obući dnevi noći.
Ruke su im iznemogle,
sve držeći bojne puške;
tri godine vojujući
svojoj kući ne hodeći.

Встречаются и описания мест, где велась борьба, и картины природы, как в русских причитаниях, — «лесы дремучие, высоки горы толкучие, дикие болота».

В русских причитаниях повествовательный элемент чаще всего находим в северных краях, где причитания большей частью сохранились. Вместо описаний боев в них рисуется картина общественных отношений, причем экономический фактор часто выдвинут на первый план. Женщина жалуется на то, что некому ребенка поставить на ноги, мать умершего — на то, что некому ее будет кормить. То же самое, разумеется, встречается и в сербских причитаниях[16], но в меньшей мере, в то время как героический дух в них проявляется в большей степени. Классический пример развития повествовательного (описательного) произведения, когда оно получает тип лирико-эпического причитания, мы находим в плаче Ксении Борисовны, где, помимо излияния скорби, описываются события после

---

[15] N. Šaulić. Srpske narodne tužbalice, стр. 25.
[16] N. Šaulić. «Zbornik Etnografskog muzeja», стр. 316.

смерти Годунова[17]. Интересно напомнить, что и в русских причитаниях существует стремление к метафизической созерцательности, описываются места, куда переходят души умерших. Это «неизвѣстное живленьице» представляет блаженный мир (нирвану), хотя и в образах конкретной действительности:

Туды ветришки ведь е не провевывают,
Лютое звирье не прорыскивае,
Малая птиця не пролетывае,
Не прихожіих туды, не проезжіих;
Хоть не дальняя сторонка — безызвестная,
Не колодист туды путь — безповоротной[18].

Сербские причитания, между тем, наряду с потрясающими картинами физического разрушения тела в гробу (что встречается и в русских и болгарских причитаниях), представляют загробную жизнь как продолжение земной; изображается учение в школе, уход за больными, выбор сватов, поддержка родственных связей и дружбы.

Da sa sinom ikog ima,
manje bi mi jada bilo,
tuda niko ne dolazi
osim vuci i bauci,
i nesretni gavranovi,
te junačke kosti nose, —

причитает мать капитана Петра Калевича над его одинокой могилой. Следует упомянуть, что описательный эпический элемент в причитаниях проникнут чувством. Это не простое спокойное объективное описание — в нем гордость за героев и затаенная грусть.

Poznah sliku sina mila
po visini stasa divna, —

тужит мать Калевича, когда она по размерам могилы узнает, что в ней похоронен ее сын.

Люция Крстаич из Пашине Воде (под Дурмитором), причитая над братом Михайлом, рисует такую картину:

Sad će momci na livade,
ponijeće oštre kose,
u velike sjenokose.

---

[17] В. В. Сиповский. Историческая хрестоматия по истории русской словесности, т. II. СПб., 1908, стр. 78.

[18] Е. В. Барсов. Причитанья Северного края, ч. 1. М., 1872, стр. 191.

Tvoja kosa pusta stoji,
a o trnu obješena,
kako vjetar popujuje,
tako kosa podzvekuje.
Po njoj rdja popanula,
tvoja ruka opanuła.

Развивая причитание в эпическое произведение, Милосава Кнежевич-Цицмил из Пивы дает драматическое и одновременно лирическое описание гибели своего единственного брата:

Moj Aleksa, žarko sunce,
na nebu mi sunce spade,
u sinje mi more pade.
Što ti, sestro, sada osta?
Sve u tami s kraja tvoga,
Sve ti, brate, pusto osta
vrani konji nejahani,
a volovi nevatani,
a čaktari poskidani,
pa složeni u atule [19]
Ljeti ovce predavuše [20]
A zimi su razdavuše [21].
Livade ti nekošene,
a njive ti neorane,
po njima se guje legu,
te ti oči sestri vade,
i kukaloj staroj majci.

В этом причитании Милосава искусно рисует эпическую картину борьбы, которую вели ее предки, до того времени, когда ее двоюродные братья — двадцать братьев Кнежевичей — пошли отомстить за Косово:

S Pivljanima, Drobnjacima,
sa dičnijem junacima.

Но случается, что в причитании личное переживание оттесняется перед лицом событий общего значения и тем самым отдается предпочтение эпическому элементу.

---

[19] *Атул* — карниз, пустое место между перекладинами.

[20] Дают другим овец на откорм на зимний период с обязательством платить или возместить сеном.

[21] Даются в бесплатное пользование, что обычно делалось в случае, если дом осиротел или лишился рабочей силы.

Znadoste li, ljudi naši,
kad pogibe zmaj u more?
Kad pogibe knjaz Danilo,
od nesretne ruke naše,
svi se za njim zacrnismo
i iz srca pomislismo
da ni neće bog pomoći.
Brzo nama bog pomože,
zaknjaži se knjaz Nikola;
u boj lete Crnogorci,
vitezovi bez uzmaka.
Ruke im se poduljile,
sablje im se naoštrile,
dje dospjeli svud dobili,
da Srbima carstvo bude.
Ja sam jadna poginula,
i od roda i od doma!

Личная скорбь здесь оттеснена к концу причитания. В песне сильнее звучит ратное воодушевление, нежели переживание оплакивающей погибших родственника и мужа. Это причитание сказывала (вернее — пела) под Острогом около церкви после первого сражения 1875 г. дочь Ёка Пайовича из Пожара (недалеко от Подгорицы-Титограда).

У нас есть записанная в эпоху первой мировой войны небольшая эпическая песня матери (подражающая гуслярам). Мать жалеет, что больная, и не может помочь своим сыновьям, находящимся на фронте. Приводим часть песни:

Polećela ptica lastavica
od mojega visa Durmitora,
od Lovćena, visoke planine,
dolećela šeher Sarajevu,
Dje l' ostaše bjeli labudovi?
To nijesu bjeli labudovi,
no četiri dožudnika sina
A u njih mi ženske glave nema,
no im misli ostarela majka,
koje je želela da rodi,
pa im jadna u bolnici pišti.

В песне восьмистопный ямб расширен посредством эпитетов до десятистопного.

Плакальщицы оказывают влияние на гусляров, особенно эпической стороной своих песен, и в то же время сами заим-

ствуют многое из гуслярских песен. Такое взаимное влияние объясняется тем, что и гусляры и плакальщицы стремятся прославить героев.

Часто бывает так, что талантливые плакальщицы происходят из того же края или, более того, из той же семьи, что и хорошие гусляры. О сестре Милосавы Кнежевич, причитание которой мы приводили, Дуне Кнежевич (по мужу Данилович) говорилось, что «никто не слышал лучшей плакальщицы, чем она». В этой семье было несколько хороших гусляров. Об одной отличной плакальщице мне сказали: «Она оплакивает покойного отца так же, как он когда-то сам пел».

Север Урала также славится своими причитаниями и эпическими песнями. Плачи, вопли, причитания встречаются преимущественно там же, где и былины (старины, старинушки). Существует еще одна причина эпического развития причитаний, на которой до настоящего времени не акцентировали внимания. Она заключается в том, что в причитаниях отражается не только народная жизнь и борьба, но и критика общественных порядков. Барсов хорошо заметил, что причитания представляют собой «внутреннюю народную историю». Интересно, что нам удалось встретиться с подобным мнением и у черногорского (позднее югославского) генерала Митра Мартиновича, который наслушался много причитаний после боев: «В оплакиваниях слышишь историю и критику. Когда погиб князь Данило, воевода Мирко привел двух плакальщиц, одну из Баица, а другую из области Риека, и они обе в причитаниях напали на княжеское окружение за то, что оно не смогло защитить князя: они, женщины, вооруженные прялкой, лучше бы вели себя, чем вооруженная дружина».

Марица, дочь Максима Бацовича, известного героя Герцеговинского восстания 1875 г., в своем причитании обвиняет правительство короля Николы в том, что оно довело страну до рабства и что молодежь в стране погублена. Тяжело приходилось мужчинам принимать критику, исходящую от женщин. П. Негош хорошо это знал, поэтому и в «Горном Венце» использовал психологическое влияние причитания на развитие действия: укор сестры Батрича способствует решению вождя начать борьбу против мусульман.

В те времена, когда печатное дело было развито слабо, а особенно в областях, куда печатное слово почти не доходило, причитания были настоящей общественной критикой. Они влияли на общественное мнение. Прославляя героев, причитания клеймили позором предателей народного дела и поднимали на борьбу против угнетателей. Когда одну плакальщицу пред-

упредили, чтобы она не говорила ничего против турок, так как присутствовал паша (который не знал сербского языка), она громко во весь голос продолжала:

Ja ne marim što je paša,
no ja žalim što car nije,
da i njemu rečem dvije.

В русских причитаниях по воинам мы также встречаем острую критику царских властей. Подобная критика приводила и русских и сербских плакальщиц к изложению событий, а это означало внесение эпического элемента в причитание.

Великая скорбь исключает песню, танец или какой бы то ни было признак веселья. Летописец Мартин описывает, как это было у поляков после смерти Болеслава Храброго[22]. У сербов убирались гусли, «skrajnu», поэтому и прославление героев первое время скорби выпадало на долю женщин. Поэтически одаренные, жившие в среде гусляров и юнаков, они умели это достойно выполнить. И позднее, обходя воинов на полях битвы, разнося им одежду и пищу, женщины были не только свидетельницами, но и участницами борьбы; отсюда такое знание событий, такая осведомленность в передвижении войск, свежесть и взволнованность эпического изложения военных приготовлений, выхода и движения войска, борьбы, гибели, воспоминаний о былых ратных подвигах. Таким образом, причитания, сохраняя лирический характер, принимают и эпическую окраску. Многие плакальщицы из Черногории и Герцеговины выделяются в этом отношении. Упомянутая Тияна Андрияшевич, которая причитала многие годы, начиная от черногорско-герцеговинских боев против турок с Али-пашой вплоть до освобождения 1918 г., всегда поминала, наряду с современными и давно забытые события, свидетельницей которых она была (например, смерть Петровича у Челинского потока в 1836 г.). Много пережив, как сама она говорила, — «много накопилось в этой голове и в этом сердце», — Андрияшевич приобрела философский взгляд на жизнь, искусно и сжато охватывала в своих причитаниях многие события, известные ей, придавая своей скорби тем самым эпический характер.

Из многих плакальщиц, умевших эпически развивать причитания, упомянем только Джюрджу Лакушич. В России тоже были искусные плакальщицы — Ирина Федосова, Ирина Калиткина, Афросинья Ехалова, Мария Федорова и другие.

---

[22] V. Jagić, стр. 57.

Позднее, после того как пройдет первая печаль, у сербов опять берутся за гусли, чтобы показать боевые события в перспективе, так как рассказы дали довольно материала для детального развития эпической песни с широким показом подготовки и самого хода борьбы, с подвигами отдельных героев.

Причитания все же появляются иногда в зачаточном виде и в самих эпических песнях. В эпической песне девушка-косовка оплакивает потерянное счастье:

Јао јадна! Уде ти сам среће!
Да се, јадна, за зелен бор ватим,
И он би се зелен осушио [23].

В песне «Мать Юговичей» приводится плач матери над рукой сына, которую вороны несут с поля битвы:

Моја руко, зелена јабуко!
Гдје си расла, гдје л' си истргнута!
А расла си на криоцу моме,
Истргнута на Косову равном! [24]

В обоих случаях налицо тенденция отодвинуть личные чувства на задний план, но они, однако, все-таки пробиваются, иначе «сердце разорвется от жалости».

Разыскивая родственников на Косовом поле, царица Милица находит обезглавленное тело своего младшего брата и с плачем приговаривает:

Milivoje od istoka sunce,
a kamo ti tvoja rusa glava? [25]

Точно так же внесено причитание в эпическую песню «Смерть Йовы Деспотовича» [26]. В одной из лучших сербских эпических песен «Женитьба Милича» жених скорбит над мертвым телом невесты [27].

В былине о Михайле Казаринове Марфа Петровна, попав в рабство к татарам, тоскует:

О злосчастная моя буйна голова!
Горе-горькая, моя руса коса,
А вечор тебя матушка расчесывала,
Расчесала матушка, заплетала.

---

[23] Вук Караџић, II, стр. 319.
[24] Там же, стр. 306—307.
[25] N. Šaulić. Kosovo. Srpske narodne pesme. Beograd, 1939, стр. 188.
[26] Вук Караџић, II, стр. 572.
[27] Вук Караџић, III.

Я сама, девица, знаю, ведаю,
Расплетать будет мою русу косу
Трем татарам наездникам [28].

Важное место в «Слове о полку Игореве» занимает плач Ярославны, сложный по выраженным в нем чувствам: ему безусловно должна была предшествовать более простая форма причитаний в эпоху родового строя. Более того, Барсов нашел народное причитание, сходное с плачем Ярославны [29]. В болгарской народной песне Марко убивает сына, и сноха Марка оплакивает убитого жениха [30].

Обычно чувства в причитаниях — личного и родственного содержания, но встречаются и чувства более широкого, общего характера. Это — та самая тяжелая тоска, «печаль жирна», которая разлилась и «течет» по русской земле после поражения Игоря. Это — горькое рыданье, вопль по Косову во всей сербской земле: «Их нельзя ни с чем сравнить, настолько воздух наполнился ими» [31].

Сербские народные песни о Косове из-за поражения сербов сохранили в себе часть причитаний, а там, где говорится о гибели («Dje smo bili, dje smo izginuli»), — все особенности причитаний, вплоть до интонации в припевах и в подражании мелодиям гусляров, в передаче всхлипываний и ойканья плакальщиц, в имитации ударов пальцами по струнам.

По той же причине (из-за поражения) и в «Слове о полку Игореве» приводятся четыре причитания, а пятое упоминается; таким образом, «Слово» включает в себя элементы причитания.

Впервые причитание встречается, когда русские женщины восклицают, что они не смогут своих милых

Ни мыслию смыслити,
Ни думою сдумати,
Ни очима съглядати;

второе — когда бояре скорбят об Игоре и Всеволоде; третье — там же, когда Святослав «проронил золотое слово» (по сути дела — причитание над своими племянниками); четвертое — прекрасный плач Ярославны. Пятое причитание только упоми-

---

[28] «Былины». М., Гослитиздат, 1955, стр. 136.

[29] Е. В. Барсов. Причитанья Северного края, ч. II. М., 1882, стр. LIII—LV.

[30] «Зборник за народни умотворения и народопис». София, 1949, стр. XLIV.

[31] «Старе српске биографије XV и XVII века». «Српска књижевна задруга», књ. 265. Београд, 1936, стр. 65.

нается, но не приводится: это плач матери о молодом князе Ростиславе. И сам автор «Слова» с горечью восклицает: «О Руская землѣ!»

Влияние причитаний как поэтической формы огромно. Они перешли и в короткие лирические сербские, русские, чешские и болгарские песни, особенно в тех случаях, когда поется о несчатной любви:

Уж как мне не плакать, не тужить —
Мне такого дружка не найти.

В одной болгарской лирической песне мертвая девушка отзывается подруге, которая о ней «плакала и поминала»; в другой песне больная девушка сама складывает для себя причитание, думая, что ее слушает пастушья свирель:

Тоне, моме Тоне,
Твойта руса коса
Змейка я опаса.
Твойта бяло лице
Мухъл го изяде,
Твойте черни очи
Змейки ги испиле.

Трогательна жалобная песня матери Думчо о своем сыне, убитом около Розенского моста [32]. В болгарских народных лирических песнях горы, лес и птицы тоскуют по Инджил-воеводе, а Старая Планина — по вытоптанной траве [33]. Можно сказать, что у всех славянских народов в лирических песнях есть краткие причитания.

В этом отношении богатый материал дают сборники Ладислава Франтишка Челаковского (I — 1822, II — 1825, III — 1827), в которых в известной мере показаны различные виды народного песенного творчества славян. Хотя Челаковский ошибался в фольклорной документации, рассматривая Качича как народного певца, и вносил в сборник наряду с действительно народными песнями, которых у него большинство, также и песни «на народный манер», составленные им и его друзьями с целью пробуждения национального самосознания у чехов (книга содержит песни Ганки, Камарита, Полака и Ретиговой), — все же сборники Челаковского являются ценным памятником сравнительной этнографии. Из сборников видно, что тужат не только

---

[32] Б. Ангелов и Х. Вакарелски. Трем на българската народна историческа епика. София, 1940, стр. 210—211.
[33] Там же, стр. 298—299.

по мертвым: в русских любовных песнях больше грусти, нежели радости; грусть («кручина», «злодей-тоска») пронизывает и свадебные песни.

Жизнь дает много поводов для печали, и поэтому лирическая песня часто превращается в причитание. Горюет молодая жена, что ее выдали замуж, позарившись на богатство; заключенный в темнице тужит, что не может увидеть родной край, родителей, не может поцеловать молодую жену, позаботиться о детях. Причитают, если любимый сын уходит в войско (известны русские солдатские причитания). Причитает девушка, если другая прельстила ее милого. В русской и польской песне раненый воин говорит молодой жене, что приняла его «мать сыра земля». В одной украинской песне потрясает своим драматизмом причитание — диалог матери с сыном. Когда конь один возвратился домой, мать заплакала:

Kolib bila zenzulenka,
Ia by politela,
Šelab, pala na mogilu
Day skazala kuku
Podaj mi sinočku
Chotia jednu ručku.

Сын отвечает:

Už rad by ja moja mati
Obi dvi podati,
Nasipali zemli mnoho
ne mohu podniati.
Stulilisia slatki usta
ne mohu promluviti
Somknulisia jasni zorki
ne mohu proglianiti [34].

В сборнике «Исторические песни малороссийского народа» В. Антоновича и М. Драгоманова (Киев, 1874), в связи с известным мотивом продажи дочери, сестры (реже матери) ради выкупа из плена, есть прекрасная моравская песня о том, как девушка в таком положении покончила с собой, а молодой турок-жених трогательно причитает над ней. В этом же сборнике приводится плач вельможной пани об утонувшем любовнике и плач матери утопленника, откуда видно, что у украинцев (а может быть, и у поляков, если певец брал для своих песен сюжет из действительности), существовали причитания, связанные с описанием событий.

[34] F. L. Čelakovský, I.

Некогда причитания встречались в народных повествованиях и преданиях. Так, например, они сохранились в предании о поисках убитых и раненых под Скадром. В русской народной сказке «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» приводятся причитательные стихи. Более того, причитания можно обнаружить в шуточных рассказах (в прозе или в стихотворной форме).

Da pogibe u boj ljuti,
Ubojniče,
Već na vrata od pojate,
Moj dorate! —

причитала одна женщина, поминая одновременно и мужа и коня, который ударом копыта в лицо убил воина. В русской народной шуточной песне причитают над раздавленным комариком. В болгарской песне мать тужит о сыне, который притворился мертвым, чтобы похитить девушку, когда она придет его оплакивать. Причитание проникло и в народную пословицу. Это можно услышать в Герцеговине: «Ох, горе мне (или: несчастная я), еще с того времени, как Лазо погиб на Косове». Так как оплакивание было общим обычаем не только в простом народе, но и среди дворянства, причитания перенеслись и в феодальную литературу. В славянских биографиях, летописях, записях, надписях есть большое количество примеров причитаний.

В русских летописях находим оплакивание разрушенных городов. В повести «Слово о князе Лазаре», написанной архиепископом Данилом в 1392—1393 гг., упоминается причитание царицы Милицы во время перенесения мощей Лазаря из приштинской церкви в Раваницу: «Čujte kako uzdišem, kako tužim i nema mi utešitelja. Devojke moje i momci moji u sužanjstvo podjoše. Obezdeti me mač kao smrt u domu i svi neprijatelji moji čuvši zla moja uzradovaše se. Sve ovo primih nenadežno (šta me snadje iznenada, kaže narodna tužilica) nadah li se ja da ću ovo postati i lišiti se supružanstva i slatkog mi i ljubaznog gospodina kneza sa svetlim izabranim i veoma muženstvenim i hrabrim oružnicima. Usplačite sa mnom polja i udolja i koji sa ovima u putenoj i krvnoj zajednici biste ridajte sa mnom». «Многие плачут подобными словами», — пишет Данило, давая, может быть, причитание Милицы в своей стилизации; но его описание тождественно состоянию современного причитания.

Жена деспота Углеши Елена (монахиня Ефимия) не только выразила личную скорбь о единственном сыне в Хиландарском диптихе[35] (в надписи на покрове), но, обращаясь к князю Ла-

[35] Đorđe Radojičić. «Republika», 1955, № 523.

зарю, оплакивала положение в стране после поражения на Косове.

В средневековой литературе славянских народов, как и в народных песнях, можно найти много примеров причитаний. Летопись о нашествии на Рязань написана в тоне причитания. Летописец Нестор говорит о том, что князя Олега оплакивали «все люди». Уже упоминалось о причитании бояр в «Слове о полку Игореве». Родители Растка Неманича, когда он убежал из дому в монастырь, плачут. Воеводы, которые пошли, чтобы его вернуть, увидя, что он постригся в монахи, оплакивают его. По деспоту Стефану Лазаревичу причитают и сербы и венгерские наемники. В эпической народной песне «Смерть Каицы-воеводы» деспот Джураадж оплакивает Каицу[36]. В русской народной песне Иван Грозный оплакивает сына Федора. В народном предании под Дурмитором упоминается о том, как поп Стеван Булаич оплакивал героя Герцеговинского восстания (1875 г.) Максима Бачевича. Герцеговинский военачальник и знаменитый гусляр Стеван Плоска пел под гусли, оплакивая своего сына: «Crni vrane, Ploščiću Šćepane, — так начал он, — Vukašine, moj jedini sine». После этого причитательного введения он перешел к героической песне.

В заключение можно сказать, что причитания, как и лиричекие песни появились раньше эпических песен. Для них необходимо только сильное чувство. Размер причитаний — восьмистопный стих (основной стих сербских и болгарских причитаний); в русских причитаниях стих более разнообразен. Совершенно естественно, что как только печаль утихнет, чисто эмоциональный элемент отодвигается на задний план: рассматривается событие, прибавляется описание личности, среды, природы. Фантазия, важный элемент эпических песен, меняет исторические факты, смягчает поражение. Женщины вносят в прославление мертвых и в описание боев повествовательный элемент, создавая переходный тип лирико-эпических причитаний, пока печаль не изгладится, а крупных героев продолжают воспевать в эпических песнях. Чем дальше от эпохи, когда произошло событие, тем больше герои принимают гиперболические размеры, а как долго это может продолжаться — лучше всего нам доказывают былины, сербские и болгарские народные песни. Но как причитания влияли на развитие эпических песен и даже на художественный эпос, так же и плакальщицы учились у певцов эпических песен. Лучшим доказательством этого, как мы уже упомянули, является то, что и причитания и героические

---

[36] Вук Караџић, II, стр. 471.

песни и у русских и у сербов появлялись в одних и тех же местностях.

На основе изложенного выше можно сделать следующие выводы: 1) причитания, как непосредственное излияние чувств, старше эпических песен; 2) причитания и эпические песни тесно связаны между собой, так как возникли в одной и той же среде, в одних и тех же условиях, располагают одним и тем же материалом и поэтическим арсеналом, поэтому легок переход от причитания к эпической песне; 3) причитания влияли не только на лирическую и эпическую народную поэзию, но и на прозу, где они часто встречаются в отдельных отрывках, а также и на разные виды средневековой литературы; 4) причитания, по времени возникшие раньше эпических видов литературы, наложили на них свой отпечаток, так же как и сами обогащались под влиянием эпических героических песен. У сербов гусляр и плакальщица на публичных сборах соперничают между собой в воспевании мертвых героев.

Причитания и героические народные песни возникают в атмосфере самопожертвования и сильной духом народной сплоченности, которая оказала отпор врагам. Развитие причитаний и героических народных песен различно у славянских народов и обусловлено специфическими условиями жизни. Но у них один и тот же источник, поэтому и влияние одних на другие вполне естественно.

Цветана Вранска
София

БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПОСЛОВИЦИ С ИСТОРИЧЕСКА ТЕМАТИКА В СРАВНЕНИЕ С ПОСЛОВИЦИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛАВЯНСКИ НАРОДИ

Пословиците, едни от най-много распространените произведения на народното поетично творчество, са също така и един от най-живите фолклорни видове, свързан най-непосредствено с народния живот. Те имат голямо значение, тъй като ярко изразяват народната мъдрост и философия. Според Максим Горки в тях се проявява кристализиранният вековен социално-исторически опит на народа в синтезирана художествена форма [1].

Покрай голямата им идейна и поетична стойност, за широкото разпространение на пословиците допринася и обстоятелството, че те се свързват най-тясно с всекидневието на народа. За тях не са потребни специална обстановка и даровити изпълнители. Авторите на народните пословици и поговорки са несъмнено способни, остроумни и наблюдателни личности, но носителите им са обикновените хора от народа, които ги използват спонтанно при различни случаи от своето съществуване [2].

В сравнение с останалите фолклорни произведения пословиците представляват важен фолклорен вид, тъй като поради близката им връзка с живота на народа в тях, в значително

[1] За отношението на Горки към пословиците и изказванията му за тяхното значение срв. Н. Ф. Матвейчук. Пословицы и поговорки в повести Горького «Фома Гордеев». Русский фольклор. Материалы и исследования, т. I. Институт русской литературы (Пушкинский дом), 1956, стр. 135 и сл.

[2] Особено ярък пример в това отношение представя П. Р. Славейков в предговора към сборника си с пословици, срв. П. Р. Славейков. Български притчи или пословици и характерни думи. София, 1954, стр. 32, 34.

по-голяма степен се отразяват класовите различия всред народните маси, класовата борба. В тях намира богато отражение и историята на народа. Въз основа на тия народни творби могат да се направят важни изводи за отношението на трудовия народ към големите исторически събития и исторически личности. Вследствие на това голям интерес за науката представя да се проучат те по-основно в това отношение. Това проучване ще бъде още по-резултатно ако се изследват сравнително пословиците на близки по произход или съседни народи. Така например при пословиците на отделните славянски народи, както и при останалите им фолклорни творби, като песни, приказки и под., могат да се открият много сходства и прилики, които свидетелствуват за близостта и общността на народната им култура. При сравнителното проучване на славянските пословици може да се установи кои са се създали на местна почва, в най-тясна връзка с обществено-историческото развитие на народа, а също и кои са заимствувани от другаде, как са се възприели и творчески преработили от народа, тъй като поради специфичните особености на народното поетично творчество те не могат да останат непроменени.

Богатото идейно съдържание на пословиците, жизнеността им и тясната им връзка с народния живот несъмнено допринасят, че от всички останали произведения на славянския фолклор те най-рано събуждат интерес у писатели и културни дейци. Единични примери на пословици се срещат още през средновековието в исторически хроники и летописи, а по-късно постепенно интересът към тях все повече и повече нараства. Около 1400 г. съставя сбирка с пословици чешкият писател Смил Флашка от Пардубице[3]. От началото на XVII в. почват да се явяват многобройни руски ръкописни сборници с пословици[4]. Сбирки с пословици издават у чехите Ян Амос Коменски[5], а у поляците писателите С. Ризински[6] и А. М. Фредро[7].

---

[3] Срв. за сбирката му I a n I a k u b e c. Dějiny literatury české, I. Praha, 1929, str. 257.

[4] Срв. за тия сборници П. К. С и м о н и. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. «Сборник Отделения русского языка и словесности», т. 66, СПб., 1899; също и «Русское народно-поэтическое творчество», т. 1. М., 1953, стр. 430 и сл.

[5] I. A. K o m e n s k ý, Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, 1630; срв. за него I a k u b e c. Op. cit., str. 843, 852.

[6] S. R y s i ń s k i, Proverbiorum Polonicorum centuriae, w Lubczu, 1618; срв. за него G. K o r b u t, Literatura polska, t. I, 1917, стр. 482.

[7] A. M. F r e d r o, Przysłowia mów potocznych, obyczajowe, radne, wojenne, w Krakowie, 1658; срв. за дейността му: G. K o r b u t. Literatura polska, t. I, str. 683.

Покрай тия по-значителни произведения има и ред други по-маловажни, които свидетелствуват за траен интерес към тези фолклорни творби. В края на XVIII и началото на XIX в., през епохата на романтизма, когато започва усилено събиране и проучване на славянското народно поетично творчество, най-видните събирачи и издатели спират вниманието си и върху пословиците. Значителни по съдържанието си сборници издават у русите И. М. Снегирев[8] и Вл. И. Даль[9], у поляците К. Войцицки[10], у чехите след Челаковски Ян Либлински[11] и Ян Розум[12], у лужичаните Х. Зейлер[13] и др. Първият българин фолклорист — издател на фолклорни произведения — Ив. А. Богоров (Богоев), издава също сбирка с песни и пословици[14]. От тогава и до днес интересът към славянските пословици постоянно се проявява, като те се събират и издават от много фолклористи.

Мисълта за сравнителното проучване на славянските пословици възниква още в началото на XIX в., когато почва да се въвежда историческото и сравнителното изследване в науката. Пръв основателят на славянската филология Йосиф Добровски има идеята да проучи славянските пословици сравнително, за която цел събира материал от различни славянски народи[15]. За Добровски пословиците са преди всичко образци на славянските диалекти и езикови форми. Но същевременно той посочва значението им и набляга върху важността на тяхното събиране, сравняване и издаване. Идеята на Добровски продължава чешкият възрожденец романтик Франтишек Ладислав Челаковски, който издава сборник с най-добрите славянски посло-

---

[8] И. М. Снегирев. Русские в своих пословицах. М., 1831—1834; срв. за него «Русское народное поэтическое творчество», под ред. П. Г. Богатырева. М., 1956, стр. 80—81.

[9] В. И. Даль. Пословицы русского народа, II изд. СПб., 1861; 1879; срв. за него «Русское народное поэтическое творчество», 1956, стр. 83—85.

[10] K. Wl. Wójcicki. Przysłowia narodowe. Warszawa, 1830; срв. за Войцицки G. Korbut. Literatura polska, t. III, 1921, str. 434.

[11] I. Sl. Liblinský. Česká přísloví a pořekadla, 1847; Ian Iakubeç, Dějiny literatury české, II. Praha, 1934, str. 587.

[12] I. V. Rozum. Česká přísloví a pořekadla; срв. Ian Iakobec, Dějiny literatury české, II, str. 587.

[13] В «Neues Lausitzischer Magazin», 1839. Срв. за дейността му Ian Máchal. Slovanské literatury, d. II, v Praze, 1925, str. 369—371.

[14] Ив. А. Богоев. Български народни песни и пословици. Пеща, 1842.

[15] В резултат на тия му интереси излизат «Českých přísloví sbírka», 1804, «Russische Sprichwörter», Slavin, 1806, «Servische Sprichworter mit philologischen Anmerkungen», Slovanka, 1815. За интересите на Добровски към славянските пословици срв. V. Pražák. Dobrovský a národopis. Bratislava, 1929, str. 720 a násl.

вици — Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, v Praze (1852), едно голямо дяло, за осъществяването на което му помагат много славянски будители и възрожденци[16]. Като събира множество пословици на всички славянски народи и ги съпоставя и класифицира, Челаковски изтъква славянските народи като цялост във възгледите им върху света, живота, нравствеността и т. н. Събраните славянски пословици той сравнява и с пословиците на други народи (латински, литовски, немски, английски, френски, испански, италиански, новогръцки, датски, фински и т. н.). Ако и Челаковски да се ограничава само със съпоставяне на материала и не достига до неговото тълкуване, за което попречва може би и ранната му смърт, сборникът му има значение като пръв опит да се съберат и класифицират славянските пословици сравнително. През втората половина на XIX в. нараства интересът към сравнителното проучване на славянското народно творчество. Но някакъв по-съществен опит по отношение на славянските пословици не може да се отбележи, с изключение на някои работи, в които се издирват отношенията между славянски пословици от една страна и гръцки и византийски образци от друга (срв. напр., И. Тимошенко. Византийские пословицы и славянские параллели к ним. «Русский филологический вестник», 1894 и 1895 г., а също и R. Altenkirch. Die Beziehungen zwischen Slaven und Griechen in ihren Sprichwörtern. Archiv für slavische Philologie. Berlin, 1909). Славянските пословици тепърва трябва да бъдат подложени на основно сравнително изследване, при което ще се получат интересни резултати за техния произход, характер и разпространение.

Настоящата работа представя малко сравнително проучване на българските пословици с историческа тематика и пословиците на останалите славянски народи. Избрах пословиците с историческа тематика, тъй като при тях най-ярко се проявява народностната самобитност вследствие на обстоятелството, че те възникват в най-тясна връзка с историята на народа. Поради големия брой пословици, наложи се известно ограничение по време — избрах пословиците от периода до Освобождението ни от турско владичество — 1878 г. С тая пределна година се слога край на една епоха от живота на българския народ, през която той

[16] За заниманията на Фр. Л. Челаковски със славянските пословици срв. д-р Цв. Вранска. Фр. Л. Челаковски и славянското народно творчество с особен оглед към българските народни песни и пословици. «Годишник на Софийския университет», Историко-филологически факултет, т. XLI, 1945, стр. 58 и сл.

е подложен на тежък политически гнет и тъне в социално безправие и културна изостаналост. Същевременно от началото на XIX в. все повече и повече нараства националното съзнание и се разгаря борбата срещу потисничеството, която достига своя връх в героичната Априлска епопея от 1876 г. Всред народните маси се изострят социалните противоречия и се стига до остри конфликти, които намират отражение в народното поетично творчество. Тоя период от живота на българския народ съвпада в първата половина на XIX в. с борбите, които водят и други славянски народи, лишени от политическа независимост, за свободно съществуване. Тежко е положението и на трудовите народни маси в Русия, които пъшкат под безправието на крепостническата система. Изобщо налице са условия, за да се създадат или да намерят разпространение пословици, свързани най-тясно с историята на славянските народи.

В настоящата работа са използувани сбирките с български пословици, излезли през XIX в., които предлагат достатъчно богат материал. В България до Освобождението няма по-значителен културен деец, проявил интерес към народното поетично творчество, който да не записва и пословици. Така още в първата сбирка, издадена от българин, спомената вече по-горе, Ив. А. Богоев помества 12 песни и 200 пословици от Източна България. Тия именно два фолклорни жанра — песните и пословиците — приковават от тоя момент нататък вниманието на българските фолклористи. Образци от пословици се печатат във всички почти вестници и периодични издания, които излизат преди Освобождението, като в сп. «Любословие» (Смирна, 1844), «Български орел» (Липиска, 1846), «Цариградски вестник» (Цариград, 1848), «Гайда» (1865—1867), «Тъпан» (Букурещ, 1873), сп. «Български книжици» (Цариград, 1859)[17]. Пословици, събрани от българските възрожденци, биват обнародвани и в «Известия II Отделения Академии Наук» от 1852 г. Пословици поместват в произведенията си и много български възрожденци, като напр. Неофит Бозвели, Неофит Рилски, С. Г. Раковски и Илия Блъсков.

Между борците за изграждане на българска култура през тая епоха като особено изтъкнати събирачи на пословици изпъкват неколцина от най-видните деятели. Най-систематична и най-обширна печатна сбирка с пословици преди Освобождението издава Л. Каравелов в «Памятники народного быта болгар»,

---

[17] Срв. по-подробно Илия В. Фтичев. Пословиците и тяхното място в областта на фолклора. «Известия на Семинара по славянска филология», кн. III (за 1908—1910 г.). София, 1911, стр. 165.

1861 г. Като истински ученик на руските революционни демократи Каравелов има критичен подход към събрания материал. Той обнародва тук 3000 пословици и пръв се опитва да сравни български материал с пословиците на останалите славянски народи, предимно сръбски и малко руски, от сборника на И. М. Снегирев. Към някои пословици Каравелов прибавя и важни пояснения и забележки, които разкриват техния произход и история [18]. Пословиците от сборника на Каравелов с малки изменения (като изоставя примерите с отрицателно отношение към турците и допълня някои, записани от самия него) помества В. Чолаков в «Български народен сборник», Болград, 1872 г.[19]. През същата епоха събира богат материал (около 15 000 пословици) и Н. Геров, който ги използува по-късно в своя «Речник на българскый язык», 1895—1904 [20]. Тъй като най-голямата част от тия пословици са записани преди Освобождението, те са използувани в настоящата работа [21]. Важно значение за българската фолклористика имат и занятията на П. Р. Славейков с пословиците. Започнал да ги събира още от 1843 г., той издава извънредно богатия си и ценен материал едва след Освобождението — «Български притчи или пословици и характерни думи» (ч. I, София, 1890; ч. II, Пловдив, 1897). По тематиката си по-голямата част от пословиците на Славейков се отнасят също към епохата преди Освобождението и поради това са използувани тук [22].

Записаните от Освобождението пословици предлагат достатъчно образци, въз основа на които може да се направят наблюдения как българският народ отразява историческата си съдба във фолклора. В изследването си тук ще използувам главно материала, поместен в сборниците на Каравелов, Чолаков и у Славейков и в речника на Геров, доколкото последните

[18] Срв. Ив. Д. Шишманов. Значението и задачата на нашата етнография. «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», 1, 1889, стр. 48; Н. Кравцов. Болгарские народные пословицы. «Ученые записки Тамбовского гос. пед. ин-та», вып. IV, 1951, стр. 7.

[19] Срв. Ив. Д. Шишманов. Цит. съч., стр. 47.

[20] Срв. за заниманията на Н. Геров с фолклора М. Арнаудов. Очерки по българския фолклор. София, 1934, стр. 90—91, с библиография.

[21] Ще бъдат цитирани със съкращение Г I—V, според реда на отделните томове на речника.

[22] В настоящата работа е използувано и новото издание на сборника: «Български притчи или пословици и характерни думи», събрани от Петко Р. Славейков, под редакцията на проф. М. Арнаудов, 1954. Достойнствата и слабостите на тоя сборник с пословици и особеностите на второто му издание са изтъкнати от Ив. Бурин в бележките «Към второто издание на Славейковите пословици», стр. 5—10, и в предговора от М. Арнаудов, «Сборникът на Славейков», стр. 11—30.

явно свидетелствуват, че са записани преди Освобождението[23]. Особено характерни пословици с историческа тематика съдържат сборниците на Л. Каравелов и на П. Р. Славейков.

За сравнителен материал използувах предимно някои най-значителни и най-богати сборници с пословици, излезли у останалите славянски народи през тоя период, а именно руския сборник на Владимир Даль «Пословицы русского народа, издание второе, без перемен», т. I и II, (СПб. — М., 1879), сборника със сръбски пословици на В. Ст. Караджич «Народне српске пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи» (Београд, 1849)[24], а за останалите славяни изданието на Фр. Л. Челаковски «Mudrosloví národu slovanského v príslovích» (v Praze 1852[25]; в който сборник има достатъчно образци пословици с историческа и политическа тематика), както и някои други отделни издания.

Българските пословици с историческа тематика до днес не са подлагани на по-задълбочено проучване. В миналото българските фолклористи, като Ив. Д. Шишманов[26] и М. Арнаудов[27], насочваха повече интереса си да изтъкнат или да издирят чуждите заимствувания или влияния. Известно внимание беше отделено и на проучването на отношението между турските и български пословици[28]. Едва напоследък върху пословиците с историческа и политическа тематика по-конкретно се спира Н. Кравцов в «Болгарские народные пословицы» (стр. 35 и сл); също и Кр. Генов в статията си «Народните пословици» (Българско народно творчество. София, 1950, стр. 170 и сл.), засяга наместа бегло и тоя въпрос.

При внимателен преглед на огромното богатство от славянски пословици, всред тях могат да се открият голям брой образци, възникнали в най-тясна връзка с историческото и политическото развитие на славянските народи. В тях не намират

---

[23] При привеждане на отделните примери от пословици тия издания ще бъдат цитирани съкратено, а именно — сборника на Л. Каравелов — К, сборника на В. Чолаков — Ч, а сборника на Петко Славейков според цитираните по-горе първо и второ издание — СП, като се означат с цифрите I и II отделните части, а страниците от второто издание се отбележват в скоби.

[24] При привеждане на примери, взети от него, ще бъде цитирана под съкращение Кар.

[25] В работата по-нататък ще се цитира под съкращение.

[26] Срв. Ив. Д. Шишманов. Пос. съч., стр. 47—49.

[27] Срв. М. Арнаудов. Българските народни пословици, очерки по българския фолклор. София, 1934, стр. 465—485.

[28] Срв. по тоя въпрос и у М. Арнаудов. Пос. съч., стр. 482 с библиография; също и С. С. Бобчев. Българско-турски успоредици в юридическите ни пословици и значението им за народното право. «Научен преглед», г. III, 1931, кн. 2, стр. 121—138.

отражение само големите исторически събития, които представят прелом в съществуването на народа и които разтърсват изцяло неговото съзнание. В тях също така се отразяват и по-малки исторически епизоди, направили впечатление на народа с общественото си и политическо значение. Пословици се създават и за отделни исторически личности, като народът подчертава често най-характерното в техния образ или в жизнената им съдба. При това народните творци проявяват зоркост и наблюдателност да доловят най-характерното и най-важното, най-значително. Като доказателство на изтъкнатото могат да се посочат голям брой образци. Особено старинни примери се срещат в руския фолклор, като напр. «Радимичи волчья хвоста бегают» — Даль I, 431 (за разбиването на радимичите от воеводата Волчий хвост); «За Пьяною люди пьяны» — Даль I, 431 (за поражението на русите през 1377 г. зад р. Пьяна); «Пришли казаки с Дону, да погнали Ляхов до дому» — Даль I, 431, също и Даль II, 435 (за освобождението на Москва от поляците през 1612 г.); «Казан прогребли — и орди прошли» — Даль I, 421. Походът на Наполеона в 1812 г. и разгромът на французите се отразяват в много пословици, като напр. «Был неопален (Наполеон), а из Москвы вышел опален» — Даль I, 309; «Французу давно след простыл» — Даль I, 364; «Чьего поля французы костьми своими не усеяли» — Даль I, 365. У поляците и чехите се създават множество пословици за по-видни исторически личности, които ясно отразяват отношението на народа към тях, като напр. «Duży jak Lokietek» — Čel, 489 (за Владислав Локетек, един от най-големите полски владетели. с низък ръст, но със силен характер); «Za króla Stefanka strach było i na panka» — Čel, 489 (за строгостта на Стефан Батори); «Zarobił jak król Ian na Wołoszczyznie» — Čel, 489 (за разбиването на Ян Собиески); «Nadal mě co Žižka mnichy» — Čel, 489; «Mistr nouze naučil Dalibora housti» — Čel, 491. Фаталната Косовска битка, която слага край на съществуването на славянските държави на Балкана поражда също пословици, в които се подчертава нейната жестокост «Поколь као на Косову» — Кар, 253; «Jao ти je jош kako je Лазо на Косову погинуо» — Кар, 109; «Одвалио као Марко на Косову, Што се онђе није десио?» — Кар, 232; «Прошао као Јанко на Косову» — Кар, 265. За поражението на турците при Сента през 1697 г. у сърбите се разпространява пословица, подобна на тая за Ян Собиески: «Прокопсао као Турски цар на Сенти» — Кар, 263.

Приведените примери представят незначителна част от славянските пословици с историческа тематика. Но те показват достатъчно очевидно самобитността на тоя фолклорен вид, която

се дължи на конкретната и непосредствена връзка между фолклор и история. В резултат на тая именно връзка те възникват и съществуват.

В българското устно поетично народно творчество до Освобождението са запазени предимно произведения с историческа тематика, които се отнасят към епохата от завоеванието на Българската държава от турците в края на XIV в. до Освободителната Руско-турска война от 1877 г. Падането под турско владичество е било събитие от извънредно голямо значение, огромна историческа катастрофа, която е накарала да избледнеят или почти съвършено да се изтрият от съзнанието на народа всички творби, свързани с историческото му съществуване от предходната епоха. Създава се основата за възникване на произведения, които най-ярко ще отразят тежкото положение на народа под чуждото владичество, опитите му за съпротива и борба, стремежите му за свобода и независимост, или както се отбелязва в т. I на «История на България» (Институт за българска история при Българската академия на науките, София, 1954, стр. 290), българското народно поетично творчество от XV до XVIII в. е целенасочено, то «отговоря на нуждата на народа да изкаже своите болки и страдания, които му били причинявани от турските феодали и техните български помагачи, своята воля за борба и своите възторзи от героичните подвизи на най-събурените си синове. Робската неволя и непримиримостта към нея са характерни белези на народното словесно творчество през това време». Изтъкнатото не се отнася само за песни, предания и приказки. В зависимост с тая действителност възникват множество пословици — отклик на народните болки и стремежи. Ако се търсят съответствия на тия пословици във фолклора на останалите славянски народи, естествено най-много и най-близки ще се намерят у тия от тях, които също влизат в борба с турските завоеватели, попадат под турско владичество и се борят за освобождението си от него. Но по-далечни съответствия могат да се намерят и у останалите славянски народи, които за по-дълго или по-кратко време са попадали под властта на чужди завоеватели и са се борили срещу тях.

В българските пословици от преди Освобождението може да се открие пълната и мрачна картина на робската неволя на народа. С въвеждане на труския феодализъм в България старите социални отношения се развиват в още по-лоша посока за народните маси [29]. Както се изтъква в «История на България»,

[29] Срв. «История на България», т. I, стр. 245.

т. I, стр. 260: «Българинът бил лишен от елементарните човешки права. Неговият живот, неговото оскъдно имущество, неговата чест и честта на неговите близки били изложени винаги на опасност. Всеки мюсюлманин, бил той спахия, чиновник или рая, можел да посегне на тях, без за това да му се потърси действителна отговорност». Българският народ живеел в крайна бедност, съсипан и изостанал във всяко отношение. Дори и чуждите писатели изтъкват бедственото положение на народа, като напр. османският писател от XVII в. Кучибей Гюмюрджински, който отбелязва: «Такова притеснение и гнет, в каквито се намират бедните селяни, никога в нито една страна на света, в нито една държава не са съществували» [30]. Пословиците предават най-реалистично изображение на тая действителност: «Турска сила, българска неволя» — СП, II, 178 (576); «От бога сме добре, от турците сме зле» — СП, II, 16 (412); «Дари субашът, изгори селото» — СП, I, 127 (212); «Един го държи, други го бие» — СП, I, 163 (240) (според пояснение на Славейков тук се говори за състоянието на българите «при турската и гръцка власт»). Жестокостите и грабежите на делибашии и кърджалии, които в началото на XIX в. опустошават селища и области, се отразяват в пословицата «Нападнали като делибашии. Нападнали като кърджалии» — К, 87. Както е отбелязано и у самия Каравелов, тая пословица възниква въз основа на разпространената пословица «Нападнали като скакалци». Жестокостите, извършвани често срещу безправната рая, се отразяват в пословиците: «Вирнал глава, сякаш глава носи» — СП, I, 72 (154) (Славейков пояснява, че пословицата се отнася до ония, «които носят заклани, отразяни глави, вървят и носят ги с гордост»); «Токо децата си печени да не изям» — СП, II, 171 (569). Намеци за тежки наказания съдържат пословиците: «Снета глава цар няма» — СП, II, 125 (534); «Сто тоеги на чужди нозе не болят» — СП, II, 133 (541); «Посечи ме, ага, светец да стана» — СП, II, 70 (467) (вар. Г, I, 4); «Бега като от вуже. Сир. Чега-то искат да го обесат» — К, 11. Тежката участ на младите девойки е породила пословицата: «Ще прокопса като мома в яничери» — СП, II, 217 (619). В някои пословици се отбелязват и тежките чумни епидемии, бич за населението през тая епоха: «Ако има чума, та няма ли шума (т. е. гора за бягане от чумата)» — СП, I, 13 (94); «Свила ся като котка в чумаво време» — Г, V, 566. Положението на трудовите народни маси се влошавало още повече от големите и многобройни данъци (достигнали до 97 на брой), които падали почти

[30] Пак там, стр. 258.

изключително върху немюсюлманската рая[31], за което свидетелствуват и пословици като: «Бягаме от баччия, налетяхме на гюмрукчия» — Г, I, 29, също и СП, I, 59 (139); «В малко село голяма берия» — К, 17. Оскъдните запаси, които остават на селяните след като бъдат ограбени, не са достатъчни за тяхното изхранване: «Просениче братче, който те има — скаче, който та няма — плаче» — СП, II, 81 (483); «Щир при майка, щир при мъжа» — СП, II, 221 (622); «До Колада: Ой та тебе, Крали Марко! След Колада: Де си моя мила майко!» (пояснено от Славейков: Доде имат жито веселят се; като свършат житото, тогаз олелия досред зима) — СП, I, 147 (223).

От тежките неправди народът не намира закрила в законите, които изобщо не се прилагат, както се пояснява и в «История на България», т. I, стр. 249: «Раята могла да се оплаква от незаконните действия на своите феодални господари и на чиновниците както пред местния кадия (съдия), тъй и пред султанския двор. Но това право си оставало в действителност само на книга. Във всички случаи местните съдебни и административни власти вземали страната на феодала или на чиновника и раята си оставала онеправдана». Пословиците отразяват и тази действителност[32]. «Ако ти е кадия давуджия, господ да ти е ярдамджия» — СП, I, 26 (107); «Тежко на бития доде додат съдниците» — СП, II, 160 (558). Често съвсем невинни били наказвани с тъмничен затвор: «Правината у тъмница, кривий в тръница» — Г, V, 391; вар. СП, I, 249 (325), СП, II, 73, (470). Тъмницата всява страх: «Тъмницата е далека; затвори си очите да я намериш» — СП, I, 180 (579); «Тъмницата не е обична къща» — СП, I, 180 (579); «Ако влезе крив, не излиза жив» — СП, I, 7 (88); «Ако влезе прав, не излиза здрав» (пояснено от Славейков: Върху тъмниците и затворите в Турско и общо върху правосъдието им) — СП, I, 7 (89). Обстоятелството, че често пъти отделни лица били наказвани без да бъдат съдени, обосновава използуването на пословицата: «Пръвом ма съди, та че тогава ма беси» — К, 117.

Несъмнено цялата тази тежка робска действителност създава условия да намерят широко разпространение и използуване пословици, които изразяват общо теглото и мъките на народа: «Бягай лошо, зло те стигло» — СП, I, 138; «Бягай лошо, по-зло иде» — СП, I, 58 (138); «Трай, душо, черней, кожо!» — Ч, 232; «Кучешки живот, кучешко тегло» — Ч, 179; «Теглила глава, теглила, имала още да тегли» — К, 140, вар. Г, V, 399; «Тегли-

---

[31] Срв. «История на България», т. I, стр. 248, 249, 311—312.

[32] Срв. и Кравцов. Пос. съч., стр. 31.

лото застарява човека» — Г, V, 398, вар. СП, II, 558; «Тегли дорде умреш, а кога умреш пак тегли» — К, 139, вар. Г, V, 399; «Търпило има, давило няма» — Ч, 232, вар., СП, II, 580; «Едни ридаят, други не щат да знаят» — СП, I, 167, 243; «Свят иде наоколо, а неволя редом» — СП, II, 109, 513; «Глад от чума по-лошо» — СП, I, 94, 173; «Глад глава загубя» — Ч, 142. Много от тия пословици изразяват безизходността, в която са попаднали потъналите в нищета и безпросветност трудови народни маси.

Ако потърсим съответствия на тия пословици между пословиците на другите славянски народи, без съмнение трябва да се обърнем преди всичко към тия от тях, които също са опитали гнета на мюсюлманското владичество, главно сърбите. В сбирката с пословици на Караджич, ако и да е обнародвана след като Сърбия извоюва независимостта си, са поместени доста пословици напълно подобни или близки по съдържание, според действителността, която реалистично изобразяват: «Тако своју ђецу печену не ио!» — Кар, 309; «Тако ме турска сабља не поразила!» — Кар, 300; «Ко те пре? — Турчин. — Ако ти суди? — Турчин.» — Кар, 157; «Турчина преш, а Турчин ти суди» — Кар, 323 (също и у Čel, 360); «Псује као Влах с коца» (според Караджич отнася се към тежкото наказание на раята от страна на турците) — Кар, 266; «До божића: Краљевићу Марко! Од божића: Іаох моја мајко!» — Кар, 59, и др. Между пословиците на останалите славянски народи могат да се намерят много примери, които правдиво и реалистично изобразяват тежкото, безправно и бедствено положение на трудовия народ, подложен на тежка експлоатация от свои и чужди угнетители, срв. напр. у Даль, I, 405: «Велика святорусская земля, а правде нигде нет места». Много славянски пословици, в които се представя немотията на трудовия народ в миналото, помества Челаковски в сбирката си, срв. стр. 169 и сл. Оскъдицата на народа изразява напр. и словашката пословица: «Na Velk'ú noc najem sa moc, na Ducha — do polbrucha, na Trojicu — len trošíčku, a na Iána — už v bruchu jama» — Slovenské l'udové príslovia, sost. A. Melicherčík a E. Pauliny, Bratislava, 1953, str. 200.

В българските народни пословици до Освобождението не се отразява само робското тегло на народа, а конкретно се посочват угнетителите, преди всичко мохамеданите, които дори когато не принадлежат към господствуващата класа, а към раята, били смятани за свободни (сербес) и били поставяни по-горе от кой да е немюсюлманин (срв. История на България, т. I, стр. 249). Покрай това народът бил подложен на тежък гнет

и от страна на гръцките духовници-фанариоти. Както се посочва в «История на България», т. I, стр. 259, след като църковната организация в българските земи била подчинена на Цариградската патриаршия, «Гръцкото духовенство в България се превърнало в истински угнетител на българския народ, смазван и без това от грабителския турски феодален ред». Цариградските гръцки първенци използували църквата като оръдие за лично забогатяване и поддържани от местните турски феодали ограбвали безмилостно своето паство. Същевременно те били обхванати от идеята за велика Гърция и от стремежа да погърчат българите и сърбите[33]. Поради това в пословиците, които сочат угнетителите, често гърците и духовниците — се споменават покрай мюсюлманските потисници: «В конаците турци владеят, а в черквите гърци виреят» — СП, I, 83 (143); «Турците със сила, гърците с книга докарали са ни до този хал» — Г, V, 383, срв. и СП, II, 178 (577); «Турчин със сила, поп с молитва, за нас нищо не остана» — СП, II, 179 (577); «Турчин и калугер са двама върли обирници — един със сила, други с молитва» — СП, II, 179 (577); «По-харно да си от турчин измучен, а не от гърка изучен» — СП, II, 72 (456). Угнетителите преследват навред: «В гори вуци, в село турци» — СП, I, 82 (142), вар. СП, I, 84 (145); «Ако в гора — вълци, ако в черква — гърци» — СП, I, 7 (89), вар. СП, I, 82 (142). Дълбока жизнена и историческа правда разкрива пословицата: «Да ти не знае грък парите, ни па турчин децата» — СП, I, 133 (206). Някои от тия пословици имат съответствия и у сърбите, като напр.: «Ако у селу турци, ако у пољу вуци» — Кар, 9; «Турци силом а калуђери књигом поћераше нас у сиромаштво» — Кар, 323. Подобни по смисъл пословици, които разкриват политическите угнетители и на останалите славянски народи в миналото, като татари, немци и под, вж. у Čel, 470 и сл., Даль, I, 432 и сл. (напр., «Злее зла татарская честь» — Даль, II, 284 и др.).

Като ярко доказателство за пренебрежителното отношение към българското население през време на робството се явяват и някои турски пословици; поместени предимно в български превод в сбирката на Славейков: «Българинът е на турчина тъпана» — СП, I, 57 (137); «Гяура ейлик, шейтана кандил (на гяурина добро да направим, на дявола кандило да запалим)» — СП, I, 108 (186); «На българина мъка дай» — СП, I, 278 (355); «Гарги керван не ходят, българи аскер не ходят» — СП, I,

[33] Срв. по тия въпроси по-подробно в «История на България», т. I, стр. 340—341.

91 (170); «Българска глава кофа за катран» — СП, I, 57 (137)[34]. Обстоятелството, че в турския фолклор се създават пословици, които изразяват напълно пренебрежителното отношение на политическия господар към подчинената рая, свидетелствуват, че политическият антагонизъм е впил наистина дълбоки корени в народните среди.

Българският народ също създава множество пословици, в които охарктеризирва богато и реалистично образа на политическите потисници. Тук няма възможност да бъдат цитирани всички примери, които особено много изобилствуват в сбирката на П. Р. Славейков. Ще се спра само на някои по-характерни, които ще дадат представа за същността на тия пословици. В едни от тях се изтъква превъзходството на турците-господари: «Бейчето е бейче, ако би ще без парица; а магарето е магаре, ако би ще и в жълтици» — СП, I, 40 (120); «Бегот е бег и без пари, а магарето — магаре, ако ще има пари с товари» — СП, I, 40 (120). Същата пословица е разпространена и сред сърбите: «Беговац je беговац, ако неће имати ни новац; а магарац je магарац, ако ће имати и златан покровац» — Кар, 11. В противовес на раята, която е имала право да носи оръжие, се изтъкват господарите, накичени според Славейков «с пищови и ножове», в следната пословица: «Господ когото обича с железа го товари» — СП, I, 103 (181). Множество пословици отразяват алчността на господарите — СП, I, 179 (577), произволите им — СП, I, 189 (265), тяхната жестокост — СП, I, 54 (134). Внимание заслужава пословицата «Турците с кола зайци ловят» — СП, II, 178 (577), разпространена и у сърбите — «Турци зеца на колима хватаjу» — Кар, 322, обяснено в сбирката на Каравелов, гдето също се среща: «От «колай» лесно е станало «кола» и означава: «с избикаляне, отдалеко, с хитрости», а у Караджич «маjсториjом посао раде». Особено красноречиво е очертан егоистичният образ на бея в пословицата: «Турчинът гледа три работи: гърбът си, гърлото си и кефа си» — СП, II, 179 (577), като съответствие на която могат да се посочат следните две турски пословици, поместени у Славейков: «На турците вървежа да избикалят мъчнежа» — СП, I, 296 (365); «На турците гидиша да си гледат джумбюша» — СП, I, 296 (365). Много пословици, в които се охарактеризирват политическите поробители, са пропити от ирония и остър сарказъм, като напр. К, 87, СП, I, 189 (265), II, 80

---

[34] За последната пословица срв. и Ст. Чилингиров. Турски пословици, поговорки и характерни изрази. «Известия на Народния етнографски музей», III, кн. I и II, 1923, стр. 61.

(482); II, 162 (560), II, 181 (580), II, 196 (594), II, 201 (601) и мн. др. Повечето от тия пословици и поговорки, които често достигат до натурализъм, се явяват като един от изразите на народния протест срещу гнета и потисничеството. Чужденецът потисник се използува за сравнение, когато искат да посочат нещо страшно и лошо: «По-лошо от турско» — СП, II, 64 (454); «От турчин по-лош» — СП, II, 35 (426), вар. СП, II, 64 (454). Последната пословица се среща и у сърбите «Гори је од Турчина» — Кар, 44 (Čel, 475). Характерна по съдържанието си е пословицата: «По-тежък е зъл език от пет турски саби» — СП, II, 71 (456), като далечно съответствие на която може да се приведе чешката пословица: «Přišel k řeči, co Turek k šavli (seče jazykem, žve neustále)» — Čel, 475. Старинна по произход и с по-широко разпространение е пословицата «Без време гост от турчин по-лош» — СП, I, 37 (118), със съответствие у русите «Не во время гость хуже татарина» — Даль, II, 155 (също и 369).

Поради жестокия гнет върху българското население, широко разпространение в разглежданите сбирки имат пословиците, в които се критикуват най — остро гърците-фанариоти, като напр.: «Грък дето стъпи, там трева не никне. Сир. Дето има гърци, там не може да бъде добро, или там не бива: счастие, благополучие и прокопсия» — К, 23, също Ч, 144, СП, I, 106 (183). В ред пословици се очертават лукавството и хитростта на гръцките експлоататорски класи, като напр. в следните, в които ги осмиват като търговци: «Дошел като грък на купя» — СП, I, 150 (232); «Отишел като обран грък на купя» — СП, II, 25 (434) и под. Старинни по произход и с широка употреба са пословиците, в които се изтъква тяхната неискреност — «Грък като лъже и сам си вяра хваща. Гърците много лъжат, а найповече се хвалят» — К, 23, също и Ч, 144, СП, I, 106 (183). За подобни пословици срв. също Г, I, 255, К, 193, СП, I, 106 (183), I, 107 (184), I, 164 (240). Любопитно е, че подобни пословици са разпространени и у русите, което свидетелствува за допира, в който са влизали двата народа помежду си: «Грек скажет правду однажды в год» — Даль, I, 435, срв. и Čel, 473; «Коли Грек на правду пошел, держи ухо остро» — Даль, I, 435 и под.

Критичното и сатирично отношение се разширява и върху жените на поробителите. В пословиците се подчертават главно някои техни общоизвестни недостатъци, като леконравност, лекомислие: «Ако турчин загине, були либе не гине» — СП, I, 27 (108); у сърбите: «Ако Турчин погине, були други не гине» — Кар, 9 и под. Подчертава се суетността на гъркините

от господствуващата класа: Очи на икони, ум на кокони» — Г, II, 384; срв. други примери СП, I, 106 (184), II, 243 (318), 243 (319).

Във връзка с обстоятелството, че народните пословици често съдържат поучения и съвети, през време на турското владичество се създават много характерни пословици, които увещават да се пазят от угнетителите: «Ако ти са мили рогата, не са боди с агата» — СП, I, 27 (108); «Турчину са не показвай, гърку са не подмазвай» — СП, II, 179 (577); «На турчин и на калугер не се вричай за нищо, ако щеш да си мирен» — СП, II, 296 (365); «Турчин приятел недей има» — СП, II, 179 (577); «С турчин дост не ставай» — СП, II, 142 (504). Подобни предупреждения много конкретно пояснени, се срещат и в турски пословици: «Хаджия видиш ли, чауш чуеш ли, бягай, та са махай» — СП, I, 191 (590). Ако и не конкретно изказано, това предупреждение ясно прозвучава в пословицата, разпространена в много варианти: «На турчин достлукът е на коляно» — К, 84, Г, V, 383; «На турчина достлука на коляното му» — СП, II, 296 (365) и др. Сръбската пословица с подобно съдържание поместена у Челаковски: «У турчина вера на колену» — Čel, 475 с пояснение «Iak vstane, hned mu s kolena spadne; nelze se naň zpoľlehnouti». Характерно предупреждение съдържа и сръбската пословица: «Ни у гори о Турчину не говори» — Кар, 224.

В ред пословици се изтъкват различията между българите и господарите, или пък се прави сравнение между тях: «Болен българин — пиян, пиян турчин — болен (турците, кога видят болен българин, че падне на улицата или че го носят, казват: «сараош гявур» (пиян е гявуринът (безверникът). А кога видят пиян Турчин, че са търкаля по улицата: «Хаста-дър завалъ» (болен е клетникът)» — К, 10; «Турците за 500 години научиха да изядат на камилата налдъма, а българите за пет години ще погълнат камилата със самаря» — СП, II, 178 (577); «Доде не яде българин мръсно, турчин не яде баница» — СП, I, 145 (228). Верни на жизнената истина, някои от тия пословици разкриват характерни черти или недостатъци на отделните народи: «Кога турчин проболярее — жени зема, а българин — къщя прави» — СП, I, 229 (304) [35]; «Гърците ги съсипва салтанатът, а българите инатът» — СП, I, 108 (186); «Българина си хваща сърцето с коприва, а гърка — с чироз» — СП, I, 57 (137). Като отражение на борбите на сърбите за Освобождение възниква у тях пословицата: «Чувай се стара Турчина, а млада

[35] Срв. за тая пословица и Кравцов. Пос. съч., стр. 40.

Србина» (за времена Карађорђина рата у Србији доказивало се да су Турски јунаци готово сви били стари, а Српски млади)» — Кар, 353. У Славейков се среща българското ѝ съответствие: «Пази се от стар турчин и от млад българин» — СП, II, 43 (438).

Пословици с критично и отрицателно отношение към чуждите узурпатори и поробители намираме у всички славянски народи, някои от които са много характерни: «Mol v drahém ruše, živá ryba na suše, vlk mezi kozami, žák mezi pannami, kozel v zahradě, Němec v české radě: kde to prebývá, tu dobře nebývá» — Čel, 470. Голям брой пословици, насочени срещу чужденци, има у Даль, I, 432—435, срв. също и «Что русскому здорово, то немцу смерть» — Даль, I, 407.

Покрай пословиците с критично и сатирично отношение към угнетителите, които представят протест срещу тежкото и безправно положение на народа, между трудовите народни маси намират широко разпространение и пословици, свързани със стремежа на народа към свобода, които свидетелствуват преди всичко за непокорство, свободолюбие и борчески дух[36]: «Доде пъка в мене душа, няма да се оставя» — СП, I, 146 (229); «Допря ножът до кокала» — СП, I, 148 (231); «Доде вятър не повее, гората не се люлее» — СП, I, 144 (227); «Доде са не размъти водата, не са обистря» — СП, I, 146 (229); «Ако нмаш зъби, хапи доде не са та захапали» — СП, I, 13 (94); «Доде е малко змчето, смажи му главата» — СП, I, 144 (227); «Кога останат двама без душа, третия остая без глава» — СП, I, 227 (303); «Ако не може с правда, опитай с брадва» — СП, I, 19 (100); «Дето дума не помага, там опитай и тояга» — СП, I, 158 (217); «Не го е клел баща му да бъде сѐ роб» — СП, I, 300 (376): «Нека гроб, че не роб» — СП, I, 303 (388). Между тях има и пословици, които предупреждават за сериозността на борбата: «С избиване душманите се не свършват» — СП, II, 139 (501); «С затриване врагове са не изтребват» — СП, II, 138 (501).

---

[36] Срв. «История на България», т. I, стр. 262, гдето се говори за стремежа на народа към сриване на политическия гнет: «Потиснат и смазан икономически, обезправен напълно в политическо отношение, лишен от всякаква възможност за развитие — било икономическо, политическо или културно, подложен на систематическо асимилиране, българският народ не се примирил нито за миг със своето тежко положение». Ясно се изтъква и на стр. 312: «Борбата се дължи на огромната съпротивителна сила на народа, на непрекъснатата, упорита, често пъти кървава борба на този народ срещу дивия произвол, грабежа и безредието, на пословичното му трудолюбие и пестеливост».

Някои пословици загатват по — конкретно за борбата: «Доде ми е абата, не се боя от агата» — СП, I, 145 (228); «Дето гинат мнозина, там не са пита кой умрял» — СП, I, 158 (217); «Турил си главата в торбата» — СП, II, 178 (576); «Ката ден му главата в торбата (казват за хайдутите, обирачите и за тия, които са се карали с турчин)» — СП, I, 218 (294); «Дето падат мнозина, там смърт са не счита» — СП, I, 159 (219). Ярко подсещат за борбата и пословиците: «На беглеца окото е гората» — Ч, 188; «Шума ми е майка» (т. е. гората прибежище) — СП, I, 213 (613); «Блазе им кои са ги изпъдили, тежко им кои са ги завъдили» (за турците) — СП, I, 44 (124). В много варианти се разпространява и пословицата, която съветва да бягат и да се крият: «Ован скаче, Стоян плаче» — К, 98; «Бежан скача, Стоян плаче» — СП, I, 59 (118); «Побежанкува майка бяла кърпа носи» — СП, II, 52 (457); «Беганова майка бяло носи, а Стоянова — черно върже» — СП, I, 58 (139); «Бежанова майка не плаче, а Стоянова». Или: «Бежан скаче, а Стоян плаче». Сир. «Който бега, той не плаче, а който не бега» Сръб. «Бјежанова мајка пјева, а Стојанова плаче» — К, 11, Срв. за сръбската пословица и Кар, 14[37].

От действителността и живота произхождат и пословици, възникнали във връзка с различни случки, които отразяват съпротивата на народа, като напр.: «Колко на Великден яйца изчукаме, толкоз турци да умрат. — Веднаж се препирали един турчин и един българин. Турчинът рекъл: «Колкото овце изколим на курбанът, толкова българе да умрат». А българинът рекъл: «Колкото яйца изчукаме на Великден, толкова турци да умрат» — К, 67. Борбата отразяват и пословици като: «Не е юнак, който иде от Влашко, нъй е юнак, който има сърце юнашко» — СП, I, 302 (377); «Сен да влез, бу да влез, хеписиниз да влез» — с пояснение: «Турчин като карал по въстанията българи да ги запира, а те се уговаряли кой да влезе по-напред» — СП, II, 102 (519).

Борбата за национално освобождение се изразява като борба за вяра[38]: «За вяра човек и да умре, не е зле» — СП, I, 178 (253); «За вяра се бият хората» — СП, I, 178 (253); «За вяра ще умра» — СП, I, 178 (253).

Начело на борбите на народа за свобода през време на турското робство застават хайдутите, смели народни синове, които

---

[37] Според С. С. Бобчев. Българско-турски успоредици в юридическите ни пословици и значението им за народното право, стр. 130; тая пословица от български е преминала в турски, гдето също се среща в различни варианти. Това негово твърдение се нуждае от повече научна аргументация.

[38] Срв. «История на България», т. I, стр. 342.

жертвуват личното си щастие и дори и живота си за великото дело[39]. Пословиците отразяват тяхната самоотверженост и героизъм: «Пригодата прави хайдутина» — СП, II, 76 (478) и «Хайдутин майка не храни». Хайдушката дружина може да води с успех борбата само ако бъде «вярна и сговорна», на което също се набляга в много пословици: «Сговорна дружина от сейменете са не бои» — К, 124, също СП, II, 110 (514); «Вярна дружина — яка твърдиня» — СП, I, 89 (167); «Вярна дружина, вярно кале» — СП, I, 89 (167). Хайдутите са свързани със здраво другарство: «Хайдутин от хайдутин се не страхува» — СП, II, 191 (590). Като съответствие на тия пословици у Славейков се явява и албанската пословица: «Без дружина нема юначина» — СП, I, 38 (118). Убежище на хайдутите е гората — «Гората ли питаш за хайдути?» — СП, I, 100 (178). Хайдутите се поддържат здраво от народа: «Хайдутин без ятак не може»[40] — СП, II, 191 (590).

Прекрасни съответствия на пословиците, които се отнасят към борбата на хайдутите, могат да се намерят в сръбския фолклор: «Ђурђевданак хајдучки састанак, Митровданак хајдучки растанак» — Кар, 78; «Јунакова мајка најприје заплаче» — Кар, 111; «Хајдучке куће нема. Или Хајдучког села нема (хајдуци се не броје међу људе друштва људскога). Хајдучкој мајци по обору трње расте» — Кар, 340; «Добро је хајдуку у лугу; нит га кољу мухе ни овади, већ му је помучно од глади» — Čel, 279.

Както българските, така и сръбските пословици свидетелствуват за тежката борба на хайдутите и за съчувствието и подкрепата, които те намират всред народа.

Въпреки че най-голямата част от народа през време на дългите векове на турското владичество героично отстоява на гнета и потисничеството, при все това се намират и такива, които се поддават на чуждата асимилация. Към тях народът заема крайно отрицателно отношение и жестоко ги подиграва, на първо място тия, които смятат, че като се откажат от народността си ще подобрят бедственото си положение, като напр.; «Да сам паша, та нека да сам и с царвуле» — К, 27, вар. Ч, 147; «Да съм с пашата, че нека бъда без опаш» — СП, I, 131 (203); «Потурчила се Мара да не носи свински царвули, а тя обула кучешки» — СП, II, 71 (468). В подобни пословици народът

---

[39] Срв. за героичните подвизи на хайдутите. «История на България», т. I, стр. 274, 275.

[40] Срв. за значението на тия български пословици и Кравцов. Пос. съч., стр. 39.

прозорливо изобразява бедността и на турците от раята: «Кога трънки с качамак, кога трънки с буламач — потурчила се наша Трена и това изпатила» — СП, I, 229 (304); «В петък яде леща, а в благо мерджумек» — К, 17 (с обяснение на стр. 158: «Рассказывают, что какая-то Болгарка, чтоб не есть постную чечевицу, приняла магометанскую веру, и муж ея, Турок, уж не кормил ее чечевицею, а мерджумеком (по-турецки чечевица называется мерджумек)». На жестока подигравка се подлагат и тия, които се поддават на пропагандата на фанариотите, забравят рода си и почват да се гърчеят: «Гърчолей се, гърчолей, докат ти гърба оголей — казват на тия българи, които са се погърчили» — К, 23, също и СП, I, 108 (186), Ч, 144. «Да та пази господ от българин погърчен...» — СП, I, 132 (204); «От българин грък... да пази господ» — Г, I, 254; «Погърчила го йе треската. — Казват за тогова, който се погърчил, а пари няма, сир. оголял заедно с коконата си» — К, 110. Любопитен е и следният анекдот, от който е изведена пословицата с подигравателно значение: «Чиче, по колко даваш кекешките? — Една селаченка отишла в Пловдив и се погърчила. Веднаж видяла баща си, че продава кокошки, излязла на улицата, и да се покаже, че е истинска кокона и не знае да говори български, тя го попитала: «Чиче, по колко даваш кекешките?» — Ч, 241. Същият анекдот в сборника с пословици на Караджич се разказва за жена, която се потурчила: «По што, Влаше, кикош? — Некаква се потурчила у суботу, па то казала у нeђељу своме оцу кад га је виђела ђе носи кокош да прода. Кокош није ћела казати, јер би то било по Српски а она је ћела да говори као Туркиња; а тако му је и Влаше рекла као да га и не познаје» — Кар, 258. Прекланянето пред чуждото се порицава и у други народи, напр. «Кад ли се прије потурчи, кад ли чалму стече?» — Кар, 118; «Я русский, на манер французский, только немного погишпанистее» — Даль, I, 407.

В пословиците, които порицават отричането от народността си, особено много се подчертава жестокостта на потурчените и погърчените: «Пази боже от погърчен и от потурчен» — СП, II, 42 (438); «Да та пази господ от влах погърчен и от шоп потурчен» — СП, I, 132 (205). Особено ясно е изразена тая мисъл в следните сръбски пословици: «Нема крвника над потурчењака» — Кар, 203; «Нема Турчина без потурчењака (јер су потурчењаци за Хришћане свагда гори от правих Турака)» — Кар, 204; «Jedan poturica gorji od stotine Turakah» — Čel, 475 (означена като илирска). Пословица с подобно съдържание се среща и на словашки: «Poturčenec horší Turka» — Slovenské ludové príslovia, 1953, 144.

Челаковски в сбирката си подчертава значението на тия пословици, които порицават отказалите се от своя род, като привежда и полската пословица: «Gdy Polak zwloszeje, Mazur zdworzeje, Rusin zlaszeje — diablu nieustąpią» — Čel, 475, а също и италианската: «Un Tedesco tialieto è peggio ch'un diavolo incarnato».

Народните пословици с историческа тематика, разгледани в настоящата работа, ако и да засягат ограничен обсег образци, представят ярък пример за начина, по който в тях се отразява историята на народа. Така българските пословици, записани до Освобождението от турското владичество, разкриват пълната и мрачна картина на безправното положение на народа под гнета на турския феодализъм. Те изобразяват реалистично, често дори и с натурализъм, бедствията и жестокостите и напълно правдиво охарактеризирват образите на потисници и експлоататори. Същата правдивост се открива и при пословиците, които представят протеста на народа, — протест, който се проявява в различни форми и степен, като се почне от остро критично и сатирично отношение към поробителите и се завърши с откритата въоръжена борба. Казаното за българските пословици се отнася и до пословиците на останалите славянски народи, всред които могат да се намерят многобройни образци, които се свързват с важни моменти от тяхната история и в които се открива същото отношение към политическия гнет и потисничество. Изобщо приведените примери красноречиво показват, че пословиците представят такъв фолклорен вид, който наравно с песните и приказките се свързва с историята на народа и я отразява правдиво и пълно.

Като особено характерна черта на славянските пословици с историческа тематика може да се изтъкне тяхната правдивост и реализъм. Историческата действителност в тях се подлага на правилна оценка, от нея се извлича най-същественото и най-важното, което се изобразява стегнато и сбито. Вследствие на това те се явяват като фолклорни произведения с голямо историко-познавателно значение. Характерна черта на повечето от тия пословици е и ярко изразената им партийност. Народът не се задоволява само с трезво и обективно изобразяване на историческата действителност, а чрез тях той бичува, воюва. Тия пословици стават важно оръдие за защита на народностните му права. Покрай това тия пословици се отличават и със социална заостреност. Орицателно, враждебно отношение се проявява главно към представителите на господствуващите класи, към политическите и икономически потисници. На тия причини се дължи и голямата активна, действена роля на тия пословици за да се поддържа будно народното

съзнание и волята на народа за борба за подобряване на неговото съществуване и за премахване на политическите и социални неправди.

От сравнението на българските пословици с пословиците на останалите славянски народи се вижда, че най-голямо сходство и най-много съответствия се установяват между българските и сръбските пословици. Това е напълно естествено като се вземе пред вид сходната историческа съдба на двата народа през епохата от XV—XVIII в. И сърбите като българите изпитват тежестта на политическия гнет на турския феодализъм, а биват засегнати и от стремежите на гръцките панелинисти да елинизират балканските народи. При сходните историко-обществени условия, при които съществуват двата тия народа, напълно естествено ще се създадат и ще се разпространят пословици, повече или по-малко близки по съдържание и основна идея. Интересен е въпросът за областта, гдето са се създали някои от напълно еднаквите пословици. Тоя въпрос обаче е извънредно труден за разрешение, тъй като пословиците представят такъв вид народни произведения, които се разпространяват най-лесно и най-бързо и поради стегнатостта на формата си най-малко подлежат на изменения, които биха могли да дадат известни насоки при това издирване. Сходните пословици с историческа тематика у сърби и българи сочат явно близостта и сходните черти във фолклора на двата народа, която близост е много голяма и често пъти очебийна, но още не е изследвана. Несъмнено важна задача на фолклористиката в бъдеще да подложи на задълбочен научен анализ народното поетично творчество на двата народа, за да се установят сходните черти и различията в отделните фолклорни жанрове.

От направения кратък обзор на пословиците и на останалите славянски народи се вижда, че при сходни историко-обществени условия и у тях се създават пословици с подобна тематика. Навсякъде политическите потисници и чуждите асимилатори се подлагат на критика и жестока ирония. Някои от тия пословици свидетелстват и за влияния и взаимодействия с пословиците на други съседни народи. Но дори когато са привнесени отвън, пословиците не се възприемат от народа механически, а се пригаждат към местните условия като се доближават до народния живот.

Независимо от произхода на разгледаните в тая работа пословици, несъмнен е фактът, че всички те се отличават с ярко изразено национално своеобразие. Като се свързват най-тясно с народната история и живота на народа, те повече от всички други пословици се развиват самобитно и оригинално, както

се развива и историята на всеки народ в зависимост от специфичните обществено-исторически условия, при които той съществува.

Разгледаните в тая работа пословици принадлежат към традиционния фолклор, към народно-поетичните произведения, завещани от миналото. Голяма част от тях показват ярко проявен политически антагонизъм между отделните народи, който е характерен за отношенията помежду им при феодализма и капитализма. Вследствие на това често в тях намираме изразено неприязнено чувство към другите народности. Но все пак тая неприязненост се насочва предимно към експлоататорските класи в миналото — към политически и икономически силните, към духовенството и под.

Изобщо в края още веднаж ще подчертая, че славянските пословици представят голямо фолклорно богатство, което трябва да се подложи на подробно, всестранно и задълбочено проучване. Сходствата между тях, които при това се установят, са ясно доказателство за близостта между славянските народи и за общността на тяхната народна култура.

Ц. Вранска
София

БОЛГАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ В СРАВНЕНИИ С ПОСЛОВИЦАМИ ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Резюме

Пословицы с исторической тематикой изучены сравнительно слабо, хотя именно данный вид пословиц — наиболее распространенный и значительный в идейном отношении в болгарском фольклоре. Рассматриваемый в работе материал охватывает период до 1878 г. — года освобождения болгарского народа от турецкого ига.

Пословицы с исторической тематикой выражают активную оценку народом социальных явлений, его ненависть к поработителям; в пословицах правильно оценены основные исторические процессы, что дает право говорить о важном историко-познавательном значении болгарской пословицы.

Сопоставление пословиц болгарского народа с пословицами других славянских народов свидетельствует о наибольшей близости первых с пословицами сербского народа. Это сходство, ни в коей мере не заслоняющее яркого национального своеобразия пословиц у каждого из этих двух народов, объясняется общностью исторических судеб сербов и болгар. В связи с этим бесспорный интерес должно представить изучение вопроса о том, где — в Болгарии или Сербии — создавались наиболее сходные по содержанию пословицы.

К. В. Чистов
Петрозаводск

БЫЛИНА «РАХТА РАГНОЗЕРСКИЙ» И ПРЕДАНИЕ О РАХКОЕ ИЗ РАГНОЗЕРА

При изучении народного творчества русского Севера второй половины XIX в., в частности при изучении судьбы былины в этот период, взоры исследователей нередко обращались к небольшой олонецкой старине про Рахту Рагнозерского, записанной в 1871 г. А. Ф. Гильфердингом от П. Л. Калинина из д. Пудожгоры на восточном берегу Онежского озера[1]. Привлекали ее уникальность и явная связь с местной традицией.

В. Ф. Миллер неоднократно ссылался на былину о Рахте Рагнозерском для доказательства неспособности северных крестьян к эпическому творчеству[2].

А. М. Астахова еще в 30-е годы противопоставила точке зрения В. М. Миллера иную, исходившую из активной критики основных положений так называемой «исторической школы» А. М. Астахова показала, что былина „Рахта Рагнозерский" — факт не единичный, и ее значение в истории русских былин должно быть осмыслено на фоне многих других попыток сказителей XIX—XX вв. переложить в былину сказку, местное предание, „книжный" сюжет и т. д. Однако до сих пор не совсем ясно, **когда** и **как** возникла эта былина, как она **соотносится с местным преданием** и, главное, **чем** она (и лежащее в ее основе предание) **могла привлечь исполнителей** — олонецких крестьян второй половины XIX в.

Наиболее подробные сведения о былине о Рахте Рагнозерском содержатся в комментарии Г. Н. Париловой и А. Д. Сой-

[1] «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.» Изд. 4. т. I, М.—Л., 1949, стр. 225—228 (в дальнейшем — сокращенно: Гильфердинг).

[2] В. Ф. Миллер. Олонецкая старинка о местном силаче. «Очерки русской народной словесности. Былины», т. II. М., 1910, стр. 261.

манова к сборнику „Былины Пудожского края". Г. Н. Парилова и А. Д. Сойманов не просто повторили уже известные сведения, почерпнутые из статей К. Петрова[3], Л. Н. Майкова[4] и Ю. М. Соколова[5], но и сообщили о новых записях былины и предания, произведенных экспедицией Карельского научно-исследовательского института культуры в 1939—1940 гг. Вывод, к которому пришли авторы комментария, сформулирован так: „Былина местного происхождения, возникшая на основе преданий о силаче, о борьбе с панами (разбойниками) и включившая в свой состав мотивы эпического и сказочного характера (единоборство, неверная жена)"[6].

В послевоенные годы также высказывались разноречивые мнения. А. М. Астахова в книге „Русский былинный эпос на Севере" пишет: „... вариант этот (имеется в виду вариант Н. В. Кигачева, записанный в 1940 г. — *К. Ч.*) свидетельствует о том, что былина о Рахте не только продолжала бытовать, но и развивалась дополнительными мотивами тех же местных преданий"[7]. С другой стороны, В. Я. Пропп в книге „Русский героический эпос" считает, что „эта былина относится не к эпосу, а представляет собой местное предание в форме былинного стиха" и поэтому „не может служить доказательством того, что развитие эпоса продолжается"[8].

В пору, когда писался комментарий к „Былинам Пудожского края" и готовилась к печати монография А. М. Астаховой „Русский былинный эпос на Севере", исследователям не были известны тексты записей, произведенных в 1926—1928 гг. экспедицией Государственной академии художественных наук под руководством Б. М. и Ю. М. Соколовых. Опубликованные Б. М. и Ю. М. Соколовыми экспедиционные отчеты сообщали о записях пяти текстов. Поэтому Г. Н. Парилова, А. Д. Сойманов и А. М. Астахова, учитывая две записи, опубликованные в сборнике „Былины Пудожского края", и запись от П. Л. Калинина, говорят о восьми текстах[9].

---

[3] К. Петров. Рахта Рагнозерский и Микула Селянинович. «Олонецкие губернские ведомости», 1875, № 81.

[4] Л. Н. Майков. Новые данные русского эпоса из Заонежья. «Древняя и новая Россия», 1876, № 6, стр. 195—198.

[5] Ю. Соколов. По следам Рыбникова и Гильфердинга. «Художественный фольклор». М., 1927, № 2—3; его же. À la recherche des bylines. «Revue des études slaves», v. XIII. Paris, 1932.

[6] Г. Н. Парилова и А. Д. Сойманов. Былины Пудожского края. Петрозаводск, 1940, стр. 487.

[7] А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948, стр. 273.

[8] В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Л., 1955, стр. 501.

[9] В. Я. Пропп насчитывает семь записей.

Между тем, после опубликования материалов экспедиции 1926—1928 гг.[10] эта цифра нуждается в уточнении. В сборнике „Онежские былины“ опубликовано не пять, а четыре записи, причем две из них представляют собой варианты прозаического предания (№ 194 и 202).

Г. Н. Парилова и А. Д. Сойманов сообщают, что Н. А. Ремизов и Н. В. Кигачев не исполняли традиционную былину о Рахте, а импровизировали на основе предания[11]. Автор настоящей статьи, сделавший в 1939 г. первые записи преданий от И. Т. Фофанова, Н. А. Ремизова, Н. В. Кигачева, И. Н. Болотова, т. е. за год до записей стихотворных текстов, твердо помнит, что в это время ни Ремизов, ни Кигачев былины о Рахте Рагнозерском не знали. Это не значит, что записи от них лишены интереса. Они могут быть привлечены и при изучении личного творчества сказителей — видных знатоков русской былины, и при изучении преданий и жанровых отличий преданий от былины. Наконец, они могут подсказать интересные аналогии — несомненно, что в основу некоторых классических былин могли лечь древние, неизвестные нам предания.

Одна из записей, опубликованных в сборнике Ю. М. Соколова — В. И. Чичерова, произведена в 1928 г. от А. Т. Зуевой. Пудожская экспедиция Карельского научно-исследовательского института культуры в 1940 г. встречалась с А. Т. Зуевой и записала от нее не былину, а прозаическое предание. В 1940 г. А. Т. Зуева не сообщила собирателям и о том, что она раньше пела эту былину. Очевидно, в 1928 г. была сделана попытка спеть былину о Рахте, которой сама А. Т. Зуева не придавала серьезного значения. Случайность записи 1928 г. подтвердил мне в устном сообщении В. И. Чичеров — составитель сборника и участник экспедиции.

Текст, записанный от Г. А. Якушова, стройнее, отработаннее, ближе по своим качествам к традиционной былине. Это и понятно: Г. А. Якушов — выдающийся знаток и прекрасный исполнитель былин. Экспедиция Государственной академии художественных наук записала от него 37 эпических текстов. Однако былина о Рахте явно не принадлежит к числу лучших его былин.

---

[10] См. сб. «Онежские былины». Подбор былин и научная редакция текстов Ю. М. Соколова. Подготовка текстов к печати, примечания и словарь В. Чичерова. М., 1948 (в дальнейшем — сокращенно: сб. Соколова—Чичерова).

[11] Г. Н. Парилова и А. Д. Сойманов. Былины Пудожского края, стр. 486—487.

Таким образом, при решении вопроса о судьбе былины о Рахте Рагнозерском допустимо говорить лишь о двух текстах — П. Л. Калинина и Г. А. Якушова.

Как же соотносятся они один с другим? Общего у них очень мало. Калинин сосредоточил свое внимание на единоборстве Рахты с „неверным борцом" в Москве. Сюжет его былины строится с видимой ориентацией на традиционную схему киевских былин. Иноземный богатырь приезжает в Киев и требует себе „поединщика", угрожая в противном случае сжечь город. Богатырей в Киеве не находится. Спасает положение герой былины — богатырь, которого сам князь не знает или недооценивает (крестьянин, малолетка, пьяница и т. д.). Схема эта в несколько переработанном виде известна и по исторической песне о Кострюке, на которую ссылались уже первые исследователи былины о Рахте, тем более, что подвиг Рахты приурочен к Москве, а в некоторых вариантах предания и в тексте Якушова московский князь оказывается Иваном Грозным.

В записи от Якушова сюжет построен иначе[12]. Действие развивается быстро. В небольшой былине в 127 строк Якушов успевает рассказать о двух подвигах Рахты: о расправе с разбойниками и о единоборстве в Москве. В отличие от большинства записей предания, в которых жена Рахты изменяет ему и в сговоре с атаманом разбойников пытается погубить его, здесь Рахта обманом завлекает разбойников к себе в гости, приглашает их в баню и расправляется с ними, а затем и с их атаманом. Такая переработка сюжета, очевидно, связана с желанием приписать Рахте еще более активную роль в борьбе с разбойниками.

Во второй части былины Иван Грозный призывает Рахту в Москву. Рахта отказывается ехать на коне, отправляется на лыжах и обгоняет гонцов. Затем следует испытание голодом, единоборство и награждение Рахты озером. Следовательно, вторая часть сюжетно близка к варианту Калинина — изменены мотивировки, но важнейшие эпизоды совпадают. Однако это еще не свидетельствует о генетической связи этих вариантов. Разработка этих эпизодов различна, нет ни одного совпадения, которое нельзя было бы отнести за счет общего источника-предания. Словом, нет того, что обычно создается традицией, особенно если учесть, что Калинин и Якушов — ближайшие земляки.

---

[12] Отметим попутно, что Якушов знал «Кострюка» (см. сб. Соколова— Чичерова, № 33), однако в тексте его былины о Рахте не улавливается ни одного случая использования какого-нибудь поэтического мотива, общего места или просто характерного для «Кострюка» словосочетания.

Итак, перед нами пять разновременных попыток создания былины о Рахте Рагнозерском — в XIX в. П. Л. Калинина или кого-нибудь из его ближайших предшественников, в 1926—1928 гг. Г. А. Якушова (предшественник не исключается, но менее вероятен) и А. Т. Зуевой и в 1940 г. — Н. А. Ремизова и Н. В. Кигачева.

Кроме этого, нам известны лишь два свидетельства об исполнении былины о Рахте. Во II томе „Онежских былин" А. Ф. Гильфердинг писал со слов Т. Г. Рябинина: „... он слышал, но очень давно от одного старика былину про рагнозерского старика Федора Рахкоя, который ходил бороться в Москву" [13]. В комментарии А. И. Никифорова и Г. С. Виноградова приводится извлеченное из черновых бумаг А. Ф. Гильфердинга примечание к записи от П. Л. Калинина: „Когда Калинин пропел эту былину, бывший тут кижский крестьянин В. Я. Мореходов сказал мне, что он слышал ее, когда был мальчиком лет 12-ти (т. е. лет 30 тому назад) от старика, который приходил к ним в дом, что он помнит, что старик этот московского князя называл Василием, но как по отчеству, не может припомнить, и что Калинин пропустил одну памятную ему подробность, именно, что Рахте, прежде чем вести его на единоборство, завязывали глаза" [14].

Не исключено, что Т. Г. Рябинин и В. Я. Мореходов слышали былину о Рахте от одного и того же исполнителя, приходившего в Кижи в 40-х годах XIX в. (если наше чтение цитированной выше фразы верно — от безымянного для нас „рагнозерского старика"). Можно было бы предположить, что и П. Л. Калинин воспринял от него же былину о Рахте, и такое предположение не было бы лишено некоторого основания. Известно, что П. Л. Калинин был по своей профессии бродячим портным. Гильфердинг сообщает, что былины свои он воспринял частью от своего отца Луки Калинина, „частью слышал от стариков в тех местах", где бродил в качестве портного „мальчиком и молодым человеком". Несомненно, что он неоднократно бывал на Рагнозере, расстояние до которого от Пудожгоры, родины П. Л. Калинина, всего в 25—30 км. Характерно, что другие сказители Пудожгоры, Римского, Песчаного и т. д. — современники П. Л. Калинина, от которых записывали Рыбников и Гильфердинг, — былины о Рахте не знали; в то время ни Рыбников, ни Гильфердинг на Рагнозере не были и былин от рагнозер не записывали.

---

[13] Гильфердинг, т. II, 1950, стр. 3. Явная опечатка; очевидно, следует читать: «от одного рагнозерского старика былину про Федора Рахкоя...».

[14] Гильфердинг, т. I, стр. 715.

И все же есть одно обстоятельство, которое удерживает нас от подобного предположения. В 1940 г. в Пудожгоре и в близкой к ней д. Римской было сделано три записи предания о Рахте. Случайно или нет, но во всех этих записях, так же как и в былине П. Л. Калинина, фигурирует только сюжет „единоборство Рахты", и совершенно нет следов знакомства со вторым сюжетом, который в районе Рагнозера не менее популярен. Таким образом, не менее вероятно, что П. Л. Калинин сам переработал предание в былину.

Возвращаясь к Г. А. Якушову, отметим, что на Купецком озере, откуда он родом (10—15 км от Рагнозера на юго-запад), в 1939—1940 гг. было сделано 10 записей преданий. О Рахте знал что-нибудь почти каждый житель деревень на Купецком озере. Среди сказителей, от которых были сделаны записи преданий, были и такие, о которых достоверно известно, что они активно общались с Г. А. Якушовым, переняли от него часть своих былин и т. д. (И. Т. Фофанов, И. Н. Болотов и др.). Однако они былины о Рахте не знали и не помнили, чтобы и сам Г. А. Якушов ее исполнял. С другой стороны, его учителя, хорошо знакомые нам Никифор Прохоров (Утка), Потап Антонов, Иван Фепонов[15], судя по записям Рыбникова и Гильфердинга, былины о Рахте тоже не знали. Кстати, нам ничего не известно и об исполнении ими былины о Еруслане Лазаревиче, также записанной от Г. А. Якушова, и, возможно, тоже им сочиненной.

И, наконец, еще одно замечание о былине о Рахте Рагнозерском. В пользу нашего утверждения о ее нетрадиционности говорит и то, что вне круга деревень, удаленных от Рагнозера на 10—15 км (Пудожгора составляет некоторое исключение — 25—30 км), она ни разу не записывалась. Вместе с тем, именно в этой же группе деревень активно бытовало и до сих пор бытует предание, имеющее, в отличие от стихотворных записей, совершенно определенную традицию — выработанный сюжет, сложившуюся манеру изложения и четкий круг поэтических приемов, повторяющийся почти во всех записях.

* * *

О существовании предания о Рахте слышал еще А. Ф. Гильфердинг. В упоминавшемся уже комментарии к записи от П. Л. Калинина он писал: „Говорят, будто там (т. е. на Рагнозере) еще существует предание, что в этой деревне некогда жил знаменитый борец"[16].

---

[15] См. сб. Соколова—Чичерова, стр. 69.

[16] Гильфердинг, т. I, стр. 715.

В 1875 г. была опубликована статья олонецкого энтузиаста-краеведа К. Петрова „Рахта Рагнозерский и Микула Селянинович“ [18] и в 1876 г. статья Л. Н. Майкова „Новые данные русского эпоса из Заонежья“ [19], перелагавшая первую. К. Петров побывал в деревнях, близких к Рагнозеру, спрашивал о Рахте и пересказал предание, слышанное им от Алексея Иванова из Рындозера.

В 1926—1928 гг. были сделаны две первые записи предания, которые воспринимались собирателями как пересказы былины.

В 1939—1940 гг. Пудожская фольклорная экспедиция Карельского научно-исследовательского института культуры под руководством А. Д. Сойманова (А. Д. Сойманов, Г. Н. Парилова, В. Д. Дмитриченко, О. Г. Большакова, Н. А. Бутинов, Ю. М. Агулянский, Б. Е. Марголис-Чистова и К. В. Чистов) поставили в качестве одной из своих задач запись местных преданий и — специально — преданий о Рахте Рагнозерском. В 1939 г. было сделано 4 первых записи[20] и в 1940 г. еще 16 записей[21]. Выяснилось, что имя Рахты хорошо известно в Рагнозере и группе деревень, его окружающих (Купецкое, Рындозеро, Тубозеро, Римское, Пудожгора и др.) [22]. Число жителей этих деревень, слышавших предание и знавших о подвигах Рахты, исчислялось в 1939—1940 гг. сотнями. Вне этой группы деревень была произведена лишь одна запись (д. Великодворская, Каршевского с/с, от И. Ф. Мишкина), причем исполнитель ссылался на какую-то „опись“ и „картинки“, которые он видел[23]. Однако и для него Рагнозеро — местность хорошо знакомая (от Великодворской до Рагнозера 50—60 км).

Трудно предположить, чтобы это предание раньше не было известно еще шире, чем в 30-е годы текущего столетия. Очевидно, что собиратели не интересовались им и пропускали его.

---

[18] «Олонецкие губернские ведомости», 1875, № 81.

[19] «Древняя и новая Россия», 1876, № 6, стр. 195—198.

[20] Эти записи погибли во время войны. Повторные записи предания от И. Т. Фофанова и Н. А. Ремизова, сделанные в 1940 г. А. Д. Соймановым и Г. Н. Париловой, хранятся в архиве Карельского филиала АН СССР (Отдел фольклора, русский фонд, Пудожский р-н, колл. 8). В 1946 г. А. В. Беловановой была сделана повторная запись предания от М. А. Павкова, который в это время уже знал сборник «Былины Пудожского края». Знакомство с этим сборником сказалось и в записанном от него тексте (см. там же, колл. 17).

[21] См. Архив Карельского филиала АН СССР, там же, колл. 8.

[22] См. таблицу на стр. 368—370.

[23] Лубка с сюжетом Рахты найти не удалось; из популярных изданий, в которых перепечатывалась былина о Рахте, можно назвать книгу Н. А. Чеорминой-Корш «Озерный край» (М., изд. И. Д. Сытина, 1909, стр. 90—93).

В 1957 г. экспедиция студентов Московского университета под руководством Э. В. Померанцевой записала еще 7 текстов и снова в этой же группе деревень (Водлозеро, Рагнозеро, Рындозеро). Записи показали, что предание продолжает бытовать в этом районе.

Следовательно, предание о Рахте Рагнозерском было популярно, и в то же время оно бытовало в ограниченном районе вокруг Рагнозера — местности, с которой прямо связывалась деятельность героя. Именно поэтому оно с полным основанием называется исследователями местным преданием.

Действительно, в самом Рагнозере и в других деревнях близких к нему оно до сих пор воспринимается как предание о предке рагнозер, первом жителе на берегах Рагнозера, от которого „распоселилась" деревня. Н. Д. Дмитриева из Рагнозера в 1940 г. рассказывала: „Жил ён, Рахкай, в острову́ в Белом (за три версты). Ен проживал годов много. Потом переместился сюды-ко-ва. Ен и развел нашу деревню. Ен как стал зде-ка жить да промышлять, потом шире и дале и распоселилось жило. Так деревня Рагнозеро и стала"[24]. В Рагнозере до сих пор показывают место, где якобы стояла изба Рахты; вспоминают о том, как незадолго перед революцией после большого пожара „ровняли дворы" и „ямы для столбов копали" и нашли много костей и черепов на месте, где никогда не было кладбища. Эту находку объяснили при помощи предания. С тех пор считается, что именно на этом месте и стояла баня, которую обрушил Рахта на разбойников („панов")[25].

Таким образом, предание о Рахте — это предание о предке-герое, о героизируемом пращуре-родоначальнике, т. е. по своей природе родовое предание. Характерно, что с именем Рахты связано два сюжета — героический (единоборство в Москве) и героико-бытовой. Видимо, и здесь действовали те же эпические законы, которые создали в русском стихотворном эпосе две основные разновидности былин.

Эти два сюжета известны большинству исполнителей. Однако они сочетаются ими по-разному — иногда чисто механически, в других случаях делается попытка найти мотивированную связь между ними (московский князь узнает о расправе Рахты с разбойниками и призывает его в Москву, либо, наоборот, жена

[24] См. также записи от К. Н. Меньшикова, М. А. Павкова, М. И. Ярышева и др. (Архив Карельского филиала АН СССР, русский фонд, колл. 8). О том же см. в пересказе К. Петрова, где также называется Белый остров («Олонецкие губернские ведомости», 1875, № 81).

[25] См., например, записи от И. Т. Фофанова, А. А. Титова и др. (Архив Карельского филиала АН СССР, русский фонд, колл. 8).

Рахты сходится с атаманом разбойников в то время, когда Рахта в Москве). Это свидетельствует о том, что первый и второй сюжет возникали не одновременно, что это не один, а именно два сюжета. Какой же из них возник раньше?

Если решать этот вопрос отвлеченно-теоретически и традиционно, то можно было бы предположить, что, условно говоря, «бытовой» сюжет возник или «прикрепился» к имени героя позже, так же как продолжительное время считалось, что так называемые былины-новеллы в своей массе возникли (или «прикрепились» к имени богатыря) позже из стремления многосторонне обрисовать образ богатыря, основное назначение которого — воинский подвиг. Однако рассмотрение материалов, которые можно было бы привлечь при изучении истории сюжетов, связанных с Рахтой Рагнозерским, приводит к иным выводам.

В бо́льшей архаичности сюжета, который условно можно назвать «Рахта и неверная жена» или «Рахта и разбойники («паны»)», чем сюжет «единоборство Рахты», мог бы убедить даже элементарный сравнительный анализ. Действительно, первый сюжет состоит из ряда элементов, эпизодов (мотивов), архаичность которых несомненна: коварная героиня, выведывающая у мужа (отца), в чем его сила, хорошо известна из русских сказок и сказок других народов[26]. Само представление о приобретении и потере силы выступает здесь в эротически окрашенном и, несомненно, архаическом варианте; характерный способ расправы с разбойниками — баня обрушивается на обидчиков — напоминает нам по своей архаичности последний подвиг Самсона, и, наконец, характерная черта родовых преданий: герой-предок первым приходит в места нынешнего поселения и в конце предания куда-то уходит. Можно было бы развернуть серию параллелей ко всем этим мотивам, подвергнуть их историко-этнографическому изучению и т. д. Все это представляло бы несомненный интерес. И все же такой анализ может обмануть — мотивы (элементы) могут оказаться древнее сюжета, т. е. они *могли быть* архаичным материалом, сравнительно поздно использованным в предании. Кроме того, соответствует ли древность этих мотивов сравнительно недавнему поселению русских в Прионежье, в том числе и на озерах Пудожья (XII—XIV вв.)?

---

[26] См. главу «Самсон и Далила» в книге Д. Д. Фрезера «Фольклор в ветхом завете» (М.—Л., 1931, стр. 258—269). О судьбе библейского сказания о Самсоне в русском фольклоре см. И. Жданов. К литературной истории русской былевой поэзии. Киев, 1881, гл. VI—VIII («Былины о Самсоне-Святогоре», стр. 90—191); Н. Ф. Сумцов. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888, гл. 7 («Самсон»), стр. 45—48, и др.

В связи с этим возникает вопрос: действительно ли героя анализируемого предания (и былины) зовут Рахтой Рагнозерским?

Просмотр записей показывает, что это имя утвердилось в науке под явным влиянием первой записи былины в 1871 г.

Другие записи дают картину, представленную на таблицах (см. стр. 368—370).

Итак, в действительности имя героя не столь устойчиво, и правильнее было бы принять в науке другой вариант — *Рахкой*, эта форма явно основная и преобладающая[27]. Между тем, она явно не русская, а финно-угорская (прибалтийско-финская) по своему происхождению (*Rahkoi* или *Rahgoi*), очевидно, как мы увидим далее, древневесская[28]. Об этом говорят и его чуждый русскому уху фонетический состав (ср. колебания *Рахкой, Раккой, Раг, Рак, Рахта, Рагна, Рагкой* и т. д.) и типичный уменьшительно-ласкательный суффикс *ой*. (Ср. *Ирой, Петрой, Мишой* и т. д. — в современно карельском и вепсском языках). Кроме того, из русского языка нельзя объяснить связь между именем *Рахкой* и названием озера, которое с ним связывается, — *Рагнозеро* и тем более реки *Рагнукса*[29]. На финно-угорской же почве это вполне законные образования (*Rahkoi* или *Rahgoi* — *Rahnajärvi* или *Rahninjärvi* — *Rahnuksa*). Нерусским происхождением имени *Рахкой*, по-видимому, следует объяснять и колебания в его употреблении в именительном падеже: *Рахкой—Рахкай—Ракка—Рахка—Рахта—Рахкоя—Раг* (*х, кх?*)[30], и неуверенность в образовании косвенных падежей, например колебания у одних и тех же исполнителей — *Рахкулем—Рахкоем, Рахкоя—Рахкова* и т. д. Следовательно, имя героя ощущается как финно-угорское слово, попавшее в русский язык.

Этот факт следует сопоставить с известным историческим обстоятельством: вполне достоверно известно, что до русских Пудожье было населено финно-уграми (по теории Д. В. Бубриха — древней весью), причем русские в основном не вытесняли, а ассимилировали их. Это отразилось, в частности, в очень четкой финно-угорской топонимике этих мест (ср. названия

[27] В форме *Рах-та*, возможно, *-та* — суффикс такого же типа, как в именах *Путя-та, Ники-та, Гостя-та* и т. д.

[28] О веси как предшественнице русского населения Пудожья см. Д. В. Бубрих. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947.

[29] В писцовых книгах XVI—XVII вв. озеро называется Рахно-озеро (см. «Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг.» Изд. Археографической комиссии АН СССР. Л., 1930, стр. 174), Рагно-озеро (там же, стр. 176) и Рогно-озеро (см. «Писцовые книги Карелии XVI—XVII вв.», вып. 1. Подготовлен к печати Р. Б. Мюллер, под ред. проф. А. И. Андреева. Петрозаводск, 1947, рукопись, стр. 297).

[30] Ср. в косвенных падежах у этого же исполнителя — Рахке, Рахка.

От кого записано	Место записи	Имя и его варианты в именит. падеже	Косвенные падежи, встречающиеся в записях
П. Л. Калинин (Гильфердинг)	Пудожгора	Рахта	Рахтой, Рахты
Т. Г. Рябинин (там же)	Кижи	Федор Рахкой	—
А. Иванов (К. Петров)	Рындозеро	Рахка	—
Н. А. Ремизов (Парилова — Сойманов)	Купецкое	„	Рахкулем (твор. пад.) Рахкоем
Г. А. Якушов (Сб. Соколова — Чичерова)	„	Рахта	Рахты, Рахту, Рахтой
Т. А. Прокин (там же)	Рагнозеро	„	—
Д. И. Лукин (там же)	„	Рахкой Рахкоя	Рахкою (дат. п.) „
А. Т. Зуева (там же)	„	Ракка	Ракко (зват. форма)
А. Т. Зуева (Архив Карельского филиала АН СССР, Отдел фольклора, русский фонд, колл. № 8)	„	Рахкой Кибиткой, Рахкой	О Рахкое
Н. А. Ремизов (там же)	Купецкое	„	—
И. Т. Фофанов (там же)	„	„	—
К. И. Меньшиков (там же)	„	Рачкой	Раггу

От кого записано	Место записи	Имя и его варианты в именит. падеже	Косвенные падежи, встречающиеся в записях
М. А. Павков (там же)	"	Рахта	Рахты
М. А. Павков (там же), колл. № 17	"	Михайла Ракин	Михайла Ракина
И. А. Кережин (там же), колл. № 8	"	Михайла Рак (х) Рахкой	Рахке, Рахка
С. С. Оглодов (там же)	"	Рахкуль	Раккула Рахкула Рахкаля Раккулю
А. А. Титов (там же)	Рагнозеро	Михайла Рахкой, Рахкий	Рахкая Рахкова
Н. Д. Дмитриева (там же)	"	Рахкой	—
М. С. Лукина (там же)	"	"	—
Д. Г. Титова (там же)	"	"	Рахкая
М. М. Ярышев (там же)	Пудожгора	Рагна	Рагны, Рагне, Рагну
Неизвестный (там же)	Римская	Рахта	Рагны, Рагну

От кого записано	Место записи	Имя и его варианты в именит. падеже	Косвенные падежи, встречающиеся в записях
О. Е. Фаддеев (там же)	Пудожгора	Раг	—
И. Ф. Мишкин (там же)	Каршево	Рахта Рахкой	Рахкое Рахкою
П. Я. Леонтьев (там же)	Гумар-наволок на Водлозере	Рах	Раха Рахка
П. Е. Леонтьева (там же)	Там же	„	—
М. Я. Алексеева (там же)	Рагнозеро	—	Рахколой
Е. И. Алексеева (там же)	„	Рахкой Рахкай	Рахкоя
М. И. Зуев (там же)	„	Рахка Рахкой	—
А. Е. Филимонова (там же)	„	Ракка Кибитских Ракка Прокин	—
М. О. Дмитриев (там же)	Рындозеро	Рахта	

деревень, близких к Рагнозеру: Калакунта, Варшипельда, Кокосалма, Кевасалма, Куганаволок, Канзанаволок, Гумарнаволок, Чуяла, Пога, Пелгостров; названия озер: Водлозеро, Тубозеро и т. д.)[31].

Но есть еще более интересное в фольклористическом плане доказательство того, что предание о Рахкое (сюжет «Рахкой и разбойники (паны)») был изначально финно-угорским родовым преданием. Это предание (причем именно само предание, а не схема сюжета в ее абстрактно-компаративистском понимании) хорошо знакомо карелам. Известны три публикации в XIX в. и есть еще пять неопубликованных записей этого предания[32]. Во всех записях предание начинается с характерной завязки-запрета, отсутствующей в русском тексте: муж запрещает жене бросать мусор (или веник) в реку — ему известно, что ниже по реке появились какие-то люди («разбойники», «беглые», «паны»). Жена нарушает запрет, разбойники появляются. Их главарь сговаривается с женой героя извести этого последнего. Жена расспрашивает мужа, когда он бывает слабым, и дальше все следует буквально так, как в русском предании о Рахкое (герой связан, просит помочь дочь, которая отказывается; помогает сын — достает нож при помощи лучинки, кочерги и т. д., затем следует расправа с разбойниками, которые ночуют в бане или риге, сарае; герой возвращается в избу для того, чтобы поймать атамана, делает вид, что он все еще привязан, рассказывает проснувшемуся атаману метафорический сон — 40 тетеревов — и затем расправляется с ним, женой и дочерью и уходит куда-то с сыном).

Все карельские записи были сделаны только в южной Карелии (Олонецкий и Кондопожский районы); средним и северным карелам, судя по имеющимся записям, оно неизвестно (или оказалось ими забыто), что еще раз заставляет думать о связи судьбы этого предания с этногенезом южных групп карел (людиков и, отчасти, ливвиков) и вепсов, в образовании которых огромную роль наряду с корелой сыграла древняя весь.

В записях предания от карел нет имени Рахкоя; предание известно либо с именем *Курика* (Кондопожский р-н), либо вообще без имени (Олонецкий р-н), причем с именем Курика на основной территории карел-людиков, а без имени — на терри-

[31] Финно-угроведческим толкованием имени Рахкой и топонимики Пудожья я обязан Н. И. Богданову и М. М. Хямяляйнену.

[32] См. «Олонецкие губернские ведомости», 1863, № 40; 1875, № 96 и 1893, № 72 (все три — пересказы) и архив Карельского филиала АН СССР. Отдел фольклора, карельский фонд, Олонецкий р-н, колл. 134, 137, 138 и 141.

тории ливвиков (Куйтежи, Видлица и др.). Имя «*Курик*» тоже связывается с названием определенного поселения — Куриковой-сельги на Семчезере; в районе Семчезера оно бытовало совершенно так же, как и предание о Рахкое на Рагнозере, как местное родовое предание, предание о герое-предке и первонасельнике. Кстати, единственная русская запись с безымянным героем была сделана также в Кондопожском районе[33].

Сочетание имен Рахкой и Курик, с которыми связывают родовые предания о пращуре-герое, наводит на предположение: не связаны ли имена героев с названиями двух из пяти известных нам по историческим документам древних карельских родов «Курила» (в русских актах «Курильчи» или «Курильцы») и «Рокула» (в русских актах «Рокульцы»[34] или «Ровкульцы»)? Вопрос этот окончательно могут решить специалисты-финноугроведы и историки. Надо учитывать при этом, что названия карельских родов известны нам в русской передаче, т. е. явились результатом приспособления карельских слов к русской фонетике[35].

Думается, что для прояснения этого вопроса очень важно было бы собрать и систематизировать топонимические данные — названия сел, озер, рек и урочищ, в которых отразились в какомнибудь из известных нам фонетических вариантов названия древних карельских родов[36]. Нам, со своей стороны, хотелось

---

[33] См. Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909, № 122, стр. 292—293 (записана в д. Илемской Сельге «от крестьянина»). В указателе Н. П. Андреева («Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне». Изд. Гос. русск. географ. об-ва. Л., 1929) значится как единственная запись под № 967. Судя по указателю Аарне (Anti Aarne. Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki, 1911, в серии: Folklore Fellows Communications, № 3), финские записи с подобным сюжетом не известны.

[34] См. Д. В. Бубрих. Происхождение карельского народа, стр. 38 (для первоначальной территории карел на Карельском перешейке).

[35] Первое известное нам упоминание термина «Рокула» («Ракула») см. в уставе князя Святослава Ольговича 1137 г. о взимании церковной десятины в Обонежье («Материалы по истории Карелии XII—XVI вв.» Под ред. В. Г. Геймана. Петрозаводск. 1941, стр. 65—66).

[36] Например: а) *Рахкой* и *Рокула* — Рагнозеро, Рагнукса, Рахованда, Раковская, Раколовская, Рахкова гора, Рахковичи, Рахкойла, Рахмозеро, Рахтина, Ровкулы и т. д. Все названия отыскиваются в Прионежье — в б. Пудожском, Вытегорском, Повенецком и Каргопольском уездах;

б) *Курик* и *Куроля* — Курикова сельга, Курикова, Курий ручей, Курмойла, Курникова, Куровская, Курсельга, Курчалы, Куршакова, Кур-Мурково, Кюрей, Кюрей-мяги, Кюршинская, Кюрьяла — на территории б. Петрозаводского, Вытегорского, Олонецкого и Каргопольского уездов. См. «Населенные пункты Олонецкой губернии», 1879 и 1905 гг. В писцовой книге Лихачева 1563 г. в числе деревень Водлозерского погоста упоминаются «деревня на Гар-острове словет Рагунова», «деревня в Рахкуйлове наволоке словет

бы обратить внимание на два топонимических факта, которые как-то связаны с интересующим нас преданием. На один из них указала исполнительница М. С. Лукина из д. Рагнозеро: «А вот еще на Водлозере есть деревня Рахкула, Канза-Наволоцкого сельсовета, не бывал ли он (т. е. Рахкой. — *К. Ч.*) там»? Очевидно, что название деревни Рахкула привлекло внимание М. С. Лукиной не напрасно. С точки зрения русского языка, оно воспринимается как более близкое к имени героя, чем название озера *Рагнозеро*, несмотря на наличие финно-угорского суффикса *-ла* (со значением принадлежности к чему-либо).

Второе указание извлечено нами из статьи «Вытегорский погост», опубликованной в «Олонецких губернских ведомостях» в 1885 г.: «При д. Кудаме (иначе Рахкова гора или Сидорова) стоит одиноко в поле роща с часовнею; передают, что в этой роще паны похоронили себя вместе с детьми и всеми сокровищами; для этого вырыли они здесь несколько больших ям, поставили в них столбы, утвердили на них слабую крышу, собрались в ямы со всеми ценностями и детьми и поручили рыть землю на крышу до тех пор, пока она провалилась и своею тяжестью придавила их там» [37]. Предание это в том виде, в каком передал его автор статьи, совершенно непонятно. Зачем «панам» надо было губить себя со всем имуществом и детьми таким страшным способом? Как относился исполнитель к гибели «панов»? Кто их зарывает? Сопоставление с известным нам преданием о Рахкое, которое подсказывается и названием деревни «Рахкова гора», заставляет думать, что это обрывок забытого здесь древнего родового предания. Рассказанный эпизод сходен с известным уже нам эпизодом гибели «панов»-«разбойников» в бане, которую обрушил на них Рахкой.

Подтверждение того, что предание о Рахкое было хорошо известно карелам и сам Рахкой был для них популярным и поэтизируемым героем-предком, отыскивается в древнейшем памятнике финской письменности — стихотворном предисловии финляндского реформатора Микаэля Агриколы к переводу псалмов на финский язык, в котором было дано первое описание пере-

---

в Коско-салме», «деревня на Рахно-острове словет в Сюрье» и «деревня на Рагуеве наволоке» (см. «Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 г.», Издание Археографической комиссии, Л., 1930, стр. 174—176).

[37] «Олонецкие губернские ведомости», 1885, № 2, стр. 1, а также 1893, № 75, стр. 6. Обращает на себя внимание то, что предание это записано в местах поселения древней веси — между Онежским и Белым озерами (ср. весское название деревни «Кудома») и также принадлежит к числу местных топонимических преданий.

житков язычества у еми и приладожской корелы (1551 г.). Здесь Рахкой фигурирует рядом с героями рун Вяйнемёйненом, Илмариненом и другими в качестве одного из языческих божеств. О нем говорится: *Rachkoi cuun mustaxi iacoi* «Рахкой, прикрывающий месяц темнотой»[38]. Итак, несомненно, что и имя Рахкоя и предания о нем были известны приладожским и прионежским группам финно-угров, образовавшим впоследствии карел-люддиков и вепсов. Несомненно также и то, что предание это бытовало в финно-угорской среде в качестве родового и топонимического предания и, возможно, приписывалось героям-предкам, положившим начало родов «Рокула» (Рахкой) и «Курила» (Курик). Этот факт подтверждает возможность передачи родового и топонимического предания от одного народа другому в условиях этнической ассимиляции.

* * *

Наконец, совсем недавно появилась возможность сделать еще одно предположение, уводящее нас еще дальше в глубь веков. В 1955 г. В. В. Сенкевич-Гудкова, изучавшая язык и фольклор саамов Кольского полуострова, сделала две записи сходного предания[39].

По нашей просьбе В. В. Сенкевич-Гудкова любезно согласилась просмотреть публикации саамского фольклора и обнаружила еще один вариант этого предания, опубликованный в 1931 г.[40]

Разумеется, наличие сходного сюжета у другого народа само по себе еще ни о чем не говорит. Саамы могли воспринять его от русских или от карел, либо подобный сюжет мог, казалось бы, вполне самостоятельно возникнуть в саамской среде, точно так же как он мог возникнуть у карел или у русских. Не сопоставляем же мы предание о Рахкое, например, с библейским преданием о Самсоне и Далиле (Далиде)[41], хотя общая схема

---

[38] За это сообщение приношу мою благодарность проф. А. И. Попову. В предисловии М. Агриколы Рахкой, как и герои рун, ошибочно приписывается еми. Об этом см. Д. В. Бубрих. Об одном обманчивом историческом документе. «На рубеже», 1949, № 2, стр. 92—94. По свидетельству В. Я. Евсеева, в текстах карельских заговоров встречается упоминание Рахкоя в качестве колдуна.

[39] Архив Карельского филиала АН СССР, Отдел языкознания, саамский фонд.

[40] См. «Mémoire de la société finno-ougrienne», v. 60, 1931, p. 304—307.

[41] Кстати, такое сопоставление уже делалось, см. Л. Н. Майков. Новые данные русского эпоса из Заонежья, стр. 197, и вслед за ним И. Жданов. К литературной истории русской былевой поэзии, стр. 171.

сюжета в обоих случаях та же! Нелепо было бы в наше время на основании подобного сопоставления делать вывод о наличии каких-то связей древней веси с древними иудеями или о воздействии библии на судьбу интересующего нас сюжета. Подобные совпадения, правда, могут помочь при типологическом изучении сюжета либо при стремлении обнаружить этнографический субстрат этого вида сюжетов в международном фольклоре, но они ничего не дают для изучения реальных путей развития конкретной разработки этого сюжета у вполне определенных народов.

Сопоставление, которое мы хотим сделать, — сопоставление иного рода. Прежде всего наше предание совершенно не записывалось ни у северных карел, ни у русских поморов, с которыми саамы постоянно общались в позднейший период и общаются в настоящее время. Места записи — Прионежье и Олонецкий перешеек — удалены от Кольского полуострова на полторы-две тысячи километров. Следовательно, факт поздней передачи сюжета карелами или русскими саамам, либо наоборот, почти совершенно исключается. О самозарождении этого сюжета в карело-русской (весско-русской) среде тоже, на наш взгляд, говорить не следует, так как опять, как и при сопоставлении предания в его русском и карельском варианте, выявляется совпадение не схемы сюжета, а т е к с т а предания, совпадение таких деталей, которое совершенно исключает и подобное решение вопроса (щепки, брошенные в реку, предательское поведение дочери, буквальное совпадение ее слов: «Я скажу моему новому отцу»; помощь сына; воины, спящие в амбаре, и их начальник, проводящий ночь в избе; совершенно аналогичный метафорический сон, в котором глухари лишь заменены воронами, и т. д.).

Одним словом, совпадает не просто схема сюжета — совпадает (разумеется, с естественными вариациями) сам текст, т. е. не только костяк, но и плоть предания, причем саамское предание оказывается ближе к карельскому, чем к русскому (ср. отсутствующий в русском предании запрет, служащий завязкой предания у карел и саамов[42]).

---

[42] Отметим, что в том же Олонецком районе и в местах расселения людиков записывались совершенно самостоятельно предания о первых насельниках, которых находят по щепке или венику, плывущих по реке, и т. д. (см. Е. И. П р и л е ж а е в. К истории г. Олонца и его окрестностей. «Олонецкие губернские ведомости», 1891, № 95, стр. 969; П о т а н и н. Поездка в Олонец. Там же, 1861, № 7 (перепечатка из «Русского слова»); К. П. [етров?]. Деревянное. «Олонецкие губернские ведомости», 1883, № 3, и в новейшее время: В. Я. Е в с е е в. «Основание Видлиц». «Карельский фольклор». Петрозаводск, 1949, № 66.

В. В. Сенкевич-Гудкова высказывает предположение, что «сюжет саамской сказки заимствован саамами у карел, когда саамы жили на территории современной Карелии»[43]. Однако единственный довод В. В. Сенкевич-Гудковой — прибалтийско-финский характер имени Рахты—Рахкоя — убеждает только в том, что и русскими это предание было воспринято от карел (веси), как уже говорилось выше. Для решения вопроса о том, было это предание начально карельским или саамским, этого явно недостаточно, так как в саамском предании герой вообще не имеет имени.

С другой стороны, саамское предание содержит ряд очень архаичных моментов по сравнению и с русскими и карельскими записями. Враги героя называются не «разбойниками» и не «панами», а «чудью», а их начальник — чудский богатырь «Чуда-Чиэрвэ». Героя ловят в силок, жену свою в конце предания он забивает в дупло дерева (по другому варианту, опубликованному в «Memoire de la société finno-ougrienne», скальпирует и кожу натягивает на колышки) и т. д.[44]

Особенно интересно то, что врагами героя оказывается «чудь», древнейший «эпический враг» саамов-лопарей, ведущий свое происхождение от того периода, когда они непосредственно соприкасались с «чудью» и «весью», т. е. финно-угорскими племенами юго-восточного Приладожья, Прионежья и Белозерья[45]. Враги героя здесь не «разбойники», не «беглые» и даже не «паны», а представители соседнего враждебного племени. Это вскрывает древнейшую родовую основу сюжета. Герой-предок обманут женой, взятой, по-видимому, из этого враждебного, но экзогамного племени. В этом же смысле, очевидно, следует толковать и предательство дочери и верность сына[46].

Упоминание чуди в саамском предании подтверждает, что саамы знали это предание еще в тот далекий период, когда они соприкасались с древней весью (чудью), когда их граница проходила где-то по северной части Онежского озера, в местах, которые и в московское время продолжали называть «лопскими погостами», и либо сложили его, либо восприняли его от веси и

---

[43] В. В. Сенкевич-Гудкова. Сказки иоканьгских саамов как исторический источник. «Ученые записки Карельского пед. ин-та», т. III, вып. I, серия историко-филологических наук. Петрозаводск, 1956, стр. 105.

[44] Русские и карельские предания способ расправы не описывают.

[45] Соотношение древней «веси» и «чуди» не вполне ясно. См. Д. В. Бубрих. Происхождение карельского народа, гл. «Чудь».

[46] См., например, обзор аналогичных сюжетов в эскимосских легендах в работе: Erik Holtved. The eskimo legend of navaranâq («Acta arctica», Köbenhavn, 1943).

сохранили в древнейшей форме. Кстати, Семчезерская волость, из которой известны записи предания о Курике, принадлежала в прошлом именно к числу «лопских волостей». Следы саамов, согласно разысканиям Д. В. Бубриха, обнаруживаются и в местах, близких в Рагнозеру (ср. Сумозеро) [47].

Итак, история сюжета, известного нам по русскому пудожскому преданию о Рахте-Рахкое, оказывается сложной. Основные ее этапы можно наметить следующим образом.

1. Древнейшим было саамское или весское родовое предание о столкновении героя-предка с враждебным и вместе с тем экзогамным племенем. Время его возникновения определить, разумеется, трудно. Ясно только то, что оно по своему происхождению очень архаично.

2. Это предание либо было воспринято древней весью в процессе ассимиляции части саамов (древней «лопи») и овладения обжитых ими мест (не раньше IX в., т. е. времени формирования древней веси и корелы) и затем передалось карелам-людикам и ливвикам и, возможно, вепсам, либо, наоборот, в ту же пору было воспринято саамами от веси.

В карельско-вепсской среде оно бытовало, вероятно, какое-то время в качестве родового предания родов «Курила» и «Рокула».

3. В XII—XIV вв. в процессе ассимиляции веси русскими это предание оказалось воспринятым этими последними как родовое и топонимическое предание о Рахкое (в районе Рагнозера) и, очевидно, позже и какими-то другими путями на территории современного Кондопожского района и в районе Вытегры.

Таким образом, история первого сюжета, связанного с Рахтой-Рахкоем и названного нами «Рахта и неверная жена», оказывается историей передачи этого сюжета от финно-угров, возможно, воспринявших его от саамов, к русским и является своеобразным фольклорным отражением этногенетических процессов, происходивших в IX—XIV вв. в Прионежье и Приладожье.

Остается высказать некоторые предположения относительно дальнейшей судьбы предания в русской среде. Итак, выяснилось, что сюжет «Рахкой и неверная жена» древнее сюжета «единоборство Рахкоя».

Трудно сказать, с каких пор герою стал приписываться подвиг, о котором рассказывается во втором сюжете [48]. Несомненно

---

[47] Об этом см. Д. В. Бубрих. Происхождение карельского народа, стр. 18. Кроме того см. его же. Из этнонимики Карелии. «Ученые записки ЛГУ», вып. 2, 1948, стр. 123, и др.

[48] Отметим сходные предания о местных силачах, также более позднего происхождения и перекликающиеся в некоторых мотивах с преданиями

только то, что в истории сюжетов, связанных с Рахкоем, значительную роль сыграли события второй половины XVI — первой половины XVII в. Сюжет «единоборство Рахкоя» относится большинством исполнителей ко времени Ивана Грозного. Исследователи уже указывали на его близость к историческим песням о Кострюке. По-видимому, сюжет этот сложился окончательно в тот период, когда время Ивана Грозного стало в сознании исполнителей совершенно определенной «эпической категорией», «прошлым временем». Это могло произойти примерно в конце XVI—начале XVII в. С другой стороны, в качестве врагов героя в сюжете «Рахкой и неверная жена» и в карельских преданиях о Курике обычно называются «паны», т. е. отряды польско-шведско-литовских интервентов, рыскавших по русскому Северу в 1613—1615 гг.[49] Разорения, которые «паны» причинили селам Карелии, надолго остались в памяти народа. Известны сотни русских и карельских преданий о «панах», записанных в б. Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Вятской, Костромской и других губерниях и до сих пор, к сожалению, не изученных в достаточной мере фольклористами[50]. В этот цикл преданий включается, как указывали Г. Н. Парилова и А. Д. Сойманов в своем комментарии, и предания о Рахкое. Герою-предку приписывается теперь активная роль в борьбе с интервентами-насильниками. Возникают своеобразные анахронизмы (например, «паны» действуют при Иване Грозном и т. д.), не нарушающие, однако, поэтической цельности сюжета. Приурочение предания о Рахкое к циклу преданий о «панах» могло произойти, по-видимому, не раньше середины XVII в.

И, наконец, последний известный нам этап в жизни интересующего нас предания отражен в записях второй половины

о Рахкое (см., например, Архив Карельского филиала АН СССР, Отдел фольклора, русский фонд, Пудожский р-н, колл. 8), с героем Иваном Донским, и особенно коми-пермяцкие предания о Пере-богатыре (см. Д. И. Гусев. Коми-пермяцкие предания о Пере-богатыре, под ред. В. М. Сидельникова. Кудымкар, 1956). Перя-богатырь тоже на лыжах отправляется в Москву (Пермь, Киев), где сражается с «идолищем-колесом». В награду (в некоторых вариантах текста — от Ивана Грозного) он получает охотничьи снасти (тенета), каточек для плетения лаптей и т. п. В некоторых вариантах наградой оказываются пармы (холмы) около р. Лупьи, откуда он родом (№ 45), или снижение налога в Чердынском уезде (№ 9). Примечательно и то, что Перя воспринимается исполнителями как родоначальник коми-пермяков. Отголоски коми-пермяцких преданий найдены собирателями в близких коми-зырянских и русских селениях.

49 См. М. Шаскольский. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII в. Петрозаводск, 1950.

50 См. И. Калинин. Чудь и паны. «Живая старина», 1913, вып. I—II, стр. 137—146.

XIX в. и 20—40-х годов XX в., о которых мы и говорили в начале статьи.

* * *

Обратимся еще раз к некоторым вопросам, связанным с изучением былины и предания о Рахкое на последнем, наиболее известном нам этапе развития.

Мы сделали попытку наметить важнейшие моменты истории сюжетов, связанных с этим героем, определить среду, в которой предание первоначально формировалось. Вместе с тем этот процесс не был простой цепью механической передачи застывшего и окостеневшего текста от одного поколения к другому или от одного народа к другому.

Разумеется, теперь не представляется возможным восстановить те идеи, которые, сменяя одна другую на протяжении веков, связывались исполнителями с интересующим нас героем и его подвигами. Однако мы можем попытаться это сделать для последнего этапа — второй половины XIX в. и последующего времени.

Вполне вероятно, что сам сюжет не претерпевал крупных изменений — иначе нам не удалось бы по поздним записям восстановить, хотя бы даже и предположительно, какие-то этапы его развития. Относительная устойчивость сюжета и его основных элементов естественна для родового и топонимического предания: оно воспринималось как рассказ о действительных событиях далекого прошлого, т. е. рассказ, в котором не следует что-либо менять. В то же время изменяться могло само содержание этой идеологической и эстетической категории — «далекое прошлое»; оно было когда-то временем межплеменных столкновений, потом временем появления первонасельников, позже временем Ивана Грозного, еще позже — временем разбойных действий «панов», даже тем временем, когда в лесах стали появляться «беглые», очевидно беглые крепостные или беглые солдаты и т. д. При неизменности сюжета мог меняться облик «врага» и подвергаться изменениям — шлифовке, углублению, совершенствованию — и сам образ Рахкоя. Трудно сказать, как именно шел процесс формирования этих основных образов, однако несомненно, что к середине XIX в. они сложились и стали в основных своих чертах традиционными. Значит ли это, что последний известный нам этап характеризуется отсутствием творческого отношения к тексту, сюжету, образу героя и т. д.? Записи показывают обратное. Предание воспринималось и передавалось очень живо, вспоминалось без труда, варьировалось. Об этом же говорят и известные нам, неоднократные попытки изложения предания

былинным стихом. Отсюда следует и наш ответ на один из основных вопросов, связанных с изучением былины о Рахте-Рахкое и поставленный еще В. Ф. Миллером: свидетельством развития или упадка эпоса может служить эта былина?

Живое бытование предания несомненно; попытка переложения его в былину во второй половине XIX в. была творческой по своему существу, однако она относится к тому периоду в жизни русского эпоса, когда в некоторых районах, особенно на русском Севере, еще продолжалось активное бытование эпоса, но создание новых сюжетов былин шло в основном не с ориентацией на действительность (как при создании основного слоя в XIII—XVI вв.), а по аналогии с уже существовавшими сюжетами, в развитие уже существовавших образов богатырей либо с ориентацией на соседние жанры (сказку, предание, книжные сюжеты и т. д.)[51]. Время, когда былина была ведущим жанром, отражавшим важнейшие процессы развития народного мировоззрения, было позади. Былина воспринималась как живое и чрезвычайно ценное наследие, но именно как наследие. Это, разумеется, не исключало творческого отношения к наследию.

Несомненно, что и по отношению к былине и преданию о Рахкое это было именно так. Сюжеты, образы, основные идеи предания складывались постепенно, но в основном сложились задолго до второй половины XIX в. Однако они оказались близки исполнителям и слушателям.

В центре и предания и былины стоит образ Рахкоя. В процессе эволюции этого образа от предка-героя (героизируемого пращура-первонасельника) до богатыря-крестьянина, побеждающего иноземного богатыря и посрамляющего своих социальных противников, накопились своеобразные черты, в своей совокупности определяющие вполне индивидуализированный облик рагнозерского силача.

Самое главное в Рахкое то, что он богатырь-крестьянин. Его победой в единоборстве посрамлен не только иноземный «неверный» богатырь, но и все «московские» борцы, спасовавшие перед иноземцем. В этом отношении Рахкой родственен Илье Муромцу, Василию Игнатьевичу и другим богатырям, которых князь и бояре не ценят до тех пор, пока над Киевом не нависла гроза. Он близок, с другой стороны, героям песни о Кострюке. Однако есть и некоторые отличия в трактовке сходной темы. Для киевских былин о наезде богатыря-нахвальщика

---

[51] См. А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере, стр. 136—280 и 281—332 (главы «Образование былин» и «Былинное сказительство и книга»).

и для песен о Кострюке — основное в их патриотическом звучании. Социального конфликта не возникает, хотя и налицо, правда, совершенно определенный социальный контраст, своеобразно окрашивающий основную тему, вносящий в нее существенные черты. Для предания о Рахкое и для былинных переработок этого предания — основное в первенстве борца-крестьянина (причем своего, рагнозёра) над всеми «московскими кулачниками». Характерно, что образ противника Рахкоя в предании совершенно не разработан, он имеет явно условный характер. О нем и его намерениях обычно ничего или почти ничего не говорится.

В сюжете «Рахкой и неверная жена» противниками героя выступают то «паны», то разбойники, то «паны»-разбойники. Однако историческое и национальное содержание термина «паны» смутно ощущается исполнителями.

Таким образом, патриотические идеи присутствуют в предании и былине, но не являются основными. Основное для сюжета «единоборство Рахкоя» — решительная победа крестьянина-рагнозёра над хвалеными столичными борцами. Царские гонцы внезапно приезжают в далекую от Москвы деревушку Рагнозеро. И сразу же подчеркивается, что гонцам приходится ждать, пока Рахкой вернется из леса. Они не смеют заговорить с ним, пока он не пообедал, — жена предупредила, что он зол бывает. Далее, Рахкой отказывается ехать с послами на конях; он отправляется в Москву через несколько дней после их отъезда на лыжах и обгоняет их, чем снова посрамляет царских гонцов. В Москве Рахкой проявляет не только бесстрашие и силу, но и другие свои качества. Эти эпизоды показывают, что внимание творцов предания и былины было сосредоточено на мысли о физическом и моральном превосходстве Рахкоя.

Рахкоя перед единоборством морят голодом. В некоторых случаях это мотивируется тем, что его хотят «разозлить» перед поединком. Однако во многих вариантах этот эпизод истолковывается как испытание героя голодом. Иногда просто сообщается, что он «не рассерчал» [52]. В других случаях испытание голодом описывается подробнее. В некоторых вариантах параллельно с этим эпизодом либо вместо него разыгрывается история с кафтаном, которая столь же выразительно говорит о бескорыстии, простоте («благости») и чувстве собственного достоинства силача-крестьянина, иными словами — о его моральной победе над боярской Москвой. Приведем этот эпизод по записи от А. Т. Зуевой: «Поборолся, государь ему дал кафтан.

[52] См. запись от И. Ф. Меньшикова.

Ён пошел обратно. Государь и говорит: — Пойдите, солдаты, отымите у его кафтан, если благой, дак отдаст, а злой дак не отдаст.

Ну вот его солдаты догнали.

— Стой! — говорят, — Рахкой Кибиткой, отдай кафтан!

Ён им отвечает:

— А нате. Мне его и не жалко!»

Добродушие, бескорыстие и сила, которую проявляет Рахкой во время поездки в Москву, оттеняется находчивостью и суровостью, которые он проявляет в борьбе с «панами»-разбойниками и при наказании преступной жены и дочери. В этом сочетании, по-видимому, и заключается психологический смысл контаминации двух сюжетов.

Подвиги силача-крестьянина даются на фоне труда. Сила его измеряется специфическим критерием — он способен принести из лесу припаса разом на семь (восемь) дровен. Когда приходят гонцы — он работает в лесу. Он великолепно бегает на лыжах, он — охотник. В награду себе Рахкой просит озеро, в котором ловит рыбу, и т. п. Лыжи свои он прячет, приподняв угол дома, причем лыжи у него весом 30 фунтов, и т. д. Все это заставляет вспомнить былину о Микуле, первый подвиг Ильи Муромца и летописного юношу-кожемяку, победившего печенежина. Здесь столь же ощущается связь физической силы богатыря с его профессией и социальным положением.

Чувство собственного достоинства, независимость Рахкоя-крестьянина делает его в сознании исполнителей воплощенным идеалом свободной силы.

И, наконец, все это подводит нас к замечательной развязке предания о Рахкое и его былинных обработок, в которой содержатся элементы социально-утопического характера.

Кафтан с царского плеча — мало привлекательная награда для Рахкоя. Он легко с нею расстается[53]. Когда же царь спрашивает, какую награду он хотел бы получить за подвиг, ответ его во всех вариантах и предания и былины, где этот эпизод присутствует, один: в награду он просит себе озеро Рагнозеро. Такая просьба кажется парадоксальной — зачем же Рахкою озеро, если он и так ловит в нем рыбу и охотится на его берегах? Оказывается, что озеро ему нужно в полное владение: «Ничего мне не надо, государь, а дайте мне власть над Рагнозером»[54], — потому что любой другой вариант будет означать его зависимость от бояр, позже — помещиков. Именно поэтому в другой

[53] Ср., например, в записи от А. А. Титова: «А, возьмите! Не тяжело он у меня нажит».

[54] Запись от А. А. Титова.

записи он просит: «Дай мне безданно, беспошлинно рыбу ловить в Рагнозере»[55].

Итак, стремление и Рахкоя и вместе с тем крестьян — создателей и исполнителей преданий и былин о нем — сводится к вольному труду на дарованном озере и его берегах. Эта поэтическая мечта о вольном кусочке земли и личной свободе, о некоем вольном островке посреди океана ненавистного феодального гнета чрезвычайно характерна для крестьянского мировоззрения периода феодализма и первых пореформенных десятилетий. Трудно сказать, когда именно в предание о Рахкое проникла эта идея. Однако ясно, что она не могла быть изначально связана с образом Рахкоя-первонасельника и зачинателя рода, тогда она безусловно приобрела бы иной характер — по всей вероятности, характер утопической легенды о вольном предке, жившем на вольной земле, о своеобразном рагнозерском «золотом веке». Однако, по преданию, Рахкой не изначально свободен, а лишь после совершенного подвига получает в дар «землю» и волю. Предание ничего не рассказывает о том, как он жил после этого. Очевидно, что этот мотив — не результат поэтической идеализации воспоминаний, а мечта, положительный идеал, выраженный в предании.

С другой стороны, мотив этот органически связан с сюжетом единоборства Рахкоя. Об этом свидетельствует не только отсутствие его приурочений к другим сюжетам, известным в русском фольклоре, но и устойчивость его в системе данного сюжета.

Обратимся снова к сходной ситуации в киевских былинах и в песне о Кострюке. Ни богатыри, ни победители Кострюка ничем не одариваются. Победа над иноземным богатырем означает освобождение Руси от него, освобождение от него всех русских людей, в том числе и самого освободителя; в этом и состоит и награда богатырю и развязка сюжета. Подвиг же Рахкоя, мужика, не известного дотоле царю, должен быть вознагражден. Этого же требует и логика развития сюжета. Поскольку образ противника Рахкоя неясен, неясно и значение победы над ним, и сама победа не может служить развязкой сюжета. Превосходство Рахкоя должно быть признано; в этом цель, идейный и художественный итог всего повествования.

Наконец, обращает на себя внимание устойчивость самой награды, незаменяемость этого мотива в системе сюжета. Во всех известных нам вариантах Рахкой испрашивает себе именно эту награду.

---

[55] Запись от И. Ф. Мишкина.

Следовательно, мы вправе предполагать, что интересующий нас мотив возник одновременно с самим сюжетом, т. е. в конце XVI—начале XVII в. Действительно, в истории крестьянства Карелии можно найти некоторые исторические основания возникновения этого мотива именно в тот период. Назовем некоторые из них. В течение XVI—XVII вв. формы феодальной эксплуатации в Карелии отличались крайней неустойчивостью при общей тенденции к усилению феодальной эксплуатации[56] и наступлению феодального землевладения на «черные земли». В 1568 г. карельское Поморье было взято в опричнину за отказ варзужан от уплаты сборов за рыбную ловлю. Жестокий «Басаргин правеж» надолго остался в памяти крестьян. На фоне общего наступления феодалов (и особенно монастырей) на земли крестьян во второй половине XVI в. происходит новое «верстание» земель между самими крестьянами. Эти процессы особенно усилились после польско-шведско-литовской интервенции — бурные переделы происходят в эти годы по всей Руси. С другой стороны, в начале XVII в. делается попытка окончательного закрепления крепостных. В годы «шведского разорения» правительство принимает меры к систематизации повинностей, для чего в 1615—1617 гг. осуществляется перепись населения. После «разорения» широко практикуется отдача земель на денежный и хлебный оброк.

В середине XVII в. в Карелии организуются полки «пашенных солдат». В ответ на жалобу крестьян в 1650 г. дается обещание (которое не было выполнено) «во всех государевых податях обелить». В этих условиях крестьяне не могли не стремиться, с одной стороны, избежать усиливающегося налогового гнета (в том числе и поборов за ловлю рыбы и охоту) и, с другой стороны, попытаться в процессе «верстаний», переделов, раздачи земель в оброк и так далее закрепиться на «вольном» куске земли. Все это и могло быть почвой возникновения мечты о вольном труде на вольной земле.

Поэтическая мечта, выраженная в развязке предания об единоборстве Рахкоя, — дарование озера и «обеление» от нало-

---

[56] Так, современный исследователь этого периода пишет: «В продолжение XVI столетия общая сумма обложения с крестьян возросла в 10 раз» (см. «История Карелии с древнейших времен до середины XVIII века» (макет). Петрозаводск, 1952, стр. 167). Резкое усиление обложения отмечается историками после переписи Никиты Панина с 1627—1628 гг. От первой половины XVII в. (особенно 30—40-е годы) дошло значительное количество челобитных карельских крестьян на непосильные тяготы (см. «Карелия в XVII в. Сборник документов». Составлен Р. Б. Мюллер. Под редакцией А. И. Андреева. Петрозаводск, 1948).

гов и поборов — утопична по своей природе. Воображение ее создателей было направлено не на борьбу со **всей** системой феодального угнетения; оно рисовало типичный замкнутый утопический мирок равных мелких производителей, выключенный из социальных закономерностей кусочек «божецкой земли», который принадлежит тому, кто на ней трудится. Мечта эта обращена в прошлое: был некогда некий Рахкой — первый житель Рагнозера, которому удалось благодаря его исключительной силе и другим качествам избежать гнета и вольно жить на вольном озере Рагнозере. Определение времени этого прошлого, как уже отмечалось, менялось с движением истории, но оно всегда оставалось п р о ш л ы м.

Утопическая развязка предания о Рахкое сродни обычной сказочной развязке, в которой всегда побеждает добро и в дальнейшем рисуется нечто идиллическое: социальные закономерности как бы перестают действовать, и блаженство героя длится бесконечно («стали жить поживать и добра наживать»).

Этот своеобразный крестьянский положительный идеал зародился, очевидно, вместе с возникновением феодального гнета. Предание о Рахкое — лишь один из частных и местных случаев поэтического воплощения этого идеала.

Карельским «Пашенным солдатам» пообещали «обелить» их от государевых тягот и обманули их в этом. Вместе с тем с начала XVII в. в Карелии появляются микроскопические группки «обельных» крестьян. Первая обельная грамота была выдана Борисом Годуновым крестьянину Меркурьеву. Причина «обеления» неизвестна. Далее выдавались грамоты — в 1609 г. Василием Шуйским — Федору Иванову за участие в борьбе с Лжедмитрием; Михаилом Федоровичем — семье Герасимовых из Челмужи за помощь ссыльной Марфе Иоанновне. При Петре обельную грамоту получил Рябоев, открывший железистый лечебный источник («Марциальные воды»), и т. д. По имеющимся сведениям, к середине XIX в. число потомков «обельных» крестьян не превышало 1000 человек [57].

Появление группы «обельных», разумеется, ничего не изменило в феодальной системе, да и сами «обельные» не достигли экономического процветания. Выключиться из окружающей среды они так и не смогли. Между тем факты «дарования» и «обеления» не могли не приобрести популярность в крестьянской среде — они и подсказали формы поэтического воплощения

---

[57] См. «Олонецкие губернские ведомости», 1841, № 10 и 84; 1855, № 33. Также см.: Р. Б. М ю л л е р. Очерки по истории Карелии XVI—XVII вв. Петрозаводск, 1947, стр. 115—116.

социально-утопического идеала. Особенно ясно это сказывается в варианте предания, записанном от М. С. Лукиной: «Поборол его — царь его и спрашивает:

— Чем наградить тебя за это?
— А дай мне озеро во владение!

И у царя золотыми буквами написано и дан ему был такой документ».

В дальнейшей истории крестьянского мировоззрения этот идеал обретал различные практические и поэтические формы. Он приобретал, с одной стороны, революционное звучание в манифестах крестьянского царя Емельяна Пугачева, даровавшего своим подданным земли и реки, леса и угодья, с другой стороны, религиозные формы в деятельности раскольников-бегунов и различных разветвлений сектантства, «взыскующего града», выключенного из греховных социальных отношений и т. д. Важно то, что почва для развития и сохранения социально-утопических элементов сохранилась в течение всего периода феодализма.

Однако и после реформ 60-х годов эта идея не утратила своей актуальности. Проблема «земли и воли» с новой остротой возникла как раз в те годы, когда она, казалось бы, должна была найти свое разрешение. В Карелии, как и по всей России, «освобождение» было, в конечном счете, освобождением крестьян от земли, началом бурного процесса «раскрестьянивания». Отметим, кстати, что по закону 1866 г., распространившему на государственных крестьян основные положения реформы 1861 г., привилегии «обельных» крестьян были ликвидированы и они сами причислены к разряду государственных[58]. Поэтому вполне понятна и естественна и популярность предания и многочисленность попыток переработки его в былину во второй половине XIX и в начале XX в. Идеал свободной силы и вольного труда с приближением революции приобретал особую силу в крестьянском сознании.

Нельзя не обратить внимание на то, что в предании идет речь не о земле вообще, а об озере и рыболовных угодьях. Это, разумеется, не мешало воспринимать «обельный дар» расширительно и обобщенно, однако конкретная форма этого обобщения сама по себе требует исторического объяснения.

Известно, что рыбная ловля всегда играла важную роль в жизни крестьян русского Севера и особенно в богатой боль-

---

[58] См. «Очерки истории Карелии», т. 1. Петрозаводск, 1957, стр. 266.

шими и малыми озерами и реками Карелии. Однако до XVI в. рыболовство здесь не регулировалось никакими государственными установлениями. Обложение оброком рыболовных участков и официальное узаконение ловли отдельных общин по долям впервые предпринимаются в связи с переписью 1563 г. и 1582—1583 гг. Правильнее предположить, что мотив этот сложился по крайней мере тремя-четырьмя десятилетиями позже — в годы, когда обложение рыбных угодий стало рассматриваться как тяжелый, но обычный вид феодальной повинности, избежать которого можно только путем царского «обеления». Следовательно, анализ этого мотива снова приводит нас к первой половине XVII в. (10—20-е годы).

Не исключено, что если и не возникновению, то хотя бы закреплению этого мотива в предании способствовала тянувшаяся несколько десятилетий тяжба рагнозерских крестьян с Палеостровским монастырем из-за рыбных угодий по реке Рагнуксе[59]. По крайней мере, можно утверждать, что в условиях этой тяжбы предание о Рахкое — предке разгнозер, завершавшееся награждением его озером, воспринималось крестьянами остро и живо и могло фигурировать в качестве одного из доводов в споре с монахами.

Вместе с тем социально-утопический мотив в предании о Рахте несет на себе и характерную печать исторической ограниченности. Как и в сказках и утопических легендах, он и здесь аморфен и смутен по своей природе. Предание ясно говорит о том, *за что и чем* был награжден Рахкой, однако остается совершенно неизвестным, *как он жил после этого*. Характерно и то, что вольность дарована Рахкою царем, который мыслится как некая надклассовая сила.

Далее, по некоторым вариантам Рахкой не просто просит его «обелить», но и просит запретить кому бы то ни было, кроме него, ловить рыбу в Рагнозере[60]. Этот же мотив звучит и в былине П. Л. Калинина:

Ничего мне князь не надобно, —
Дай-ко мне-ка бласловеньицо,

---

[59] См. «Карелия в XVII веке. Сборник документов», грамоты № 16 («1617 марта 25. — Данна крестьян Пудожского погоста Палеостровскому монастырю на мельничное место на реке Рагнуксе») и № 77 («1652 октября 3. — «Дело о спорной рыбной ловле Палеостровского монастыря и солдат Пудожского погоста Семена Томилова с товарищами на речке Рагнуксе») и др.

[60] См. запись от неизвестного из д. Римской, от М. И. Ярышева и др., запись от Г. А. Якушова (Сб. Соколова—Чичерова, № 32), И. А. Ремизова (сб. «Парилова—Соймонова, № 41), Н. В. Кигачева (там же, № 42).

Чтоль на нашем было на озерушке
Не ловили да мелкою там рыбушки
А без нашего да дозволеньица [61].

Таким образом, Рахкой не только освободился сам, но он хочет быть хозяином положения. Эта черта предания еще раз показывает нам утопичность крестьянской мечты о мире равных мелких производителей. Мир этот, если бы он и возник, нес бы в себе постоянную опасность возрождения эксплуатации на почве специфической «крестьянской свободы». Исторически именно так и случилось с казачьей вольницей, бежавшей на рубеж русского государства и предоставленной на некоторое время самой себе, так случилось и с раскольничьими общежительствами, стремившимися в лесах учредить новый мир по «божецкой справедливости».

Чрезвычайно характерно, что в записях 1939—1940 гг. есть черта, отличающая их от прежних записей. Так, в записи былины от Н. А. Ремизова запрет ловить на Рагнозере воспринимается как незаконные действия индивидуалиста («Проклинали его всё населеньицо»). Этот мотив, несомненно, очень позднего происхождения. Первонасельник Рахкой, очевидно, не знал конфликтов с соседями — соседей у него не было. Возможно, что отсутствие этого мотива в записях 1926—1927 гг. и появление его в записях 1939—1940 гг. следует объяснять теми изменениями, которые происходили в крестьянском сознании в годы коллективизации. Колхозный крестьянин приобрел способность критического отношения к идеалу мира мелких равных производителей, неизбежно таящего в своих недрах будущих кулаков.

Итак, образ Рахкоя имеет большую и сложную историю, тесно связанную с историей крестьянства и крестьянского мировоззрения. В XVI—XVII вв. с ним стали связываться специфические социально-утопические идеи, сохранившие свою популярность в XVIII и первой половине XIX в., с новой силой вспыхнувшие в крестьянском сознании в пореформенные годы и дожившие до периода коллективизации сельского хозяйства в нашей стране.

---

[61] Гильфердинг. № 11.

СОДЕРЖАНИЕ

Славянская филология, III.
Сборник статей, посвященный
IV Международному съезду славистов.

*

Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР

*

Редактор издательства *Б. С. Шварцкопф*
Технический редактор *Н. Д. Новичкова*

*

РИСО АН СССР № 3—93В. Сдано в набор 23/IV 1958 г.
Подп. в печать 11/VIII 1958 г. Формат бум. $60 \times 92^1/_{16}$.
Печ. л. 24,5. Уч.-изд. лист. 23,2. Тираж 4000.
Изд. № 3135. Тип. зак. № 649.
Цена 15 р. 90 к.

Издательство Академии наук СССР.
Москва Б-64, Подсосенский пер., д. 21

1-я типография Издательства АН СССР.
Ленинград В-34, 9-я линия, д. 12